

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

12



1976

1976





**К 70-летию Л. И. БРЕЖНЕВА**





# НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1976 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
В МАТВЕЕВ — Ленинским курсом	3
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из книги «Дорожный знак», стихи	9
ИЛЬЯ ВЕРГАСОВ — Останется с тобою навсегда..., роман. Окончание	13
СЕМЕН ДАНИЛОВ — Новые стихи. Перевел с якутского Александр Големба	125
ВЛАДИМИР КОМИССАРОВ — Старые долги, роман. Окончание	130
ВИКТОР СМИРНОВ — Снег, стихи	211

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО — Размышляющая Америка. Окончание	213
---	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИЛЬЯ БРАЖНИН — Обаяние таланта	235
--------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — «Праздничный, веселый, бесноватый...» К 80-летию Николая Тихонова	245
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	256
-------------------------------	-----

В. Косолапов. Морские пейзажи и вокруг.— Леонид Кудреватых. Оглядываясь на минувшее.— П. Строков. С боевых, принципиальных позиций.— Сергей Михалков. Движущаяся жизнь классики.

<i>Политика и наука</i>	268
-------------------------	-----

Ю. Замошкин. Актуальное исследование.— Г. Пакилев. Уроки Курской битвы.

(См. на обороте)

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КОРОТКО О КНИГАХ: О. Ю р и н и н а. — С. Васильев. Зарубки на память. ✦ Александр Крон.—Е. Добин. Искусство детали. Наблюдения и анализ. ✦ В. В. О ш и с.—Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. ✦ Ю. Андреев.—Л. Н. Кутаков. Вид с 35 этажа. Записки советского дипломата. ✦ А. Алексеев.—Сергей Богатко. Второй путь к океану. ✦ Виктор Пекелис.—Ц. П. Короленко, Г. В. Фролова. Чудо воображения (Воображение в норме и патологии)	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	281
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1976 ГОД	282

---



---

В. МАТВЕЕВ,

политический обозреватель газеты «Известия»



## ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ

**Н**аша родина ныне обладает возможностями для выдвигания и решения таких грандиозных внутренних и внешних задач, какие еще десять лет назад представлялись бы проблематичными, нереальными, а теперь успешно претворяются на практике. Могучий материальный потенциал нашей страны сочетается с богатейшим и непрерывно пополняемым опытом КПСС, ее Центрального Комитета, Политбюро ЦК.

Успехи научно-технической революции позволяют создавать невиданные прежде компьютерные комплексы с практически неисчерпаемой по вместимости «памятью»; но никакие новейшие машины подобного рода с вводимой в них информацией не могут служить заменой тому, что выработано, испытано на громадном историческом опыте и реализуется не одиночками и не в замкнутых стенах, а на просторах нашей земли и самыми широкими массами трудящихся, имеющими надежные ориентиры, знающими, как добиваться намеченных целей, ибо у них есть и верная научная теория и эффективное руководство к действию.

Такова сокровищница марксизма-ленинизма, постоянно обогащаемая, обновляемая на живом опыте социалистического и коммунистического строительства государств, образующих социалистическое содружество, на опыте мирового коммунистического и рабочего движения.

Выпущенные Издательством политической литературы в 1970—1976 годах пять томов речей и статей Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева «Ленинским курсом» вооружают советских людей, всех, кому дорого дело мира, братства народов, социального прогресса, тем, что воплощает в себе коллективный ум, мудрость нашей партии, ибо содержание этих работ — это сама жизнь, наша повседневная практика, свершения нашего народа, преображающие на глазах облик страны, творящие историю нового мира с его размахом творческого созидания.

Суммируя, обобщая проделанное и достигнутое партией, произведение этих пяти томов отражают и большой личный вклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева в работу Центрального Комитета, Политбюро ЦК, всей нашей партии, Советского государства.

Вышедший в этом году пятый том трудов охватывает период 1974—1976 годов, когда порой в нелегких условиях были одержаны новые успехи в создании материально-технической базы коммунизма. «И материально, и духовно советские люди стали жить богаче. Это для нас, безусловно, самое важное», — отметил Л. И. Брежнев с трибуны XXV съезда партии, утвердившего планы на предстоящее

пятилетие, напряженные, но реальные, продуманные, призванные продвинуть нашу страну еще дальше вперед по пути строительства коммунистического общества.

В области внешней политики КПСС — это годы успешного осуществления Программы мира: разрядка международной напряженности приносит свои добрые плоды, но, как учит партия, в этом процессе не может быть паузы. Выдвигаются новые задачи, призванные кардинально решить главную проблему современности — проблему войны и мира, уберечь человечество от всемирного и локальных конфликтов, создать наиболее благоприятные условия для решения стоящих перед человечеством злободневных социальных и других проблем. Немалое значение имеет то обстоятельство, что над осуществлением этих задач коммунисты, все советские люди трудятся в атмосфере подлинного коллективизма, товарищества, дружбы всех наций, нравственного здоровья, что придает нам силы и такую энергию.

Стиль руководства — вещь немаловажная. От него в значительной степени зависят и результаты. А то, что совершено партией, советским народом, и то, что предстоит осуществить, потребовало и требует большой концентрации сил. Об этом красноречиво говорят материалы сборника. Они охватывают широкий комплекс вопросов деятельности нашей партии и государства — от изложения фундаментальных, долговременных целей, четкого определения средств и путей их достижения до мельчайших деталей повседневной практической работы, реализующей задуманное.

Многообразие, масштабность наших дел и планов не самоцель, а средство сделать материальную и духовную жизнь людей еще краше, содержательнее. Эта мысль проходит красной нитью во всех выступлениях, статьях Л. И. Брежнева. И это составляет главный смысл внешнеполитической деятельности партии и Советского государства. «Свой священный долг мы видим в том, чтобы и впредь прилагать максимум усилий для того, чтобы не только мы с вами, но наши дети, внуки и правнуки не знали больше, что такое война» (выступление в Новороссийске при вручении городу-герою ордена Ленина и медали «Золотая звезда»).

Автор слышал, как однажды, работая над материалами в связи с предстоящими тогда переговорами с американскими руководителями, Л. И. Брежнев, вспомнив о виденном им в трудные послевоенные годы, поделился с присутствующими чувствами, какие владели им при виде женщин и подростков, убравших щебень, рывших котлованы: я сказал себе тогда, что эти люди, добывшие такой ценой победу, достойны лучшей доли, и мы, коммунисты, добьемся этого!

Экономическая политика партии — здесь сосредоточены основные усилия. Стержнем экономической стратегии КПСС является дальнейшее наращивание материальной мощи нашего государства, но наращивание не просто арифметическое, количественное. С большой силой убежденности во всех руководящих документах партии подчеркивается, обосновывается положение о важности упора на эффективность общественного производства, качество продукции, движение в ногу с темпами научно-технической революции. Это подводит прочный фундамент и под широкую социальную программу КПСС, от этого зависит успех экономического соревнования с миром капитализма.

Быстрый рост производительности труда, резкое повышение эффективности всего общественного производства, ускорение научно-технического прогресса, дальнейшее развитие сельского хозяйства как общенародная задача, увеличение производства товаров народного



потребления, развитие внешнеэкономических связей, совершенствование управления экономикой — на этих ключевых вопросах акцентируется внимание в работах Л. И. Брежнева, в деятельности штаба партии — Политбюро ЦК.

Логическим продолжением того главного, ключевого, что содержится в этом томе о задачах, выдвигаемых партией перед советским народом в хозяйственной области, являются публикуемые тут же приветствия и поздравления Генерального секретаря ЦК КПСС лучшим коллективам и труженикам, правофланговым громадой стройки, имя которой — Советский Союз.

И одновременно ведется строгий, принципиальный, взыскательный разговор о трудностях и недостатках — объективных и, так сказать, субъективных, коренящихся в проявлениях бесхозяйственности, разгильдяйства, в рецидивах мещанской, мелкобуржуазной психологии, мешающих нашему движению вперед, не позволяющих в полной мере использовать те громадные возможности, которые имеются для поступательного развития нашего общества. «Именно ответственный подход каждого гражданина к своим обязанностям, к интересам народа создает единственно надежную базу для наиболее полного воплощения принципов социалистического демократизма, подлинной свободы личности», — указывает Л. И. Брежнев.

«Демократия», о которой толкуют в эфире различные западные «голоса», нацеленные на страны социализма, связывается ими прежде всего с отрицанием ответственности человека — моральной, социальной — перед обществом. Не всегда решаясь выступать с открытым забралом против социалистического строя, такие зарубежные радители о «свободе» прибегают к более изощренным, но, по сути, одинаково злостным атакам на социализм, апеллируя ко всему, что может вызвать у отдельных людей обывательские, нигилистические, анархические чувства и настроения.

«Действительно свободный труд... представляет собой дьявольски серьезное дело» — это высказывание К. Маркса привел Л. И. Брежнев, выступая на XVII съезде ВЛКСМ.

И так же как труд не забава, так и звание гражданина не лицензия на «вседозволенность», на игнорирование и пренебрежение своими обязанностями в обществе и перед обществом. Мораль, которой мы руководствуемся, — сплав беззаветной преданности идеалам коммунизма и высокой гражданской ответственности, любви к своей социалистической родине и братской солидарности с трудящимися всех стран, коллективизма и непримиримости к нарушениям общественного долга. Все это, конечно, не устраивает идеологов и практиков крупного капитала, но сие от них не зависит. Партия придавала и придает величайшее значение вопросам идейного воспитания трудящихся, их всестороннему физическому и духовному развитию, формированию лучших черт человека эры социализма, утверждению всего светлого, гуманистического перед лицом цинизма, духовного опустошения, кумира торгашества, что демонстрирует и пытается экспортировать, навязывать другим странам система частного предпринимательства, особенно же в ее крайнем проявлении — современном монополистическом капитализме.

Проблемы идеологической борьбы в современном мире широко освещаются в речах и статьях Генерального секретаря ЦК КПСС. С наших самых высоких трибун снова и снова подчеркивается, что мы не только не против развития международного обмена ценностями культуры, обмена информацией в интересах мира и взаимопонимания между народами, а, напротив, мы всегда выступали и выступаем в первых рядах сторонников таких обменов, распространения всего

истинного и великого, что рождают, создают современная человеческая мысль, культура, цивилизация. Но мы были и будем решительно против подмены таких обменов проникновением и культивированием в нашей среде идей, нравов, чуждых и враждебных нашему строю, нашим идеалам.

«Разрядка международной напряженности отнюдь не отменяет борьбы идей. Это объективное явление» — так сжато сформулирован в выступлении Л. И. Брежнева 14 октября 1975 года на обеде в Кремле в честь президента Французской Республики тот неоспоримый факт, что в ходе сотрудничества государств с разным общественным строем не могут быть сняты вытекающие из этих классовых различий особенности. (Французский президент, между прочим, утверждал иное: по его словам выходило, будто развитие процесса разрядки должно вести к прекращению идеологической борьбы — тезис, опровергаемый, кстати, и самим поведением французской буржуазной прессы.)

Мы никогда не затушевывали тот факт, что рассматриваем борьбу за мир в органической связи с борьбой за цели и идеалы социализма, прогресса народов. Проблема состояла в том, что на протяжении целого исторического периода ведущие политические деятели капитализма никак не хотели отказаться от попыток разговаривать с нами языком силы, не переставали добиваться от нас односторонних уступок, оказывать по многим линиям нажим на Советский Союз и другие социалистические страны.

Парижская буржуазная газета «Фигаро», рассматривая весной 1973 года развитие процесса разрядки, констатировала, что Л. И. Брежнев «в конечном счете заставил европейцев и американцев прислушаться к своему голосу в тех областях, в которых они прежде ничего не хотели слышать... Новая эра разрядки напряженности и сотрудничества в значительной мере является его делом».

Читая и перечитывая то, что содержится в этом сборнике и относится к периоду, когда процесс разрядки вышел из «экспериментальной фазы», встал на прочную колею, приведшую Европу к форуму, которого еще не знала история — к встрече глав государств и правительств тридцати трех стран Европы, а также США и Канады, — к знаменательным сдвигам в советско-американских отношениях, позволившим уменьшить опасность развязывания термоядерного конфликта, наглядно видишь, убеждаешься, какие настойчивые усилия потребовалось приложить нашей стране и всему социалистическому содружеству, во-первых, для достижения перелома от «холодной войны» к разрядке, а затем для закрепления этого исторического поворота в международных отношениях.

Достаточно, например, напомнить об обстановке, сложившейся весной 1972 года в связи с усилением тогда операций американской военищины против патриотов Вьетнама. В только что вышедшей в США книге «Время иллюзий» ее автор американский журналист Джонатан Шелл, основываясь на новых материалах, ставших достоянием гласности, пишет, что к маю 1972 года «над миром пронеслась тень ядерной войны». Пленум ЦК КПСС обсудил проблемы, вставшие перед нашей страной в тот очень ответственный момент. И как показал весь последующий период, решения Пленума, в том числе и о проведении переговоров с президентом США на высшем уровне, были принципиальными, реалистическими, определили верный курс. США вынуждены были пойти на прекращение своей вооруженной интервенции в Индокитае. В борьбе за разрядку был достигнут перелом, отвечающий интересам всеобщего мира.

А борьба за созыв и успешное завершение совещания по безопас-



ности и сотрудничеству в Европе? Она заняла не один год, потребовала разносторонней, интенсивной работы. Тема совещания занимает одно из центральных мест в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, во внешнеполитической деятельности Политбюро ЦК в 1972—1975 годах. Успех этого форума — успех всех социалистических государств, объединенных узами равноправного участия в организации оборонительного Варшавского Договора. Единство братских социалистических стран, укреплению которого, как и вообще укреплению мощи социалистического содружества, КПСС придает первостепенное значение, наглядно демонстрирует свою силу и ответственность в современных условиях. В работах, выступлениях Л. И. Брежнева находит теоретическое и практическое обоснование последовательная деятельность нашей партии, государства, направленная на всемерное углубление, расширение связей дружбы, взаимного сотрудничества с братскими странами, упрочение наших общих позиций на международной арене.

Пожалуй, не было такого заседания Политбюро, на котором не рассматривались бы те или иные вопросы, связанные с укреплением единства и развитием сотрудничества с братскими странами, указывается в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии. Руководители компартий социалистического содружества имеют постоянные деловые контакты друг с другом. Регулярно проводятся многосторонние дружеские встречи генеральных и первых секретарей. Это позволяет советоваться по всем крупным возникающим проблемам, делиться друг с другом, как заметил на XXV съезде Л. И. Брежнев, радостями и горестями, совместно намечать пути дальнейшего движения вперед.

Особенно важным Политбюро ЦК считает принятую совместно с другими странами — членами СЭВ в 1971 году долговременную программу социалистической экономической интеграции. В повестке дня разработки и выполнение долгосрочных целевых программ. Конечно, в таком огромном и новом деле не может не возникать сложностей, но они решаются в ходе совместных усилий, на основе испытанных принципов социалистического интернационализма, равноправия, товарищеского сотрудничества.

С трибуны XXV съезда с большой силой прозвучал призыв КПСС и других коммунистических и рабочих партий к тому, чтобы хранить и пестовать принцип пролетарского, социалистического интернационализма, один из главных принципов марксизма-ленинизма. Это, как указывается в Отчетном докладе, нисколько не противоречит тому положению, что глубокое понимание общих закономерностей коммунистами в их борьбе, опора на них сочетаются с творческим подходом и учетом конкретных условий в каждой данной стране.

Состоявшаяся 29—30 июня этого года в Берлине Конференция коммунистических и рабочих партий Европы, принятый там единодушно документ имеют огромное значение для народов Европы, для всего мира. Рабочий класс, широкие трудящиеся массы, народы стран Европы обрели ясные цели, которые будут способствовать дальнейшему росту активности их борьбы за прекращение гонки вооружений, упрочение международной разрядки, за свои жизненные интересы. Конференция четко назвала главные революционные силы современности — социалистические государства, рабочее движение стран капитала, национально-освободительное движение, — способные вместе со всеми демократическими миролюбивыми силами преодолеть сопротивление реакции, предотвратить возникновение мировой войны. Эта встреча стала фактором укрепления взаимных связей братских партий европейского континента, развития интернационалистско-

го сотрудничества между ними на базе общепринятых норм взаимоотношений.

Голос Советского Союза, нашей Коммунистической партии, прозвучавший на этой встрече, это голос, зовущий народы, политические партии, общественные и другие организации, государства к тому, чтобы предпринять решительные шаги в ключевой для судеб мира области — по проблеме разоружения, разрядки в военной сфере. Все, кому дорого дело мира, кто активно выступает на этом поприще, могут с полным основанием сказать, что в лице Л. И. Брежнева они имеют неутомимого глашатая, борца за счастливое будущее нашей планеты. «Мало говорить о разоружении, пора переходить к конкретным соглашениям о сокращении военных приготовлений государств. Именно этого добивается Советский Союз», — заявил Л. И. Брежнев в Кремле на торжественном собрании, посвященном тридцатилетию победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Предложениям в области разоружения отводится ведущее место в программе дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, выдвинутой на XXV съезде КПСС. И подобно тому, как важнейшие задачи Программы мира XXIV съезда не остались на бумаге, а получили свое практическое воплощение, не может быть сомнений, что настойчивая, целеустремленная борьба КПСС, Советского государства за выполнение новых предначертаний, призванных коренным образом оздоровить обстановку в мире, также увенчается успехом. Это не просто благое пожелание. Усилия партии опираются на материальные, политические и другие возможности, какими ныне владеет наша страна, на потенциал мира и создания всего социалистического содружества, мирового коммунистического и рабочего движения.

«Мы еще не достигли коммунизма. Но весь мир видит, что деятельность нашей партии, ее устремления направлены на то, чтобы сделать все необходимое для блага человека, во имя человека. Именно эта высочайшая, гуманная цель партии роднит ее с народом, соединяет ее со всеми советскими людьми прочными, неразрывными узами». Эти слова заключительной части доклада, с которым Л. И. Брежнев выступил от имени ЦК КПСС на XXV съезде, находят красноречивое подтверждение во всей жизни советского народа, в деятельности Коммунистической партии, уверенно прокладывающей магистральный путь к высотам коммунизма.





---

---

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

## ИЗ КНИГИ «ДОРОЖНЫЙ ЗНАК»

### ВОЗРАСТ

Не то чтоб время подкосило  
Или случайно загрустил,  
Но легкость прежняя и сила  
Уже немалых стоят сил.

Зато и удовлетворенье  
В тревогах нового труда —  
От каждого преодоления...

Но в промелькнувшие года,  
Сквозь то, что мы зовем судьбою,  
Сквозь возрастные пояса,  
Все как бы шло само собою —  
Была такая полоса.

\* \* \*

Словно очнулся резко:  
Тишь над землей строга.  
Вогнутость перелеска,  
Сумерки и стога.

Женщина молодая,  
Дымный закат в реке,  
Долго не пропадая,  
Помнятся вдалеке.

Мир за окном небросок,  
Жить невозможно без  
Белых его березок,  
Бледных его небес.

\* \* \*

Опять стоит и смотрит старый,  
Как голубеет небосвод,  
Авоську со стеклянной тарой  
К сельмагу женщина несет.

Тревожно тянет ветром горьким,  
И даль заречная видна.  
В полях, особенно по взгоркам,  
Сугробы в пролежнях. Весна.

Стоит он у раскрытой двери,  
А голова давно бела,  
И жизнь его по меньшей мере  
Проходит, если не прошла.

### В ДЕТСТВЕ

Я прислушался к птичьей возне,  
Пронизавшей рассветный покой...  
Говорили, он умер во сне,  
Говорили, счастливый какой,  
Что он умер во сне.

Говорили, он умер во сне,  
Навсегда погрузившись во тьму.  
Может, это почудилось мне?  
Может, это приснилось ему,  
Что он умер во сне?

### НОМЕР

Тигр с верховий Уссури,  
Где по шею снега,  
Был подвергнут дрессуре —  
Та наука строга.

И, зачисленный в труппу,  
Что ему суждена,  
Примеряется к крупу  
Своего скакуна.

Миг — и, всплесков обрывки  
Мимо слуха гоня,  
Он сидит на загривке  
Вороного коня.

Вихри желтого праха.  
Громкой музыки ложь.  
И взаимного страха  
Неумная дрожь.

### КРУШЕНИЕ

Поезд с кручи упал.  
Тепловоз над ущельем повис.  
Искореженных шпал  
Целый штабель просыпался вниз.

Камня мощного скол.  
Глубоко, меж деревьями,— тьма.  
Поезд с рельсов сошел,  
Как порой сходят люди с ума.

### С ЯРМАРКИ

Годы катятся под уклон,  
Словно яблоки.  
Вечер землю берет в полон.  
Едем с ярмарки.

— Сколько лет вам? Всего полста?  
Просто гаврики!  
— Я ж не то чтоб совсем с поста —  
Только с ярмарки.

Ходкость плавного колеса.  
Сон — как в ялке.  
Чьи-то смутные голоса.  
Едем с ярмарки.

Были цветики до поры,  
Стали ягодки.  
Едем под гору да с горы  
Ночью, с ярмарки.

\* \* \*

Свободой пахнет весна.  
Отчетливей звуки трамвая.  
Деревья очнулись от сна,  
Друг друга с трудом узнавая.

Светился окошками дом  
Над черной рекою бульвара.  
Все было пустынно кругом,  
И только влюбленная пара,

Ведя разговоры свои  
Под этой безлиственной сенью,  
Сидела на спинке скамьи  
С ногами на мокром сиденье.

### ВОСПОМИНАНИЕ О ВЗМОРЬЕ

Снова на дюнах и улицах сыро,  
Но без конца ты прельщаться готов  
Яркою сочностью этого мира,  
Зеленью куп и развалом цветов.



Чистый и маленький рынок в Майори.  
Дождик в окне, и, полнеба закрыв,  
Блещет меж сосен холодное море,  
Или, вернее, холодный залив.

Редких машин запоздалые рыки.  
Поздно. Песок на твоём сапоге.  
И электричка ночная из Риги  
Круто бежит по приречной дуге.

\* \* \*

День выбило, как выбивает фазу,  
Как выбивает пробку на щите.  
День кончился, и я увидел сразу  
Дрожащую звезду на высоте.

И жизнь свою в сиянии неблизком,  
Упавшую на взгорке под огнем,  
И нынешним наполненную риском,  
Который нарастает с каждым днем.

Пока живешь и эту землю славил,  
Темнеет и становится свежей,  
И происходит выбиванье клавиш  
Достигнутых тобою этажей.



---

---

ИЛЬЯ ВЕРГАСОВ

★

## ОСТАНЕТСЯ С ТОБОЮ НАВСЕГДА... \*

Роман

15

**Я** с ненавистью смотрел на трубу, торчавшую над поселком, на ряды бочек с выжимкой, тянувшиеся вдоль длинной стены винодельческого завода. Бочки убывали — их крали: из выжимки гнали самогон. Представитель Винтреста, которому принадлежал завод, старался встретиться со мной не менее двух раз в день: утром, когда просыпался полк, и вечером, когда над поселком лихо перекликались солдатские гармони. Он пытался доказывать очевидное: что сырье для производства винного спирта растаскивается, что из подвалов исчезают бочки с уксусом. Мне очень хотелось убрать из поселка батальон Краснова. Но куда? Где найдешь более удобное место для подразделения с таким громоздким хозяйством: банями, дезинфекционными камерами, вещевыми складами?..

Я, Рыбаков и Сапрыгин подыскивали поле для тактических занятий. Молодой лесок, который раскинулся за толокой, от майского тепла забуйствовал, и под его кронами можно спрятать целый батальон. Чуть поодаль, за оврагом, еще лесок. Чем не лагерь?

— Ну что, товарищи офицеры, поднимем полк на летнюю стоянку?

Сапрыгин даже головой замотал:

— Никак нельзя. Ни воды, ни света...

— Сколько же вы, Александр Дементьевич, в армии прослужили?

— Двадцать с хвостиком, Константин Николаевич.

— И всегда над вами электрический свет полыхал и в кранах вода журчала?

— А разве это предосудительно?

— Я совсем о другом.— Посмотрел на кирпичную трубу, торчавшую над поселком.— Мой комполка в мирные дни поднимал полк по тревоге и после сорокакилометрового броска приказывал разбивать лагерь. Строили его — ладони в кровавых мозолях. А потом жили — не тужили, из растяп солдат делали. И воздух был над нами чист.— Я посмотрел на часы.— К шестнадцати ноль-ноль прошу собрать офицерский состав полка. А пока,— я натянул повод,— на рекогносцировку!

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

Да неужто передо мной те же офицеры, что были на толоке? Белые подворотнички, отутюженные брюки, сапожки надраены — хоть смотрись в них, как в зеркало. Весна!

Расселись в учительской, ждут, что скажет начальство.

Не успел я и рта раскрыть, как вошел старший лейтенант Петуханов, посмотрел на часы.

— Прошу прощения, товарищ подполковник. Опоздал на четыре минуты, ровно на четыре...

Он стоял по всем правилам, только в глазах предательский блеск.

— Вы пьяны?

— Никак нет! У меня, так сказать, день ангела...

— Выйдите, старший лейтенант.

— А меня гнать не надо. Мне сам генерал Толбухин орден вручал...

— Дежурный по полку, попросите старшего лейтенанта Петуханова удалиться, — приказал я, сдерживая себя.

— Сам уйду, чего уж. — Поворот кругом, слегка наклон вправо — и с силой хлопнула дверь.

Нависла неловкая тишина.

— Комбат Шалагинов!

— Есть Шалагинов! — Шагнул ко мне, откинув непокорный чуб, который тут же улегся на прежнее место.

— Давно стриглись, капитан?

— Так растут же, товарищ подполковник...

Кто-то в зале хихикнул и тут же замолк.

— Старшего лейтенанта Петуханова от командования ротой отстранить и направить в армейский резерв.

— Лучший офицер батальона...

— Садитесь, комбат. Товарищи офицеры! С завтрашнего дня — лагерная жизнь...

Расходились молча. Кое-кто косо поглядывал на меня. Рыбаков шел рядом, угрюмо помалкивая.

— Перегнул, что ли?

— Ну выговор бы, а то — бац! — в резерв. Размахивать кнутом не самый лучший прием.

— Ну хорошо, хорошо, подумаю... А сейчас пойдем ко мне. У меня ефрейтор — чудо. Да пошли же, — потянул Рыбакова за собой.

Касим Байкеев с таким усердием взялся за службу, что я уж и не рад был, что вспомнил о нем. Хозяйничал, без зазрения совести командовал ефрейтором Клименко. Тот, бедолага, вытаращив глаза, выбежал из нашей хатенки и возвращался то с охалкой сушняка, то с двумя цибарками, доверху наполненными водой. В моей комнате навели такой порядок, что я боялся и шаг ступить. Нечаянно швырнешь окурок на пол, встретишься со взглядом Касима — и скорей поднимать.

Нас ждал накрытый стол и Касим с полотенцем в руках. Мы с удовольствием умылись.

— Кури одна-другая минута, я сейчас.

Мы сели на завалинку, подставив лица солнцу.

— Разбитной парнишка, — сказал Леонид.

— Да, хлопотливый.

— Вот у Стрижака был специальный повар, столичный.

— Из «Иртыша», что ли?

— Шнебель-клопсы делал — пальчики оближешь.

— Шнебель-клопсы, выезды, медички... Давай, замполит, разоружаться.

— Начать с меня хочешь?

— Сам начнешь.

Леонид Сергеевич замылся, что-то хотел сказать, но в это время появился Касим:

— Пожалуй, командир, пожалуй, комиссар, иди салма кушать.

Салма — лапша на густом курином бульоне, со свежим укропом — сама просилась в рот. Потом Касим подал еду под диковинным названием перемечь — вроде беляши, но вкус, вкус! Сок по подбородку так и течет. Леонид Сергеевич, видать, едок отменный. Касим едва успевал подавать перемечи и откровенно радовался, что его кухня пришлась нам по вкусу.

Поели, покурили всласть. Леонид поднялся с места и посмотрел в окошко:

— Иди-ка полюбуйся.

Под тополем в выжидающей позе стоял капитан Шалагинов. Чуб укорочен, сам подтянут, собран.

Я распахнул окошко:

— Капитан, шагайте к нам!

Вошел, лихо щелкнул каблуками.

— Садись, комбат.

Он несмело опустился на краешек табуретки, продолжая держать руки по швам.

— Ты и у себя так сидишь? Командир батальона, черт возьми! Восемьсот подчиненных...

Умостился поплотнее, одним духом выпалил:

— Прошу старшего лейтенанта Петуханова оставить на роте!

— Как поступим, комиссар?

— Как решишь, ты командир.

— Пусть командует... пока. Приеду к нему в гости — решу окончательно.

— Есть! — Шалагинов козырнул и выскочил из хатенки.

— Дети, честное слово, — улыбался Рыбаков.

Сколько же в сутках минут? Двадцать четыре на шестьдесят. Десять на шестьдесят — шестьсот, а потом...

Клюю носом в седле, то и дело спотыкается мой дружок Нарзан, а бедолага Клименко свалил голову на шею коня и откровенно храпит.

Неделя — кошмар... Лица, лица, лица. Господи, со сколькими же я переговорил! Сколько солдатских судеб прошло. В полку восемь тысяч личного состава, а отобрать тысячу оказалось труднее, чем из одной необученной роты сформировать учебный взвод. За эту неделю офицеры мои сбросили вес, как сбрасывают после стокилометрового марша. За своей спиной я как-то услышал: «Бешеный»...

Еду инспектировать Петуханова, хотя тело просится в землянку, на лежак со свежим сеном. Блеснул родник. Я с коня — и голову под струю. Ух как обжигает!

— Старина, давай-ка под прохладу!

— Та вона щечоча...

Километровый аллюр окончательно сбил с меня сон, в роту Петуханова прибыл в форме.

— Смир-рно! Товарищ подполковник, вторая рота учебного батальона на пятиминутном раскуре! — громогласно докладывает Петуханов.

— Построить!



Слежу за бегом стрелки секундомера. Пятьдесят пять секунд. Молодцы! Иду вдоль строя, заглядываю каждому в глаза. Подтянуты, плечо к плечу. Спросил у ротного:

— Чем собирались заниматься?

— Штыковым боем.

Взводы рассыпались по отделениям. Раздаются команды: «Колли!», «С выпадом вправо, коли!» Голоса молодые, задорные. Двигаются споро, с жаром. Среди всех выделяется огромная и в то же время легкая, пружинистая фигура Петуханова. Вот он взял винтовку и прямо-таки атлетическим приемом показал, «как надо».

Обедал с курсантами, и надо сказать, что набившие оскомину американские консервы с гречневой кашей оказались вкусными.

Передохнули с часок, потом приказал выстроить роту в полном боевом. Ни шума, ни толкотни. Пятикилометровый марш за час, отставших не было. Подкачали позже — в стрельбе. Петуханов не отчаивался:

— Дайте неделю — гвоздить будем по черному кругу!

Вернувшись в лагерь, после чистки оружия пели строевые песни. Не очень ладно, но от души. Запевал сам Петуханов.

Остался до отбоя — хотелось поближе узнать его. Он не удивился, сказал как равный равному:

— Сварганю ужин — на сто богов!

Интересно: все у него как по-писаному.

— Готовился к встрече, Петр Иванович? — Смотрю в глаза. — Знал, когда явлюсь?

— Никак нет.

На фанерном ящике появилась крохотная клеенка, консервы, вскоре писарь внес жареную картошку. Ротный аппетитно потер ладонь о ладонь, спросил:

— Ну как?

— Обойдется. — Я понял, что стояло за его вопросом.

— В гости со своим уставом не ходят, так, товарищ подполковник?

— Нажимай на еду.

Лицо моего хозяина стало обиженным, как у ребенка, которому неожиданно отказали в сладком. Мне было его жаль, и я томился симпатией к нему.

— Ну и повар у тебя — пальчики оближешь.

— Так сам подбирал.

— А ты все же хвастун.

— Я волжанин, у нас — размах. Стерляжью уху едали?

— Не приходилось.

— Жизнью обойдены, товарищ комполка. Бывало, под грозу сети закинешь — есть рыбка! Уха тройная. Ее в деревянную посудину, с лучком, с чесночком, ну и водочки, конечно. А как же! Объединение! Вот кончим войну — к нам в гости на Волгу, в Жигули. И женка у меня — во! А пацанки — волосы чистый лен. У нас народ веселый, озорной; фамилии: Грабановы, Аркановы, Разгуляевы, Петухановы. Иной как свистнет — оглохнешь. Живут у нас весело и расеянно...

— А без водки можешь? — перебил его идиллические воспоминания.

— Все могу. Могу даже быть счастливым от самого себя!.. А что? Вообще-то, товарищ командир, я тут подзастыл...

— Потому и куражишься?

— Шут его знает — многие пьют, а я попадаюсь. Натура подво-

дит. Мы жигулевские, у нас на пятиалтынный квасу — на рубль плясу. Просторные. От Волги, чать...

Не спится, думаю о Петуханове. Крепкий мужик, притягательный. «Живут у нас весело и рассеянно». Рисуется или вправду «подзастыл»? Четвертый год войны, краснознаменец, а вот дальше роты не пошел. Почему?.. Повернулся на бок, ладонь под подушку и незаметно уснул.

— Ой, начальник, беда!

Я вскочил от крика. Касим протягивал мне телефонную трубку.

— Что такое? В чем дело?

— Докладывает командир приемно-распределительного батальона старший лейтенант Краснов. На винном заводе на посту убит наш часовой.

— Убит? Кем? Как?..

Молчание.

— Кто убил часового?

— Старший лейтенант Петуханов...

— Что-о?!

## 16

Ночь темная, звезд нет. Нарзан тянет повод. Копыта зацокали по мостовой. Под черным силуэтом трубы мелькнул огонек, выхватил из ночи ряды бочек, часть заводской стены, упал на склонившегося человека.

— Сюда, товарищ подполковник,— позвал встревоженный голос.

Спешился. Медленно иду по каменистому настилу, освещенному узким пучком света, который тянул меня как на веревке.

Молча расступились, свет упал на молодое солдатское лицо. Оно смотрело в черное небо и было до удивления спокойным. Кто-то за спиной шепнул:

— Одним ударом, наповал...

— Где Петуханов? — спросил у Краснова.

— У меня в штабе.

Резко толкнув дверь, я вошел в полутемную комнату. Свет от шестилинейной керосиновой лампы косо ложился на сгорбившегося Петуханова. Он даже не поднял головы.

— Встать!

Покорность, с которой он стоял передо мной и которая была так несвойственна ему, сразу же меня обезоружила. В его осунувшемся, посеревшем лице, во всей как бы сразу уменьшившейся фигуре была полная отрешенность от всего, окружавшего его. Я физически ощутил, как на меня накатывает непрошенная жалость.

— Закури,— протянул ему пачку папирос.

Он отрицательно качнул головой.

Я вышел в ночь, все такую же беззвездную и тихую. Старший лейтенант Краснов подвел мне коня.

— Вызовите полкового врача и обеспечьте необходимую охрану.

Вдев ногу в стремя, я с трудом поднял отяжелевшее тело в седло. Отпустил повод. Нарзан сам привел меня в лагерь.

Клименко, набросив на плечи одеяло, ждал меня у порога землянки. Взяв повод, увел коня в стойло.

Светлели оконные проемы, под пробуждающимся ветерком качалась пышно расцветшая белая сирень...

Двое суток шло следствие, а на третьи в полк прибыл армейский военный трибунал.

Зал суда крошечный, но без толкотни вместились в него все офицеры полка. На возвышении, за столом, крытым красным полотнищем, сидел военный трибунал во главе с председателем — полковником. Он сказал:

— Введите подсудимого.

Петуханов внешне казался спокойным, но в его глазах было то, что бывает в глазах русского человека, когда он, смирившись со своей участью, приготовился принять все неминуемое. На вопросы отвечал ясно, коротко, ни в чем не выгораживая себя.

— Я вас не понимаю, что значит «пропустил на радостях»?

— Выпил, значит.

— И что же это были за радости?

— Командир полка инспектировал роту, похвалил нас.

— И вы ему преподнесли подарочек?

В зале никто не улыбнулся.

— Что же дальше?

— Пошел к хозяйке, у которой жил до лагеря. Выпивки у нее не нашлось, а нутро жгло. Пошел к винзаводу...

— А что вас повело туда?

— Слышал, что там припрятан винный спирт...

...Окрик часового: «Стой, стрелять буду!» — остановил его. «Слушай, парень, я на минутку, я только...» — умолял его Петуханов. «Не подходи, выстрелю!» — щелкнул тот затвором. «Ах ты сопляк, в кого стрелять?! В меня?!» Слепая, неудержимая сила бросила его к постовому, стоявшему у стены. Он вырвал из его рук винтовку — ее нашли метрах в двадцати — развернул плечо и пудовым кулаком ударил в висок... Часовой медленно ничком повалился на землю. Петуханов перевернул его на спину, лицом к небу — тело было тяжелым, неживым — и крикнул: «Эй, люди, люди!» Побежал к той части здания, где спал комбат Краснов, забарабанил в дверь: «Митя, Митя... Я убил человека»...

Читали приговор военного трибунала.

Расстрел!

Офицеры расходились. Многие шагали молча, угрюмо...

Утром меня и замполита вызвали к командующему. Генералы Гартнов, Бочкарев, полковник Линева молча смотрели на нас, стоявших навзятжку перед ними.

После долгого молчания Бочкарев с горечью сказал:

— Перед нами выбор: расстрел или штрафная рота.

Командарм полусогнутым костлявым пальцем ударил по столу.

— Пусть и они думают! — кивнул на меня и Рыбакова. — Завтра в десять ноль-ноль быть здесь. Скажете свое мнение: расстрел или штрафная рота.

Тянусь к очередной папиросе.

Петуханов... Волгарь, красив как черт, не из робких. Кое-кто из офицеров уверен: не поднимется на него карающий меч, смягчат приговор — пошлют в штрафное подразделение. А там он не пропадет — не из таких!

А из каких? Что я знаю о нем? Инициативный дежурный по полку, опытный ротный офицер... А под глазами мешки — пьет... И та ночь... Молоденький солдат, мертвым лицом уставившийся в небо. Молоко

еще на губах не обсохло. В атаку таких с умом посылать надо — их часто убивают в первом бою...

Ничто не остановило Петуханова... «Меня гнать нельзя — мне сам генерал Толбухин орден вручал... Могу быть счастливым от самого себя!..» Не это ли преувеличенное представление о значении собственной личности, о том, что ему все позволено, все доступно, и полное равнодушие к чьей бы то ни было судьбе, кроме своей, привело его к такому трагическому финалу? Ведь он не только человека убил, нет — он замахнулся на полк, на своих товарищей — офицеров-фронтовиков, многие из которых пролили кровь на поле боя, а теперь учат солдат военному мастерству...

Думаю, думаю... На руке тикают часы. Снял их, сунул под подушку. Затихли все звуки, лишь где-то далеко за балкой ухает сова... Не спится. Сел, обнял колени, смотрю в черный угол землянки. Сажу так долго-долго в смутном состоянии между явью и сном.

Торопливо накидываю на плечи шинель и выскакиваю на полковую линейку. Метрах в пятистах — землянка майора Астахова. По годам он старше меня, опытнее. Тогда, на толоке, показался мне человеком независимым, мыслящим самостоятельно. Как он решает судьбу Петуханова? Его он наверняка знает лучше меня.

— Разрешите, Амвросий Петрович.

— Одну минуту, оденусь.

— Ненадолго загляну.— Откидываю плащ-палатку, закрывающую вход в землянку.

Астахов зажег свечу. Он в гимнастерке, которую наспех натянул на себя, в кальсонах; тощие ноги свисают с высокого лежака.

— Позвольте одеться, я так не могу.

— Извините.— Я отвернулся.

Он быстро оделся.

— Все в порядке, Константин Николаевич.

— Трудно, Амвросий Петрович... Завтра ждѹт, что я скажу о Петуханове. Вот побеспокоил среди ночи, не обессудьте...

— Я закурю, пожалуй.

Он пальцем вытер запекшиеся уголки губ, потянулся к кисету, скрутил козью ножку. Докурил ее до конца, смял окурки. Молчит...

— Я, конечно, познмаю,— начал я,— то, что совершил Петуханов...

— А если понимаете, товарищ подполковник, так в чем же тогда сомневаетесь?

— Боюсь высказать поспешное, неправильное мнение...

— Считаете, что трибунал допустил ошибку?

— Но тогда почему некоторые офицеры сочувствуют Петуханову?

— Их не так уж много. Одни за себя стоят — за право застольного приятельства. Другие жалеют. У нас любят жалеть. Жалеть куда легче, чем понять, что стоит за таким трагическим случаем, и принять правильное решение... Прошу прощения, товарищ подполковник, но уже далеко за полночь...

На рассвете услышал голос замполита:

— К тебе можно?

— Заходи.

Лицо у Рыбакова серое, под глазами черные круги.

— Что завтра скажем, командир?

— А вот так: у командарма каждый выложит свое. Ты — свое, я — свое.

— Разве так можно? Мы же в одной упряжке...

— В одной, верно. Только ты к своему хомуту давно притерся, а на моей шее кровавые садины...



Рыбаков взял со стола стакан с водой, отхлебнул глоток и поперхнулся. На глазах выступили слезы.

— Я со всей ответственностью заявляю: мы обязаны дать Петуханову возможность кровью искупить свою вину. Главное в жизни каждого человека — не совершить ошибку, исправить которую невозможно! — Замполит со страстью, которой я в нем не подозревал, наступал на меня. — Ты же знаешь Петуханова. На нем нельзя ставить крест!

— А поймут нас те, кому завтра шагать в бой, простят нам того, убитого? Штурмовой — это ведь все-таки помилование...

— Я лучше тебя знаю полк!

— Знал бы — человека в полку не убили бы.

— Вали все на меня, давай! Только настанет час, когда ты пожалеешь, что пошел на такой шаг. Сам себе не простишь.

— Запугиваешь? Все ходишь кругами, кругами... Иди к себе! — Я выскочил из душевной землянки.

Шагаю по росистому полю. На северо-востоке натужно выползает мутный солнечный диск. На окраине линейки — у палатки дежурного по полку — на скамейке сидел лейтенант Платонов. Вскочил, пытается отдать рапорт.

— Не надо. Садись, лейтенант, покурим лучше.

По-разному сидят офицеры перед начальниками. Одни на краешке стула, готовые тотчас вскочить; другие умащиваются поплотнее, довольные тем, что их усадили. Платонов сидел с достоинством. Серые, чуть навывкате глаза смотрели серьезно, умно.

Он докурил. Молчание затягивалось.

— Раны у тебя тяжелые?

— Разные...

— Водку пьешь?

— Бывает...

— Петуханов говорил: «Многие пьют, а я попадаюсь».

— Попадается тот, кто глаза мозолит... — Посмотрел на часы. — Через десять минут побудка. Разрешите выполнять обязанности?

Я спешу в свою землянку — скоро нам с замполитом подадут лошадей.

Ясно одно: личные симпатии и антипатии к Петуханову оставь при себе. Твое предназначение — защищать нравственное здоровье полка.

Мы молча ехали вдоль лесной полосы, цвирикали какие-то птички. Далеко за Днестром ворочался фронт.

В кабинете командарма были Бочкарев, Линев и Валович, который, опершись локтями на приставной столик, что-то вычерчивал на карте.

Гартнов, рассматривая меня и замполита, кашлянул в кулак.

— Думали? Говорите! Ты, командир?

— Расстрел!

Валович удивленно поднял голову.

— А ты?

Рыбаков, вобрав воздух, выдохнул:

— В штрафной!

Гартнов ладонью ударил по столу:

— Расстрел! В присутствии офицеров полка расстрел! Все, идите!

У меня не было сил тронуться с места.

— Еще что, подполковник?

— Прошу привести приговор в исполнение не в зоне части.

— Выполнять приказ! — Командующий надел очки, по-стариковски уселся, посмотрел на Валовича. — Прошу оперативную сводку...

...Солнце — кубачинский медный таз — плыло в небе, исподволь подсвечивая акации, молодо пляшущие вокруг огромной травянистой поляны.

Офицеры полка собирались под деревьями. Молчали. Не курили. Приглушенный сапрыгинский голос:

— Товарищи офицеры... Ста-а-а-нови-и-ись! — Он вытянул вперед правую подрагивающую руку.

Выстраивались бесшумно.

Над поляной птичий гомон. Строй до колен утопал в высокотравье.

Головы всех без команды повернулись влево: на излучину полевой дороги выползала плоская телега. На ней на клоке сена сидел Петуханов. Длинные ноги его качались в такт ходу упряжки. Телега остановилась метрах в ста от строя. Комендант штаба полка с автоматом навскидку подошел к Петуханову. Тот соскочил, заложил руки за спину, не спеша оглянулся вокруг.

Его поставили перед строем — выбритого, с порезом на верхней губе, аккуратно залепленным бумажечкой.

Майор из военного трибунала четко и громко прочитал утвержденный командармом приговор...

...На рассвете Нарзан нес меня степной дорогой. Невольно взгляд мой остановился на свежей могиле. Сопровождавший меня Клименко украдкой перекрестился.

## 17

Подъем, зарядка, завтрак. Все минута в минуту, как и положено по распорядку дня. По полковым сигналам часы сверяй.

Усердные команды взводных и старшин раскатывались по полям, на солдатских спинах выбеливались гимнастерки. В двадцать два нольноль батальоны засыпали. От мощного храпа, казалось, шевелились листья на деревьях. Меж землянками и лагерными палатками тихо шагали дневальные — стерегли покой.

Порой мне казалось, что здесь работает хорошо смазанная и налаженная машина и я будто знаю, как действует каждая ее часть. Но было и такое ощущение, что этот мощный механизм вертится-крутится независимо от того, нахожусь я при нем или нет.

Знаю: под лежачий камень вода не течет. Дело делать — главное. Замполиту — свое, Сапрыгину — маршевые роты, а мне — поле, стрельбище, строевой плац. В боевых полках ждут грамотных младших командиров. Ты помнишь, кем был для тебя, солдата-первогодка, отделенный? На всю полковую жизнь ты смотрел его глазами до тех пор, пока он, твой самый непосредственный начальник, не научил поле переходить, окоп вырыть в полный рост, все три пули положить в черный круг мишени. Только тогда ты увидел и понял, как по фронту разворачивается взвод, как шагает рота на встречный бой.

Светает, на кленовых листьях роса. Спят солдаты молодым сном, в землянках свежо, пахнет цветущей акацией. Дежурный по батальону, придерживая кобуру нагана, останавливается в трех шагах, тихо рапортует:

— Товарищ подполковник, второй батальон спит, дежурный — лейтенант Карпенко.

— Здравствуйте, лейтенант.

— Разбудить комбата?

— Я здесь! — кричит капитан Чернов, на ходу застегивая ремень. — Через пять минут подъем, товарищ подполковник.

— Здравствуйте, капитан.

Ответное рукопожатие крепкое; улыбается, обнажая редкие зубы:  
— Вот и к нам пожаловали, а то все мимо да мимо.

Вдали — на левом фланге лагеря — полковой сигнарист затрубил побудку. Раздались команды:

— Выходи на зарядку! Быстрей, быстрей! Отделение, за мной оегом!..

Я не вмешиваюсь, но мое присутствие сказывается: младшие командиры надрывают голоса, много суеты. В первой роте кто-то задевает пирамиду — падают винтовки.

— Растяпы, запорют мушки! Только-только пристреляли! — Комбат срывается с места.

А по всей поляне уже несется:

— Вдох! Выдох!.. Выше ногу!.. Бегом к умывальнику!

Возле умывальника — узкого корыта из оцинкованного железа, — вытянувшегося под молоденькими кленами, толпятся солдаты. Кому удается холодной водой облиться до пояса, напором выбирается из толчеи, вафельным полотенцем докрасна растирает молодое, еще не задетое войной тело.

Минут через десять выстраиваются во взводные колонны, старшины рот требуют: «Выправочку! Разгладить гимнастерки!» Дежурный офицер, отдав команду: «Смирно! Нале-оп!» — докладывает:

— Товарищ подполковник, второй стрелковый батальон выстроен. Разрешите вести на завтрак.

— Ведите.

— Поротно, с песнями, шаг-гом ар-рш!

Запевалы без азарта размыкают голоса, роты подхватывают недружно, сбивается строй.

— Песни отставить, шире шаг! — приказывает комбат громко и, повернувшись ко мне, как бы оправдываясь: — Всему, в том числе и песне, есть время и место...

Роты скрываются за леском, шагая к низине, где стелется дымок полевых кухонь.

— А мы в мою землянку, подкрепимся, что бог послал, — приглашает Чернов по-хозяйски.

— Пойдем лучше посмотрим, что бог послал в солдатский котел.

Каша пшенная жиденькая, кружок заморской колбаски невелик, чай пахнет веником.

— Капитан, подкормить бы солдат, а? Неплохо бы зелень и еще что-нибудь. — Смотрю в неподвижные рыжие зрачки Чернова.

— Личного капитала нет, а менять кильку на тюльку, — приподнимает острые плечи, — можно угодить, куда — сами знаете...

Сейчас в его глазах множество оттенков, при желании можно прочитать и такое: уж вы, дорогой товарищ, оставили бы нас, сами справимся.

— Так что там у вас по распорядку учебного дня? — спрашиваю.

— Десятикилометровый бросок с полной выкладкой, затем боевая стрельба по первой задаче.

— Действуйте, считайте, что меня здесь нет.

— Зрение и слух не обманешь. — Он улыбнулся.

— Работайте, капитан.

Строятся роты на вытопанной пустоши. На солдатах вещевые мешки, скатанные шинели, саперные лопаты, по два подсумка и по три гранаты без запалов. Тут собираются совершать тяжелый марш. Солнце еще невысоко, но припекает. День будет знойным. Колонны рота за ротой потянулись к дороге.

Батальон быстро удалялся, поднимая пыль, которая тут же оседала. Клименко спешит ко мне, ведя на поводках коней.

— Обождем, старина, пусть возьмут разгон.

Медленно двигалось к зениту раскаленное солнце. Небо без птиц, без голубизны; в мгlistом чреве его гудит одинокий самолет.

Нарзан просит повод. Идем по стерне на подъем, под копытами шныряют юркие темно-зеленые ящерицы. Батальон, окутанный пылью, стремительно движется на юго-запад, туда, где в колышущемся мареве проглядывается узкая лесная полоска. Вот и хвост колонны... Кто-то, прихрамывая, тащится по обочине; отстающие, заметив меня, рывком догоняют замыкающих. Лица красные, в глазах усталое напряжение, на гимнастерках черные пятна пота. Солдат сидит на стерне и разматывает портянку. Рядом конь с седоком, с головы до пят покрытый пылью.

— Говорю, в строй, немедленно!

— Та не могу я, рана у меня распарилась. Глядите.— Солдат поднимает оголенную ступню.

— Подошлю фельдшера, но смотри, ежели вошьнишь, к самому комбату представлю! — Верховой стременами горячит коня.

Вот те и на, да здесь целая кавалерия! Взводные и ротные без походной выкладки носятся на лошадях, с боков сжимая строй.

Я спешиваюсь, приказываю Клименко вести лошадей, а сам обгоняю взвод за взводом, пока не добираюсь до головы колонны. Командую:

— Реже шаг! Держать дистанцию!

Ко мне пристраивается комбат, молча идет нога в ногу. Минут двадцать я сдерживаю марш, а потом набираю привычные сто двадцать шагов в минуту.

— Привал!

Останавливаю колонну возле большой лужайки со старой ветлой посередине, защищающей от солнца степной колодец с воротом.

— Капитан, пошлите за фельдшером.

Чернов отдал распоряжение, вернулся и, спокойно выдержав мой взгляд, ответил на незаданный ему вопрос:

— За всех отставших наказание понесут кому положено.

— Ваши офицеры уже спешились?

— Многие фронтовики, после госпиталей...

— А солдат в батальоне после госпиталей разве нет? Или одним поблажка, другим поклажка?

— В том, что офицеры в седлах, прямой расчет. На одном деле поблажка, на другом — сто потов.

Подошел пожилой старшина с санитарной сумкой через плечо.

— Чепе есть? — спросил я.

— Откуда они у нас, товарищ начальник... Трое потревожили рабы, а два дурня пилотки снимали, вот и солнышком их прихватило... Комбат слушал фельдшера спокойно, без смущения.

Четвертый час в батальоне, а ощущение такое, что я здесь лишний довесок. Комбат и офицеры его поступают и живут так, как жили и поступали день за днем, месяц за месяцем. Это хорошо или плохо? Не излишне ли требователен комбат?..

Раздался сигнал «внимание!».

— Разрешите начать стрельбы?

— Начинайте, капитан, если время.

В самый зной, под едва доносящиеся издали раскаты грома захлопали винтовки. Слышны отрывистые команды, бегут старшины, чтобы поправить сбившиеся мишени; стрелковые отделения на линию огня ползут по-пластунски; по сигналу «отбой!» офицеры спешат к мишеням и, возвращаясь к комбату, докладывают о результатах стрельбы. Кто-то не попал в мишень — его ведут к комбату.

— Из чего отлита пуля? — спрашивает Чернов.

— Из свинца, товарищ капитан.

— Ее вес?

— Девять граммов.

— Как же ты двадцать семь граммов дорогого металла послал в никуда? Еще промажешь — штрафная...

Стрельбы завершились под сильным ливнем, роты уходили в лагерь. Мы с Черновым, обогнав колонны, доскакали до штаба батальона.

— Обсушимся, товарищ подполковник? — Он позвал ординарца. — Вынеси наши плащи и... сообрази.

— Мне бы чайку погорячее, — попросил я.

Мелкими глотками отхлебывая из кружки, я посматривал на комбата. Сидит увесисто, независимо, широко расставив ноги, курит.

— Давно в запасном, Аркадий Васильевич?

— С основания, с товарищем Сапрыгиным прибыл.

Я отодвинул кружку, встал.

— И подъем и марш со стрельбой в основном не придерешься. Но какой все это ценой? На износ работаете, капитан.

— Так вся война на износ. — Чернов поднялся и стоял подчеркнуто по стойке «смирно».

— Не хотелось бы вам самому поднять роту в боевую атаку?

— Я не страдаю оттого, что меня не посылают на передний край. Мой опыт нужнее здесь.

— А вы не забыли еще, комбат, куда отскакивает гильза после двадцатого подряда выстрела?

— Застрелает в затворе...

## 18

Полк работает. Испепеляющее солнце, внезапные ливни, которыми богато нынешнее парное лето, изнуряют. Кожа на мне задубела, от частого курения пожелтели зубы. А коновод старина Клименко до того загорел, что стал похож на кочующего по степям цыгана. Бедолага, порой ждет меня и ждет, чаще всего на солнцепеке, не смея спросить, как надолго задержусь, не решаясь напомнить, что уже давно пора «подзаправиться».

Возвращаемся в лагерь, нас встречает сердитый Касим, с укором поглядывая на Клименко, будто он и есть главный виновник того, что «товарищ командир» вовремя не позавтракал, не пообедал... Слышу диалог:

— Шайтан, зачем командиру не сказала — кушать надо?

— Який смилый, пиди сам и скажи.

— Ты боялся, да?

— Тю, дурень. Работы у нас богато.

— Большой курсак — большой работа.

Я крикнул:

— Эй, Касим-ага! Чем угостишь?

— Курица есть, молоко есть... За твои деньги купила.

— Тащи на стол. Старина, присаживайся.

Клименко, стыдливо зажав подбородок, отвел глаза:

— Та я вже поив...

— Слушать начальство!

Вдвоем так разошлись, что от курицы и костей не осталось — зубами перемололи.

— Спасибо, Касим-бей.

— Одна минута, обожди. — Выбегает из землянки и возвращается с миской, полной спелых вишен.

— Ай да молодец! Откуда?



— Капитан Чернова давала, сказала: «Корми начальника, а то худая спина».

Чуть не поперхнулся. Ну и ну!..

Утром задержался в штабе, просматриваю личные дела офицеров второго батальона. Капитан Чернов... Кадровый, в боях не участвовал, награжден орденом Красной Звезды... Его подчиненные — фронтовики, но есть и такие, что в запасном полку со дня его основания.

Вышел на крылечко и столкнулся с майором-порученцем от генерала Валовича:

— Весьма срочно, товарищ подполковник! — Вручил пакет.

Требуют четыре маршевые роты, сегодня же. Связываюсь с Сапрыгиным, тот с готовностью отвечает, что ждет нас в Просулове. На рысях идем на площадку перед винным заводом, где прощаемся с уходящими на фронт солдатами.

Роты уже выстроены и оркестр на месте. Сапрыгин шагает к нам навстречу, докладывает, что все готово на марш.

Поражаюсь: каким манером ему удастся опережать события?

Обходим строй. Солдаты одеты по форме, обуты в кирзу; в вещевых мешках двухсуточный запас продовольствия. Ни жалоб, ни претензий. Вглядываюсь чуть ли не в каждого, хочу понять, что унесут они от нас на линию огня.

Играет оркестр. Роты, разворачиваясь вправо, выходят на дорогу. Пошли ребята нога в ногу — в бой пошли!.. Не свожу с них глаз, пока замыкающая шеренга не скрывается за горящим холмом.

Ушел оркестр. Мы с Сапрыгиным вдвоем на пустоши.

— Сколько, Александр Дементьевич, можно еще выставить маршевых рот?

— Трудно сказать. По мере поступления солдат из госпиталей.

— Значит, полк вчистую вымели. Пора, наверно, кое-какие итоги подводить. Хорошо вы поработали, Александр Дементьевич. Я уж и не знаю, как бы мы без вас...

Сапрыгин с удивлением посмотрел на меня:

— Непривычно, Константин Николаевич, слышать из ваших уст такие слова. Признаюсь откровенно, последние дни я жил с банальнейшей мыслью: вы хотите избавиться от меня...

— Было такое желание, не скрою.. Но вот шагают наши ребята по пыльной дороге на фронт обученные, одетые. Верю, что командиры боевых частей не предъявят вам претензий.

— Почему мне? Всему полку, наверное...

— Пусть будет так. Позавчера я весь день провел в батальоне Чернова. Как он, соответствует занимаемой должности?

— Трудный офицер, но знающий. И спуску никому не дает.

— Он строг или жесток, как вы думаете?

— Со дня рождения части он у всех на глазах, и, кажется, никто не примечал, чтобы он превысил свои полномочия.

— Спасибо, постараюсь узнать его поближе.

Сапрыгин, широко улыбаясь, вытащил из кармана безукоризненно отглаженного галифе серебряный портсигар с выгравированной надписью.

— Именной? — спросил я.

— От Военного совета за службу приднепровскую. Угощайтесь.

Я понюхал папиросу с длинным мундштуком.

— О, высший сорт.

— Из генеральского буфета. Впрочем, Константин Николаевич, почему вы им не пользуетесь? Как-никак командир отдельной части, положено.

— Я привык к «Беломору». До войны керченская фабрика давала отличные папиросы этой марки с ароматом крымского дюбека.

Александр Дементьевич дружелюбно улыбался. Его упругая шея блестела от пота.

...Тропа пошла в лагерь, а лесополоса свернула на север. Я побрел по ней. Прошагал километра два, а может и больше, присел на пенек. Меж деревьями виднелась проселочная дорога. На ней появилась взводная колонна, за ней вторая, третья... Слышу, как дружные голоса певуче рассказывают об атамане Сагайдачном, «променявшем жинку на тютюн та люльку».

Я в тени, меня никто не видит. Песня оборвалась, раздалась команда — какая, не расслышал, — и взводные колонны исчезли с моих глаз. Только пристально всмотревшись, понял: батальон ползком, по-пластунски, медленно разворачивался фронтом на запад. Вскоре метрах в двадцати от меня показался солдат лет за сорок, кряжистый. Он полз, прижимаясь к траве, остановился, ладонью смахнул со лба пот, стал оглядываться. Присмотревшись, пополз к нему, снял скатку, положил ее впереди себя, на нее винтовку. Сам улегся бочком, вытащил саперную лопатку, поплевал на ладони и воткнул ее в землю по самый черенок. Отрытую землю укладывал рядом со скатанной шинелью. Копал, отдыхал, перевернувшись на спину, снова копал. Потянулся к кустику клевера, сорвал цветок, пожевал и выплюнул. Из окопа уже можно было скрытно вести огонь. Но солдат скатку и винтовку отодвинул в сторону и стал еще энергичнее выкладывать землю на бруствер, тут же маскируя ее травой.

Вправо и влево от него окапывались соседи. Весь батальон выполнял труднейшую тактическую задачу: занимал позиции «под огнем противника».

Я не видел майора Астахова, но слышал его басовито-глуховатый голос то на флангах, то в центре. Доносились негромкие офицерские команды: «Ниже голову! Маскировать землю!»

Прошло часа два, а батальон все копал, копал. Мой кряжистый сосед вырыл окоп больше чем вполроста. Наконец-то над полем появилась фигура комбата:

— Перекур!

Поплыли клубочки густого махорочного дыма, как случайная россыпь облачков. Я вышел из засады — многие, увидев меня, повскакали с мест.

— Отдыхайте, товарищи. — Я пошел навстречу Астахову. — Здравствуйте, Амвросий Петрович. Что вы тут нарыли, показывайте.

Ничего не скажешь — позиции грамотные, на месте противотанковые гнезда, хорошо продумано огневое обеспечение на флангах. Повсюду астаховский почерк — разумная неторопливость. Подумалось: более пятнадцати лет в кадровой армии и начал с рядового, а под командованием лишь батальон. Никто, решительно никто не подумал: Астахов чем не комполка?..

При сильном ветре мне нравилось стоять где-нибудь у моря в затишке, смотреть, как волна за волной накатывается на берег. Считал: первый вал, второй, третий, четвертый... А где же тот, «роковой» — девятый? Долго, бывало, я ждал его, но так и не дождался. Не было грозного девятого вала — шла волна за волной то с высоким пенистым гребнем, то стелющаяся по берегу...

Астахов — на высокой рабочей волне.

Роты с песнями возвращались в лагерь. Мы с Астаховым замыкали батальон. Я рассказывал ему о том, как мы с Александром Дементье-

вичем провожали сегодня маршевые роты на фронт — обученные, одетые, обутые. Астахов слушал и молчал.

В лагере солдаты чистили оружие. На толково сколоченных длинных столах — пакля, оружейное масло. Отделенные командиры стояли у пирамид, тщательно осматривали каждую винтовку и только после этого ставили ее в гнездо.

Вечерело. Менялись краски, темнел лес, тускнели вокруг вытопанные поля. Астахов провожал меня. Взявшись за луку моего седла, негромко сказал:

— Не узнаю нашего Александра Дементьевича — совсем другой человек, хоть икону с него пиши!..

— Что же тут удивительного? Стоянка нашей части затянулась, все и всё приходит в норму. Люди работают. Ведь не отнимешь от начштаба ни его знаний, ни опыта.

— Вот это точно, товарищ подполковник, от него ничего не отнимешь!

— У вас есть к нему новые претензии?

— Новых? Никаких.— Он козырнул и откланялся.

С утра опять ливень с крупным градом. Но вот гроза наконец удалась за Днестр и там погромыхивала вкупе с глухими артиллерийскими залпами. Платоновская рота совершает форсированный марш; блестят лужи, высоко в небе вьются ласточки. Выглянуло жаркое солнце, и мокрые солдатские спины запарили.

— С левого фланга огонь станковых пулеметов! — кричу, приподнявшись на стременах.

— Первый взвод налево, второй — прямо, третий — направо! Расчленись! — командует Платонов.— По-пластунски!

Солдаты, без году неделя — сержанты, приподняв стволы автоматов над землей, оставляя за собой подмятую рыжую стерню, упорно ползут. Позже, после перекура, под палящими лучами солнца совершили пятикилометровый бросок, выполняя команды: «танки с тыла!», «воздух!»...

Мы вошли в прохладную лесополосу, где нас маняще ждали полевая кухня с борщом и бочка с ключевой водой. Почистили оружие, пообедали, и я дал всем час на отдых. Солдаты разлеглись в тени под густыми кленами.

Мы с Платоновым нашли зеленую лужайку, плотно укрытую зарослями акаций. Я ослабил поясной ремень — прохлады, пробравшаяся под потную гимнастерку, приятно освежала.

— Рассупонивайся, лейтенант! — С удовольствием упав на траву, смотрел, как мелко подрагивают на деревьях листья.

— Разрешите размяться? — спросил Платонов.

— Бога ради.

Он высоко поднял босые ноги, стал медленно сгибать и разгибать колени.

— Отекают?

— Рана, как тугой резиной стягивает. Промнешься — отпускает.

Мы молчали; я прислушивался, как вдалеке отбивала время кукушка.

— Хотел было удрать из полка,— прервал молчание Платонов.

— Что же помешало?

— Младших командиров учим — это важно. Я-то знаю, как дорого стоит грамотный сержант в бою. Только жаль, что не все работают как положено...

— Кто же не работает?

— А те, кто шушукается за вашей спиной, кто цепляется за петухановское несчастье.— Платонов не спускал с меня глаз.

— Договаривайте.

— Вам сверху должно быть видней.

— Лейтенант, не ходите вокруг да около. Давайте начистоту, коль начали.

— Да вот вы сами: сидите на коне как на смотрю каком — не шелохнетесь. Седло покинете — опять по команде «смирно». Не всякий осмелится к вам подойти, даже ваши ближайшие помощники...

— Так что — барьер?

— Да. Выходит, так!

— И многие так считают?

— Те, кому это выгодно...

Нарзан просит повод, хлещет себя хвостом по крупу — слепни.

— Иди! — ударил плеткой.

Он вздрогнул, пошел крупной рысью.

Не помню, как проскочил степь и оказался в лагере. Клименко увел потного коня.

— Не давай сразу воды! — крикнул вслед.

— Та хйба ж я не знаю, товарищ подполковник? — обиделся старик.

Я спустился в яр, где было прохладно и темно, уселся у тихого родничка.

Барьер? Никакого барьера нет! Я — как натянутая пружина, никак не могу да и не должен расслабиться. Платонов — и, наверное, не только он — видит это. А может быть, я в роли Мотяшкина, а они, подчиненные, как я сам тогда на майдане у разрушенной церкви, на все лады клявшийся беспощадно требовательного полковника?..

Может быть, меня считают виновным и в гибели Петуханова? Кому-то, должно быть, невыгодно понимать, что финал петухановской жизни был предрешен накоплением бесчисленных обстоятельств, сложившихся еще до моего появления в полку. Ведь существовали в полку какие-то связи, которые я пресек, а кое-кому и на мозоль наступил. В сложных условиях жизни полка каждый проявлял себя в меру своего воспитания и нравственной высоты. Астахов, Платонов и другие сумели понять необходимость той трагической расплаты, которую понес полк. Некоторые не сумели. Или не захотели...

## 19

Не за горами контрольные стрельбы.

Покидаю уютную землянку за час до подъема, лежу на росистой траве, ловлю в прицеле мушку карабина. Поймал, затаил дыхание: огонь! Выстрел без раската — влажность воздуха съедает звук. И на этот раз «завалил мушку» — не могу без напряжения дотянуться до спускового крючка. Тренирую раненое плечо: рука назад до отказа и вперед до пояса. Десять раз, двадцать... пятьдесят... Отдышался и снова: лежа, заряжай!

А вот и полковой трубач: подъем! подъем! Заворошился лагерь, зачастили команды на всех лесных закуточках.

Из землянки выскочил Рыбаков в трусах, босой, энергичными движениями рук разминал полные плечи, прыгал то на одной ноге, то на другой. Увидев меня, остановился.

— Здравия желаю, Константин Николаевич.

— Здравствуй, Леонид Сергеевич.

— Как успехи? — Он посмотрел на карабин.

— Помаленьку. А ты в какие края сегодня?

— В райком партии. Командир, они просят нас помочь в уборке урожая.

— Надо, конечно, помочь. Используй хозяйственные команды.

Наши отношения изменились с тех пор, когда командарм, ударив ладонью по столу, крикнул на Рыбакова: «Митинговал!» Здравоемся, перестав замечать, холодны или горячи наши руки. И, встретясь, оба спешим, спешим куда-то... Меня по-прежнему тянет к нему, чувствую: носим в себе боль, но каждый по-своему, и слить ее в одно что-то нам мешает.

Ходко идет Нарзан вдоль перезрелого пшеничного поля, балует — я только что напоил его ключевой водой, угостил кусочком сахара; мягкие розоватые губы осторожненько подобрали с ладони лакомство. Вдали сверкнули штыки — это на марше батальон Чернова. За спиной — топот, оборачиваюсь: меня догоняет на коне дежурный по полку.

— Что случилось?

— К нам прибыл начальник политотдела армии полковник Линеv. Находится в штабе с замполитом Рыбаковым.

В штабе я их не застал. Вызвал к себе помначштаба капитана Карасева.

— Где они?

— Не могу знать.

— Что есть у вас для доклада?

Карасев из своей папки выуживает очередную бумажку: требуют десять сержантов с семилетним образованием в нормальную военную школу связи. Нормальную! До сих пор посылали на скоростные курсы, а теперь вот в нормальную, на трехлетнее обучение. Здорово!..

Отпустил штабиста.

За окошком на плетне сушились хозяйкины горшки и горшочки, рыжий петух бочком-бочком обходил нахохлившуюся курицу.

Приказать дежурному узнать, в каком они сейчас подразделении? Поехать самому?..

Пошел в свою землянку, пообедал, послал Касима в лавку военторга за папиросами и улегся с газетами.

— Ты смотри на него, Рыбаков, с нас сто потов льется, а он схоронился от начальства и газетки почитывает!

В землянку вкатился полковник Линеv.

Я вскочил и вытянулся перед невысоким круглоголовым начальником политотдела армии. Не дал мне доложить:

— Кваском угостишь, комполка?

— Не угощу, после обеда крохи подбираем...

— Оно и видно. Что так нещедро кормишь солдат?

— Паек тыловой.

— А инициатива? Лето красное? Фу, как у тебя душно!

Мы вышли из землянки, Линеv оглянулся, увидев на взгорке раскидистый дуб, шустро перебирая короткими ногами, зашагал к нему.

— Тут свежак, располагайтесь, хлопцы, и дышите поглубже.— Он расстегнул китель и бросился на землю.— Красота, а как польнью несет! У, смотрите.— Потянулся рукой, сорвал пучок травы с желтыми цветочками.— Знаете, что это такое? Чистотел. Чис-то-тел! — Он сломал стебелек — темно-рыжая капелька упала на его ладонь.— Эликсир жизни! В старину братья-славяне молились на него. И не зря. Ну, как живется, комполка?

— Нелегко, товарищ полковник.

— Ты командовал партизанской бригадой. Как жил со своим комиссаром?



- Дружили...
- И что вас сближало?
- Его храбрость.
- Весомо.

— Это он в меня прямой наводкой палит.— Рука Рыбакова заерзала по портупее вверх-вниз.

— Значит, конфликт на почве: комполка храбр, замполит недостаточно храбр.— Линеv резко выбросил руку в мою сторону, потом в сторону Рыбакова.

— Если бы! Мы не можем найти с ним общего языка с того дня, когда в кабинете командарма выложили разные решения...

— Решали не вы, а Военный совет армии,— оборвал меня Линеv.— Что вам мешает сейчас?

— Я скажу,— проговорил Рыбаков.— Командир полка до сих пор не вписался в часть, хотя времени прошло вполне достаточно. Вот, к примеру, был он в батальоне капитана Чернова. С какой пользой? Собрал офицеров, поговорил с ними по душам, похвалил достойного, указал на ошибки того, кто их совершил? Нет, ничего этого не было. Отхлестал, как мальчишку, опытного комбата и умчался аллюром. Он даже не замечает, что политсостав полка порой вынужден выступать в роли пожарников — заливать холодной водой его огневые вспышки.

— Ты что же это меня при начальстве хлестаешь? Не нашел времени сказать мне об этом один на один?

— Да, Рыбаков, действительно, почему ты ему все это не высказал раньше? — спросил Линеv.

— Так он же бежит от меня.

— Я? Бегу? Это ты чуть свет на коня и то в райком, то в политотдел, то еще бог знает куда...

— Как мне прикажете доложить Военному совету? Кого из вас из полка отзывать?

— Меня нельзя,— выпалил Рыбаков.

— Это почему же?

— Я в петухановской трагедии не сторонний человек. Недоглядел многого.

— Красиво сказано, даже слишком. Однако ты-то здесь не одну пару сапог износил, а расплачиваешься скупом. Или под крылышком полковника Стрижака полегче было? В нем-то ты признавал единичальника! И вон мы какие, оказывается,— разыскать никак друг друга не можем. Свести ваши руки прикажете? — Линеv поднялся.— У тебя, командир, есть ко мне вопросы?

...— Пока нет.

— Ты эти «пока» придержи при себе. Отсекай накипь в полку, но властью, тебе данной, пользуйся с умом и сердцем. Работайте, спрос с обоих по большому счету.

Проводили начальника политотдела, стоим на обочинах дороги друг против друга. Черт возьми, как трудно сделать первый шаг, сказать нужное слово!..

— Замполит, так что там было сегодня в солдатских котлах?

— А, перловка да сало лярд, сало лярд да перловка.— Рыбаков пересек дорогу.— Заглянул вчера в хозроту, и представляешь — там борщ с салом и свежее мясо с капустой.

— Да ну, откуда?

— Пошли к Вишняковскому, спросим.

На окраине Просулова большой кирпичный дом с длинной пристройкой-сараем. Двор аккуратно выметен. У коновязи с корытом сы-

тые лошади хвостами отмахиваются от слепней. Хр-рум, хр-рум — налегают на свежее сено. От распахнувшейся двери спешит навстречу Вишняковский.

— Здравствуй, Валерий Осипович. Хорошо у тебя тут.— Я пожал ему руку.

— Приглашай в дом, что ли,— подтолкнул его Рыбаков.

Комнатушка была маленькая, пахло свежим хлебом.

— У меня есть квасок, товарищ подполковник,— робко предложил Вишняковский.

— Тащи, о чем речь.

Рыбаков выпил, поставил стакан, крикнул:

— Ну и напиток, царский!

— Сушим остатки хлеба, вот и...

— Остатки, говоришь? А почему наш солдат в строевых ротах, как Иисус в пустыне? — спросил Рыбаков.

— Все что положено по рациону, до грамма...

— А на каких харчах пухнет твоя хозяйственная рота? — наступал Рыбаков.

Вишняковский открыл планшетку, закрыл ее и отбросил назад. Заморгав, выпалил одним духом:

— Обмен, честное слово!

— А может, обман? — Я подошел вплотную к хозяйственнику.

— Никак нет! Операция...— Слово вырвалось неожиданно.

— Операция? Какая такая операция? Выкладывай как на духу.

— Дохлые кони кормят. Виноват... Мыло то есть, кони...

— Мыловарня? — догадался Рыбаков.

— Ну-ка, ну-ка?

— На переправе дохлых лошадей, битюгов... Сюда — и на мыло. Мыло — в Цебриково, на восток, сто километров, в обмен на мясо, сало, картошку...

— Масштаб?

— Крохотный.

— Что требуется?

— Разрешения ваши, товарищ подполковник, товарищ майор.

— Так получай мандат, можем самый большой! По четырнадцать часов в сутки солдаты пузом землю гладят, на пять верст вокруг изрыли ее. Соки выжимаем... Нюх у тебя, бедовая голова, есть? Чем пахнет?

— Наступлением.

— В точку! Так подкорми, христом-богом прошу! Весь передний край Степной армии твой и переправа твоя. Подбирай дохлых битюгов, тащи в мыловарню!

## 20

Комбат Чернов встречает меня и замполита вежливо, официально. Не распахивает своей замкнутости, даже когда мы с Рыбаковым откровенно радуемся слаженному маршу курсантской роты «на встречный бой».

Короткий привал, и батальонная труба уже зовет на строевой плац с препятствиями. Чернов с секундомером стоит на возвышенности — плотный, с фуражкой, слегка надвинутой на прямой лоб, — и негромким голосом отдает самые неожиданные команды. Воспринимаются они будущими младшими командирами с готовностью: ползут по-пластунски, в полном боевом берут с ходу бум, перепрыгивают через заборы, выкладываются до последнего, будто и не знают усталости.

Прощаясь с Черновым, говорю ему:

— Спасибо, капитан.

— У меня просьба, товарищ подполковник: после выпуска сержантов откомандируйте меня в боевую часть.

— За этим дело не станет — не за горами дни, когда весь полк станет боевой частью!

Вечерело, было душно. Мы наискосок пересекли площадь. Навстречу женщина с полными ведрами. С доброй улыбкой провожает нас.

— К счастью, командир!

— А ты какого счастья хочешь, Леонид?

— Сию минуту — самого маленького: искупаться в ставке.

— Ого, давать чуть ли не пятиверстный круг!..

— Что ты, можно напрямик переулком, там мостик наладили.

— Тогда айда!

Идем, хатенки сжимают нас с двух сторон, ветки хлещут по лицам. На самой окраине Рыбаков придержал дончика.

— Слышишь, поют? — Показал на хатенку с закрытыми ставнями.

Рвется наружу песня «Ой ты Галю, Галю молодая, пидманулы Галю, забрали з собою...».

— Ведет никак Шалагинов? — Я спешился.

— Куда ты? Постой, потом выясним!

— Ну, знаешь! — Я перемахнул через забор, поднялся на крылечко, тихо налег на входную дверь.

В небольшой комнате с нависшим потолком за столиком, крытым клеенкой, при желтом свете свечи сидят Шалагинов и Краснов. На почетном месте, под иконами, — начальник штаба полка Сапрыгин. Закрыв глаза, он густо басит.

— Товарищи офицеры! — вскочил Краснов.

Песня оборвалась. Головы как по команде повернулись к нам. Первым пришел в себя Сапрыгин:

— Милости просим, Константин Николаевич, и тебя, Леонид Сергеевич.

На столе бутылки с мутноватой влагой, закуска — не объешься: репчатый лук, редис, сухари. Я взял бутылку, плеснул самогон на стол, поднес свечу — вспыхнуло синее пламя.

— Крепак!

— Точно, с налета берет! — Встряхнув укороченным чубом, из-за стола вылез Шалагинов.

— А как похмеляться, комбат?

— Рассольчик, как рукой...

— Что же вы нас с замполитом обошли?

— Да вот поминаем нашего друга Петра Петуханова... Сороковой поминальный сегодня...

— Приказываю всем разойтись! — с неожиданной твердостью сказал Рыбаков.

— Начштаба и комбату Краснову остаться! — приказал я.

Только захлопнулась за Шалагиновым дверь, я повернулся к Краснову:

— Где самогонный аппарат?

Он подавленно молчал.

— Я сейчас по тревоге вызову роту и прикажу обыскать винный завод. Где самогонный аппарат? Ведите!..

Краснов молча повернулся к выходу и как-то не по-военному засеменял вперед нас...

...Мы шли в три коня — Рыбаков, Сапрыгин и я. Небо затянуло тучами, посыпал мелкий дождик. Молчали до самого лагеря.

Сапрыгин, прощаясь, сказал:

— Ну и лихо вы взяли в оборот Краснова, Константин Николаевич, в один момент раскололся!

Я молчу.

— Чего дурачком прикидываешься? Ты-то про все знал,— оборвал его Рыбаков.— Неужели так-таки ничего и не понял?

— Понять-то понял, но не все принять могу.

— Довольно, начштаба,— потребовал я.— За организацию пьянки...

— Какой же пьянки?.. Подумаешь, собрались трое друзей...

— За организацию пьянки, за допущение производства самогона — вы же знали, знали об этом! — я отстраняю вас от должности начальника штаба полка!

— Это мы еще посмотрим!..

— Нечего смотреть, Сапрыгин. На вашей совести кровь Петуханова,— отчеканивая каждое слово, сказал Рыбаков.

Сапрыгин прищипил коня и скрылся в темноте.

Старший лейтенант Краснов сдал батальон и приказом командующего был назначен командиром штрафной роты, куда и отбыл без промедления.

## 21

Их — одна тысяча, живых, молодых, радующихся и порою грустящих, устающих донельзя, с сильными телами, здоровыми желудками, жадными озорными глазами. Они втянулись в ритм полевой жизни, загорелые и поджарые, шагают по стерне, выбивая тучу пыли. И думка у всех одна — скорее к финалу.

Их надо выстроить на полковом плацу, показать самому командарму: вот они, тысяча сержантов. Вчера они еще были солдатами. Трудно им было, ох как трудно. Но они не жаловались — понимали. Торопились. Сам видел, как делали зарубки — еще день учебы прочь!

Ах, как мне хочется отправить их на фронт — одетых по форме! В полковом складе есть для них все. Только вот обувь — обмотки с ботинками. Где же мне взять тысячу пар хотя бы кирзовых сапог? Из Вишняковского больше ничего не вытрясешь. Слава богу, в котлах приварок.

Роненсон?

Вишняковский шепнул мне:

— У товарища Роненсона есть в заначке настоящие курсантские сапоги, еще довоенные.

Как бы его разоружить? Попытка не пытка, уха не откусят — поехал на поклон.

— Крымская твоя душа, за счастьем приехал? — встречает меня Роненсон.

— Знаете, о чем я думаю, товарищ полковник? — Горячо пожимаю ему руку.

— В той артели, откуда ты, нет шикарных сапог?

— Да вы же провидец!

— Что ты с меня хочешь? Я уже волнуюсь.

— Всего тысячу пар яловичных.

Роненсон ухватился обеими руками за рыжую голову и оглашенно закричал:

— Ты, Тимаков, думаешь, что я из Ленинграда еще до войны перекачал к себе фабрику «Скорород»? У него тысяча мальчиков, и каждый хочет быть красивым, а с Роненсона — три шкуры! Как в Одессе, да? Так вот будут твои мальчики фигилять в новых сапожках. И не потому, что ты такой красивый.

— Так почему же?

— Потому что знаю: сейчас ты сядешь на свой драндулет и, как челночное веретено, туда-сюда, пока не вытряхнешь из меня душу...

— Не представляете, как обрадуются выпускники. Спасибо!

— Присылай своего помпохоза с девичьими щечками...

Рыжее, с кустами засеребрившейся полыни поле, а вокруг деревья — тополя, акации, запыленные до самых макушек. Десять дышащих и одинаково зеленых, как клеверные делянки перед косовицей, колонн, щедро залитых лучами сытого августовского солнца, застыли в ожидании. От надраенных до ослепляющего блеска медных труб отскакивали лучи, словно выстрелы.

Я волнуюсь и проклинаю Касима, перекрахмалившего подворотничок — обручем стянута шея.

Секундная стрелка еще раз обернулась вокруг своей оси.

— Едут! — крик издалека.

Мгновенно одернув китель, шагнул к колоннам:

— Равняйся!

«Виллис» остановился под ближайшим деревом. Из машины вышли командующий и член Военного совета.

— Смир-рно! Товарищи офицеры!

Ступнями ощущая такты встречного марша, глядя прямо на генерал-полковника, замечая на его морщинистом лице мельчайшие складки, даже седой волосок на кадыке, иду навстречу. В трех шагах замираю:

— Товарищ генерал-полковник! Выпуск младшего командного состава армейского запасного стрелкового полка в составе тысячи сержантов по вашему приказу на смотр выстроен! Командир полка подполковник Тимаков!

Лицо генерала хмурилось. Он сухо поздоровался с командованием полка и шагнул к колоннам.

От шеренги к шеренге, от сержанта к сержанту, чуть ли не каждого — с головы до ног. И ни слова. Лишь бросил:

— Ишь ты, в яловичных сапогах, черти!

Солнце бьет под лопатки, подворотничок до удушья стянул шею, объятые тревогой и усталостью тело отяжелело, а конца молчаливому смотру не видно, как и генеральской силе, которая будто и не расходовалась: гартновские глаза зорки, шаг твердый, фигура — как негнбающийся ствол сосны.

Потеет генерал Бочкарев; мой Рыбаков ни жив ни мертв.

Обойдена левобланговая колонна. Командующий кашлянул в кулак, отошел в сторону.

— Что умеют?

— Что положено по программе ускоренного курса!

Бочкарев, потирая рукой усталое лицо, спрашивает у меня:

— Далеко учебное поле?

— Ты, Леонид Прокофьевич, обожди.— Худое лицо генерала разглаживается, молодеет.— Поют, подполковник?

— Поют, товарищ генерал.

— Строевую обожаю, но настоящую, чтобы... Взводом споешь?

— Споем.

— И ротой?

— И ротой.

— А может, батальоном грянешь?

— И батальоном!

Я уже перехватываю через край. Триста солдат и чтобы голос в голос — так не пели. Что ж, коль нырнул в глубоком месте, не тонуть же. Отсек от строя три первые колонны, шепнул капитану Чернову:

— Выстройте в единый строй, в шеренгу по восемь. Интервалы плотнее обычного. Ясно?

— Яснее быть не может.— Чернов поднял на меня спокойные умные глаза.

Слышу голосистые команды. Только бы не заколготились, не сшибались друг с другом — чуть не молюсь. Впрочем, чего уж теперь терзаться!..

— Сержант Баженов и ротные запевапы — в середину строя! — командует Чернов.— Р-равняйсь!.. Смир-рно! На месте шагом арш! Выше ногу, еще выше!.. Аз, два! Аз, два! Запевай!

Голос сержанта Баженова врзался в знойную застылость дня и сразу же взлетел выше деревьев:

За морями, за горами  
Гэ... э-эй! В дальней стороне  
Трубы песню заиграли,  
Песню о войне.

Молодец!

И триста сержантов одним хватом:

Трубы песню заиграли,  
Песню о войне...

И уже не душил подворотничок, уже и дышалось привольно. Я не удержался и крикнул во весь голос:

— Слушай мою команду! Правое плечо вперед, шагом арш! Пр-рямо! Запевай!

Баженов повел, а подголоски подхватили главную песню времени:

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна!  
Идет война народная,  
Священная война...

Сержантские лица посуровели, мощный голос батальона клочкотал неукротимой жесткой силой.

Колонны, провожаемые генеральскими глазами, с песнями уходили к полевым кухням. За леском скрылась последняя, а генералы молча стояли на том же месте. Потом командующий отошел в сторону, остановился под раскидистым кленом, сорвал с дерева небольшую ветку и слегка похлопал себя по голенищу. Глаза смотрели на запад, где едва дышал на месяцы застывший фронт.

О чем думал генерал?

Может, о том, что ждет армию, значит, и всех нас в ближайшее время? О судьбе ребят, которые так широко раскрывали души на этом смотровом марше?

Бочкарев тронул меня за плечо:

— У него, Николая Александровича, свой подход. Есть строй и песня — есть солдат! Побайвался я за тебя, севастополец. Хотел отвести на привычное — стрельбу, перебежку...

Командующий подошел к нам:

— Солдат кормишь так, как они того заслуживают?

— Хозяйственники стараются, товарищ генерал.

— Хвастунов не люблю. Солдат начинается с песни, а полк с котла.

У полевых кухонь жарко, кашевары в белых колпаках. Тут же Вишняковский, затянутый на все ремни.

Командующий остановился, потянул носом:

— Аромат, Леонид Проккофьевич, а?

— Поедим — поглядим,— улыбнулся член Военного совета.

Сержанты сидят друг против друга, уминают из котелков украинский борщ. Немало их, ждущих очереди у кухонь.

— Как хлеб насущный? — громко спросил Гартнов.

— В достатке, товарищ генерал.

Хлопотливо подскакивает Вишняковский, застывает, держа руку у козырька. Он долго не может выговорить ни слова, выручает Бочкарев:

— На пробу приглашаешь?

— Так точно!

Командующий с лукавинкой в глазах:

— Не проведешь. Твой комполка хвостун, и ты туда же, а?

Генерал зыркнул на очередь и пристроился в ее конце. Впереди — сержант Баженов. Генерал сразу же спросил:

— Ты запевал?

— Запевал, товарищ генерал.

— Откуда такой взялся?

— Полтавский.

— Богатый край, щедрый и на людей и на хлеб.

Баженов протянул котелок — его очередь.

— Прими в напарники, а? — неожиданно спросился Гартнов.

— С удовольствием, товарищ командующий!

Пятидесятилетний генерал и двадцатилетний сержант, раскинув ноги, сидели глаз в глаз, дружно работая ложками.

— Черти!.. Я-то, старый вояка, поедываю неживую заморскую колбасу. Подполковник, возьми на довольствие!

— Продадтестат — и милости просим!

— Вот какой ты! Но обожди, с тобой разговор будет особый. А за хлеб и соль низкий всем поклон.

Два генерала и я уселись в холодке. Командующий распахнул китель, в зубах у Бочкарева соломинка, он ее перебрасывает то в одну сторону, то в другую.

Генералы переглянулись. Командующий застегнул китель на две пуговицы, насупившись, посмотрел на меня. Я хотел подняться, но он приказал:

— Сиди!.. Из каких запасов свежее мясо?

— Все законно, товарищ генерал.

Командующий погрозил пальцем:

— Я тебе покажу «законно»! Армия на консервах, сухарях, а у него райская жизнь, скажите пожалуйста. Докладывай, откуда твое богатство?

Рассказ мой уместился в ладошку: подбираем дохлых лошадей, варим мыло, мыло меняем на продукты.

— Колхозы раскулачиваешь? — настаивает Бочкарев.

— Обмениваемся с частным сектором...

— «Сектором», слово-то какое выколупал! Нет частного — война! Партизанская самозаготовка, и даже без спроса. И вообще... Самогон гнали? Сам комполка побывал на поминках...

Меня глушили, как рыбу гранатами, вот-вот всплыву наверх.

Бочкарев:

— На солдатах яловичные сапоги!

Гартнов:

— Вытурил из полка опытного начальника штаба... Не полк, а боярская вотчина!

Бочкарев:



— Не признает политсостав, всему сам голова!

Обида душила.

— Помалкиваешь? Как, Леонид Прокофьевич, будем на полку оставлять?

— Прикинем, подумаем...

Генералы снова переглянулись, поднялись. Идут к машине, я рядом, земля из-под ног куда-то уплывает. Неужели наветы Сапрыгина сильнее того, что видели генеральские глаза, слышали уши? Это же несправедливо...

— Не согласен, никак не согласен!

— С чем? — Командующий уставился на меня.

— С вашей оценкой жизни части. Хоть в военный трибунал — не согласен!

Командующий хлопнул меня по плечу, улыбнулся:

— А теперь скажи по секрету: откуда на сержантах яловичные сапоги?

— Полковника Роненсона упросил...

— Гм... Как это тебе удается? — Посмеиваясь, генералы уселись в машину, она рванула с места...

Я устал. Ах как я устал!..

Полк спит. На горизонте — малиновый солнечный диск; быть, наверное, ветру. На акации верещит одна-одинешенька кургузая птичка. Свистнул — улетела. Пошел по лесной поляне. Призывное ржание остановило. Нарзан, вытянув шею, скосил на меня глаза.

— Здоров, дружище.

Он фыркнул, бархатистые губы уместились в моей раскрытой ладони.

— Подсластиться хочешь? У меня, брат, одна горечь. Мне нужна шагистика да дыры в черных мишенях... А ты как думаешь? Головой мотаешь, жалуешься, что и тебя замордовал. Вон как бока твои подзапали. Что ржешь?.. Покажи-ка зубы... О, ты стар, как и твой поводырь Клименко. По твоим лошадиным годам — полная отставка. Вот погоди, дружище, перемахнем границу, я и тебя и Клименко на гражданку. Топайте себе в мирную жизнь, в колхоз. Еще поработаете. Верно ведь?.. За вами и я подамся... Только куда? Есть в одном городе домишко на окраине, а ключей вот мне не оставили. И бог знает где сейчас хозяйка...

— Константин Николаевич! — окликает меня Рыбаков, подходит, крепко жмет руку. — Как ты?

— Более или менее...

— Мне не спалось. Куда ты исчез после смотра?

— Бродил. Свежим воздухом дышал.

— Ну, что там генералы?

— По головке погладили!..

Высокого роста майор с пустым левым рукавом, конец которого засунут в карман кителя, вошел в землянку.

— Не помешаю? — спросил очень уж по-граждански.

— Садитесь, гостем будете.

Он сел, правой рукой достал из кармана брюк домашней белизны носовой платок, вытер лицо, улыбнулся — глаза восточного разреза, с лукавинкой.

— С кем имею честь?

— Майор Татевосов Ашот Богданович, назначен на должность начальника штаба вверенного вам полка.

— Вы? — Невольно посмотрел на пустой рукав.

Майор улыбнулся, мелкие морщинки густо набежали на загорелый лоб.

— Понимаете, домой гнали. Как — домой? С Перемышля до Волги, с Волги сюда, Румыния под носом, а меня — домой. Справедливо?

— Садитесь, Ашот Богданович. И меня вытуривали. Значит, мы два сапога — пара!

Он обнажил белые зубы:

— Оч-чень хорошо — мы два сапога пара.

— Так с прибытием, Ашот Богданович.

— Скажите, что такое запасный полк — какой цвет, какой вкус?

— Поживете — попробуете. Всего не расскажешь, но кое-что все же послушайте.

И за своими словами я видел Сапрыгина, холящего телеса под штраусовский вальс, бесконечный строй парнишек, Петуханова, лежащего в июньской траве ничком. Но странно — я разглядывал пережитое будто со стороны. Пришло желание высвободиться от ежедневной напряженной жизни... Внутренняя пружина, которая гнала меня от одного дела к другому, сейчас ослабевала.

Не знаю, может, причиной самовысвобождения был человек с сабельно-острым носом, которому легко говорилось о том, о чем вообще никому не собирался рассказывать, может, потому, что он слушал, как слушают дети, не избалованные откровенностью взрослых. Что-то в нем было распахнуто настежь.

— Ах, какая беда! — Он вскинул здоровую руку, вскочил, заходил по комнате: — Стреляю из пушки, из автомата, умею при самом трудном бое держать связь... Что еще умею, а?

— Садитесь. Покурим...

Поглядывая друг на друга, крепко затягиваясь, дымили.

— Разрешите, товарищ подполковник? — Вошел капитан Карасев, худой, синегубый, глотающий соду, глядящий на мир уныло — уж такой характер.

— Вот наш помначштаба, — сказал я Ашоту. — Все грехи — в его грессбухах. Капитан, представляю вашего непосредственного начальника майора Татевосова Ашота Богдановича. Любите и жалуйте.

Карасев не улыбнулся, посмотрел на Ашота и как заведенный спросил:

— Как прикажете сообщить родным о смерти старшего лейтенанта Петуханова?

— А как вы думаете сообщить?

— Думаю... Все-таки трибунал...

На лице Ашота я заметил нетерпение.

— Ваше мнение? — спросил я, обращаясь к нему.

Он вскинул руку.

— Зачем семье страдать? Послать солдатскую похоронку.

Карасев повернулся ко мне, в глазах вопрос.

— Вы не поняли решения начштаба или не согласны с ним? — спросил я у него.

Ашот с удивлением смотрел в спину уходящего помначштаба.

— Ба... какой сердитый!

— Он работага и думающий офицер. На него можно положиться...

— Прошу двое суток на знакомство со штабом полка.

— Сутки! Нужно немедленно сформировать боевой полк, обучить, обстрелять.

— Сколько у нас на это дней?

— Сам бог не знает, наверное.

— Понимаю!

На следующий день в полковом штабе все задвигалось, закачалось, заволновалось. Служивые писаря спинами обтирали глинобитные стены старой украинской хатенки, лупя глаза на низенькую дверь, за которой сидел «безрукий» и решал судьбу каждого из них. Одни выскакивали от него, словно оглушенные взрывной волной, растерянно искали помощи, бросаясь от одного штабного офицера к другому, а другие — с жесткими складками на лицах, собранные, готовые беспрекословно подчиниться своему начальнику штаба.

...Идем «трясти» вишняковские команды. Нас сопровождает молоденький лейтенант в новеньком кителе, сапожках, в лоск прилизанный — начальник вещевого довольствия. Заладил одно: «Виноват!»

— Другие слова знаешь? — спросил Татевосов.

— Виноват, знаю!

— Веди в портняжную.

— Виноват, что касается мастеров, отбирал лично сам майор товарищ Вишняковский.

В бывшем просторном амбаре немца-колониста прорублены высокие окна. Столы, а за ними солдаты: кроют, шьют, утюжат. Нас встречает небольшого роста кругленький губастый старшина.

— Мастера! — командует он.

— Пусть работают. Как живется-трудится? — спрашиваю я.

— Дела, как у старого башмачника, товарищ подполковник: есть молоток — нет шпилек, есть шпильки — дратва гнила...

На вешалках кителя, гимнастерки. На столах наметанные раскрои, и, похоже, из дорогого заморского сукна.

— Кому?

— Мы не имеем права знать. Мы шьем тем, у кого личная резолюция самого товарища майора.

— Покажите эти резолюции.

Старшина переминается с ноги на ногу, смотрит на лейтенанта, на лице которого, кроме готовности еще раз сказать «виноват!», ничего не прочтешь.

— Старшина, повторить приказ?

— Никак нет, товарищ подполковник.

Он неохотно протягивает мне замусоленную папку. Я беру ее, раскрываю — бумаги, бумаги, на многих следы машинного масла. «Дорогой Валерий Осипович! Я думаю, что и на этот раз не откажешь в пустячной просьбе. Прикажи, пожалуйста, сшить три кителя и шесть пар портков подателям сей записки. Навеки твой, Иван Копалкин». Или: «Слушай, ты, мудрец. Сваргань нужному человеку сапоги с высокими халявами, а еще брюки по-кавалерийски — обтянутые кожей. Твой рыжий». Резолюция Вишняковского: «Старшине Артему Пыпину. Сшить! В. В.».

Татевосов качает головой, кончик носа у него бледнеет.

— Старшина Пыпин, вы хорошо из винтовки стреляли?

— Я закрыщик, меня Крещатик на руках носил. Стрелял я только по голубям из рогатки.

— Ничего, научим! — Татевосов резок.

Тыловиков выстроили во взводную колонну.

Чуть свет едем к генералу Валовичу. Ашот зевает.

— Не выпался? — спрашиваю.

— Тут у меня слабинка, понимаешь. Дрыхну — хоть из пушек пали.

— И на гражданке так?

— Не поверишь — всем кланом будили...

В домике генерала даже воздух наэлектризован. Ждем в крохотной приемной. К Валовичу заходят усталые штабные офицеры и не задерживаясь спешат к своим рабочим местам. А то забежит запыленный с головы до ног порученец. Ашот шепчет:

— Дело на мази.

— А у нас худо, боевую обкатку не прошли.

— Будем просить, будем уговаривать, — успокаивает меня Ашот. Ждем второй час. Генеральский адъютант обнадеживает:

— Непременно примет.

Правильно говорят: штабисты выигрывают или проигрывают бой до его начала. Судя по напряженному генеральскому лицу, по твердому его взгляду и решительным жестам — он как-то уж очень быстро спрятал оперативные карты, которые лежали на столе, — тут проигрывать не собираются.

Валович откинулся на спинку венского стула:

— Что нужно?

— Прошу придать на день-другой артиллерию, танковую группу и разрешить совместное учение с боевой стрельбой.

Генерал погладил бритую голову, чихнул.

— Где, когда?

— За Просуловом, пять километров восточнее лагеря.

— Не разрешаю. За каждый выстрел отвечаешь головой. В тылу тишина. Запомните — тишина!

— Обкатка необходима, — вставляет слово Ашот.

— Согласен. — Генерал достает карту. — При тебе, подполковник, двухверстка? Разворачивай. От Просулова веди линию на север до отметки сорок восемь и семь десятых. Нашли? Тут можете пострелять сколь душе угодно.

— Там тылы другой армии и даже другого фронта, товарищ генерал.

— Это уж наша забота. Танки не дам, а с артиллерией так: свяжитесь с командиром Шестой бригады РГК и с командиром Двести тридцать четвертого иптаповского<sup>1</sup> полка. Они жаждут взаимодействия с пехотой. Все!

...Мы пробились через скучные заросли ивняка и вышли на поле с пологим скатом в нашу сторону, напомилавшее правый берег Днестра. Струи воды стекали с плащ-палаток — только что отбарабанил дождь. Начштаба Татевосов откинул кашшон, осмотрелся.

— По-моему, то, что надо нам, товарищ подполковник.

— А как артиллерия? — спросил я у командира гаубичного полка РГК.

— По мне, что ни хата, то и кутья, — стреляю с закрытых позиций. Что скажет мой собрат по оружию? — Он кивнул на командира иптаповского полка майора Горбаня.

Горбань, с ног до головы закутанный в плащ-палатку, посмотрел на небо, будто там и была самая главная позиция для его шустрых пушек. Покосился на всех и промолчал.

— С тобой не соскучишься. — Полковник-артиллерист подтолкнул Горбаня в бок.

Мы тщательно выбирали поле для учения с боевой стрельбой. Еще раз согласовали взаимодействие и решили к рассвету сосредоточиться на «позициях».

<sup>1</sup> Истребительно-противотанковый артиллерийский полк.

...Полевой телефон связывал меня со всеми подразделениями полка, а рация — с артиллеристами. Торопится минутная стрелка. Рыбаков, присев на корточки, поглядывает на меня. Его волнует мое решение: я приказал пехоте идти за огневым валом, держа минимальную дистанцию от него — метров сто. Он умолял:

— Может, двести, а? Черт его знает, как стреляют эти пушкири..:

— А ты у них узнай, Леонид.

— Узнаешь! Один хвостун, другой молчун..

Я еще раз в бинокль рассматриваю поле — ни души; подразделения хорошо замаскировались.

Рыбаков делает еще одну попытку:

— Увеличьте дистанцию, христом-богом прошу!

Ашот смеется:

— Как говорит цыган: побитый — серебряный, битый — золотой!

Минутная стрелка приближается к двенадцати... Я швыряю в небо красную, затем синюю ракеты. И все поле сразу же вздрагивает от рева семидесяти пяти орудий — от полковой пушки до гаубицы РГК.

Снаряды ложатся все ближе к «переднему краю». Огневой вал плотнеет, выравнивается, становится сплошной стеной.

Десять минут дрожит древнее поле, потом я, прижимая телефонную трубку к уху, командую:

— Первый, в атаку!

— Есть! — Это голос комбата Шалагинова.

Захлебываются станковые пулеметы, а черная завеса над «передним краем» растет, растет...

— Пошли, пошли! — кричит кто-то рядом.

Я вижу первую цепь — изломанную, кое-где разорванную.

— Первый! Что они у тебя, кисель хлебают? Перебьешь людей! Выравнивай!

Слежу в бинокль: комбат Шалагинов выскакивает с наблюдательного пункта, от него связные бегут в роты.

Приказываю артиллеристам:

— Перенести огонь на сто метров в глубину!

Огневой вал медленно-медленно начинает уходить дальше, а первая цепь пехоты, ускоряя ход, «штурмует» вал. За ней идет вторая, черновская.

В считанные секунды артиллеристы меняют прицел, и снаряды ложатся между первой и второй цепями.

Напряжение нарастает. Все бинокли — на атакующих.

— Молодцы, артиллеристы! — кричу от души.

Майор Горбань молчит, и не понять, доволен ли он работой своих пушкарей, которые лупят прямой наводкой и с завидной быстротой меняют позиции, таща орудия на себе. Он временами лишь что-то бубнит в телефонную трубку.

— Ур-ра-а-а! — разносится голос пехоты.

— По своим бьете, слышите! — вдруг заорал Рыбаков.

Вижу в бинокль: снаряд разорвался метрах в тридцати от второй цепи. Связываюсь с командиром гаубичного полка:

— В солдат швыряешь снаряды!

— Это твою пехоту заносит!

Замполит настойчиво просит:

— Прекратите учения, слышите?

Я в трубку:

— Астаховцы, вперед!

Солдаты Астахова идут сомкнуто, словно это уберезет их от

случайного снаряда. Сам комбат по-журавлиному вышагивает впереди. Надо ему за это всыпать!

С дальнего поста воздушного наблюдения докладывают:

— Курсом сто восемьдесят пять, на высоте четыре тысячи метров — немецкий разведчик.

— Унюхали, сволочи! — Ашот вскинул голову.

Высоко-высоко в небе блеснули крылья вездесущей «рамы».

Командую:

— Отбой!

Сразу же пресекается огонь, лишь смрадный дым ползет над учебным полем. Замполит протягивает мне телефонную трубку:

— Докладывает Чернов, что в его батальоне легко ранили двух тыловиков... Я же предупреждал!..

— Проследи,— говорю ему, не беря трубку,— чтобы их вовремя отправили на медицинский пункт.

— И это все? — Рыбаков смотрит мне в глаза: ждет раскаяния, что ли?

— Дорогой Леня,— Ашот дружески подтолкнул его,— я понимаю твои заботы, но зачем сейчас на мозги давишь? Сам видел, как батальоны выполняли задачу. Как шли за огневым валом, а?

Рыбаков шмыгнул носом. Это мальчишеское шмыгание заглушило во мне те резкие слова, которые хотелось сказать ему.

— Иди-ка, Леонид, к Чернову и во всем разберись... Сам знаешь как.

В КП вошел майор Горбань, по-прежнему закутанный с ног до головы в плащ-палатку, уселся подальше ото всех и запалил махру. Вот кто заслуживает похвалы. Его солдаты дружно облепляли свои длинноствольные пушки и, как муравьи, что тащат ношу в десять крат большею, чем они сами, волокли их по крутым склонам.

— Спасибо, майор Горбань.

Он пожал каждому из нас руку и сел в свой «виллис».

— Веселый человек,— усмехнулся Ашот.

## 23

Далеко на севере — в Белоруссии — гремели фронты. Там окружали дивизии и армейские корпуса немцев. Москва салютовала наступающим частям и соединениям. В сводках Информбюро — новые города и новые направления. Вспыхнули жестокие бои у Вислы, а позже за Вислой — на Сандомирском плацдарме. Только наш 3-й Украинский фронт от Григориополя до Черного моря прилип к Приднестровью, обжился в удобных окопах, выше головы зарылся в землю.

Здесь над фронтом густела тишина, в садах алел шафран, остро пахло шалфеем. Тишина была августовской, когда палят стерню, поднимают зябь, снимают ранний виноград, когда под яблонями вянет падалища... Одинокий коршун плавно кружит над древними скифскими курганами, а степь под его крыльями лежит перезрелая, усталая от плодородия. Вот эту самую степь, на которой пылятся наши дороги, где мы солдатскими лопатами перебросали с места на место миллионы тонн ржавой приднестровской земли, много веков назад топтала восьмидесятилетняя армия персидского царя Дария. Утомленный бесплодной погоней, Дарий умолял скифского царя вступить с ним в битву: «Странный человек! Зачем ты бежишь все дальше и дальше? Если чувствуешь себя в силах сопротивляться мне, то стой и бейся, если же нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду и вступи с ним в разговор». Скифский царь отвечал: «Никогда еще ни перед одним человеком не бегал я из страха, не побегу и пе-

ред тобою; что делаю я теперь, то привык делать и во время мира, а почему не бьюсь с тобою, тому вот причины: у нас нет ни городов, ни хлебных полей и потому нам нечего биться с вами, страшась, что вы их завоюете или истребите. Но у нас есть отцовские могилы: попробуйте их разорить, так узнаете, будем ли мы с вами биться или нет...»

За Днестром в 1944 году у немцев было столько же солдат, сколько было их у Дария. Окопались, ждут..

Ждем и мы. Нет скирды — а их раскидано бог знает сколько, — под которой не затаился бы наш танк. Свернулись армейские и фронтовые госпитали, под прикрытием темноты двинулись к самому Днестру. А ночью на днестровской переправе на первый взгляд тише, чем днем, даже махонький огонек не блеснет. Кажется, что все спит и комендант видит третий сон. На самом деле льется здесь в три ручья солдатский пот. Уже за километр до реки машины выключают моторы. Толкают их солдатские руки.

Команда еле слышная:

— Раз-два, взяли!

Тащат машину по выщербленному настилу моста, тужатся, выталкивают на тот берег в кусты, а то и подальше — в лес. Машина за машиной, а меж ними скользкие, тяжело дышащие тени: артиллеристы несут на плечах снаряды до самых позиций, накапливая боекомплект за боекомплект.

Меня срочно вызвали к командующему.

Дежурные офицеры направили мою машину куда-то за поселок, на четвертом километре остановили. Майор с повязкой на рукаве придирчиво сличал мое лицо с маленькой фотокарточкой на первой странице офицерского удостоверения, посмотрел в свой список.

— Машину остановите под кленами, а сами шагайте от маяка к маяку.

Через каждые сто метров — офицер. Снова проверка документов.

Иду долго, прохожу кустарник и оказываюсь на широкой поляне, прикрытой сверху кронами старых дубов. На свежих сосновых скамейках — генералы, старшие офицеры.

Кто-то тянет меня за рукав:

— Садитесь, комполка.

Генерал Епифанов, комдив, радушно принимавший пополнение за Днестром.

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Ну и поджарили вас. Слушайте, по знакомству подбросьте-ка мне полсотни сержантов, — толкнул он меня в плечо.

— Мы за каждым сержантом сами гоняемся.

— Вымели, значит, начисто? Жаль. Тимаков, пойдете ко мне на полк?

— С удовольствием, да хозяин не пустит.

— А просился?

— Боюсь даже заикнуться.

На поляне затихло — появились командарм и генерал Бочкарев, потом начштаба Валович со свернутой картой. Мы поднялись. Командующий взмахом руки велел нам сесть, а сам посмотрел поверх голов.

— Комендант?

— Здесь комендант!

— Обеспечение?

— На триста метров вокруг ни души.

— Все. Идите и сами за линию. — Командарм оглядел нас каждо-



го в отдельности.— Товарищи командиры соединений, отдельных частей, начальники служб — наступление!

Вдох облегчения: наконец-то! Командарм степенно продолжал:

— Где, когда, кто и как — узнаете в положенное время, в положенном месте. О противнике.— Он подошел к карте, которую успел развернуть начальник штаба.— Внимательно приглядитесь.— Он кончиком указки очертил позицию за Днестром.

...— Решается судьба Балкан, судьба сателлитов врага — Румынии, Венгрии! — заканчивал командарм.— Возможно, противник не верит в нашу наступательную силу. Сколько можно наступать! Наступлениям нет конца! Мы, по его расчетам, должны выдохнуться... Есть немало доказательств тому, что противник, ожидая наступления на нашем фронте, недоучитывает его мощи, считает: у него достаточно сил, чтобы не пустить нас дальше Прута и Дуная...

Я возвращался в полк, вспоминая генеральскую карту, старался зрительно представить местность, на которой развернется глобальное сражение, может быть одно из величайших в этой гигантской войне. Леса, дороги, холмы, города, поселки. Странный рельеф — противник почти всегда будет над нами. Это его преимущество. Но мой партизанский глаз видел и кое-что другое: буераки, балки, перелески — есть свобода для внезапного маневра усиленных подразделений.

По приказу генерала Валовича наш полк форсированным маршем подошел к главной переправе через Днестр и рассредоточился в прибрежном районе вправо и влево от дороги. От моего наблюдательного пункта, с которого хорошо проглядывается во всю глубину Кицканский плацдарм, в батальоны и спецподразделения потянулась телефонная связь. Полк окапывался по линии, лежавшей вдоль Днестра.

## 24

Душные августовские ночи с ароматом вянущих трав стояли над позициями. С деревьев в окопы падали перезревшие яблоки.

Несмотря на тишину и кротость небесного купола с круглой, картинной луной, невозможно было изгнать навязчивую мысль, что смерть и жизнь уже стоят с глазу на глаз. Хотелось, чтобы все началось как можно скорее, но проходила еще одна ночь — и новый день приносил лишь прежнюю тишину и прежний покой. В топах на том берегу Днестра квакали лягушки, на пустых дорогах шальной ветерок взвирывал пыль, рассеивая ее по степи.

В десять часов утра 19 августа 1944 года узнали, что наступление назначено на завтра.

Солнце, как и вчера, катилось по знойному небу, на позициях — наших и немецких — шла обычная перестрелка. Но теперь время мчалось на всех парах. Ночь подкралась внезапно. Никто не спал: на наблюдательных и командных пунктах, на артиллерийских позициях и полевых аэродромах, в окопах и землянках тысячи офицеров еще раз уточняли ориентиры, стыки между частями, сигналы взаимодействия различных родов войск; солдаты писали письма. Кто тайком уговаривал судьбу, молясь богу, кто менял белье... Что же готовит завтрашний день?

Наш запасный полк вкапывался в землю на левом берегу. Я обошел батальоны и долго стоял, вглядываясь в заднестровье, — хотел предугадать, когда же грянет артиллерийско-бомбовый удар по немецким позициям. Но там, как и вчера, шла обычная пляска сигнальных ракет, вспыхивала редкая перестрелка; на переправе — безлюдье.

Распластался на земле, еще не остывшей от дневного зноя. И ре-

ка и кусты на берегу были залиты густым лунным светом и казались неживыми. Сейчас у меня не было той отчаянной занятости, которая еще вчера и позавчера захлестывала. Теперь время и подумать есть, но мозг мой будто заключили в панцирь, через который не просачивалась ни единая живая мыслишка. Гулко стучит сердце — отдается в висках. Пытаюсь вернуться к прошлому, к чувствам, которые владели мною у материнской могилы, на полустанке, откуда открывались мглистые дали Пятигорья, и на берегу Кубани, где стоял я у дуба с выжженной сердцевиной.

Кто-то приближался ко мне.

— Ты, Ашот?

— Это я.— Рыбаков улегся рядом.— Ну как, командир?

— А черт его знает... Будто на полном ходу с седла выбросился...

— Ты? Удивительно... Что-то сегодня у всех не так, как вчера. Ходил из окопа в окоп и людей не узнаю. Даже самые шумливые попритихли.

— Так всегда, Леонид. Бывало, в партизанской землянке допекают друг друга — кажется, и врагов злее нет. А в засаде из смертельного огня один другого вытащит.

— А верно!.. У моего бати присказка была: «На межах — до грани ссоры да брани, а волка гуртом бьют»...

Над нами бесшумно планировал самолет, казавшийся гигантской ночной птицей. Мы следили за тем, как он со снижением шел на восток. Рыбаков сел по-турецки.

— И я вроде сам себе чужой... Как бы с лету в яму не угодить.

— Перескочишь, замполит.

— Дай-то бог!..

— Я малость вздремну, Леонид, а ты перешерсти-ка медиков — как у них там?

Он скрылся за кустом можжевельника, а я еще постоял на берегу, потом шагнул в сторону землянки и... замер: ночная тишина раскололась на тысячи кусков, на землю и небо обрушились гул и рев такой страшной силы, что берег под моими ногами закачался.

Началось!

На левом фланге плацдарма что-то запылало. Густые полосы огня бегут на запад и, кучась, поднимаются багровой стеной. Гулкая горячая волна с Днестра размашисто катится в степь, за ней еще одна, еще...

Пушки бьют впереди, слева, справа, даже из-за спины летят горящие стаи реактивных снарядов.

Ровно двадцать минут грохочет ночь, разрываясь на части, а потом внезапно затихает, лишь воздух перенапряженно дрожит.

Взлетают в небо ракеты, и через считанные секунды доносится приглушенное расстоянием солдатское «ур-ра». Ночная атака? Солдатский крик заполняет пространство с левого фланга до самых бо-лот.

На линии немцев густеют вспышки выстрелов, стаи трассирующих пуль летят на нашу сторону. Я улавливаю басовитый язык пулеметов «МГ-42».

«Ур-ра-а» еще кричат, но тише, тише, тише... А пулеметный перестук у немцев набирает силу, в него вплетается ухающий гранатный перекал, словно по мокрой ухабистой земле волокут только что сваленные деревья.

Полностью умолкает артиллерия, и на плацдарм возвращается прежняя тишина. Но оживает переправа: крики, лошадиное ржание, вой моторов, надвигающиеся с того берега.

Спускаясь к реке, останавливаю первую попавшуюся пароконную повозку:

— Старший есть?

— Вроде я — ездовой.

— Что там, на левом фланге?

— Наши пушки дюже по ихней стороне молотили, значит. А как пошли мы в атаку — мать честная! Ждали, гады...

— Оборону-то прорвали?

— Куды там, не подпустил фриц, вот какая штука. Пшел! — стегнул кнутом; лошади натянули построжки.

Еще повозки, санитарные машины. Многовато раненых. Что же там надумали? Ночная разведка боем?

Бежит ко мне Ашот:

— Захлебнулась атака?

— Пока не ясно.

Идем в землянку — поближе к телефону.

Ашот зажал подбородок единственной рукой, потом рубанул ею по воздуху:

— Что мы гадаем? У Толбухина какой запас, знаешь?

Входит помначштаба капитан Карасев, докладывает:

— Вас ждет на проводе Четвертый.

Беру трубку:

— Двадцать первый слушает.

— Семья на месте? — Голос у Валовича спокойный, обыденный.

— Так точно.

— К утру двадцать второго со всеми потрохами быть в моем доме.

— Через порог не пустят, товарищ Четвертый.

— А ты проскочи!

— Понятно.

Ашот прислушивается к интонации моего голоса.

— Порядок? — Весь подался ко мне.

— Валович в норме.

— Хорошо! Ночная разведка боем, не более того.

Я понемногу успокаиваюсь; прилег и сразу же крепко засыпаю. Сплю без сновидений. Открываю глаза — день и... тишина.

— Проспал? — вскочил на ноги.

Ашот недовольно махнул рукой.

— Седьмой час, а молчок. Когда же начнется, командир?

Странно: приказа об отмене решающего наступления не было. Может, он до нас не дошел?

Вдали, на плацдарме, купол монастырской церкви. На нем играет солнце, и видно даже, как голуби летают. Начинался зной; на дороге, спускающейся к переправе, поднялся смерч, кружась, двигался к Днестру, но не дошел — угас, лишь медленно кружились над землей обрывки бумаги.

Я пошел к берегу, выбрал удобное для наблюдения место, поднял бинокль... Ей-богу, ничего за ночь не изменилось, кроме леса на левом участке — он потемнел и еще дымил.

Пришел с судочками Касим, расстелил на сухой траве салфетку.

— Кушать надо, командир.

Неожиданно над нашими головами послышался пронзительный, какой-то скулящий визг. Инстинктивно распластались на земле. И тут же ахнуло одновременно с берега, на плацдарме и в степи за спиной. Все вокруг начало окутываться густым дымом и исчезало из поля зрения. Видимой осталась часть неба, где в несколько этажей шли на запад самолеты: звеньями, эскадрильями, целыми полками.

Звуки слились, ощутимо вздрагивала земля, не столько услышал, сколько почувствовал уханье тяжелых гаубиц. Сериями летят на запад огненные «сигары» — бьют реактивные установки. Взрывы десятков тысяч снарядов и авиационных бомб сжигали кислород, и вскоре трудно стало дышать. Ткнулся лицом в землю, хватая запекшимся ртом пропитанный пороховым угаром воздух. Грохот, треск продолжались целую вечность, земля качалась, как палуба в зыбком море. Артиллерийско-бомбовый удар длился пятьдесят минут, затем оборвался, и глухая тишина показалась куда страшнее кромешного ада.

— Начинается атака! — заорал Ашот, ударив кулаком по земле.

Гул надвигался исподволь, будто из глубины земли. Снова надрывно заголосили батареи, бросая теперь снаряды в глубину немецких укреплений.

— Идет пехота! — Ашот приложил ладонь к уху. — Точно, пошла, матушка!

Я не слышал криков атакующих, но как-то ощущал движение на линию немцев и то, как пехота вклинивается в оборону — после такого артиллерийско-бомбового удара там, у немцев, не должно быть ни одной живой огневой точки. Уже пора идти танкам. Жду: вот-вот завоют моторы и залязгают гусеницы. Ну!

Что-то случилось. Может, я оглох? Нет, хорошо слышу, как наши пушки молотят второй эшелон врага. Но почему так близко рвутся снаряды? За монастырской стеной черные фонтаны земли.

— Беда! Яман-беда! — закричал Касим.

Немецкие пулеметы и пушки усиливали удар, вся линия нашей обороны в огне и дыму. Метрах в ста снова рывкнули наши гаубичные батареи; в воздухе стало темно от самолетов; штурмовики летели на запад низко-низко, задевая, казалось, верхушки деревьев; визг реактивных снарядов дошел до критической точки и уже слухом не воспринимался. Да что за чертовщина!

Полная глухота. Лишь зрением улавливаю все происходящее и догадываюсь, что наш фронт начал еще один артналет.

Устав от всего, не уловил момента не ложного, как в первом случае, а настоящего переноса огня в глубину линии вражеской обороны, не понял, когда пехота пошла на штурм.

Танки входили в прорыв, лязгом и воем заглушив все другие звуки. За танками пошел конный корпус, потом покатила мотопехота, а за нею еще танки, танки. Переправа дугой прогибалась от тяжести мощных машин, ни на минуту не оставаясь свободной.

Появились первые раненые, наперебой и возбужденно рассказывали о ложной атаке. Солдат, вышедший из боя после ранения, охоч на слово. Черноглазый сержант с рукой, наспех уложенной в лубок, с подсохшей кровью на гимнастерке и брюках возбужденно рассказывает:

— Ну и смехота, елки-палки!.. Обдурили фрицев, как ягнят. Как заорем «ур-ра», а сами ни с места!

Санитар, сопровождающий, перебивает:

— Да не так, кореш. Как наши, значит, огонь в глубину перенесли, тут и показали чучела.

— Ты был, да? Ты соображаешь, тюха-матюха? Не показали, а двинули вперед по ложным проходам. Ну и умора, как зашпарили они по чучелам — ошметки летели!

— Во-во, тут-то их снова и накрыли наши.

— И амбец! В окопе одного гада только и нашел, так он в упор, подлюка, — и тр-рах! — кивнул на лубок.

Десять тысяч чучел было «поднято в атаку». Их двигали на нем-

цев по заранее подготовленным и замаскированным траншеям. Противник все, что сумел сберечь от первого артналета, бросил на передний край. Тут-то наша артиллерия и штурмовая авиация смешали все живое с заднеэстровской землей!..

Слежу за переправой — уже скоро вечер, а потоку войск не видно конца. Идут полки резерва Главного Командования, машины с боеприпасами...

Наши батальоны замерли и ждали сигнала на марш на тот берег. Они хорошо скрыли себя, даже комендант переправы не подозревал, что под носом у него сосредоточился целый стрелковый полк, который, напряженившись, ждет момента, чтобы броситься на тот берег. На рассвете я подошел к нему, немолодому подполковнику, оглохшему и охрипшему. Он не понимал, чего я добиваюсь. А когда понял, попытался.

— Ты в своем уме?

— Мой полк должен быть к утру на позициях.

— У меня график, понимаешь? Сам командующий фронтом подпisał, а ты лезешь... Ну что за народ! — Показал мне спину.

Я отошел в сторонку, но не спускал глаз с дороги, по которой сползали на переправе машины, повозки. Около часа шли дивизионы гаубичного полка. И вдруг — никого, тихо! Я просигналил, и через минуту-другую батальон Шалагинова мчался на переправу рота за ротой.

— Астахов, давай!

Бежали солдаты, смыкаясь затылок в затылок, по деревянному настилу тархтели повозки.

Комендант «застукал» нас тогда, когда на том берегу были все три батальона, а на помост вступила полковая батарея.

— Кто позволил? — заорал он оглушительно и, надвигаясь на меня, стал вытаскивать пистолет.

В запале я схватил его за руку.

— Ты?! Ко мне! — крикнул он.

Прибежали автоматчики, подхватили меня под руки, поволокли по мосту. Привели в полутемную просторную землянку.

— Товарищ уполномоченный командующего фронтом, разрешите доложить! — обратился комендант к худощавому полковнику.

— В чем дело?

— Подполковник самовольно занял переправу! — О пистолете он умолчал.

— Как смели? Под суд отдам! — накинулся на меня уполномоченный.

— За что? Я воспользовался паузой и перебросил полк на тот берег.

— Откуда пауза? — Он повернулся к коменданту.

— Девяносто шестая танковая бригада запаздывает по неизвестным причинам, товарищ полковник...

— Тогда в чем дело, комендант?

— Мы оба виноваты, товарищ полковник, — говорю я.

— Идите — и чтобы через десять минут ни одного вашего солдата на переправе, ни одной повозки!

Вышел вместе с комендантом.

— Ты уж извини, виноват, — сказал я ему.

— Где это ты научился драться?

— Да ладно тебе, сказано — виноват.

— Не завидую твоим подчиненным...

С того берега набегал горький и влажный ветерок. Под копытами Нарзана сухо гремел настил...

Мы двигались за наступавшими частями. Деревья вокруг почернели от гари, на них ни листьев, ни плодов.

Попадались пленные. Они сдались сразу же после вторичного переноса огня в глубину их обороны. На запад путь им казался страшной, чем к нам. Они медленно брели, немцы и румыны, с застывшим в глазах страхом.

Наступление продолжалось при тридцатипятиградусном пекле. Тысячи трупов лежали от Днестра до Селемета, который сейчас брался штурмом. Над ним стояло ржавое марево солнца и огня. Не счесть покалеченных и разбитых машин, уже обобранных армейской шоферней. А лошадей, лошадей... Бедолаги, позадирали мощные копыта в стальных подковах в небо...

Санитарная служба фронта падала с ног от усталости. Повсюду запах хлорки. Пленные румыны роют глубокие ямы.

А войска — на запад, на запад...

Сады, земля, дома, изуродованные шквалом огня. Рыжая, рыжее глины, пыль на дорогах.

Наши части ворвались в Селемет. Здесь оказался оперативный центр 6-й немецкой армии. Окрестности начисто изрыты, в добротных блиндажах ковры, домотканые рядна.

Танковые части выскочили на простор и уже завязали бои у само-го Прута, а войска соседнего фронта вышли на реку севернее и захватили западный берег. Нависла угроза окружения главных сил группы армий противника «Юг».

Через день роты, батальоны, полки, всю нашу Степную армию облетела весть: за Прутом сомкнулись мотосоединения двух Украинских фронтов. 6-я немецкая армия, бывшая армия генерала Паулюса, снова оказалась в окружении. В гигантском котле на восточном и западном берегах реки — пять немецких корпусов. На юге, у Аккермана, одна из армий нашего фронта завершила ликвидацию главных сил 3-й румынской армии.

## 25

Нетерпение! То самое нетерпение солдата, когда кажется, что на главную битву не попадешь, что самые значительные события обойдут тебя.

25 августа в шестнадцать часов меня вызвали к Гартнову. Я при-скакал к едва приметному домику, притаившемуся под древним корявым дубом, спешил и вошел в низкую комнатенку.

Командующий встретил улыбкой:

— Небось думаешь, на шапочный разбор?

— Никак нет.

— Ну и хорошо. Каждому свое дело и на своем месте. Садись, подполковник, кури, а я свяжусь.— Потянулся к полевому телефону.

Сел, а сердце мое — бах, бах...

Как сквозь ватные тампоны доносится генеральский голос:

— Дай мне Семнадцатого... Ты? Еще раз здоров. Как там у тебя?.. Да, я о ней знаю — авиаразведка подтверждает. Держись и смотри в оба. Фланг?.. Ты Тимакова знаешь? Ну и слава богу. Так вот, он будет у тебя. Все.— Командарм положил трубку, расстегнул ворот кителя, мелькнула белоснежная сорочка.— Подойди к карте,— позвал меня.

Оперативная карта испещрена красными и синими стрелками. Котел, в котором оказались полуразбитые немецкие дивизии, обведен жирной волнистой чертой. Он напоминал по форме яблоко с выпирающим боком. Оттуда, из него, летели синие стрелы, но тут же загибались за фронтную черту — обратно к себе.

— Контратакуют,— сказал командарм, кончиком карандаша обвел

юго-восточную часть котла.— Здесь немцев держат полки генерала Епифанова, изрядно потрепанные. У него жидковат левый фланг. Но это еще не вся беда. Немцы группируются. Собрали кулак — до полка пехоты, остатки штабов трех дивизий с генералами во главе, танки и самоходная артиллерия. Отчаянные! На все пойдут...

— Ясно, товарищ командарм.

— Горопыга, слушай. Куда ударят, неизвестно, проясняется только общее направление — Прут. Там единственная переправа. Противник вокруг нее держит свежие части, танки. Значит, и прорываться будут туда, на переправу. Но — маршрут?.. Могут пойти вдоль однопутки, но это на юг, а им нужен запад. На запад дорога короче, но там лес, болотце. Думай.— Командующий отошел, подпер спиной бревенчатую стену, по-стариковски потерялся о нее; стоя у открытого окна, закурил.

Я не отрывал глаз от карты, стараясь как можно подробнее запомнить обстановку; засек: на западе наши войска лишь севернее болотца, а там резко пересеченная местность. Куда пойдут немцы? Пока не ясно. Командующий подошел ко мне:

— Ну?

— Позвольте решение принять на месте?

— А я его и не требую тотчас. Приказываю,— палец в левый фланг епифановской дивизии,— занять боевую позицию от отметки девяносто пять и шесть десятых до болотца. Сосредоточиться сегодня же к двадцати двум. Задача: удержать позицию, не выпустить из кольца ни одного вражеского солдата, разведать группировку и уничтожить ее. Придаю... Впрочем, узнаешь об этом в штабе генерала Епифанова. Тебя там ждут.

Трофейный «кнехт» шел вдоль заброшенной однопутки. Машина без амортизаторов, бросает — матушку вспомнишь.

Перескочили полотно дороги, и тут же нас задержал часовой. Прибежал дежурный офицер, спросил:

— Подполковник Тимаков?

— Да, к генералу.

Шел за дежурным офицером, приглядывался. В стороне возле разбитой железнодорожной будки догорал бензовоз. От глубоких воронок несло тошнотворным перегаром.

— Бомбили?

— Недавно, тройка налетела,— ответил дежурный.

Вошли в землянку. Генерал Епифанов поднялся во весь свой большой рост, протянул ладонь, в которой уместились бы оба моих кулака.

— Ну вот, Тимаков, гора с горой, а человек с человеком всегда... Располагайтесь.— Пожав мне руку, он дважды хлопнул ладонями.— Входите! — пригласил своих офицеров и, позвав всех к столу, на котором лежала развернутая карта, начал вводить нас в обстановку.

Почему-то всегда ждешь, что тебе скажут обо всем и все. А на деле оказывается, получишь тютельку информации, а дальше уж сам соображай. Узнал не более того, что знал: дивизия стоит на месте, противник помалкивает, но что-то надумал. И все. Позже, когда фронт стал мне понятен, как был понятен партизанский лес, я обнаружил некоторую закономерность: передний край трудно узнать через чье-то посредство, его можно познать лишь самому.

— В двадцать два ноль-ноль я снимаю с отметки девяносто пять и шесть десятых свой полк. К приему готов, подполковник? — спросил меня Епифанов.

— Два батальона рядом, у подножья отметки девяносто пять и шесть десятых, товарищ генерал.

— Вот и добро. Ну, еще что?

— Точнее о противнике.

— Загвоздка! Фашисты прикрыли тропы густым пулеметным огнем, носа не кажут. Группируются вот тут, у спаленного кордона. Контратакуют наверняка. Мы взяли одного гуся. Русский в немецкой форме. Говорит, что ночью двинутся. Куда — не знает.

— Что придется нам, товарищ генерал?

— Истребительно-противотанковый полк, гаубичный дивизион. Все.

— А танки?

Генерал лишь руками развел.

— А если главный удар будет не на левом, а на правом фланге? — спросил он.

— По тактическим соображениям, удар немцев обрушится на наш полк!

— Посмотрим, посмотрим... А с танками решим так: будем держать их на нашем стыке. Вот все, что я обещаю.

Я понял — генерал не изменит решения. Под прикрытием сумерек наши роты двинулись на позиции.

Связной, присланный Ашотом, повел меня на полковой наблюдательный пункт. Он уже оборудован, между подразделениями установлена тройная связь: живая, телефонная, радио. Номера батальонов закодированы. Ну и Ашот, когда только успел? Он спокоен, нетороплив, и все здесь ему привычно — он в своей стихии. Связывается с комбатами, не повышая голоса, осаживает излишне горячащегося офицера:

— Дорогой, зачем так надрываешься, как мальчик бегаешь из окопа в окоп? У тебя есть адъютант, пошли его к самому переднему караулу, пусть послушает ночь. Много услышит — тебе скажет. Понял? Ай да молодец! — Он подошел ко мне с картой: — Наши караулы здесь и здесь. А этот, — кончик отточенного карандаша ложится на перекресток троп, — этот совсем под носом у кордона и слышит, как передвигаются машины, моторы на тихих оборотах...

— Меня интересуют артиллерийские позиции. Что успели?

— Противотанковые пушки смотрят на танкоопасные дороги, гаубичный дивизион — за насыпью, а его наблюдатели у Астахова. — Ашот убирает карту. Его черные, слегка выпуклые глаза говорят: ты, командир, думай о главном, а все остальное я беру на себя.

Главное. В чем оно? Что я знаю о противнике? То, что он накапливается на кордоне, готовит прорыв. Предполагают, что он ударит по отметке 95,6. Но решающий ли это удар? У немцев опытные генералы, они могут догадаться, где мы их ждем, могут продемонстрировать атаку, а основными силами пойдут на запад, через болотце. А почему бы и нет, когда стоит вопрос: жить или не жить? Теперь их окружают; и им нужны ущелья, пещеры, болота и самые глухие чащобы. Или немец и сейчас остается немцем? Ему прикажут прочесать лес метр за метром, но он глубокие ущелья непременно обойдет стороной, в пещеры не заглянет, будет жаться к дорогам, пусть едва намеченным, но все одно — к ним. Вот этой кровной привязанностью к «удобствам» ведения войны мы и пользовались в крымском лесу и выходили из положений, из каких выйти едва ли возможно.

На наблюдательном пункте собираются командиры подразделений и приданных средств.

Итак: куда ударят немцы?

Представь себя на месте того, кто командует силами противника, готовящегося к прорыву. У тебя пехота, пушки, танки, самоходные артиллерийские установки, обоз и раненые. Высшее командование, с которым ты связан по радио, дает приказ: прорваться на Прут, на переправу, обеспечиваемую крупными ударными частями. Есть два вы-



хода: или со всеми наличными силами двинуться на высоту 95,6, протаранить оборону и выйти на оперативный простор, или, уничтожив собственную технику, материальные склады, налегке двинуться через болотце — по наикратчайшей дороге к переправе.

Перед тем как принять окончательное решение, ты используешь все средства и возможности, чтобы разведать, насколько сильна оборона противника в районе высоты 95,6. Ты располагаешь данными, положим, на двадцать часов ноль-ноль минут. Они в твою пользу: высоту обороняет стрелковый полк, потрепанный в бою, прикрытый огнем тридцати артиллерийских стволов. У тебя есть средства, чтобы смести с пути обороняющуюся часть и вырваться. Путь же через болотце — крайность, за него по головке не погладят, строго спросят за брошенное тяжелое вооружение...

Тут-то и напрашивается главный вопрос: знают ли немцы, что произошла пересмена частей, что оборону занимают теперь полнокровные стрелковые батальоны, оснащенные мощной артиллерией — противотанковым полком, дивизионом тяжелых гаубиц, минометами большого калибра?

Знает об этом противник или нет? Нет, надо иначе подойти к решению этого вопроса: мог ли узнать? Пересмена произошла под покровом ночи, значит, авиаразведка исключается. Перебежчика от нас к немцам не было, языка они не взяли. Остается слуховая разведка и визуальное наблюдение. Но мы соблюдали тишину и полную маскировку.

Вывод один: жди удара на южном направлении, то есть в районе от высоты 95,6 до болотца. Надо сдержать этот удар и заставить немцев двигаться через болотце!

Прикрывшись плащ-палаткой, направив узкий луч света карманного фонарика на карту-километровку, еще раз внимательно всматриваюсь в местность. Болотце... Через него не пройдет даже грузовая машина — топи. Здесь возможны лишь пешеходные тропы в сторону высоты 101,5. За ней три километра мелкого кустарника и — немецкая переправа. Высота, высота! Очень интересно... А что, если туда засаду, по-партизански, тайную, сверхсекретную? У меня даже сердце вздрогнуло от предчувствия исхода боя. Решение созрело!.. Я послал связного за замполитом и начальником штаба полка.

— На КП вас ждут, — тихо доложил Ашот.

— А ну-ка ныряйте под мою накидку оба!

Развернув карту, я выложил им свое решение.

— Не согласен! Нельзя оставлять целый батальон Шалагинова в вашем резерве. Мы распylim силы, и противник проткнет нашу оборону. Тогда догоняй его! — заявил начальник штаба.

— Константин Николаевич, — подал голос Рыбаков, — соображения Ашота Богдановича не лишены основания. Шалагинова в оборону, а в резерв достаточно две роты: разведчиков и автоматчиков.

— Ва, сообразил! — воскликнул Ашот. — Засада за болотцем? Категорически возражаю!

— Нам надо удержать то, что приказано удержать, — напомнил Рыбаков.

Я почувствовал на какой-то миг пустоту и собственную невесомость. Ладони стали холодными и мокрыми.

— Благодарю вас за откровенность. Мое решение остается в силе.

Я направился на НП, попросил всех выйти и послушать ночь.

На северо-западе над лесом поднялось высокое пламя, а где-то очень далеко перекатывались глухие артиллерийские удары. Под деревьями стоят лошади, всхрапывают, прядают ушами; их глаза тревожно поблескивают, отражая багровые отсветы.

Вернулись на КП. Я разрешил курить. Вполголоса переговариваются офицеры, кто-то нагнулся к телефонному аппарату, шепотом приказывает:

— Расчет второй на просеку, понял?

Комбат Чернов присел на корточки, исподлобья смотрят на меня его всепонимающие глаза. Капитан Шалагинов нетерпелив, часто снимает фуражку, во всей его фигуре чувствуется: скорее, скорее. Комбат Астахов — словно в учительской: очки на лбу, на коленях раскрытый планшет и сам — весь внимание.

Я начинаю тихо:

— Товарищи офицеры, прошу отыскать на картах отметки кордон и девяносто пять и шесть десятых. По данным авиаразведки, допроса пленного, по тому, куда нацелена немецкая артиллерия, противник атакует железнодорожное полотно с острием удара на девяносто пять и шесть десятых. Приказываю майору Астахову к двадцати четвёртому ноль-ноль полностью занять позицию на этой отметке. Вам придаю две противотанковые батареи, гаубичный дивизион, а в резерв — полковую роту автоматчиков. Цель: принять на себя удар врага, а потом контратаковать его. Ваш сосед слева — батальон капитана Чернова с приданными средствами.

Чернов поднялся, побряхтывая, не спеша развернул карту; весь его вид будто умолял: не торопитесь, пожалуйста, дайте мне задачу, об остальном не ваша забота.

— Вам, товарищ капитан, — я подошел к нему поближе, — занять лесную оборону от отметки девяносто пять и шесть десятых вдоль лесной опушки до самого болотца. Но главные силы поближе к соседу справа, к Астахову. Особое внимание на лесную дорогу, ведущую на кордон. Ее прикрыть не только противотанковыми пушками, но и пехотой. Задача: противника из леса не выпустить, обеспечить контрудар майора Астахова. В дальнейшем перейти в наступление по моему сигналу. Вопросы есть, капитан?

Чернов долго смотрел на карту, потом спросил:

— А кто же за болотцем?

— Это уже не наша печаль... Все, товарищи офицеры!

— А я, а мы? — всполошился Шалагинов.

— Пока останетесь здесь, в моем резерве. — Я посмотрел на часы. — Прошу сверить время; на моих двадцать два шесть минут. Держать постоянную связь с НП.

Как только офицеры покинули КП, я приказал начальнику штаба:

— Срочно вызовите майора Вишняковского!

Татевосов не сразу ухватился за телефонную трубку. Он смотрел на меня, и весь вид его говорил: еще раз подумайте, я обязан подчиниться, но вы еще раз подумайте!

Вишняковский стоял за спиной Рыбакова, приготовившись к тому, что от него потребуют сейчас что-то такое, после чего света белого ему не видать. Я спросил:

— Сколько машин у вас на ходу, Валерий Осипович?

— Все двенадцать, товарищ подполковник.

— Усадите три роты?

Майорские глаза, до этого испуганные до белесоватости, теперь, когда их хозяин получил привычный, а значит, и спасительный приказ, будто по волшебству потемнели, в них блеснули два крохотных огонька.

— Усадим, товарищ подполковник!

— При подходе пошумите как следует.

— Я понял вас.

И Ашот и Рыбаков продолжали молча и с недоумением смотреть на меня.

— Ко мне капитана Шалагинова, — потребовал я.

Комбат вошел на КП и крикнул лихо:

— Я здесь, товарищ подполковник!

— Отлично. По приказу будь готов посадить батальон на машины и айда вот куда, разворачивай карту. — Я показал ему на возвышенность, прикрывающую подступы к переправе через Прут. — Ты это место займешь к рассвету. Твой путь туда будет таким: три километра на юг от нашего НП, только тихо-тихо, а потом поворот на запад, спешиться и бегом на север, на возвышенность. Окопаться насколько это возможно — и замереть. Подпустить немцев на автоматную очередь и расстрелять к чертовой матери.

— Они пойдут туда?

— Заставим пойти!..

Машина, подскакивая на разбитой дороге — едем на отметку 95,6, — сталкивала плечами меня и замполита. Он помалкивал, в глазах его тревога. Впрочем, это можно понять — первый для него бой.

Переехали через железнодорожное полотно, остановились под насыпью. Нас встретил связной майора Астахова, пошли за ним, прислушиваясь к ночи.

Иду по незнакомому лесу, но мне он не кажется чужим. Я вижу солдат, орудующих лопатками, слышу их натужное дыхание. Как далеко от нас немецкие секреты? Никто не знает. Где-то, должно быть внутри котла, гудят машины. Чу, кажется, танки! Спрашиваю у Астахова:

— Разведал?

— Кое-что. Накапливаются южнее кордона, их полевые караулы в трехстах метрах от нас.

На Астахове мокрая от пота гимнастерка.

— Жарко?

Он промолчал.

Обошли позицию с востока на запад — всю... В моей станице строили ферму пришлые мужики, «иногородние» называли их казаки. Они рыли фундамент до того неторопливо, что, думалось, конца никогда не будет. Однако шло время, работа потихонечку двигалась; пока суд да дело, а ферма уже и стоит готовенькая, глаз радует. Так и астаховские солдаты. Вроде едва руками шевелят, покряхтывают, а за час-другой, как кроты, всю высотку перевероршили и по фронту и в глубину. Из землицы — бруствер, на бруствер — ветки.

Как правило, пожилые, бывалые солдаты просились к Астахову. В его ротах громкие песни не пелись, не шагали вытянув носки, и земля под солдатскими ногами не ухала. Ходили они в обмотках, во всем казенном, с не ахти какой выправочкой. Стреляли без торопи, но в цель попадали, окопы копали в полный рост... Не службу несли — работали. Работали!

Астахов оставил в обороне половину батальона, а другую и приданную роту тихо спрятал за полотном дороги. Спокойствие комбата заражало, не хотелось покидать его участок. Выбрать бы себе местечко, зарыться поглубже в землю и ждать своего часа. Тут ждать. И не надо думать и гадать, куда будет направлен главный удар...

— Ну, Амвросий Петрович?

Астахов спрятал очки, одернул гимнастерку.

— Удержусь.

— Этого мало.

- Бой покажет,— задумчиво ответил майор.
- Могут ударить сильнее, чем мы ждем. Чем еще вам помочь?
- Ваш бы резерв поближе...

Я у танкистов, по пути завернул. Двенадцать машин, не остывших от дневного зноя. Почему-то вспоминается степь, ночь и в борозде — «Челябинец».

Разыскал командира полка. Он оказался молодым разбитным майором, разговорчивым.

— Ну как я буду действовать без приказа генерала Епифанова — ему же придан! Понимаешь? Ты это понимаешь или нет?

— Ладно, тогда прошу об одном: припрет нас — пошуми танками и накрой огнем кордон.

- Это могу, но с места не сдвинусь!
- И за то спасибо. Сигнал — две красные ракеты.
- Я сговорчивый. Пехоте всегда помочь рад...

Вишняковский с машинами на подходе — моторы ревя ревут. Во дает, сукин сын!

Немцы полоснули серией снарядов, как бы протестуя против неожиданной возни за отметкой 95,6. В ночи раскатились громовые звуки.

Рыбаков тронул меня за плечо, приглушенно сказал:

— Командир, главная музыка будет, наверное, тут. Ну его к лешему, это болотце. Давай шалагиновские роты к Астахову, а?

— Дорогой Леонид, нам надо вытянуть свой счастливый билет. Мы обязаны живых немцев повернуть на болото, под шалагиновские автоматы.

Рыбаков сделал рукой предупреждающее движение — мол, слушай, не перебивай:

— Если ты уверен, что немцы пойдут через болото, тогда мое место у Шалагинова. Значит, я с ними...

— Там возможна рукопашная.

— Как всем, командир!

— Что ж, боевого огня, Леонид! Учти — идешь на решающее место боя. Как говорят — комиссары, вперед!

Около тридцати стволов — разнокалиберных — одновременно ударили по 95,6. Ожил полевой телефон.

— Я Второй.— Это голос Астахова.

Стараюсь как можно спокойнее:

— Слушаю вас.

— Идут двумя сходящимися колоннами.

— Благословения просите?

— Понятно... Встречу...

Густо заголосили автоматы. На просеке, что правее 95,6, как кнутом стеганули — лес вздрогнул, заплотневший воздух стал в ушах колом. Послышался шум моторов.

— «Ольха»! — Продуваю телефонную трубку: это позывной командира иптаповского полка.

Отвечают:

— У аппарата начштаба.

— Я Первый. Где хозяин?

— Ихним коробкам ребра пересчитывает.

— Появились?

— Три штуки. Одна горит.

— А те?

— С опушки как из подворотни фугасными поплеывают.

— Чтобы ни на метр к нам!

— Принято.

С наветренной стороны ползут клубы дыма, через щели вползают в НП, становится душно.

Ашот зовет меня к армейской радиции:

— Генерал Валович.

Микрофон у меня в руках.

— Слушаю, товарищ Четвертый.

— Началось?

— Шесть минут назад.

— Будет туго — бей в колокол. С воздуха подсобим. И держись!..

Рыбаков и Шалагинов ждут своего часа. Тщательно вытирает лоб замполит, спиной упершись в стену, с которой после близкого взрыва осыпается земля. А у комбата азартная жадность к драке, но выдерживает — позавидуешь. Стреляный.

Вокруг НП едко дымящиеся воронки. Близкие отсветы — в лесу что-то разгорается. Снаряды с воем пролетают над нами и с треском рвутся.

Огневая стена не движется до поры до времени. Неожиданно правый ее фланг стал загибаться, вытягиваясь в сторону 95,6.

— Астахова! — кричу в трубку. — Астахова! Оглохли, что ли?

— Я у телефона, товарищ Первый, — прохрипел майор. — Немцы в ста метрах от КП. Ввожу резерв...

— Держись! — Поворачиваюсь к связисту: — Соедини с Черновым.

Паренек, передергивая худыми лопатками, неистово вращает ручку полевого телефона.

— Обрыв? — нетерпеливо спрашиваю я.

Связист бледнеет.

Напротив меня у радиции возится Ашот. Пилотка сбита набок. Докладывает:

— Чернов на радио.

— Два хозяйства срочно двигай на кордон. С шумом двигай, сейчас же.

— Принято.

Секунд через тридцать — сорок ожила лесная опушка от НП до самого болотца. Теперь бой шел от правого до левого фланга, втянув в себя почти все силы полка. И Шалагинов в эту минуту не сдержался:

— Разрешите напролом! Зачем к Пруту? Я отсюда достану кордон.

— Замолчи!

Три часа утра. На горизонте едва заметная предрассветная полоска. Неожиданно бой стал перемещаться правее отметки 95,6. Прорвались?

Сжимая телефонную трубку, кричу:

— Астахов! Астахов!

Тишина.

— Астахов!

Отвечают издали, голос незнакомый:

— Майор Астахов убит на КП, докладывает адъютант батальона.

— Принимай на себя командование!

— Нам помощь нужна — срочная. Их тут прорва. Лезут, лезут...

— Без паники, сейчас будет поддержка! — Положил трубку. — Ашот, бери разведчиков и немедленно восстанови положение!

Он здоровой рукой сжал автомат и выскочил из НП.

Далеко-далеко, на участках генерала Епифанова, начали глухо рваться снаряды.

Выбегаю из НП. Перегретый воздух стискивает виски. Вслушиваюсь. Бой идет по всему фронту, острием своим максимально прибли-

жившись к отметке 95,6. Прошло минут пять, не больше, и там, над самым пиком, перестук автоматов — это Ашот. И едва слышимое «ура»...

Чернов наступал: ярко-зеленые вспышки медленно двигались в направлении кордона, Молодец!

Танки! Сейчас важнее всего они — чтобы и снарядами и гулом моторов... И всю артиллерию — в самую серединку кордона фугасными, шрапнелью.

Я бросился к радисту:

— Связывай, быстро, с артиллеристами!

— Они у приемника. — Радист уступил мне место у аппарата.

— Все стволы — на кордон! — приказываю я.

— Жарим беглым!

— Молодцы!

Посылаю в просыпающееся небо две красные ракеты. Их брызги алыми серьгами падают на кордон.

Кто-то каской по моей голове — бах!

— Ошалел, что ли! — крикнул на Касима, он не отставал от меня ни на шаг.

— Башка хранить хочу!

Рядом шмякнулась мина — упали вдвоем в обнимку. Пучок металла резанул над нашими головами воздух и впился в ствол мощного дуба.

Запахло огуречным рассолом.

— Тан-ки-сты-ы!

Стою будто босой на раскаленной плите. Лишь бы не заорать!..

И вот наконец-то доносится танковый грохот. Слышу, как рвутся прямо над кордоном бризантные снаряды. Спасибо, танкист, не подвел!

Зовут на НП, к армейской рации.

Генерал Валович, услышав мой голос, накинулся:

— Почему покинул НП?

— Прошу помощи с неба. Дайте штурмовую!

— Замечай время. Сейчас три часа двадцать две минуты. В три пятьдесят будут. Цель?

— Прямо на кордон. Мы южнее на километр.

— Держись... Жди, обозначь себя сигналами.

Сел, устало закурил, затянулся — закружилась голова. Швырнул папироску и встретился с глазами замполита. Он был в прежнем положении — тревожно ожидающего. А Шалагинов даже вроде бы осунулся от нетерпения. Но — молчит.

— Ну, капитан, время. Роту Платонова оставьте на месте, а остальных со всем гамузом — на машины, на машины.

— Есть!

Шалагинов не вышел, а вылетел из НП. Уже на площадке раздавался его зычный голос:

— Командиры рот, ко мне!

— Леонид Сергеевич, давай! Вам на дорогу всего пятнадцать минут. И оттуда, с места, жду открытым текстом и чтобы твой голос: «Константин, мы на месте». — Я обнял его и оттолкнул от себя.

На НП появился Платонов.

— Андрей, бегом с ротой к высоте девяносто пять и шесть десятых. Замри в укромном местечке. Как только пробомбят наши — на кордон, в атаку!

Платонов поглубже натянул пилотку.

— Накромсаем, товарищ подполковник!

Всех разогнал и оказался как в пустоте. Не спускаю глаз с минут-

ной стрелки. Почему она, проклятая, не движется? Поднес часы к уху — тикают. Я то присаживался к рации, то поднимался.

Прошло пятнадцать минут... шестнадцать... Осталось четыре минуты до бомбового удара с воздуха. У, чертовы размазни!..

— Товарищ подполковник, рация!

Я схватил наушники.

— Константин, мы на месте! Константин, мы на месте...

Медленно вышел из НП. Гул моторов и свист реактивных снарядов, вылетающих из леса, что стоял за нашими позициями, слился с бомбовым ударом с неба. Я упал на землю, раскинул руки и... как провалился в небытие. Очнулся от удара в бедро и отчаянного крика Касима:

— Командир, наша на кордон лупит!

Ярко горел лес, за пламенем схлестывались автоматные очереди — наши с вражескими. Я бежал на отметку 95,6. У разбитого батальонного НП увидел Астахова. Он лежал под дубом, низко опустившим опаленные ветки. Острые колени согнуты, под ними расплывшаяся кровь. Сел рядом, снял планшет, из кармана выгоревшей гимнастерки достал партийный билет и офицерское удостоверение. Солдаты из хозроты подносили сюда убитых и клали их рядом с комбатом. Их было много — пожилых и, казалось, уменьшившихся в росте.

Я шел по лесу. Трупы немцев в офицерских и унтер-офицерских погонах. Оружие уже подобрано: успели хлопцы.

Ашот сидел на немецком пулемете «МГ-42», прищурившись смотрел на лес и молчал. Его левый пустой рукав начисто оторван, швы старой раны оголены.

— Надо же, второй раз по одному месту...

— Так повезло же, Ашот-джаным!

Он снял пилотку, вытер лоб.

— Ах, сколько надо похоронок!..

Наш трофейный «кнехт», машина двухосная, легко проскочил болотце. Мы с Ашотом сразу же увидели — на носилках несут Рыбакова.

Солдаты опустили носилки.

— Убит?

— Тяжело ранен, — ответила сестра.

— Глотни. — Ашот протянул флягу.

Я сполоснул рот и выплюнул спирт — вернулось дыхание; наклонился над Рыбаковым:

— Леонид, ты меня слышишь?

Сестра отстранила меня:

— Не надо тревожить, товарищ подполковник.

Еще подержал руку на плече замполита и пошел к машине.

Подошел Шалагинов.

— Большие потери? — спросил у него.

— Шесть убитых, четырнадцать раненых вместе с товарищем Рыбаковым.

— Много раз шли на вас?

— Перли валом. Пьяные, очумелые, вон сколько их лежит. А жарко, повздуваются...

— Всех немцев независимо от звания похоронить в одной яме и засыпать хлоркой.

Рвется «кнехт» на большую дорогу. Она, поблескивая асфальтом, бежит вдоль леса за бугор, за которым длинный и покатый спуск к Днестру. Еще одна колдобина — и мы на асфальте.

Встречные грузовики — «студебеккеры» — ревя режут, катят на

запад; за ними на прицепах подпрыгивают новенькие пушки. Еще одна артбригада РК? Сколько же их!..

Обгоняем колонны пленных. Скучны, как ржавое железо. Их обходят юркие «виллисы» с важными полковниками, за спинами которых молоденькие адъютанты.

Все во мне словно бы расковалось, расслабло.

Странная штука — чувство выигранного боя. Знаешь, какой ценой досталось, и все-таки не об этом думаешь, не это переживаешь. Невольно подсчитываешь в уме, сколько потерял противник, какое количество взято пленных, сколько немецкой техники попало в наши руки...

Крепкий орешек раскусили. Кордон был забит машинами, пушками, танками, а всякого трофейного барахла не счесть. Только сейчас становится понятно, почему немцы так безумно жали на Астахов. Молодцы хлопцы, хорошо держались, да и сами немцы помогли: желая во что бы то ни стало вырваться из окружения, шли скученно, вал за валом, почти впритык. Под ударом откатывался вал ведущий, напирал на тот, что следовал за ним, и так далее... Одновременно грянули наши — штурмовая авиация, гаубицы и танки, — на кордоне поднялась страшная паника. Бомбы, снаряды находили двойные, а то и тройные цели. Все взрывалось, горело, плавилось, корчило в огне. Немцы метались, бросались кто куда; большая часть их двинулась через болотце на запад, под автоматы Шалагинова.

Знойный августовский ветер бьет в лицо. Над головой с грохотом и треском проносятся наши штурмовики «ИАы». «Кнехт» выскочил на бугор. Навстречу огромная мышастая колонна. Она, заняв дорогу, поползала, пошатываясь. Небритые лица с унылыми глазами. Впереди медленно катился «виллис», за смотровым окном я заметил фигуру самого командующего.

Остановил «кнехт» на обочине.

За спиной Гартнова сидели немецкие генералы. Три генерала не шевелясь, не касаясь друг друга, козырьки фуражек опущены на глаза. На закрылышке маленькой машины каким-то чудом удерживался адъютант командарма, направив ствол автомата в сторону колонны пленных, плетущейся сзади, безвольной, с кривыми шеренгами жмущихся друг к другу оберстов, обер-лейтенантов, майоров, гауптманов...

Эту необычную процессию замыкал маленький броневик с вращающейся башенкой, из которой выглядывал ствол «максима».

— Подполковник! — Генерал узнал меня. — Пересади этих субчиков на свой драндулет. — Не повернув головы, ткнул пальцем в застывших немецких генералов. — Черти, нажрались чеснока без удержу. Терпеть не могу этого духу!

— Разрешите послать за ротой автоматчиков?

— Будет жирно, обойдемся. — Командарм повернулся к пленным: — Господа генералы, прошу встать и пересечь в «кнехт».

Переводчик нагнулся к генералам.

Немцы, обеспокоенно морщась, выходили из «виллиса», каждый отдал честь Гартнову. Они выстроились перед ним, обреченно поглядывая в мою сторону. Командующий усмехнулся.

— Мы соблюдаем законы войны, — сказал он, — признаем право пленного на защиту, медицинское обслуживание. Идите спокойно.

Генералы внимательно слушали перевод.

Я усадил «трофей» в лампасах в «кнехт». Касим угрожающе поднял автомат.

— Оружие к ноге! — скомандовал я.

— Они удирать будут!



— От себя не удержешь.

— Тимаков,— позвал командарм,— садись к нам, а твоя машина пусть следует сзади.

Вскочил на заднее сиденье.

Ехали тихо-тихо, следя за тем, чтобы шеренги пленных офицеров не отставали от нас. Я успел заметить — им сохранили личное холодное оружие.

Генерал, обернувшись ко мне, улыбнулся:

— Еду, смотрю в оба, чем черт не шутит. Лес, на опушке пни, много старых пней. И за каждым мелькает белое: махали платочками и лоскутками марли... Остановил машину, вышел из нее, стал таким манером, чтобы меня видели, как говорится, во весь рост. Крикнул: «Внимание! Я командующий Степной армией. Вы желаете сдать в плен? Тогда ко мне парламентаров — прошу!» Появились три фрукта, пригляделся: батюшки, генералы! Спрашивают: «Мы имеем честь видеть господина командующего Степной армией?» «Не ошиблись, говорю, я командующий». Приосанились: «Нас три генерала, шесть полковников, три подполковника, майоры, гауптманы, обер-лейтенанты и лейтенанты разных войск. Всего триста три единицы, и мы добровольно желаем сдать в плен лично вам». «Такая честь!» — говорю им. А они свое: «Мы вручаем свою судьбу в ваши руки». Тут уж я уточнил: «Вы сдаетесь генералу Советской Армии. Приказываю сложить оружие! Вы пленные. А чтобы был порядок, прошу господ генералов в машину». У них, у немцев, даже при беде полный аккурат: выстроились, пересчитали друг друга и начали марш, как говорится, в дальние края...

Генерал устался на дорогу и замолчал. Не то дремал, не то думал о чем-то своем. Я видел его незагоревший затылок, изрезанный морщинами. Чего-то я ждал от него. Похвалы, что ли? Не знаю, но медленный ход «виллис» и молчание как-то угнетали.

Три крытых брезентом машины затормозили впереди нас. Из них выпрыгнули солдаты, построились за кюветом; молоденький капитан подскочил к нам.

— Товарищ генерал-полковник, рота охраны по вашему радиовызову прибыла в полном составе!

— Бери всю эту шатию и марш с ней на переправу. Только смотри мне, капитан, чтобы никаких штучек. Они отвоевались. Теперь жить им до поры до времени под русским небом.

«Виллис» командующего набирал скорость, за ним, ревя мотором, шел «кнехт» с тремя немецкими генералами. На маленьком полустанке, у чистого домика с часовым возле калитки Гартнов остановил машину и приказал адъютанту:

— Их,— кивнул на немецких генералов,— накормить, дать время поспать, чтобы свеженькими были. С ними будет длинный разговор.

Я молча ждал, пока высадутся пленные генералы. Адъютант увел их.

— Разрешите вернуться в полк?

Гартнов устался на меня, будто только что увидел.

— Вернешься, а иначе куда же тебе! Значит, повоевал?

— Так точно, повоевали, товарищ генерал.

— Почему твои роты оказались за болотцем?

— Надеялся, что отметку девяносто пять и шесть десятых удержим.

— Крепко надеялся? — Генерал свел брови.— Говорят, победителей не судят. Говорят, а?

— Да, товарищ генерал-полковник, так говорят.

— И считаешь себя победителем?

Я промолчал.

— А вот я, твой командующий, не считаю. Как думаешь, почему? Не спеши, обмозгуй.

— Была опасность прорыва на отметке девяносто пять и шесть десятых,— ответил, не слыша самого себя.

Гартнов оживился:

— Наугад ответил? Или рисковал тогда сознательно?

— На свое чутье полагался, товарищ командующий. Я думал...

— Ишь какой — думал! За всю армию думал... За нее мне положено думать, а тебе лишь за порученный участок. Твое счастье, что немцы были оглушены до тебя. Прорвались бы, к чертовой матери, тогда... Что было бы тогда?.. Впереди Балканы — поведешь полк. Всех отличившихся — живых и павших — к боевой награде. Полк подтянуть, пополнить офицерским составом и готовиться на марш. И чтобы никаких партизанских маневров. У меня кадровая армия! Понимаете, молодой человек, кадровая!

## 26

Полк стягивался к станции Злоть. За переездом длинная улочка, низенькие заборчики, палисадники с поржавевшими георгинами. Скулят собаки, посыпывают, вытянув шеи, сердитые гусаки. На иссушенных солнцем верандах щурятся пожилые молдаванки.

Мы затормозили у плетня, за которым поскрипывал колодезный ворот. Призывно заржал Нарзан. Я размялся, сбросив с себя пропотевшую гимнастерку, крикнул коноводу:

— Старина, плесни-ка из ведра!

— Та дюже холодна.

— Лей давай, лей!

Обожгло.

Из-за сарайчика показался пожилой мужчина с темным, как земля, лицом, в латаной-перелатаной рубашке. Вытянулся передо мною во фронт: ладони липко к штанам, корпус смешновато откинут назад.

— Хозяин, да? — спрашиваю у него.

Быстро-быстро закивал головой, подбежал к Клименко и похлопал его по спине.

— За что ж тебе, старина, такая милость?

— Та я купував гуся. Даю червонец — не бере, два — не бере, лопоче: «Рупа, рупа».

Передо мной стоял обездоленный крестьянин, оказавшийся со своим двориком на перепутье большой истории. Каково же ему?

— Здравствуй, товарищ,— протянул ему руку.

Он вытер ладонь о рваную штанину, крепко пожал мне руку, что-то быстро-быстро сказал на звучном языке, улыбнулся и ткнул пальцем в свою тощую грудь:

— Туарыш!

Прискакал ликующий Ашот, молодецкато сбросил себя с коня.

— Нам салютовала Москва! Из трехсот двадцати четырех орудий.

— Кому это — нам? Фронту?

— Ва, что он спрашивает? И фронту, и армии, и полку нашему. Понимаешь, нашему!

Я посмотрел на часы, излишне строго приказал:

— Обеспечьте положенную охрану и, кроме того, потребуйте от комбатов наградные листы на живых и павших. Майора Астахова к

ордену Ленина посмертно, комбатов Чернова, Шалагинова и старшего лейтенанта Платонова к орденам Красного Знамени.

— Почему такой сердитый? — Начштаба смотрел на меня, ничего не понимая.

Но не мог же я исповедоваться перед ним, рассказать, что меня высек командующий, что до сих пор вижу сердитые генеральские глаза, слышу его голос. Все было сказано только в мой адрес...

Спал долго, не знаю сколько, но казалось, что очень долго. Проснулся и не мог понять, то ли поздний вечер, то ли ранний рассвет. Вышел из душной хатенки и столкнулся лицом к лицу с майором Вишняковским. Он как-то уж очень странно смотрел на меня.

— Ну что еще там случилось?

Он неловко подался вперед и шепнул мне в ухо:

— Конфиденциально.— Вытащил из планшета конверт.— Просили вручить лично в руки.

Я зашел в хатенку, зажег карманный фонарик. Обыкновенный довоенный конверт, на нем ученически-аккуратно выведено: «Константину Николаевичу Тимакову. Лично».

Галина! Она всего в одном маршевом броске от меня, а если на машине — меньше часа.

Поднять шофера? К ней, к ней... Я заметался по комнате. Господи, на мне же грязная, пропотевшая гимнастерка. К черту ее. К черту все эти бесперывные тревоги. К черту это холодное одиночество! Я надел еще не ношенный китель, ощущал подбородок — жесткая, колючая щетина. Сел, тяжело дыша.

Куда это я? За каким счастьем? Что стоит за ее скупыми словами: «Константин Николаевич, я — рядом, с эвакогоспиталем 2126 в Комрате. Галина».

На следующий день пришел приказ на марш через Комрат к Дунаю.

Последние августовские дни еще пуще раскалились. В степи на дороге, лежавшей среди пожухлой стерни, двигались машины. За кузовами тянулся пыльный хвост. Скрылось солнце, приглушились звуки, воздух тяжелел.

Полк шагал на Комрат. Интервалы между батальонами километровые. Над головами пролетали штурмовики: их угадывали по шуму моторов, похожему на треск рвущегося, туго натянутого полотна.

Мы, запыленные с головы до ног, не узнавали друг друга, разве лишь по голосам. Да и они будто сдавленные — глухие.

Ашот шагает, сердито рассуждает вслух:

— Еще километр, еще... Придем в Комрат? Каков Комрат, ай-ай! Один пар останется.

— Ничего, дошагаем.

Ашот сердится с того самого момента, когда полк выстроился рано утром под бледно-лимонным небом. Вишняковский собрал восемьсот каруц, подогнал к батальонам: «Садись, пехота, хватит ногами топтать!» Начштаба, как всякий победитель, считающий возможным поступать так, как поступать не положено, готов был от затей Вишняковского пуститься в пляс. А я разрушил мечту не только его, но и комбатов, мысленно уже рассадивших солдат на трофейные румынские повозки. «Это жестоко, Константин Николаевич!» — начштаба рубанул рукой воздух с такой силой, будто хотел вырвать ее из плеча.

Жестоко, жестоко... Напоремся на Гартнова, и услышу: «Не полк, а банда батки Кныша на каруцах».

Второй час марша, пора на привал. Остановил полк в выгоревшей лощине с водой в трехстах метрах. Солдаты плюхнулись на землю

там, где их застала команда «отдыхать!». Смотрю на них, и трудно узнать, кто есть кто,— одна серо-пепельная масса. А до Комрата тридцать километров.

Подуло с запада, развеялась пыльная пелена, медленно открывались дали: горелая степь, а где-то за ней призывно зеленели виноградные делянки. На нас напознала туча, вдали погромыхивало; потянуло свежестью и укропным духом. Туча грозно росла, брызнули крупные капли, и пыль на глазах чернела.

— Вишняковского ко мне!

— Я тут, товарищ подполковник! — Его голос за моей спиной.

— Где твой табор?

— За горкой.

— Давай его сюда. Туча прикроет наши грехи.

— Хорошая туча, замечательная туча! — Ашот послал небу воздушный поцелуй и разослал связных за комбатами.

По сбитой щедрым дождем дороге, обгоняя мелкие подразделения, мы катили на Комрат. За версту от него спешились, привели себя в божеский вид, построились рота за ротой. Оркестр грянул марш. Ноги сами пошли, строй выравнивался и по фронту и в глубину, будто удары барабана и рев медных труб выбивали из нас второе дыхание.

Во всю прыть, поддерживая учкурики, мчалась со всех комратских улочек босоногая ребятня. У плетней показались девчата, успевшие накинуть на плечи цветастые платки, и молодницы-молдаванки, унимавшие мальцов, жмущихся к их юбкам.

Замаячили полевые палатки с красными крестами — армейский эвакогоспиталь.

— Ашот, веди полк!

Меня словно что-то вытолкнуло из строя. Я прошел мимо одной палатки, другой. В глубине лагеря увидел женщину; скрестив на груди руки, она смотрела куда-то в сторону.

— Извините.— Остановился за ее спиной.

— Вам кого? — Женщина обернулась, с любопытством рассматривала меня.

— Сестру милосердия Галину Кравцову из госпиталя двадцать один двадцать шесть.

— У нас нет сестер милосердия, у нас медицинские сестры... А интересующая вас Галина Кравцова — за Дунаем. Догоняем армию, слава богу, налегке — боев нет. Мы будем в румынском городке Исакча. Что-нибудь передать Кравцовой?

— Спасибо, я сам ее найду.

Снова, как и вчера и позавчера, машины обгоняют наши растянутые колонны. Машины, машины... Откуда столько? Как у немцев после падения Севастополя. Все дороги тогда были заняты ими. Они шли и шли туда, на Керчь, за которой была переправа, а дальше — Тамань, Краснодар... Сидишь под кустом, глядишь на это нахальное движение, бесишься: нет у тебя сил, чтобы бабахнуть по ним...

Теперь наша махина неудержимо движется к самой границе: «ЗИСы», «студебеккеры», трофейные «бенцы»... И пылят, и дымят, и все одним курсом — на Дунай. И мы на Дунай. Миновали пустынную, с одними лишь дымарями деревушку, пошли на подъем. Воздух повлажнел, запахло водой.

Ашот нетерпелив:

— Махну на Дунай, а? — Вскочил на коня и пошел аллюром.

Нарзан мой всхрапнул и рывком вынес меня на самую верхушку косогора.

— Дунай! — ору во все горло.

Могучая река, стелясь в широком ложе, стремительно неслась, обдирая свои берега. Не «голубая» — подсвечиваемая солнцем, укладываемым за горизонт, она была как жидкая сукровица, а там, в темнеющей дали, разрезая безлюдную степь, река багровела.

На том берегу — чужая земля. Присматриваюсь к ней, чего-то ищущу. Вижу старые ветлы, их ветки низко-низко кланяются воде; чуть дальше горят окнами дома, кучащиеся вокруг островерхой церкви.

Я с удивлением и скорбным чувством оглядываюсь. И на моем берегу ветлы так же спокойно и величаво кланяются реке, и там и тут степь, выжженная солнцем. Так что же отделяет один мир от другого? Почему одно слово «граница» выворачивает наизнанку все душевное состояние человека?..

## 27

Где хитростью, где с руганью рассовали роты на окраине захолустного румынского городка Исакча, до отказа забитого машинами, повозками, полевыми кухнями, солдатами, захватившими даже чердаки.

Утром, наспех побрившись, надев новый китель, глотаю парное молоко, поглядывая на своих ребят. Клименко скалит зубы. У него два желтых клыка, вероятно ни разу в жизни не чищенных. Когда он их обнажает, то становится похожим на добродушного старого волка из детской книжки. Касим откровенно пялит на меня глаза, желая сейчас же узнать, для кого это я с самого утра принарядился.

— Чи вы на Нарзани, чи на машины, га? — Клименко старается удержать рвущуюся улыбку.

— Куда это вы меня провожаете?

— На палатка, палатка сюда приехал! — Касим все понимает, все знает. — Зачем на Комрате из строя бежал?

По улице с марширующими взводами, дымящими кухнями мы с Клименко подъезжаем поближе к Дунаю — туда, где еще вчера вечером я видел госпитальные палатки.

Завернули за угол, в узкий переулок. Впереди усталой рысцей трусил конь, запряженный в бидарку. Пожилой солдат покрикивал:

— Пошел, ур-рю, ур-рю!

Я приглядывался к одинокой пассажирке, уютившейся на заднем сиденье бидарки. Волосы ее в мелких завитушках, на выгоревшей гимнастерке дорожная пыль. Показалось, что я ее знаю. Не одна ли из наших связисток догоняет полк?..

— Солдат, возьми-ка вправо, слышишь? — крикнул я.

Женщина, вздрогнув, повернулась ко мне, глаза ее испуганно расширились.

— Костя! — закричала и рванулась с бидарки.

Соскочив с седла, я успел подхватить ее. Вера?.. Стал смахивать с ее гимнастерки пыль.

Вера зажмурилась, затрясла кудряшками, крепко прильнула ко мне.

— Костенька, я тебя нашла, нашла!..

Долго и беспокойно смотрю в черноту. Из темной мути выступает потолок чужой хаты. В окошке — подрагивающий краешек луны. За стеной все еще не убывающий гул моторов — идут танки, идет мотопехота.

Вечер... Не сговариваясь наши роли распределили так: Вера рассказывала, а я слушал. О родах в Армавире, о дороге на Моздок и немецких танках, навалившихся неожиданно-негаданно, о скитаниях по неуютному и чужому Тбилиси, где не было ни угла, ни молока для ре-

бенка. О девятиметровой комнатухе в бараке, стоявшем на краю торфяного болота, в трех верстах от Орехово-Зуева.

— Жили втроем: я, дочурка и мама. У меня перегорело молоко, а девчонка здоровуха!

— Есть же там военкомат, черт бы их побрал,— говорю сердито.

— Все есть. А где аттестат, где документы, что я жена офицера? Мать воровала торф. Чего смотришь, будто судишь? Поменяла я золотые часики на мешок муки, три мерки картошки и литр хлопкового масла. Пекла пирожки да на базар. В один миг сбывала... Тесто катала тонюсенькое, а картошки клала поболе. Взял меня дядька-инвалид за шиворот и отвел в комендатуру. Отбрехалась, а уж как — не спрашивай...

Помолчала, всплакнула. стала рассказывать о дороге ко мне.

— Мужичья кругом полно, пруд пруди, а ты-то где? В партизанском штабе в Москве узнала, что здоров и находишься в кубанских краях. Наташку оставила на бабушку, пальто на базаре сбыва, кое-какие деньги собрала и айда в дорогу. Была в Краснодаре.— Подняла глаза на меня, помолчала, а потом тихо и не обиженно: — Заглядывала на окраину, в домик; дед там такой вреднючий... Не забыл? Или трепло? Да бог с ним!.. Обрадовалась, что ты живой. И покатила моя дорога по разным краям. Чего только не повидала!.. В Одессе совсем загоревала было, сердце за Наташку изболелось, домой уж надумала податься, да нечаянно про тебя услышала от сержанта одного. До самого твоего Просулова чуть не бежала, а там никого нет. Двое суток слезами заливалась, а потом с отчаяния побрела к переправе. Про тебя у всех выпрашивала, в кустах ночевала; и на правый берег махнула, втихаря, конечно.

Подсела ближе, слегка стукнула меня кулаком в плечо:

— Держусь вот за тебя сейчас, гляжу в твои глаза — и не пойму, кто я тебе, кто ты мне...— Опять помолчала, потом сказала уверенно: — Только мы же связаны дочерью. Что молчишь?

— Ты здесь, чего же еще...

— Нежданная, выходит? Я знаю... Мы, бабы, все знаем. Целовалто как чужую!..

— Отвык, наверное...

— Ничего, привыкнешь!

— Ты лучше о дочери расскажи...

— Вот аттестат пошлем на бабушку, в военкомат напишем, что ты командир полка. А дочь — что? Хорошенькая, глаза твои и тут, на подбородке, симпатичная ямочка. Не капризная, только едок, я тебе скажу. Тут уж свое не упустит. Фото ее было у меня, да в Ростове вместе с кошельком пропало. Уж горевала, горевала...— Она сладко потянулась и стала снимать комбинацию.— Чего-то жарко...

Странно ощущать ее рядом с собой. Она спала, ее обнаженное плечо, уместившееся у меня под боком, было теплым, подпаленные ветром губы почмокивали. Временами вздрагивала, приподнимала ногу с глубоким и грубым продольным рубцом на смуглой плотной икре и осторожно опускала на край постели. Я вспомнил Армавир, старуху: «Крутая баба, дюжая... Сама у гипсу, а дите идет себе на свет...» Мне стало жаль ее. Прикрыл обнаженное плечо, подвинулся ближе, обнял.

Исподволь светлел потолок. За стеной поутихло движение, доносился плеск воды и шум ветел над Дунаем.

— Спишь? — спросила Вера.

— Спал.

Она помолчала, думая о чем-то, потом поднялась, откинула назад волосы.

— Она красивая?

— Ты о ком?

— Костя, ты же лгать не умеешь!

— Вера, зачем ты все... Приехала — и хорошо сделала.

— Нет у тебя радости, а одна только жалость. Та, краснодарская, стоит на моей дороге. Но я тебя никому не отдам. Нас соединил голод, холод, бои, моя рана. Ты спросил, как я рожала? Как я рожала?! Хочешь любви... иди к своей, которая с немцами...

— Замолчи!

— Иди, и чтобы она так рожала, как я! Тогда уступлю тебя ей, ребенком своим клянусь, уступлю...

Я вышел из хатенки и пошел к Дунаю. Свет падал на воду, ее се ребристая тяжесть казалась недвижимой. Начиналась новая жизнь, к которой не подготовлен я ни умом, ни сердцем.

Вчера после ужина, когда Касим унес посуду и захлопнул за собой дверь, Вера бросилась мне на шею, вздохнула и, прижавшись, сказала:

— Крепко-крепко поцелуй! Ну?

Сейчас лежит, думает, наверное... Она мне кажется горой, которая выросла на дороге и ее невозможно обойти. А собственно, почему надо обходить? Мы связаны кровно — у нас ребенок. Где-то, должно быть, рядом — Галина. Нетрудно ее разыскать — госпиталь наш армейский. Только зачем?.. Те часы, что мы пережили в Краснодаре, не повторятся: теперь между нами такое, что запросто не переступишь.

Заглянул в сарайчик. Касим и Клименко растянулись на свежей соломе. В стойле поднял голову Нарзан, заржал.

— Ась? — схватился Клименко.

— Спи, спи...

И Касим и Клименко вчера смотрели на меня как на человека, который взял и рубанул под корень уложенную в какой-то порядок их армейскую жизнь. Уже вечером Вера пошатнула их уверенность в том, что они мне нужны, всем видом, всем поведением своим показывая, что забота обо мне — ее главное дело, что у нее на это есть право. И впрямь она сама будет решать, что нужно их командиру, а что нет.

Побывал в батальонах. Офицеры поздравляли меня с тем, что нашла моя жена. Эта весть каким-то образом моментально распространилась по всему полку.

— Константин Николаевич, с прибавлением семейства! — улыбался Ашот.

— Ладно уж... Кстати, она неплохо печатает на машинке. Нужна?

— Позарез, командир! — обрадовался начштаба.

Вернулся в хатенку к обеду. Боже мой, какой у меня порядок. Даже полевые цветы на окнах. У Веры волосы пушатся после мытья, губы чуть-чуть подкрашены.

— Молодцом ты. Я от всего этого отвык, вернее и не привыкал...

— Ты у меня будешь с иголки, вот увидишь!

Касим подавал обед. Он был в белом фартуке, важный. Мы с Верой сидели друг против друга, и она то хлеб мне проворно протягивает, то нож подает. Я улыбнулся:

— Совсем избалуешь. Разве что у тебя времени не будет.

— Это почему же? — Глаза ее выжидающе остановились на мне.

— Хочешь поработать машинисткой? Вот завтра пойдешь, разыщешь Татевосова, зовут его Ашот Богданович.

— Больно спешишь.

— Мы все спешим...

Солнце стоит над сусличной иссушенной степью. Серые зверьки, попискивая, перебегают из норки в норку. Пыль висит над ухабистой дорогой, в ней тонут солдаты, повозки, танки и самоходки, что на скоростях идут параллельно полку.

Бесконечное движение рот, батальонов, полков. Авангард уже упирается в Констанцу, а тылы еще где-то у Аккермана.

Поначалу мы удалялись от Дуная, а потом он догнал нас, замаячил по правую руку, обдавая прохладой, но через сутки с нами расстался, круто вильнув на запад.

Земля вокруг скудная, у горизонта пустынно-серые, опаленные тяжелым зноем бугры. Села редкие, дома в них под соломенными крышами, высокими, как папахи румынских солдат. За покосившимися заборчиками сникшие шляпки подсолнухов, покрытые белой дорожной пылью.

Безлюдье, лишь у примарий с обязательным флагштоком стоят старики с такими же морщинистыми лицами, как и земля вокруг. В глазах ни удивления, ни страха, а лишь покорность. Вышла молодая женщина в выцветшей сатиновой кофте, глянула на ребятишек, облепивших забор, что-то крикнула. Они юркнули в хатенку. Я подошел к молодой, поздоровался и через переводчика спросил:

— Вы что, нас боитесь?

— Стыжусь. Мальчишки без штанишек...

Чужая земля, чужая беда.

Дома бедные, но попадались и такие, в которых мебель, ковры, посуда, даже детские игрушки... Все эти вещи еще недавно имели прописку: одесскую, николаевскую, симферопольскую. Хозяева смотрят на нас с робостью — может быть, ждут возмездия.

Вскоре небо над нами стало принимать зеленоватый оттенок, в рассеивающемся полумраке парили чайки — вестники моря. А утром фольгой блеснул горизонт, острый йодистый запах ударил в ноздри.

Море, здравствуй! Как давно я тебя не видел, с той самой поры, когда, притаившись меж иссохшими бочками, смотрел на генерала Петрова, прощавшегося с фронтом.

В Констанцу вошли ротными колоннами, под оркестр. Город ослепил яркостью красок, оглушил звонкостью голосов. Мы втискивались в тесноту улиц, дыша воздухом, в котором запахи застоялой воды смешивались с винным кабацким духом. Толпа, кричащая, хлопотливая, размахивающая руками, ломала строй. В кишмя кишашую уличную суету вливался медный голос военного оркестра.

За оркестром в колоннах по четыре шагала морской полк, первым ворвавшийся в Констанцу. Шли черноморцы в бескозырках, булыжная мостовая подрагивала от их поступи.

Мы идем по Добрудже, которая началась за древним Трояновым валом. Тут степь застлана чернобыльником, пленена ужасающей нищетой: на дробных огороженных друг от друга делянках — чахлые виноградные кустики.

И вдруг... Левады, тополя, хаты со стенами, расписанными охрой и киноварью, палисадники с высокими мальвами, сухими маковками и белыми астрами. Где мы? На Полтавщине? Или под Белой Церковью? А дядьки, что встречают нас хлебом-солью и поклоном до самой земли! Усы, как у Карся из «Запорожца за Дунаем». Рядом с ними жинки в домотканых вышитых кофтах, в монистах, густо обвивавших шеи, повязаны платками, как в старинных украинских селах. Боже мой, мы — в XVIII столетии!..

Моя пышная хозяйка стоит у порога, трижды кланяется:

— Заходите, козаки.

Вхожу в прохладную горницу, и на меня надвигается иконостас. Снимаю пилотку, присаживаюсь к столу. Хозяйка перекрестилась раз, другой.



— Чи вы православни, чи бившовыки?

— Русские, мать.

— Москали, га?

— Москали, киевляне, сибиряки...

— И креста не маете?

— Чего нет, того нет.

— Ой, боженьки! — Перекрестилась, перекрестила меня и начала хлопотать. Из древнего сундука, может быть, свидетеля переселения ее предков за Дунай, достала рушник и с поклоном подала мне.

Я ел борщ и вспоминал Марию Степановну из кубанской станицы, думал о том, что и ее предки ушли на Дикое поле в то самое время, когда прапрадед моей хозяйки бежал за Дунай, покидая Запорожскую Сечь. И тот кубанский борщ и этот задунайский были как родные братья.

В горницу вошел Клименко.

— Товарищ подполковник, чи сидлать Нарзана, чи ще не треба?

Хозяйка вздрогнула:

— Из яких же ты краив?

Я вышел на крыльцо, сел на ступеньки, закурил. В горнице громко говорила хозяйка, плакала, снова говорила, может быть, стараясь выговорить вековую тоску. Какую надо иметь живучесть, чтобы за два столетия не растерять того, что было вынесено на чужбину ее предками с родной земли! Мы будто прикоснулись к островку, каким-то чудом сохранившемуся в бурном океане жизни на чужой стороне.

Еще один бросок — и Болгария.

Чистили оружие, латались, налаживали строй. Взводы с явной неохотой маршировали на ипподроме, сердито поглядывая на командиров. Марш по Румынии измотал. Наверно, долго будем помнить эту неуютную землю, горящую голыми хребтинами, на которых места не растет даже полынь.

В ночь на 9 сентября пересекли границу.

Под ветром трепыхалось белое полотнище, на котором аршинными буквами написано: «Добре дошли, наши другари!»

Первое чувство — будто попал в прошлое России, в год 1917-й. Тут тебе и стихийные митинги, и яркие лозунги на кумаче, патрульные с повязками на рукавах и звездами на мерлушковых шапках, и вооруженные отряды, спустившиеся с Планины. И тут же царские гербы со львом и короной, офицеры в форме, напоминавшей форму старой русской армии: аксельбанты, кокарды, кресты. Гимназистки с премильными книксенами, скорбные лица монашек, женщины в длинных платьях, в шляпах с плюмажами, юнкера, скульптурно выпячивающие грудь, фазтоны на мягких рессорах, церковный звон и запах ладана.

Полк под развернутым знаменем входил в город Шумен. Играл оркестр, южный ветер бросал в лицо запахи ранней осени, острее всего — долматской ромашки.

Нас встречали: на тротуарах стояли толпы нарядных женщин и осыпали солдат лепестками роз; визжали мальчишки, путавшиеся под ногами.

Нарзан, мой старый конь, словно чуя, какая торжественная минута выпала на его нелегкую долю, высоко держал голову и совсем не прядал ушами.

Улица вывела на большую площадь. На ней выстроился болгарский пехотный полк. Его командир — холеный полковник, увешанный орденами, — ехал мне навстречу на белом коне. Он приложил два пальца к козырьку и приподнялся на стременах:

— Господин стрелецкий подполковник!

Два полка, советский и болгарский, стояли лицом к лицу, их командиры одновременно спешили, пожали друг другу руки.

— Подполковник Тимаков.

— Полковник Христо Генов.

Площадь огласилась мощным «ура» — с карнизов вспорхнули голуби, закружились над колоннами.

Хороши сентябрьские дни. Солнечные лучи золотыми полосами лежат на балконах, увитых глициниями. Люди, молодые и старые, смотрят на нас глазами, полными душевного света.

Стоянка затягивалась, шла обычная жизнь: стрельбы, марши, политзанятия. Солдаты с задором пели: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...» Отъелись, отоспались, офицеры щеголяли в кителях из американского сукна, обзаводились знакомствами среди горожан. Тихая, мирная служба. О войне напоминали сводки Информбюро да рассказы солдат, побывавших в дунайском порту Руцук. В верхоречье — на югославской границе — окапывались немецкие дивизии.

Вера держится молодцом. Она в штабной команде, шагает с писарями, вместе с ними глотает дорожную пыль, ест из одного котла. На больших привалах ее проворные пальцы выстукивают дробь на трофейной пишущей машинке. Она общительна со всеми — солдатами, офицерами. Ей улыбались, в нее влюблялись. Встрепенулось горячее сердце Ашота:

— Вера Васильевна работает за трех писарей. Поразительно!

— Лишних отправь в роты, — улыбнулся я.

— Я не эксплуататор, особенно берегу красивых женщин.

— А твоя жена?

— Самая красивая женщина Армении — моя жена.

— По-твоему, так все красивые.

— Но не все добрые. А у Веры Васильевны сердце — большое, как Арарат!

Но затихнет полк, погружась в крепкий солдатский сон, — Вера рядом со мной. Пусть гром гремит, пусть небо разверзается — от того, что надумала, она не откажется.

— Ну-ка скидывай сапоги, разматывай портянки. — Прямо под ноги мой таз с водой.

— На черта все эти выдумки?

— Господи, до чего у меня мужик колючий!

Мокнут мои ноги в воде, а Вера следит за минутной стрелкой. Хочу вытереть вафельным полотенцем ноги, так куда там: сама, все сама.

— Что я, безрукий, что ли?

— Молчи.

Мы укладываемся отдельно ото всех в широком румынском шарабане. Лежу и чувствую, как натруженные ноги окутывает приятное тепло.

— Спасибо, Вера...

— То-то, а еще ерепенился!

Пахнет свежим сеном, она взбивает подушку.

— Ты ложись на правую сторону, там попрохладнее.

Подчиняюсь; уместившись, закуриваю. Вера ждет, пока я докурю. Устал, хочется спать, очень. Широко зеваю. Она пододвигается ближе, шепчет:

— Ты хоть чуточку меня любишь?

— Давай спать...

— Спать так спать.— Поворачивается ко мне спиной, обиженно посапывает.

— Ну что ты...— Обнимаю ее.

— Что, что... Сколько тянется война, сколько ночей моих бабьих пропадало... Кончится проклятущая, вернемся в Крым: ты, я, мама, Натуська. Нам же дадут квартиру. А, как не дать?

— Чего вперед загадывать.

— Хочешь, признаюсь? Ругай не ругай, а я на тебя гадала. Цыганка прямо сказала: твой будет жить. Они наперед знают...

Сквозь сон улыбаюсь: ну что с нее возьмешь?

Мы третью неделю на одной стоянке. Я, как и в Просулове, ношусь на Нарзане из батальона в батальон. Ждет нас не учение, а бой. Колом торчит во мне: «У меня кадровая армия!»

Сегодня я в шалагиновском батальоне. Отрабатываем задачу «рота в наступлении». Октябрь, а печет, как летом. Но отдохнули хорошо, сытые солдатские глотки своим «ур-ра» пугают болгарских лошадей, пасущихся на снятом клеверном поле. Земля вокруг ухоженная, ласковая, работающая.

Солнце вот-вот начнет падать за косогор.

— Хватит на сегодня, майор. Хорошо поработали.

— Понятно! — Шалагинов на особом подьеме: только вчера пришел приказ о присвоении нового воинского звания. Я подарил ему полевые погоны старшего офицера — радуется не нарадуется.

— Да, кстати, тебе большой привет от нашего замполита, вчера письмо получил.

— От Леонида Сергеевича? Как он там?

— Еще полежит, но просит дожждаться его.

— Конечно,ждемся, а как же — наш комиссар.

Простился с майором и поскакал на железнодорожный переезд. Через три квартала домик, в котором мы живем. Не доезжая до полотно, увидел Веру, согнувшуюся под тяжестью вещевого мешка.

— Вера!

Она присела за высокую насыпь.

— Что прячешься? Выходи. Выходи. И мешок... мешок не забудь.— Я отдал повод коноводу.— Давай, старина, гони коней, а мы дойдем.

Затих стук копыт.

— Что у тебя там, показывай.

Спиной загородила мешок.

— Пустяки, Костя, ей-богу...

Я поднял мешок, развязал, встряхнул: на пожухлую отаву вывалились скомканые платя, отрезы, детские ботиночки.

— Откуда все это?

— Выменяла на свой паек, клянусь Наташей!.. В Орехове за это хлеб дадут, масло. Если бы ты знал, как они там живут...

Я рассердился:

— Барахольщица ты! Разве одним нашим плохо?.. Быстро ты была свои партизанские дни! У тебя ж боевой орден...

— А что мне с него.— Она заплакала.— Не хочу, чтобы моя мать торф воровала. А ты мне долю уготовил — врагу не пожелаешь. Через ад прошла. Женщина я, а не телеграфный столб!

Сейчас не было смысла что-то ей втолковывать. Самые справедливые слова останутся пустым звуком, самые разумные утешения будут восприняты как болезненная обида.

Мы поздно вернулись к своему шарабану. Вера отказалась от ужина, забыла даже о тазе с водой. Ее живая материнская душа тре-

бовала действий и только действий. Я чувствовал, что она не спит, но разговаривать не хотелось. Не было уже во мне ни гнева, ни возмущения — одна щемящая жалость... Она долго молчала, а потом голосом, в котором была отчаянная мольба, спросила:

— Разреши махонькую продуктовую посылочку...

— Ты же знаешь, полевая почта не принимает их.

— А я с попутным человеком.

— Где ты его отыщешь?

— Наш старший писарь говорил, что его знакомому майору по ранению дали отпуск в Москву.

Молчу, не зная, что сказать.

— Я же не милостыню прошу, в конце концов. Недоем, недопью, по крохочкам собираю.

— Бог с тобой, собирай.

Наши завтраки, обеды и ужины поскуднели. Касим ходил злой, косил сверкающими глазами на Веру, но помалкивал. Клименко и жена часто шептались. Старик топтался рядом с ней смиренный, добрый; порой казались они мне отцом с дочерью, занятыми какой-то своей особой заботой, касающейся только их.

Как-то Вера, когда мы остались наедине, весело хлопнула меня по плечу:

— Поехал наш подарочек аж до самого Орехова! И я как пьяная...

## 28

В ротах не хватает солдат. Ашот и я сидим в штабной комнатенке, выискиваем резервы. Начштаба подсказывает:

— В артбатарею у каждого взводного по ординарцу.— Записывает: — Плюс еще четыре солдата.

Вошел дежурный по полку:

— Товарищ подполковник, к вам просится генерал.

— Генералы не просят, генералы входят.

— Старик там, говорит, что генерал...

— Бывший беляк, что ли?

— Не могу знать. Уж очень просится.

— Почему не принять? — У Ашота загораятся глаза. — Почему не посмотреть на эмигранта, а?

Вошел высокий худощавый старик с чисто выбритым твердым подбородком, подстриженный под польку, с седыми, нависшими над глазами бровями.

— Здравствуйте, господа офицеры, — скрипит его голос. — Имею честь видеть полкового командира?

— Вы по какому делу?

— Прошу не беспокоиться... Я думал, во всяком случае... — Он старается подавить волнение. — Простите... Меня связывал с родиной портативный радиоприемник. Его конфисковали ваши подчиненные... И, кроме того, меня лишили тульской одностволки. Это единственная память о моем отце, участнике боев на Шипке под командованием его превосходительства генерала Скобелева. Я понимаю, военное время, но, господа офицеры, прошу в порядке исключения...

— Оружие и радиоаппаратура в зоне военных действий реквизируются в обязательном порядке без всяких исключений.

Палка с серебряным набалдашником гулко ударилась об пол. Старик, не сгибая спины, присел на корточки, дрожащей рукой поднял палку, поклонился нам и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

— Жалко мне старика, — сказал Ашот.

— Теперь-то все они старички...

Брожу по городским улочкам один. Надоели команды, шагистика и вечное «разрешите обратиться». Удивительная тишина и покой вокруг. На деревьях, охваченных шафрановым налетом наступавшей осени, ни один листочек не шелохнется. Аккуратные домики, вкрапленные меж деревьями, исподтишка поглядывают на меня светлыми окошками, перед которыми красуются астры необычайной пышности.

Что-то заставило меня оглянуться — увидел старого генерала, стоящего у калитки. Встретились взглядами. Он показал мне негнушущую спину — скрылся за кустами лавровишни.

Я вспомнил глаза старика и дрожащую руку, тянущуюся за палкой. Отряхнув с сапог пыль и поправив гимнастерку, решительно зашагал по узкому настилу из красного кирпича к веранде.

— Разрешите! Есть здесь хозяева?

Долго не отзывались. Потом я услышал шаркающие быстрые шаги. На веранду вышла маленькая худенькая старушка с шустрыми глазами, оглядела меня с ног до головы.

— Вы к нам, сударь?

— Прошу прощения, мне хотелось бы видеть господина генерала.

— Входите, пожалуйста... Николай Алексеевич! Николая, тут к вам пришли!

Она ввела меня в большую комнату, обставленную книжными шкапами. Вошел генерал, коротко кивнул мне головой и повернулся к старушке:

— Капитолина Васильевна, прошу вас заняться своими делами.

— Ухожу, ухожу.— Извинительно улыбнулась мне и быстро скрылась за дверью.

Генерал, не меняя позы, спросил:

— Чем обязан вашему посещению, господин полковой командир?

Действительно — чем? Мгновенно, как на поле боя, оценил обстановку. Книги!

— Разрешите взглянуть.— Шагнул к книжным полкам.

Он, не переменяв тона:

— Вы спрашиваете позволения? Смотрите, берите, реквизируйте...

Я медленно шел вдоль шкафов, за стеклами которых выстроились тома Пушкина, Лермонтова, Толстого, Данилевского, Гоголя, Достоевского. У просторного письменного стола, поближе к окну, — шкаф с военной литературой. Я увидел знакомых авторов. Клаузевиц, Драгомиров, Филиппов... А вот и «Тактика» генерала Добровольского, которую я проштудировал на сборах Высших командных курсов.

— Вы не возражаете, я посмотрю? — показал на «Тактику».

Генерал подошел к шкафу, достал книгу и голосом, в котором было удивление, спросил:

— Вам известен этот труд?

— Изучали его на офицерских курсах.

Смешавшись, генерал сел, положил руки на письменный стол, пальцы подрагивали.

— Этого не может быть... Я понимаю, традиции Кутузова, Суворова... Замечательно, что русская армия несет сейчас на своих знаменах их имена... Но меня, лишившегося родины... Капитолина Васильевна! Капитолина! — Он поднялся во весь рост, держась за спинку стула.

Вбежала испуганная старушка:

— Николая, вам худо?

— Нет, нет... Вот они, понимаете, они изучают мой труд!

Она, сразу же успокоившись, очень мягко и просто сказала:

— Я всегда говорила, что в России ваше имя забыть не могут. А сейчас я вас чайком напою. У меня замечательное вишневое ва-

ренье. Что же вы стоите? Садитесь, батюшка, садитесь, будете нашим гостем.— Усадила меня в кресло напротив генерала и ушла.

— Вы, господин генерал, извините за вчерашний прием... Моего израненного отца дроздовцы подняли на штыки...

— Дроздовцы, слащевцы, шкуровцы и прочие маньяки... Я не имею к ним никакого отношения. Я — русский генерал. История вышвырнула меня из России, но есть такие связи с землей, где ты родился, которые нельзя обрубить никакими силами. Мне восемьдесят лет. Когда немцы подошли к Волге, жизнь для меня потеряла всякий смысл. А сейчас я хочу дождаться того дня, когда капитулирует Германия...

— А вот и чаек.— Принаряженная Капитолина Васильевна вошла с подносом.

Она от души угощала меня домашним вареньем. Я отвечал на вопросы генерала рассеянно, занятый своими мыслями. Мне было грустно смотреть на этих доживающих свой век людей, заброшенных сюда, за Дунай. Они жили здесь, сажали деревья, растили цветы, как-то зарабатывали на хлеб насущный, но сердца их были там, в России, в том далеком прекрасном мире, дорожке которого у них ничего не было...

## 29

Приказ на марш получил в полночь. Поднял батальоны, и через час мы простились с уютным городком под предрассветный петушинный крик. Вчерашний дождь обмыл сады, виноградники, острый пряный аромат при полном безветрии провожал нас всю дорогу. Солнце светило ярко, но зноя не было, шагалось споро.

Через двое суток к вечеру мы вошли в Русшук.

Тут улицы с глинобитными домами, глухие заборы, почему-то крытые красной черепицей, а за ними дома с затемненными окнами. Где-то рассеянно зарокотал пулемет и умолк. Пахло рекой, мазутом, в воздухе плыл легкий аромат кофе.

В темноте угадывались контуры кораблей, колышущиеся на прибрежных волнах. Нас встретил линейный офицер и повел за собой. Мы шагали мимо громадных пакгаузов, портовых кранов, зачехленных машин с пушками на прицепах, спящих у портового забора солдат. Словно сабельный взмах блеснул Дунай. Перекликались гудками буксиры.

Наш причал просторен, батальоны свободно расположились на нем. Вдоль пирса тянулись длинные черные баржи. Меня разыскал офицер с повязкой на рукаве:

— Вас вызывает генерал Валович.

На «виллисе» проскочили несколько кварталов и оказались в бетонном доте. Валович посмотрел на меня:

— С жирком, подполковник!

— На наркомовских харчах, товарищ генерал...

— Дров по пути не наломал?.. Где полк?

— На пятом причале.

— Вооружены?

— Как положено, исключая батарею.

— Снаряды подбросим. Подойди.— Начштаба армии развернул карту.— Порт Видин. Здесь должен быть с полком пятого октября на рассвете. Плавсредства готовы, зенитное прикрытие — твоя забота.

— Что могу узнать о фарватере?

Генерал поднял телефонную трубку:

— Моряка ко мне.

Вошел высокий морской офицер, козырнул:

— Капитан второго ранга Демерджи, старший офицер оперативного отдела Дунайской флотилии! Приказано сообщить, что последняя баржа четвертого каравана...

— В воздух? — Валович вздрогнул.

— Наскочила, товарищ генерал...

— Вы не моряки, а... Тралили фарватер?

— Так точно, но мины с особыми секретами.

Валович обошел вокруг стола, сел, спросил, не поднимая глаз:

— Как обеспечивается пятый караван?

Капитан необнадеживающе ответил:

— Тралим. Разрешите идти?

— Идите...

Офицер вышел, генерал сказал мне:

— Спасательные средства держи в готовности номер один. С богом! — Подал руку. — До встречи в Видине!

Грузились на баржи молча, рота за ротой быстро и бесшумно занимала места. Много хлопот доставила баржа, на которую втаскивали пушки со снарядами, обоз с лошадьми и хозяйственные службы. Сиплый гудок головного буксира возвестил: караван к отплытию готов.

Клименко держал на коротком поводу Нарзана и своего пегого Чекана. Я смотрел на худое, постаревшее лицо ездового и вспомнил про свое намерение отправить его в родное село.

— Боишься воды, старина?

— Кажуть, шо глубока...

— Из дому-то пишут?

— А як же? — Переступая с ноги на ногу, щерил рот до ушей.

Караван вытягивался в кильватер.

Светлело. Небо распахнулось сразу, стало высоким, без облачка.

Оставляя пенный след, мы плыли вверх по реке. Ускользали берега с поймами, на которых виднелись стога сена, старые вязы, белые деревеньки, городки, дома вокруг церквей — православных на болгарской стороне, католических на румынской.

Дунай штурмовал наш караван и стремительно бежал к морю. По откосам сползали синие дымки, быстро тая над водой. Курчавые рощи манили зелеными опушками, берега то удалялись, открывая просторы, то наступали на нас.

Солнце в зените, зноем окутывает русло. Недвижный воздух густел, и караван вдавливался в него, как нож тупым концом в хлебную мякоть. Где-то вдали пролетел самолет. Мы не спускали глаз с неба, зенитчики дежурили у раскаленных пулеметов.

День убывал. От воды поднималась прохлада. За холмом скрылось солнце, меня неудержимо потянуло ко сну. Улегся на теплой палубе...

Страшной силы взрыв поднял корму, и мы, сшибая друг друга с ног, сгрудились в носовой части. Крики: «По-мо-ги-те!» — слились с тревожным воем сирен. На подводной мине взорвалась баржа, что тянулась за нами.

Задыхаясь, с трудом выбрался из мешанины тел.

— Вера!

— Я тут!

Она цепко держалась за лебедку, рядом с ней стоял Касим с рассеченной губой.

— Никуда с баржи! — приказал я им и крикнул: — Эй, на буксире!

Никто меня, конечно, не услышал. Но я видел, как с головного буксира спускали катер на воду. Выхватил у дежурного по полку ра-

кетницу, в небо взлетели зеленая, а за ней красная ракеты — сигнал боевой тревоги.

К нашему трапу причалил катер, с него раздался голос Ашота:

— Здесь мы, товарищ подполковник!

Я сбежал по трапу, крикнул ему:

— Поднимайтесь на баржу, выстройте караван в кильватер — и курс на Видин, без задержки!

Татевосов и я обменялись местами. Положил руку на плечо румынского моториста:

— Пошел!

Он закивал головой, развернулся и дал полный газ. Мы мчались туда, где в пенящемся водовороте кричали люди, всхрапывали плывущие лошади. Спасательные суденышки подбирали тонущих. Мы подняли из воды полкового капельмейстера с кларнетом, медсестру.

Баржа с пушками, лошадьми, санчастью, муззвондом подорвалась на mine и торчала из воды, как гигантской толщины обрубленное дерево.

Теперь уже крики раздавались далеко от нас — Дунай был неумолим и спешил унести свою добычу... Ниже по течению, в темнеющей дали, у румынского и болгарского берегов копошились люди; артиллерийские лошади сами выходили из воды. Ни Клименко, ни Нарзана нигде не было, как я ни всматривался в каждого спасенного солдата, в каждую лошадь, понуро стоящую на том или другом берегу.

Безразлично и неумолимо нес свои воды Дунай. В излучине подобрали трех артиллеристов, ухватившихся за бревно, медленно кружившееся в водовороте. Прислушивались, не раздастся ли крик о помощи, но вокруг чернела безмолвная вода...

Караван под командой начштаба шел на Видин. Я с врачом полка и его помощниками остался на песчаной косе. Распалили большой костер. Сушняк горел с треском, выбрасывая высокое пламя, а вокруг была огромная слепая ночь, поглотившая берега. Шумела вода, вдали переключались голоса.

К костру стягивались спасенные. Их высаживали из лодок румыны, болгары. Я снова всматривался в каждого солдата, Клименко среди них не было. Перевязывали раненых, сушили одежду. Насквозь промокшие солдаты жались к огню; вокруг костра становилось тесно: пришли даже те, кого вытащили из воды в далеком низовье.

Рассветало. Пламя сбилось, жарко пылали угли.

— Смотрите! — сказал рядом со мной солдат, показывая на восток.

Шли кони. Они шли одни. Вел их Нарзан. Не спеша перебирая копытами, приближались к костру, застыли метрах в трех от него, подняв головы.

Я подошел к Нарзану, он ткнул голову мне под руку. Глядя коня, тихо спросил:

— Ты где же потерял нашего друга? Где, где?..

Он поднял голову, негромко заржал...

Утро теплое, на деревьях — яркие краски осени. А на душе тягостно... Может, не только от пережитого на реке, но и оттого, что на тротуарах Видина — битое стекло, а в воздухе пороховая гарь.

Шагаю вдоль стен, увитых плющом, мимо молчаливых домов с окнами, перечеркнутыми бумажными полосками. Добрыми взглядами встречают меня болгары, машинально отвечаю на их приветствия. Иду к командующему, не знаю, зачем он меня срочно вызвал. Как он распорядится мной, чего я недосмотрел, что упустил?

Сухие листья каштанов шелестят под ногами. Аллея впереди длинная, и мне не хочется торопиться.

Кабинет командующего огромен и роскошен: в мраморе, с мозаич-



ным паркетом, с большими хрустальными люстрами и огромным столом. За ним — худощавая фигура генерала.

— Пришел? — крикнул издалека. — Скольких в Дунае оставил?

— Точных сведений не имею. Но предварительно...

— А должен иметь! Садись, Аника-воин!

Я сел. Генерал расстегнул китель, посмотрел в упор.

— Как со здоровьем?

— Нормально, товарищ командующий.

— «Ягдт-команда», прорвавшаяся из Лубниц, сегодня на рассвете истребила штаб полка в дивизии Епифанова. Пойдешь в его соединение и будешь командовать полком.

Я поднялся:

— Есть принять полк! Разрешите подобрать в запасном полку офицеров.

— Бери кого найдешь нужным, пусть еще повоюют... Кроме того, даю три маршевые роты. — Генерал подошел ко мне и тоном, в котором были и горечь и доверительность, что не часто случается между подчиненным и высшим офицером, сказал: — На фронте горячо, но нам нельзя топтаться на одном месте — нас ждет Белград!..

У меня трудно со временем.

И в штабе армии спешат: из резерва прислали пожилого полковника, видно соскучившегося по горячему делу: сейчас же сдавай ему полк и никаких отсрочек!.. Он прилип ко мне, куда я — туда и он. И смотрит во все глаза, и принюхивается. Вгляделся в офицеров, с которыми я собираюсь уходить на передний край, ахнул:

— Да вы что, батенька? С кем же я-то останусь? Уж обижайтесь, не обижайтесь, а я бегу и звоню генералу Валовичу!

— Как вам будет угодно...

Ашот Богданович безоговорочно заявил, что судьба нас связала одной веревочкой. Он собирал маршевые роты. Знаю — не прогадает, солдат возьмет обстрелянных, тех, с кем мы добивали окруженную группировку в лесах Молдавии.

Меня особенно волновало, как отнесется к моей просьбе майор Шалагинов. За ним послал Касима. Жду... Не встряхнув чубом, как он это делал всегда, доложил о своем прибытии.

— Александр Федорович, ты мне нужен, очень!

— Кому прикажете сдать батальон?

...Вера, как говорится, готова и на марш и на песню. Вещи наши сложены; в обнимку стоят в уголочке походные мешки.

— Куда это ты?

— Спрашиваешь... Скорее раздевайся да в таз залезай — вода готова. Вымою тебя, а то придется ли... — Она энергично трет мне спину. — Не в коня корм. Одни кости у мужика!

— Зато бицепсы, вот пощупай.

— Прямо-таки Поддубный!..

Вымытый, вычищенный лежу в постели с белыми простынями, слежу за Вериными хлопотами. Она многое умеет, руки у нее ловкие, сноровистые. Но сердце мое не бьется так, как билось в том румынском городке, когда я спешил к светлым госпитальным палаткам...

— Верочка, иди ко мне, сядь рядом.

Она вздрогнула, подняла голову.

— Со мной тебе трудно? — С неожиданно нахлынувшей нежностью я обнял ее. — У нас все будет хорошо, накрепко, навсегда!

— Уж помалкивал бы. — Глядя в сторону, заплакала. — Ты совсем меня за дурочку принимаешь. Думаешь, ничего не знаю...

— Ты о чем, Верочка?

- О краснодарской. Думаешь, забыла?
- Зачем про это сейчас, зачем, скажи, пожалуйста?
- Мне семью свою сберечь надо. Через всю страну прошла — тебя искала!
- Я гладил Верины волосы в крутых завитках.
- Не надо, Вера... Мы завтра идем в бой...
- Она насторожилась:
- Хочешь избавиться от меня?
- Избавиться... Словечко-то нашла. Ты нужна нам — мне и дочери. У меня, кроме тебя, никого нет. И смотри правде в глаза: Наташку можем оставить круглой сиротой.
- Ты мне зубы не заговаривай Наташкой. Я знаю сама, где мне быть и какую дорогу топтать. Не поеду никуда. Не будет этого, не будет...
- Да пойми, жен на фронт не берут!
- Разве? Мало там баб с вами...
- Там не бабы, а солдаты, мобилизованные. Меня с тобой в боевую дивизию не пустят. Здесь ты на законных правах вольнонаемной, а там не нахлебницей же тебе быть... Вот что: капитан Карасев выпишет проездные документы, снабдит тебя всем что положено — и домой!
- Вера поплакала, но, к счастью, недолго. Вытерла слезы.
- Думаешь, я по дому не соскучилась? Еще как, господи!.. И тебя одного оставлять боюсь. Боюсь — и все.
- А цыганка твоя? Гадала же...
- Да пошла она к чертовой матери!..

## 30

- Штаб епифановской дивизии занимал винодельню. В большом, похожем на ангар помещении с развороченной снарядом арочной крышей стояли давяльные прессы «мармонье». Гулко отдаются мои шаги.
- Кто идет? — остановил автоматчик, показавшийся из-за тысячеведерного чана.
- Подполковник Тимаков.
- Вас ждут. — Он открыл в полу люк.
- Крутая лестница вела в полутемный подвал. Я спустился на площадочку, освещенную яркой лампочкой, и... замер: передо мной стоял Иван Артамонович Мотяшкин.
- Здравия желаю, товарищ полковник! — вытянулся перед ним.
- Вам кого? — спросил сурово.
- Не узнали? Подполковник Тимаков, был в краснодарском резерве.
- Что Тимаков — известно, что офицер, которого мы ждем, — нет. Прошу документы.
- Фу, черт возьми!.. Пришлось доставать удостоверение личности и предписание отдела кадров. Мотяшкин с пристальным вниманием рассмотрел их и вернул мне:
- Где пополнение?
- В лесу, в пятистах метрах от вашего КП.
- Как и прежде, в белом подворотничке, но в глазах и знакомая мне самоуверенность, и что-то новое, скорее всего усталость. Он протянул мне пухловатую руку:
- С прибытием в нашу боевую дивизию. Выходит, встретились... Идите к генералу, срочно. — Кивком головы показал на высокую узкую дверь, едва видневшуюся в полумраке.
- Я помнил приглашение Епифанова еще там, за Днестром, и решительно открыл дверь. Генерал холодно скользнул по мне взглядом.

- Боевой частью командовали?
- Командовал партизанской бригадой.

— Ладно.— Он из ящика стола достал планшет.— Вот все, что осталось от человека, которого вы замените. Усаживайтесь, достаньте из планшета карту, хорошенько всмотритесь в нее, все, что сможете прочитать, прочтите и запомните.

Выгоревшая километровка испещрена стрелками—синими и красными,—кружочками, ломкими линиями, в нескольких местах разорванными. Не так уж трудно было догадаться, что 310-й стрелковый полк, начав марш 21 сентября из района города Шумен, к концу месяца достиг рубежа болгаро-югославской границы, а на днях с боями подошел к городу Заечару.— узлу железных и шоссе-ских дорог, связывающих южную, северную и западную части Сербии. Сейчас он занимает позицию на юго-восточных подступах к нему.

— Мало что узнали? Слушайте и глядите на километровку.— Генерал уткнулся в свою карту.— Перед нами городок, отделенный от нас речкой Тимок. Он лежит в котловине. Та сторона его, где немцы, повыше нашей; там леса, а на юге высота. Что на ней, нам пока неизвестно. Перед вашим полком расположено городское кладбище. Замечено там около двадцати огневых точек противника и до шести рот солдат. Эта сила поддерживается массивными залпами артиллерии, которая в основном бьет с закрытых позиций. Ваш сосед слева — полк Пятьдесят второй стрелковой дивизии, нацеленный на железнодорожный мост через Тимок. Вот и все. Данные скудные, а приказ о штурме может поступить внезапно. Немедленно отправляйтесь в полк и всеми средствами наблюдайте за противником, познакомьтесь с позициями и — окапываться, окапываться!

Вопросы рождались во мне один за другим, но времени задавать их не было.

— Разрешите приступить к командованию?

— Разрешаю.— Генерал протянул руку.— Действуйте, подполковник. И людей берегите, берегите!..

В полк нас, меня и Ашота, вел старший лейтенант Архипов. Он в немецком маскхалате, молодой, с рыжей бородкой и мальчишескими кругловатыми глазами. Как-то виновато представился, будто это он не смог задержать прорвавшуюся на КП полка «ягдт-команду» и из-за его какого-то промаха, в котором он сам никак не может разобраться, погибли офицеры штаба во главе с командиром полка. А он — жив и очень хочет жить.

Положение мое было прямо-таки аховым. Почему-то вспомнились огромные серые камни, окружавшие кратер потухшего вулкана. За ними тогда ждали нас каратели. Мы притаились на дне кратера в кустарниках — слепые и зрячие, кто покорился судьбе, кто мучительно искал выхода из этой мышеловки. Мы нашли его, и потом, когда шагали по безопасной лесной дороге, тот капкан, в котором мы только что были, казался не таким уж страшным...

Командный пункт полка находился в подвале, заваленном гниющими фруктами; пьянящий винно-кислый дух ударил в ноздри. В углу горела лампочка от аккумулятора, под ней сидел офицер в наброшенной на плечи шинели. Увидев нас, встал, стараясь не споткнуться, пошел навстречу. Хлопотливо одергивая гимнастерку, виновато сказал:

— Я же совхозный статистик, а мне говорят: «Командуй!» Всего-навсего капитан интендантской службы, вон у меня и кухни поотстали...

— Идите подгоняйте свое хозяйство.— Я пожал ему руку, представился и на прощанье сказал: — И чтобы горячее два раза в сутки!

— Это мы сделаем, товарищ подполковник, тут уж будьте спокойны,— сказал радостно.

Ашот, отшвырнув валявшиеся под ногами яблоки, подошел к полковому телефону, нажал на зуммер:

— Кто живой, отзывайся... Да-да, давай сюда начальника связи. Убит? А ты кто будешь? Так вот слушай меня, старшина...

Я посмотрел на часы:

— Ну, начштаба, сколачивай новое хозяйство, а я на позиции.

В сопровождении Архипова и двух автоматчиков вышел на кукурузное поле и тут же был обстрелян минометным огнем. На переднем крае — окопы в полный рост, но проходы между ними лишь намечались. Взводами командовали сержанты, ротами — младшие лейтенанты. На батальон — менее ста активных штыков. Полоса полка по фронту около трех километров, впереди — ровное поле, лишь местами пересеченное мелкими кустарниками. Многие солдаты спали. По всему участку била артиллерия, но не кучно.

Появился сержант с телефонным аппаратом, протянул мне трубку. На проводе Ашот:

— Из того, что прибыло с нами, половину направляю к вам, а вторую держу в резерве.

— Поступим иначе. При себе оставь третью часть, остальных скрытно, но дорожа каждой секундой — по хозяйствам; пока поровну.

Меня разыскал длиннолицый офицер с голубыми глазами:

— Командир гаубичного дивизиона майор Нияшин! Мои машины за вашим КП.

— Свяжитесь с командиром полковой батареи.

— Убит. Вчера.

— Тогда придется вам быть богом нашего полка. Все пушки — вам. Договорились?

Майор молча смотрел на меня, как бы ожидая, не откажусь ли я от своих слов, которые можно понять и как просьбу и как приказ.

— Через два часа представьте мне схему ведения артогня,— сказал я.

— Хорошо.— Ушел не торопясь.

Скинув плащ-палатку, чтобы солдаты видели мое звание и награды, медленно продвигался с правого фланга на левый, на ходу знакомясь с офицерами. Стало прибывать пополнение. Распределил его по ротам. Солдаты просыпались, слышались негромкие команды, замелькали лопаты.

— Окапываться, хлопцы, окапываться,— раздавались голоса сержантов.

За виноградниками, окружавшими домишки под красной черепицей, расстилалось безлесное и безлюдное поле. Метрах в шестистах от переднего края было городское кладбище, откуда постреливали короткими очередями немецкие пулеметы. Над левым флангом полка нависала лесистая гора — крутая, конусом. Гора молчала. Оттуда, по-видимому, проглядывались не только позиции нашего полка, но и других частей, располагавшихся севернее.

Пошел к артиллеристам. Голубые глаза майора Нияшина холодно смотрели на меня.

— Как позиция? — спросил у него.

— Хреновая. Не мы ее выбирали...

— Они, что ли? — Я кивнул на гору.

— Пожалуй что и они... Тащу пушки от Сталинграда, и на всем пути реки текут с севера на юг. Правый берег выше левого. Им, гадам, везет: они смотрят на нас с верхотуры, всегда с правого берега. За три дня в лобовых атаках, знаете, скольких побили?

Возвращался на командный пункт, а думка у меня одна: дадут мне ночь или прикажут сегодня же поднимать полк в атаку?

В трех батальонах до пятисот активных штыков. И мало и вроде бы много... Пушек бы побольше, минометов. Шалагинов своих поведет на штурм, а чем я прикрою его батальон? Пока в полку на километр двадцать стволов — вода в решете. Достаточно кинжального прицельного огня немецких пулеметов — и нам каюк...

На командном пункте уже несколько телефонов, раций. Ашот кого-то вызывает — наклонился к микрофону:

— Я «Коршун», я «Коршун»! Перехожу на прием... Молодец, хорошо отвечаешь. — Увидев меня, тихо спросил: — Худо, командир?

— Времени бы нам, Ашот!

— Не дадут его, Константин Николаевич.

— Колдуешь?

— Зачем колдую? Обстановка. — Он развернул карту, на которой густо рассыпаны условные значки — огневые точки врага, наша позиция и то, что было за нами. А за нами — гаубицы РК заняли новые боевые рубежи, еще дальше стоят наготове реактивные дивизионы. — Не на парад же, командир!..

Я пожал плечами и вошел в нишу с перископом. Ашот стукнул по дощатому столику американской консервной банкой:

— Надо подзаправиться, не люблю голодным воевать, голова пустая.

Ели с ножа, запивали неустоявшимся кисловатым вином.

— Ах, если бы одну ночь! — причитал я.

— Не будет ее.

Кто-то звонко высморкался — на пороге стоял полковник Мотяшкин, заместитель командира дивизии по строевой части. Я, как и положено, доложил о том, что успели сделать. Он выслушал, стал внимательно присматриваться к оперативной карте.

— Да! — Устало присел на ящик.

— Вина сухого, товарищ полковник?

— От стаканчика не откажусь.

Выпил, достал платок, еще раз высморкался, платок сунул в карман. Сказал как-то очень уж обыденно:

— В восемнадцать тридцать штурм. Прошу принять приказ комдива...

Комбаты, начальники приданных полку боевых средств вваливались на КП, козыряли Мотяшкину и молча жались к стенкам. Иван Артамонович внимательно всматривался в лицо каждого. Помню этот его взгляд, как-то сразу охватывающий всех и все...

Несколько раз перечитал приказ генерала Епифанова, в котором черным по белому сказано: 310-му стрелковому полку в восемнадцать часов пятьдесят минут занять городское кладбище и завязать бои на окраинных улицах Заечара. Значит, лобовой штурм. Мысленно хотелось представить себе, как это получится, но видел лишь ровное поле за виноградниками, по которому бегут мои солдаты и падают от пуль оживших огневых точек врага. По спине пробежал холодок. Не повезло. Не повезло...

Посмотрел на молчаливого заместителя Епифанова полковника Мотяшкина, сейчас моего начальника, и не нашел в его лице ни одной черточки, которая давала бы хоть какую-то надежду на отсрочку. Приказ есть приказ. Я пустил его по рукам. Мотяшкин следил за тем, как шуршащий листочек — черт его знает, почему он шуршал, — переходил из рук в руки. Полковник демонстративно взглянул на часы, потом на меня — он ждал моего приказа о наступлении. Я помнил, хо-

рошо помнил устав полевой службы, вызубренный в мотяшкинском резерве, чуть ли не по порядку видел десятки пунктов, которые обязан был сейчас претворить в жизнь. Но что я в действительности знал о противнике, например, или о тех средствах, которые находятся справа и слева от наших позиций?

Предав забвению все формальности, очень кратко сказал о задаче полка, каждого подразделения, о сигналах взаимодействия. Учтиво, но настойчиво попросил полковника уточнить данные о противнике.

Иван Артамонович расстегнул на вороте кителя крючок.

— Все, что известно штабу дивизии, изложено в преамбуле приказа генерала Епифанова, — сказал он.

Офицеры разбежались по подразделениям, а Мотяшкин, выждав время, отвел меня в сторону, спросил:

— В партизанах вы всегда знали все о противнике?

— Не всегда. Но там действовали по правилу: увидел — ударил — убежал. Ищи ветра в лесной чащобе.

Мотяшкин еще какую-то секунду удерживал на мне свой взгляд, а потом плотно уселся на ящике из-под махорки и замолчал надолго.

Стали поступать данные: противник зашевелился на кладбище, тасует огневые точки. Час от часу не легче...

Навел перископ на высоту, сплошь покрытую соснами. Ночью вполне мог бы пробраться туда, тихо-тихо сосредоточить стрелковую роту, усиленную разведзводами и автоматчиками. На рассвете — Шалагинов на штурм, а мы — фланговый удар по кладбищу. Сдуть фашистов в один момент. Размечтался, а вот-вот грянут пушки и начнется катавасия!..

— Майор, переместите резерв поближе к Шалагинову, на кукурузное поле, — приказал начальнику штаба.

Он козырнул и покинул КП. Еще пять минут — и начнется... Майор Нияшин кого-то шепотом ругает по телефону. Вернулся Ашот:

— Ветер упал.

— Хорошо, будет завеса.

Наша артиллерия всколыхнула долину, окаймленную невысокими горами. Кладбище окутывалось дымом. Батареи ударили и с участка соседа справа. С металлическим воем летели светящиеся снаряды над стыком наших позиций с соседом слева. Огонь еще больше усилился — комок на сердце понемногу рассасывался. Все будет хорошо. После такого огня особенно не пикнешь!.. Приказал связаться с Шалагиновым.

— Ты меня слышишь?

— Так точно.

— Видишь, что делается на кладбище?

— Рвануть бы сейчас, а?

— Следи за сигналом атаки.

До начала штурма семь минут. Кладбище в черном дыму. Нетерпение охватывает меня. Шесть минут, пять, четыре... А что, если?..

— Ракетницу!

Ашот встревоженно смотрит на меня, ничего не понимая.

— Штурмовать! Штурмовать! — Я выхватил ракетницу из рук ординарца. Вместе со мной выбежали из КП Касим и телефонист с разматывающейся катушкой. За три минуты до конца артиллерийского удара три мои красные ракеты одна за другой повисли в небе над батальоном Шалагинова: атака!

Через несколько секунд увидел перебежку. Отделение за отделением, развернувшись по фронту, за огненным валом, бежали бойцы по винограднику и залегали в кустарниках перед самым полем, откуда до кладбища оставался один лишь рывок.

- Молодцы, молодцы! — кричал я.  
 Пушки смолкли все сразу. Телефонист протянул трубку:  
 — На проводе генерал.  
 Набрав побольше воздуха, возбужденно доложил:  
 — Хозяйство Шалагинова в кустарниках, у самого поля!  
 — Что-о? Кто позволил?  
 — Мы воспользовались артзавесой...  
 — Назад! Сейчас же!.. Ударят «катюши»! Назад!..

Я рванулся к батальону, но через три-четыре броска застыл на месте — реактивные снаряды, полыхая, ложились на кладбище, на ровное поле. Они задели и кустарник — он вспыхнул, словно его облили бензином и тут же подождли. Бежал вперед, падал, поднимался. Навстречу разрозненными группами откатывались солдаты. Столкнулся с Платоновым.

- Где комбат?  
 — Убили майора!  
 — Прими батальон!  
 Он молчал. Его взгляд был пустым.  
 — Выполняй приказ!

Наконец он узнал меня и понял, чего от него хочу.

Я искал Шалагинова.

Брел сквозь обуглившийся кустарник, петлял в нем, проваливался в ямы-воронки, в которых пахло толом и паленым, выбирался оттуда и снова к винограднику. На меже, что легла между ним и кустами, столкнулся с сержантом.

— Там.— Он показал на развалины.

В тесном подвальчике под обгоревшим домиком лежали убитые. Чуть в стороне — комбат, покрытый плащ-палаткой. Я приподнял ее и сразу же опустил... Сел словно пришибленный, прислонившись к почерневшему дверному косяку. Здесь и нашел меня связной от Ашота:

— Вас срочно требует генерал!

За высотой, западнее, ухала земля — там что-то или кого-то бомбили. Трофейная кобылица нервно вздрагивала, шарахалась в сторону от сухого шелеста кукурузы.

Я чувствовал себя бесконечно малой частицей чего-то огромного, непознанного и потому страшного. Не мог представить мертвого Шалагинова. Кто-то чужой там, под плащ-палаткой, а Саша здесь, рядом, со своим чубом, своим безбородым мальчишеским озорством...

Стеганул кобылицу плеткой, она взвилась на дыбы.

## 31

Стою как пень перед генералом. Тут же Мотяшкин и незнакомый подполковник, внимательно вглядывающийся в меня. Молчу, смотрю, как Епифанов сжимает в руке серебряный портсигар — пальцы побелели.

— Может, все-таки заговорите? — Генерал поднялся, стукнув портсигаром по столу.— Нечего сказать в оправдание? Контужен, что ли? — Повернулся к незнакомому офицеру: — Приказ по дивизии сейчас же. Я отстраняю его от полка.

— Его поступок заслуживает военного трибунала,— подал голос Мотяшкин.

— Оставьте нас одних,— потребовал Епифанов и, когда те двое вышли, подтянул к себе карту.— Подойдите, посмотрите сюда внимательно.

«Обход!» — догадался я, глядя на красную стрелу, огибающую с юга гору, на которую так жадно смотрел еще недавно.

— Запоминайте все, что скажу!..

Мне надо встретиться с местным жителем. Он проводит мою команду — двести бойцов — через реку и железнодорожное полотно. Там, в тылу, в глухом лесу, к нам присоединится сербский партизанский батальон. Все силы я обязан скрытно сосредоточить перед поляной, за которой стоят пушки немцев, и ждать. Как только отстреляется наша артиллерия, а штурмовая авиация начнет дубасить западную окраину городка, мы — в атаку. И чтобы ни одной пушки врага, ни одного живого расчета!

Генерал, не поднимая головы, сказал:

— Идите! Посмейте сорвать операцию — штрафной не отделаетесь. Все!

Вышел в темную ночь, закурил. Тошнотворный дымок папиросы ударил в голову. Действовать, сейчас же действовать! Только не думать...

Лесник с прокуренными усами, в залатанном сивом зипуне, в черногорской феске с траурной каймой смотрел на меня по-детски ясными глазами.

— Иво Перович, — протянул руку. Ладонь жесткая, сухая. — Я воин сам прве чете <sup>2</sup>.

Развернул перед ним карту с красной стрелой, указывающей наш ночной путь, ткнул пальцем в вершину горы:

— Немцы есть?

— Глядачи <sup>3</sup>. Немачко тамо, — показал на западный склон. — Имаю пет батарея и едну чету пешака <sup>4</sup>.

Меня разыскал Андрей Платонов.

— Возьмите с собой! — сказал как отрезал.

— Собирай двести солдат. Гранат, гранат побольше. И чтобы ни у кого ничего не стукало, не грокало.

Ашот все время молчал. С тех пор как я, упрямая приказ, послал в небо три красные ракеты, он как бы отделил себя от меня. Даже когда я сказал, что уведу двести солдат и что ему командовать полком, он не разжал губ и в глазах его оставалась несвойственная ему отрешенность.

...Легко шагал Перович. Мы без шума перешли через речушку, но только успели дойти до полотна железной дороги, как с фланга ударили пулеметы — трассирующие пули пересекли дорогу. Из-за горы, черным горбом торчавшей над нами, выпорхнули ракеты. Выждав, пока в небе погаснет последняя искорка, рывком перемахнули через полотно. Кто-то упал, застонал.

Вспотевшие, тяжело дыша, карабкались вверх сквозь черный лес. Тропа дикая, каменистая. Запахи вокруг, шорохи казались мне до боли знакомыми. Наверное, во всех горных лесах одна и та же сладковатая затхлость и сушняк одинаково потрескивает под ногами.

Перович ушел в разведку. Солдаты разлеглись, с трудом переводя дыхание, кое-кто уже похрапывал. Лес меня понемногу успокаивал, был будто родным, давным-давно хоженным-перехоженным...

Вернулся проводник и привел с собой высокого человека в длинном офицерском плаще.

— Наш командант. — Он отошел в сторону.

<sup>2</sup> Я солдат первой войны.

<sup>3</sup> Наблюдатели.

<sup>4</sup> Имеется пять батарей и одна пехотная рота.



— Капетан Прве серпске бригаде Кицманич.— Незнакомец раз-  
машисто раскинул руки.

Мы обнялись. От капитана несло крепким самосадом и еще тем за-  
пахом, который присущ человеку, долгие месяцы прожившему под от-  
крытым небом, коротавшему ночи у бездымных костров.

Капитан посмотрел на часы со светящимися стрелками.

— Треба на пут, другарь подпуковниче.— Забросил за плечо ав-  
томат.

Чем выше мы поднимались, тем слышнее становился фронт. Он  
был беспокойным: часто били короткими очередями пулеметы, на вос-  
токе, над позициями нашей дивизии, повисли «сапы» — они долго го-  
рят, освещая долину от края до края, а потом внезапно гаснут, и ночь  
становится еще темнее. Пятиствольные 'зенитные пушчонки, приспо-  
собленные для стрельбы по пехоте, неожиданно заколотят в ночь —  
и воздух завизжит, как несмазанная телега, аж челюсти сводит.

До рассвета еще немало времени, но за густотой леса уже как-то  
ощущается поляна. Еще тише шагаем, еще плотнее жмутся солдаты  
друг к другу. Впереди замелькали какие-то тени — останавливаемся.

— Наши войници,— шепчет Кицманич.

Начинается беззвучное братание: тискаем друг друга, толкаемся,  
меняемся зажигалками, флягами.

У сарайчика наш проводник остановился, нажал плечом на зако-  
лоченную дверь, она распахнулась — мы вошли в сухую, пахнущую  
овечьим сырмом кошару. Перович зажег фонарь.

Кицманич намного старше меня. Под крутым лбом горят глубоко  
сидящие глаза, при улыбке на изрезанном морщинами лице появляется  
что-то детское. Мы говорим с ним на смешанном сербско-русском  
языке, но понимаем друг друга. Кицманич точно знал расположение  
пяти немецких батарей, систему полевой охраны. Еще сегодня вече-  
ром немцы подбросили туда роту солдат. Мы разделили наши силы на  
три части, договорились о связи и сигналах.

Приблизался рассвет. На фоне черного соснового бора заметно  
высветлялась поляна. Кицманич, сняв пилотку, молча смотрел на поля-  
ну, заросшую редким низкорослым кустарником.

— Овде су биле прве наше жертве фашистичкого терора за Ти-  
мачке крайне: шестого септембра сорок едной године обешены су у  
центру поляне мои другари секретар окружног комитета комуниста  
Миленко Бркович и член комитета Дёрђе Семенович. Мои войници  
стремни су за отмазду<sup>5</sup>.

Мы обнялись и разошлись на исходные позиции. Перегруппировка  
наша шла без суматохи. Мы так близко подползли к немцам, что слы-  
шали шаги часовых.

Лежу на сербской земле, пахнущей терпкой горечью каких-то не-  
знакомых трав, прижимаюсь к ней небритой щекой. Земля молчит, от-  
давая мне свое тепло, и я слышу: «Мои войници стремни су за от-  
мазду...»

Ровно в шесть часов утра небо на востоке озарилось молнией —  
снаряды, перегоняя друг друга, накрывали немецкие позиции от горы  
до синееющего марева на севере, где проглядывались красные черепич-  
ные крыши окраинных домов Заечара.

Немцы молчали. И батареи, на которые нацелились мы, тоже мол-  
чали.

В шесть часов тридцать минут пошли наши штурмовики, целыми

<sup>5</sup> Здесь первые жертвы фашистского террора в Тимокском крае. Шестого сентяб-  
ря сорок первого года в центре поляны повешены мои товарищи — секретар окруж-  
ного комитета коммунистов Миленко Бркович и сотрудник комитета Георгий Семено-  
вич. Мси солдаты жаждут мести.

эскадрильями, одна за другой, накрывая на западе вражеский передний край реактивными снарядами.

— Вперед! — Я рванулся с места, вытаскивая из кобуры пистолет.

Бежали сквозь кусты, перепрыгивали через запасные окопы; правее нас, развернувшись в цепь, в полный рост, молча, не стреляя шли солдаты Кицманича. Но вот они бросились вниз по склону, к батареям, и все пространство вокруг наполнилось их криком, рваным и режущим слух, как боевой клетот белоголового сипа, камнем падающего на добычу.

Я бежал, стреляя, падая, поднимаясь... Из-за куста выскочил немец и выстрелил в упор — пуля обожгла щеку. Перепрыгнул через куст и упал на немца. Он, ногами ударив меня в живот, замахнулся винтовкой. Но приклад, повиснув надо мной, вдруг исчез.

— Живой? — Платонов поднял меня.

— Где твои солдаты?

— Уже кромсают батареи.

Увидел наших и сербских солдат, противотанковыми гранатами взрывающих пушку за пушкой.

Кицманич, подняв кулаки:

— Не треба! Не треба!

Его никто не слышал. Он бросился к батарее и, стоя во весь рост, раскинул длинные руки, будто прикрыл собой орудия.

Я сел на камень, закурил. От батареи шел ко мне Кицманич. На шее висели два трофейных автомата, а в руке полевая сумка немецкого офицера.

— Капут батарея, една, друга! — Сбросив автоматы, он свалился рядом, раскинул руки и ноги. — Капут немачка! Капут!

Появились танки... с запада, наши, «тридцатьчетверки»! Они наискосок пересекли поляну, остановились, развернувшись на девяносто градусов, ударили башенные и лобовые пулеметы. Я видел дорогу, уходящую на запад, по ней отступали немцы на машинах. Танки, подминавая кусты, пошли наперерез. Немцы выскакивали из кузовов, разбежались врассыпную.

Генерал Епифанов обходил строй пленных. Перед ним стояли эсэсовцы, рослые, молодые, в добротных кителях с одним погоном на плече.

— Вот гады, по сопатке получили, а все кочевряжатся! — Епифанов подозвал коменданта штаба дивизии и приказал смотреть в оба: попытаются бежать — расстреливать на месте.

Он велел мне сесть в машину. «Виллис» пересек поляну с убитыми немцами, подпрыгнул на бревне, лежавшем поперек дороги, и стал спускаться в город. Улицы в битой черепице, под колесами трещат осколки стекла. Чем ближе к центру, тем больше вооруженных людей с красными лентами на лацканах пиджаков, на фуфайках, у многих немецкие автоматы. На центральной площади — горожане. Кто-то тренькает на гусях, вокруг какого-то полуразрушенного памятника азартно пляшут коло. Генерал повернулся ко мне всем корпусом:

— Дают жару братья-славяне!

— Зло дерутся...

— Куда уж злее — немцев в плен не берут. Я с их комдивом толковал; коммунист, а вот доказать ему не мог, что тот, кто поднял руки, уже не солдат. Понять нетрудно: много горя принесли им фрицы, да и вся история их земли — история войн...

За железнодорожной насыпью — городское кладбище. Надгробные плиты, склепы, раскромсанные снарядами, напоминали мне херсонесские развалины. Деревья обгорели, местами торчат черные пни.

Генерал долго смотрел туда, где еще вчера были наши позиции. Вышел из машины, сел на могильную плиту. Перед нами было то самое поле, по которому вчера должны были бежать солдаты Шалагинова. А дальше — черная линия обгоревших кустов, остов домика, в подвале которого недавно лежал Саша Шалагинов...

— Гляди, гляди,— показав на поле, сквозь зубы процедил генерал.— За все это мы еще с вами ответим!..— Поднялся, потребовал: — Достаньте карту... Город Крушевац. Туда поведете авангард полка по азимуту. И смотрите, чтобы ни один фриц ни за какой хребет не зацепился!

## 32

Авангард наш шел на юго-запад. Ни крутые планины, ни молниеносные встречи с мелкими вражескими гарнизонами, которые мы сметали с ходу, не могли задержать нас. Пересекали долины, исполосованные горными речушками, шли через села со взорванными церквочками, догоравшими домишками, мимо виноградников, темнеющих в сгущающихся сумерках. Нас гнал приказ, гнало сострадание к тем, кто встречал нас с глазами, еще полными скорби. Сербы с лицами, изборуженными морщинами, и их внуки, правнуки выставляли вдоль дорог все, что могли найти в своих домах: кукурузные лепешки, паприк, сливовицу, терпкие груши и виноград. На стенах, на фанерных листах лозунги: «Живела, Црвна Армия!», «Живела, српски войника!».

Мы останавливались на короткие ночевки, я связывался с Ашотом Богдановичем, который двигался километрах в сорока позади нас. Полк получил пополнение: солдат, группу офицеров и нового замполита.

Армейский автобатальон догнал нас на марше севернее Крушеваца. Приказ был срочным и ясным: на машины — и быть к вечеру на подступах к городу Крагуевац, в котором еще отчаянно сопротивляется немецкая группировка.

Колонна растянулась на километр. Пока тишь и благодать, ржавый отлив на небе да предгорья будто вот-вот запылают в лучах закатного солнца.

Непривычно видеть поля, разбитые на узкие полоски: делянка кукурузы, а рядом лоскуток виноградника, за ним черный пар. Навстречу идут коровы в упряжке, тащат арбу с кукурузой. Старый серб, сняв шапку, провожает нас взглядом, а жена, плечом подталкивая арбу, крутит веретено.

Деревня за деревней. Солнце ниже и ниже к земле, вытягиваются тени. На северо-западе едва слышен артиллерийский гул. Тишина беспокоит; на «виллисе» обгоняю колонну, останавливаю ее, машины вплотную подходят друг к другу. Смотрю на карту, не знаю, насколько она точна. Нам предстоит подъем, за ним речка, а дальше равнина с мелким кустарником, переходящим в лес.

Ко мне подбежали грузный усталый лейтенант и связист с полковой рацией за спиной; задыхаясь, лейтенант выпалил:

— В эфире генерал!

Я услышал голос Епифанова:

— Из окруженной группировки вырвалась мотогруппа противника с тремя танками. Идет курсом на юг. Остановить и уничтожить!

Во что бы то ни стало мы должны первыми достичь леса и успеть занять на его северной опушке позицию.

Колонна идет на предельной скорости; вот мы и в лесу... Спешились, тщательно замаскировали машины. Офицеры бегут ко мне.

В глубине лес уже темнел, стоял недвижно. Негромко отдаю приказ:

— Платонов с двумя ротами окапывается под соснами по

обе стороны дороги. Взводы автоматчиков, разведчиков и третья платоновская рота — мой резерв. Им будет командовать... — мой взгляд остановился на старшем лейтенанте Архипове, — командовать будете вы.

— Есть! — козырнул Архипов.

— Командиру батареи выдвинуть две пушки на платоновскую позицию, две другие эшелонировать в глубине леса. Сигнал открытия огня — красная ракета. Действуйте! — Я снял с плеча автомат, перевел рычажок на боевую очередь.

Окапывались, в стороне замелькали противотанковые ружья Платонова, длинные, будто копья кавалеристов.

На бугре, километрах в двух от нас, показался немецкий танк. Он шел медленно. Танкист, высунувшись из башни, внимательно осмотрел дорогу, дважды скрестил руки над головой, и машина пошла на спуск. Выполз еще один, а за ним с небольшими интервалами потянулись бронированные семитонки — полным-полны солдатами. В полевой бинокль хорошо проглядывались лица немецких солдат, кое-кто подремывал, склонив голову на плечо соседа.

Немцы приближались, но не спешили; чувствовалась их настороженность.

Колонна остановилась в километре от леса. Передний танк поворачивал башней и пушечно-пулеметным огнем ударил по опушке. Выждал и снова ударил.

Господи, еще бы поближе... Они надвигались, надвигались... Рука нажала на спусковой крючок ракетницы — между немцами и нами в небе рассыпался красный шар. И сразу же вспыхнул передний танк, а второй начал отползать назад — наш снаряд угодил в правую его гусеницу. Он завалился набок, загорелся. Откуда-то вынырнул третий танк и на страшной скорости ворвался в лес, раздавил нашу пушку. И тут же башня его приподнялась и отлетела в сторону. Внутри машины рвались снаряды.

Немецкая мотопехота, рассыпавшаяся поначалу кто куда, стала стягиваться за густыми кустарниками. Оттуда неслись команды офицеров. Немцы атаковали платоновский левый фланг, прорвали оборону. От меня к Платонову побежал связной с приказом развернуть правый фланг на девяносто градусов и окапываться. Слух мой настороженно улавливал звуки, идущие из глубины леса. Мучила мысль, что Архипов — ведь я его совсем не знал — растеряется и резерв наш не справится с прорвавшейся в лес немецкой пехотой. Наконец донесся до меня треск автоматов — наши ППШ! К нему присоединилось нарастающее «ур-ра-а».

Из лесу выбегали немцы, ползли, падали. Справа платоновцы пошли в атаку. Я увидел Архипова с содранной кожей на скуле, без пилотки.

— Получили, гады! — кричал он...

Через сутки мы вошли в Крагуевац.

Похоронили убитых, раненых эвакуировали в глубокий тыл. Пошел полк Ашота со всем своим пополнением; с трудом расквартировались в окраинных домах.

Я думал, что моя хозяйка нелюдима и стара; вся в черном, лицо прячет. Ходит по собственному дому тихо, как чужая. Злюсь на Касима: не мог подобрать что-нибудь более подходящее — какой уж там отдых, когда в четырех стенах чувствуешь себя, как в могиле.

Умылся, причесался, сел за стол — поесть бы горячего, выпить кофе, аромат которого дразняще тянется из кухоньки. Вошла хозяйка, поставила на стол вазу с яблоками, сказала:

— Покушайте.

Я увидел ее глаза — поднялся: скорбь, которая, наверно, останется в них на всю жизнь, потрясала.

— Что с вами, мать?

— Они убили моего дечака<sup>6</sup>. — И стала креститься.

— Вы русская?

— Нио, серпка. Мой муж русс. Немачки убио тристатына учеников на гимназия и двадесять профессоров. — Из-за пазухи достала фотографию мальчика и тяжело опустилась на стул.

...Вот уже четвертый год я вижу смерть, сталкиваюсь с ней лицом к лицу, с глазу на глаз. Помню — перед тем как пойти в атаку на фашистский гарнизон, мы, партизаны, стояли возле уничтоженного шахтерского поселка. Торчали голые стены взорванных каменных домов, догорали деревянные постройки, в воздухе летал пух из распоротых подушек и перин; над застуженной землей, каким-то чудом зацепившаяся за торчащую балку, болталась детская кроватка. В ущелье в снегу лежали убитые: старики, старухи, их дети и внуки... Был я и в крымской деревне Лаки, которую фашисты тоже превратили в груды развалин. Над развалинами возвышался не взятый ни огнем, ни взрывом колхозный клуб. Вдоль его стены лежали девушки, изнасилованные, а потом изрешеченные автоматными очередями. Казалось, что уже ничто больше не может потрясти меня.

В октябре сорок первого крагуевацкий партизанский отряд в открытом бою убил десять немецких солдат и двадцать шесть ранил. Каратели хватали на улицах, на базаре, в домах Крагуеваца всех без исключения мужчин от шестнадцати до шестидесяти. В их казармах — две тысячи заложников, две тысячи! Для ровного счета не хватало трехсот: за одного убитого немецкого солдата — сто жизней, за раненого — пятьдесят. И ходить далеко не надо, если в центре города в старом здании гимназии учатся мальчишки. Фашисты ворвались в пятые классы. Они отобрали триста ребят и погнали за город. Три колонны мальчишек замыкали шествие на Голгофу. Триста. Потом стало триста пять... триста десять... триста двадцать. Старые профессора и учителя гимназии по своей доброй воле, по приказу собственного сердца, не выполнить который — значит, предать, вливались в строй смертников.

Каратели методично подводили к столетнему дубу одну колонну за другой и скашивали ее автоматными очередями. В последней колонне мальчишек на ее правом фланге — два человека, которых знали все горожане: директор гимназии Павлович и профессор Георгий Кобасько. К директору подошел офицер карательного отряда и сказал:

— Вы свободны, господин Павлович, вас ждет семья. Я вас отпускаю.

— Мое место у строю, и хочу до края да делим судьбину моих Джака<sup>7</sup>, — ответил Павлович.

...Я шел на окраину. Сюда шли солдаты поодиночке, офицеры, шли матери в трауре и старухи, иссушенные годами горя.

Моросил дождь, дорога раскисла. По ней вели тогда колонны на смерть. Серое осеннее небо, серые, умирающие травы. Вот дуб с жестяно шелестящей листвой — под ним расстреливали. А вот сосны; их корни, будто кости убитых, выпирали из-под земли. И — кресты, кресты. Черные кресты, как строй, ломающийся под автоматными очередями...

Вошел в штаб и столкнулся с майором Татевосовым. Я не узнал

<sup>6</sup> Мальчика.

<sup>7</sup> Учеников.

его: губы белые, щеки посерели, всегда яркие — и в веселье и в гневе — глаза потускнели.

— Что произошло, Ашот Богданович?

— Убит генерал Епифанов, — сказал тихо. — Утром, на командном пункте дивизии, прямым попаданием...

Я вошел в комнату, сел за столик с телефонами. Собственное хрипловатое дыхание оглушало; от внезапного телефонного звонка вздрогнул, встал, пошел к двери. Звонки настойчиво повторялись. Я вернулся и нехотя потянулся к трубке.

— Мне Тимакова. — Голос полковника Мотяшкина был спокоен, будто ничего не случилось.

— Я на проводе, — сказал, одолевая спазму, подкатившую к горлу.

— Прошу прибыть ко мне сейчас же.

Я молчал, почему-то снял с головы фуражку, затем снова надел.

— Вы что, не поняли? — Голос его оставался ровным.

Я положил трубку и долго не снимал с нее руки.

Второй час в приемной — жду, когда вызовет к себе полковник. Он не спешит. Адъютант виновато поглядывает на меня, на иконы, их много на стене, почти от пола до потолка. Мы в доме попа. Говорят, был русский, белый офицер. Дал стрекача.

Брякнул звонок. Лейтенант подскочил как подброшенный, проверил заправочку, втянул живот и шагнул к двери. И я машинально провел рукой по широкому поясному ремню.

— Требуют, идите! — Лейтенант застыл перед дверью.

Я неторопливо вошел в кабинет, доложил. Мотяшкин, грузный, утомленный, со вспухшими глазами, молча подал мне бумажку. Приказ в три строки: я отстранялся от командования полком за потерю управления боем в районе Заечара, в результате чего от своего огня погибли несколько человек, в их числе комбат Шалагинов. Приказ подписан генералом Епифановым в ту самую ночь, когда я вел солдат в тыл немцев.

Молча положил приказ на полковничий стол.

— Ну! — Мотяшкин поднял глаза, поглубже уселся в своем кресле. — Что же вы? В кубанском резерве были настойчивее — помню ваши рапорты.

Я чувствовал, что вот-вот потеряю самообладание. Надо держаться... Мотяшкин молчал — давал какое-то время, чтобы я пришел в себя, что ли?

— Буду откровенным, подполковник. Я внимательно познакомился с вашим прошлым. Как думаете, какие причины приводят вас порой к совсем неожиданным результатам? — Он вытащил из кармана платок, большой, белый, не спеша протер затылок и выжидающе смотрел на меня; ноздри его раздувались. — Вы упорно молчите, и очень жаль. Мне нужен боевой офицер, таковым я вас считаю. Но в первую очередь мне нужен трезвый офицер, знающий, какой следует сделать шаг в любой обстановке, и понимающий, что это за шаг. Вы знаете, кто такой командир полка?

— Простите, товарищ полковник, устал я...

— Вам придется выслушать меня, и советую внимательно выслушать. При нашей первой встрече в резерве...

— Второй, товарищ полковник...

— Как это — второй? — Его сухой, официальный голос дрогнул, в нем почувствовалось искреннее удивление.

— Первая была в санитарном эшелоне. Тогда моя рана дурно пахла...

— Так это были вы? — Он снова достал платок, вытер вспотевшее лицо.

— Куда прикажете следовать?

— Во второй эшелон дивизии в Свилайнац до особого распоряжения.

— Разрешите идти?

— Одну минуту.— Он встал, подошел ко мне.— Я четверть века в армии. Был свидетелем гибели храбрых командиров. Одни шли на пролом и потом бились головой о стену; другие выходили за грани возможного. А все должны быть в круге своем. Инициатива? Пожалуйста, проявляйте сколько угодно, но на своей орбите. Высунулись из круга — нарушили налаженный ритм. Сигнал к атаке кладбища под Заечаром позволено было дать только генералу; то было в его круге. Но вы вылезли, а финал — беда!.. Не знаю, как сложится ваша судьба, как определят ее следственные органы, но все же советую подумать над тем, что сказано вам от чистого сердца. Вы на машине?

— Верхом. Со мной ординарец.

— Лошадей сдать. Ординарца... Впрочем, пусть пока будет с вами...

Мы ехали с Касимом на попутной полуторке, лязгавшей всем своим расшатанным корпусом. На остановках, когда шофер, чертыхаясь, копался в моторе, мы прислушивались к артиллерийской перестрелке. Она особенно сильно разгоралась на юге.

Вдоль дороги, подсвечиваемые солнцем, рыжели каштаны; у родника крестьянка набирала воду; на телеграфных проводах сидели воробы. Волнистые холмы как бы укладывались на долгий покой.

На душе пусто, как в большом амбаре, закрома которого выскребли до последнего зернышка. Ни мыслей, ни планов.

За железнодорожным полотном мы вышли из полуторки — начались улочки Свилайнаца, вкривь и вкось сбегавшиеся к центру, к церквушке. За ней маячило длинное глинобитное здание, крытое почерневшей черепицей; над ним трепыхался белый флаг с красным крестом. Домишки рассыпаны кое-как, повсюду много машин — санитарных, штабных и еще каких-то специальных, похожих на тюремные фургоны.

Касим приуныл, помалкивает.

До самого вечера искали уголок, где можно было бы приткнуться. На продпункте кое-как закусили и пошли на ночевку. Крыша нашлась — хатеночка, наполовину ушедшая в землю. Топчан со сбитым сеном, в уголочке икона, затянута паутиной.

Стемнело. Спать, спать; никаких переживаний, а по-солдатски: раз — и в небытие...

### 33

Спал, как спят перед хворью: во рту терпкая, в горчинку сухость, затылок тяжел, словно на камне лежу. Что-то меня окончательно разбудило. Сон?

Я видел мать в ситцевом платье, строго глядящую на меня: «Ты почему не побывал на отцовской могиле? Был в станице, а не побывал. Или забыл, как я тебя туда водила?..»

Верстах в десяти от станицы, в хуторке, за деревянной оградой, под серебристым тополем — плита с позеленевшими от времени буквами, высеченными на сером камне. Лежат под ней ревкомовцы, порубленные бандитами-дроздовцами. В первой строке: «Тимаков Н. М.— предревкома. 1888—1922».

Военным курсантом я приехал в станицу на побывку. Утром перед отъездом мать сказала:

— Пойдем на отцовскую могилу.

Она долго стояла у серой плиты, степной ветерок шевелил ее седящие волосы.

— Помнишь, был у тебя дед Матвей? Он у нас там, в Сибири, лесничествовал в урмане. Еще медом тебя угощал. От него-то я и грамоту узнала. Раз на жатве сел он на сноп, покликнул меня с отцом твоим. Перекрестился, поле оглядел и сказал нам: «Хороша земля, а я скоро помру. Много я пожил, страны повидал, людей без счету. Всякое было — и доброе и дурное. Вот что я вам скажу: человек прозревает три раза. Только не каждый, в чем вся беда. Впервой всякая живность глаза открывает: и человек, и скотина, и птица... В другой — только человек. Тогда он о людях думает больше, чем о себе. Чужая боль — его боль. Чужая радость — его счастье... А уж в третий — то от бога. Люди на муки, на смерть идут за других. К примеру, в нашей Сибири сколько каторжан повстречал!.. Ведь иной кандалами гремит и не за себя, а за униженных страдания принимает»... Прожил дед Матвей еще сутки да и помер. Запали те слова в самую душу. Твой отец в германскую войну себя не жалел, кровью исходил, а все бился. Калекой домой пришел, сигарки не выкурил, а мужику к нему с поклоном: «Никола, иди дели землю, у тебя глаз верный и совесть мужицкая». Делил, а его били. Пришел домой без кровиночки в лице, а сам смеется: «Толстосумам толоку подсунул, на ней и картошка-то раз в три года родит». Хоть и покалечен твой батя, а все же мужик, в доме хозяин. Я-то радовалась, а он отлежался да и был таков. Уж искала-искала... Пришел слух: на кубанских землях бандитов гоняет. Я вас, малют, в охапку, и пошла наша дорога из Сибири в чужие края. Тряслись в товарняках, мерзли в вокзалах холодных; я в тифу валялась, а поспели — на похороны. Заманили нашего батю бандиты в хуторок да и порубали. Хоронили всем обществом, а я неживой на земле лежала... Вы ревмя ревели — для вас-то тогда и поднялась...

Хатенка, в которой я случайно оказался, похожа на ту, где наша семья мыкалась после гибели отца. Под боком, словно младенец, поспывает Касим. На глухой стене мертвенно-бледный свет подрагивает — от луны, заглядывающей через узкое окошко. На западе, на юге, как и вчера, артиллерийский гул. Почему-то бьют пушки и на юго-востоке, вроде и не так уж далеко...

Потолок хатенки нависает надо мной. В детстве все прочитанное и запавшее в сердце оживало на родном потолке. Там скакали кони, буденовцы в шлемах размахивали саблями. А то возникал курган, под которым я гонял овец, или станичный майдан, где ржали кони, кричали, плакали дети и бабы — выселяли «крепких мужиков»...

Темная полоса матицы сейчас давит меня. Перевожу взгляд то вправо от нее, то влево, пытаюсь оживить картины детства, но — пусто, пусто... И в памяти как в мареве возникает нечеткая линия застывших офицеров полка и — Петуханов, ничком лежащий в высокотравье... Глыбы домов впритирку друг к другу, а я иду, сжатый ими с двух сторон, и хочу, хочу увидеть хоть полоску голубого неба, но нет его. Один серый туман, а там, где-то далеко на окраине, — хатенка с закрытыми ставнями и молодой, красивый в своем отчаянии Саша Шагаинов: «Ему нужны шагистика да дыры в черных мишенях»...

Господи, почему, почему я поднял батальон на преждевременную атаку?

«Нельзя совершать ошибки, которые потом невозможно исправить» — сама судьба одарила меня человеком, душевный крик которого я не сумел вовремя расслышать. Но — почему?

Неужели власть над людьми делает человека настолько самоуве-



ренным, что в нем появляется убежденность в своей непогрешимости? Или это я не выдержал испытание властью, данной мне?..

...Топчан поднялся и сбросил меня. Я ударился обо что-то твердое, расшиб лоб. Под гул и свистящий вой хатенка начала оседать, я закричал, выскакивая через покосившуюся дверь. Рядом разваливался соседний домик, будто с размаху бабахнули по нему гигантской кувалдой.

Улица бушевала: бежали люди, кони, выпучив глаза, мчались с повозками, с которых сыпались солдатские вещевые мешки. В мглстом утреннем небе рвались бризантные снаряды, чугуном дождем обдавая поселок; ревели машины, сшибаясь друг с другом.

— Стой!

Я выхватил пистолет и направил его на водителя машины, тащившей пушку с солдатами на лафете. Едва успев выскочить из-под ее колес, увидел офицера в расстегнутом кителе, безоружного, кричащего: «Немцы! Немцы!»

— Стой!

Как вкопанный остановился он передо мною, скрестил руки на груди — молоденький лейтенант и, видно, необстрелянный.

— Задерживай бегущих! — приказал ему.

Мы собрали до взвода солдат.

— Веди за железнодорожную насыпь. Окапывайся!

Лейтенант скомандовал:

— По одному — за мной!

— Пикировщики! — крикнул за моей спиной Касим.

Их было двенадцать, шли в затылок друг другу. Ведущий как бы нехотя клюнул носом, свалился, высоко задрал хвост, и круто пошел на землю... За каштанами сторбилась и рухнула церквушка. Мой взгляд перебежал от одной дымящейся воронки к другой. Рядом вспыхнула машина, косо уткнулась в кювет...

Касим с недюжинной силой рванул меня к себе, засрал:

— Бомбы!

Я оказался на дне узкой щели, на мне лежал Касим. Вдруг он обмяк, отяжелел.

— Ты что? Касим, ты слышишь?

Он молчал, что-то густое и теплое текло по моей шее.

Щель с каждым взрывом суживалась. Нас засыпало. Охватил страх, такой, какой, наверное, испытывают заживо-погребенные. Это конец. И мысли и чувства — все-все, что выражало мое «я», втиснуто сейчас в могилу...

Упершись ногами и руками в землю, я выгибал спину, и навалившееся на меня чуть-чуть поддалось. Напрягся еще и еще — до треска и хруста костей, до обморока... Почувствовал, как посыпалась по бокам земля, свежий воздух ударил в ноздри...

Касима, вернее то, что осталось от него, уложил в щель и стал сгребать в нее землю, камни, все, что попадалось под руки. Пополз к обвалившейся стене. За ней никого, только под кустом лицом к небу лежал тот лейтенант в расстегнутом кителе, совсем мальчишка... Наткнулся на убитого солдата. Воробьи выклевывали хлебные крошки из его вывернутого кармана.

Я перешел вброд речушку и за ветлами увидел железнодорожное полотно. Поднялся на него и тут же быстро пригнулся — метрах в четырехстах стояли немецкие вездеходы, из кузовов выскакивали солдаты и вытягивались в цепь.

Словно какая-то сила отшвырнула меня за железнодорожную насыпь; за ней стояло три наших танка. Машины с заведенными мотора-

ми, вращающимися башнями. Взобрался на ближайший танк, схватился за скобу и нагнулся к смотровой щели.

— Вперед! — заорал во все горло.

Танк рванулся, пошел вдоль насыпи, а за ним и два остальных.

— За танки, за танки! — слышались крики.

Солдаты выскакивали из щелей, накрытых под насыпью, бежали за машинами.

Я видел немцев. Они, увлеченные фланговым ударом по нашей дивизии, не обращали на нас внимания, возможно, принимали за своих. Наша группа откатывалась к лесу. Кажется, все, что было еще живым, сейчас присоединилось к нам. Кричали и стреляли без приказа. Лица желтые, глаза, готовые выскочить из орбит, налиты кровью.

Немцы наконец поняли: в их тылу группа советских солдат. С насыпи ударили орудия; клубы шрапнельного дыма возникали то справа, то слева от нас.

— Разверни башню — и по насыпи! — крикнул я танкисту и спрыгнул с машины.

Танки вдруг повернули на восток и, строча из башенных пулеметов, рванулись вперед...

До меня долетали отдельные выкрики, стоны, но я не оглядываясь бежал через луг к лесу, слыша за собой топот солдат. Танки отстали, доносились их длинные пулеметные очереди. Перебрался через канаву по дощатому настилу, оглянулся: за мной тянулись солдаты и офицеры, волокли раненых. Все делалось бесстрашно и осмысленно.

Выскочили на поляну и увидели домик, из которого выбегали поодиночке немцы. Никакой команды я не давал, но солдаты со всех сторон навалились на немецкий взвод и с ходу расстреляли его. На привязи дико ревели навьюченные мулы, их погонщики лежали, уткнув лица в землю.

Гул моторов надвигался с юга, а потом потек на восток. И ружейно-пулеметная стрельба удалялась туда же. Небо очищалось от облаков, солнце с горизонта просвечивало лес, и он словно утонул в оранжевом мареве.

Разбил солдат на взводы, назначил командиров. Что дальше?

Над нами со свистом пролетел снаряд, за ним другой, взорвались метрах в пятидесяти. С южной стороны два тяжелых пулемета одновременно открыли по нас огонь. Надо уходить. Куда?

Пошли на запад — к шоссе, обозначенному на карте. Чем ближе к нему, тем слышнее работа моторов.

Вернулись разведчики, доложили:

— Фрицы! Силища, прут на север...

Ночь накрыла нас. Холодно, сыро. Выбрали место посуше, улеглись, прижимаясь друг к другу, на троих одна шинель.

Ближе к рассвету на шоссе поутихло.

На восток дорога отрезана, разве что пробираться поодиночке. Нет, немцы знают, что мы в тылу, переловят. А если на север? Перемахнуть шоссе и, пересекая ущелье, планины, пройти километров сорок — пятьдесят, а потом поворот на девяносто градусов — и к своим, на восток...

Трое суток по незнакомым горам, через реки, разбухшие от осенних дождей. Мокрая земля, черные леса. И внезапная автоматная трескотня — преследовали.

Хотелось как в партизанском отряде: нападут — врассыпную, а затем сбор в заранее условленном месте. Немцы гонялись за нами, и каждое столкновение с ними кончалось тем, что группа моя таяла. Не

только умирали, но и разбегались кто куда — исчезали, будто их проглатывали горы. Из случайных людей крепкий отряд не сколотишь... На четвертые сутки возле меня держалось около взвода солдат, из тех, кто готов в огонь и воду. Боевые хлопцы.

Сегодня до странности тихое утро. Поднялись на планину и сразу же услышали дорогу. Чья она, кто на ней? Не знаю почему, но я уверенно сказал:

— Наши!

От дороги отделяла нас только полоска леса. Услышали сердитый бас:

— Ты что, халява, заснул, что ли?..

— Свои!

Мы рванулись вперед всем взводом.

Из-за бугра выскочил зеленый «виллис» — и напрямик к нам. Мы поднялись, отряхиваясь. В машине рядом с шофером сидел полковник с усиками под горбатым носом, стоячий ворот кителя туго сдавливал кирпичную шею. Не сходя с машины, кивнул на нас, спросил:

— Эти, что ли?

— Так точно! — ответил сержант, тоже сидевший в машине.

Полковник посмотрел на меня:

— Ты будешь Тимаков? Садись в машину.

Я уселся за его спиной, рядом с сержантом. Полковник обернулся к нему.

— Слезай, и всю эту компанию, — показал на жмущихся друг к другу моих солдат, — в запасный полк. Понял?

Высокая спина полковника маячила перед моими глазами. Он курил. Не поворачиваясь, через плечо, протянул мне коробку «Казбека», а затем зажигалку. Я взял пять штук в запас, закурил шестую, коробку и зажигалку с благодарностью вернул.

Ехали быстро, мелькали села, тополя, платановые аллеи, придорожные колодцы, арбы с кукурузой. Молчание убаюкивало — я задремал. Не знаю, надолго ли, — почувствовав, что машина резко сбавила скорость, открыл глаза. Мы ехали по широкой улице городка. «Виллис» юркнул в переулок и носом ткнулся в глухие ворота, у которых замер автоматчик. Ворота распахнулись, и мы вкатились на мощный двор с древним ореховым деревом, захватившим над ним полнеба.

Меня не охраняли. Я мог гулять, ходить в офицерскую столовую, говорить с кем угодно. Но вот какая штука — не с кем было. Я встречал майоров, подполковников в хорошо сшитых кителях, на которых ярко блестели ордена Красной Звезды, изредка Отечественной войны второй степени. Офицеры вежливо приветствовали друг друга, останавливались, говорили, смеялись... Здесь никто никуда не спешил, все ходили с папками, знали, наверное, друг друга с сотворения мира и ничему не удивлялись. На меня никто не обращал внимания...

Десять суток одиночества. Я много спал, сытно ел, курил и снова спал. Отоспался за всю войну.

Еще одно утро — появился капитан с красной повязкой на рукаве:

— Вас требует полковник Нариманидзе.

Меня ввели в просторную комнату с широким столом, стульями, расставленными вдоль стен. Я увидел полковника, приехавшего за мной и угощавшего меня «Казбеком». Он сидел, положив волосатые руки на стол. Кивком головы ответив на мое приветствие, спросил:

— Отдохнули? Садитесь. (Впервые я увидел его глаза. Они были

холодными.) Я старший уполномоченный управления контрразведки «Смерш» фронта. Буду спрашивать, а вам — отвечать. Только отвечать. Ясно?

— Я готов.

— Давай такой эпизод разыграем.— Он неожиданно перешел на ты.— Командуешь партизанской бригадой, на тебя наваливается противник, как навалился на Свилайнац, наносит фланговый удар. И здесь исчезает твой подчиненный командир. А потом через неделю приходит из леса. Ты обязательно проверишь.

— Я же сказал, что готов отвечать...

Он вытащил из ящика стола пачку бумаги, постучал о стол карандашом.

— Пиши, обо всем пиши. Как в тыл попал, что делал, куда шел, кого встречал, кого потерял, какую речку переходил, бродом или на шее бойца — все пиши. Каждый день, каждый час. Садись вон за тот столик и работай.— Он чиркнул зажигалкой, закурил, глубоко вдохнув в себя дым и с силой выдохнув его.— Никакой лирики не разводи, дело пиши!

Я молчал.

Полковник с грохотом отодвинул стул и зашагал по кабинету. В годах, а ходит легко, неслышно...

Я взял бумагу, карандаш, сел там, где было велено. Писать начал сразу же и быстро, не задумываясь над тем, как писал. Строки ложились одна за другой, заполняя страницу за страницей. Будто шагнул за какой-то предел долгого и упорного молчания, сжигавшего меня. Что-то, угнетавшее меня в последнее время, стекало с кончика карандаша и ложилось на бумагу торопливо, несдержанно.

Я чувствовал постоянное присутствие полковника; он, кажется, подходил ко мне, звонил кому-то по полевому телефону, побряхтывая, курил. Был, по-видимому, наделен способностью терпеть и ждать, спокойно переносить время, которого для меня сейчас не существовало.

Исписал много страниц, очень много. С трудом разобрался, какая за какой идет, пронумеровал.

— Вот все,— протянул полковнику.

Он пробежал глазами первую страницу.

— Не строчки, а зыбучий песок... Думаешь, я для тебя дешифровщика держу?

— Выдохся, товарищ полковник,— вырвалось с неожиданным облегчением.

— Моя бабушка с тбилисского Алабача шевельнет, бывало, губами, не обращая ни к кому, и требует, чтобы все ее понимали. Ты не бабушка, а я не твой внук, дорогой. Открой дверь и уходи. Уходи, а то начну горячиться!..

Еще двое суток прожил в тишине, следя, как с деревьев падают листья, как виноградные дали одеваются в темно-рыжие одежды. Ветер с Моравы был насыщен осенней прелью. Майоры и подполковники казались теперь поприветливее...

И вот я снова в комнате полковника. Нариманидзе развернул километровку, ткнул в нее пальцем:

— Показывай маршрут движения твоей боевой группы в тылу немцев, места ночевки и стычек с противником.

Он внимательно следил за кончиком карандаша, которым я старательно водил по карте. Потом свернул карту и вышел.

Ждал его долго. С ним явился капитан с папкой, обтянутой дерматином, открыл ее, вытащил увесистую кипу бумаг со скрепками, сказал:

— Оригинал вашей объяснительной записки. Прошу прочитать и подписаться.

— Твой почерк — для английской контрразведки, — улыбнулся полковник, — они любят закорючки...

Я перелистал не читая все до последней страницы и поставил подпись. Капитан ушел. Нариманидзе придвинул к себе мою писанину.

— Будешь курить? — Подал пачку «Казбека». — Читал раз, читал еще раз. Исповедь Руссо — в журнал столичный, и только! Скажи честно, стихи писал?

— О чем вы, товарищ полковник?

Он постучал пальцем по моей рукописи.

— О том, как ты брал гору, а потом падал. Еще поднимался, чтобы снова в тартарары. Хороший машинист тормозит эшелон за сто метров до переезда. Где твои тормоза? Ты пишешь о своих ошибках и запоздало каешься. Что с тобой?

— Со мной? Мать, замученная в станице, братья, polegшие в болотах Полесья, партизаны, наспех захороненные в ущельях, мои солдаты, погибшие в бою... Все это со мной...

— О, человек! Слушай того, кому уже за пятьдесят, кто видел виновных и безвинных, кающихся и зло молчащих. След копыт на земле и тот остается. С ношей надо уметь обращаться, иначе она задавит. К походу по вражескому тылу претензий нет, все проверено. О случае под Заечаром: ты частично виновен, за что и наказан. А командир одного из дивизионов «катюш» осужден — стрелял на три градуса левее...

— Никто не вернет этим солдат, которых я поднял. Именно я, а не кто другой...

— Дорогой, кто вернет миллионы жизней? Еще не время ружья держать стволами вниз. А ты в себя палишь.

— Должно быть, такой час пришел...

— Ну, довольно! Встреча, как говорят, состоялась. Иди в свою армию, там решат, куда тебя. А буду живой — найду тебя, верну твою исповедь, пусть твои внуки прочитают!..

Забыв сказать этому странному полковнику что-то очень важное, я покинул кабинет...

### 34

Дорога была широкой, размашисто огибала зеленые холмы, споро бежала по долинам, взобралась на перевал, и тут я сразу увидел Дунай.

По сторонам разворачивались постройки, напоминавшие чем-то подмосковные дачи.

Белград надвигался на меня тесными окраинами, с домами без крыш, с черными провалами вместо окон. Улицы убраны, но за дощатыми заборами тот хаос из камня и железа, который еще долго будет напоминать о страшных временах, что пережили белградцы за годы оккупации и в дни штурма.

Капитан, мой случайный попутчик до штаба армии, сидевший рядом, сказал:

— Свинец и тот устал грохотать!.. Белград за всю свою историю тридцать девять раз стирался с лица земли и не был стерт.

Мы выехали на широкий проспект, где стояли многоэтажные дома без окон и дверей. Под опаленными деревьями — горелые «тридцатьчетверки», фанерные тумбы, увенчанные пятиконечными звездами. В отдалении вырастал небоскреб с пустыми черными глазницами.

— Терезия! Знаменитая, — сказал капитан.

Дальше между деревьями замелькали крепостные стены. Мы кру-

то взяли влево и оказались в тихом переулке. Стекла в окнах блестяли, на верандах вислась глициния.

Член Военного совета Бочкарев в гимнастерке с побуревшей от пота спиной, куда будничнее и усталее, чем в первую нашу встречу за Днестром, пожав мне руку, сказал:

— Эх и хлопот с тобой! Почему не сработался с полковником Мотяшкиным? В его дивизии сейчас приличный порядок намечается.

— А когда сработаться было? Сняли меня с полка через сутки после гибели Епифанова...

— Сняли, сняли!.. Ты сам себя снял. Стихия тебя, брат, захлестывает, бултыхаешься ты в ней, извини меня, как гусиное г... в проруби. Приведи себя в божеский вид и иди к командующему.

Гартнов набросился на меня.

— Во вражеском тылу прохлаждались, шумели! — гудел генеральский голос. — Ты уясняешь себе, что за фигура командир стрелкового полка в современной войне? Опорный столб! На него работают танки, пушки, штурмовая авиация. Что прошьлит комполка, то аукнется во фронтовом масштабе, а то и в самой Ставке. Не созрела еще ваша милость, нет и нет! Назначаю ответственным порученцем штаба армии. Двое суток на отдых — и к генералу Валовичу. Все, иди!

На Белград из-за Дуная постепенно наваливался холодный воздух. Он прорвался из наших далеких степей, и на рассветах легкая изморозь падала на городские крыши. В парках Калемегдана дружно осыпались листья. Далеко за Дунаем, на горизонте, бродили сизые туманы. Но солнце еще в силе. К полудню оно высушивало крыши, заливая город ярким светом. Платаны вспыхивали золотым жаром, четче вырисовывались на стенах шрамы войны.

Мне не отдыhalось. Дважды умышленно попадался на глаза генералу. Валович, скучно ответив на приветствие, проходил мимо.

Шагаю по бесконечным просторным аллеям, стараюсь ни о чем не думать. Но бесценен остановить настойчивую работу мозга. Все, что прожито до Заечара, туманом заволокло, а вот после... Каждый день как живой — с людьми, с их лицами, голосами. И почти всегда — поле перед кладбищем и щель, суживающаяся после каждого бомбового взрыва, где я лежал под убитым Касимом. Из меня будто вынули привычный запах. И как теперь привыкнуть к самому себе — к другому?..

Двое суток тянулись безрадостно. Наконец вызвали к Валовичу. Надраил сапоги, пришел чистый подворотничок, даже пуговицы и орден протер суконкой.

Вошел в зал, вытянутый в длину. Посредине низко свисающая люстра, а под ней метра на три стол с картой, на которой нанесена обстановка на театре действий частей и соединений нашей армии. Валович внимательно оглядел меня.

— Я буду говорить, а ты слушай и смотри на карту.

Он говорил о тех смертельных ударах, которые нанесены фашистским войскам на всех фронтах от Мурманска до Белграда, и о том, что любой главоверх любой страны уже выкинул бы белый флаг и полностью капитулировал. К несчастью, мы имеем дело с обреченными гитлеровцами — они будут драться за каждую минуту жизни. Война пойдет еще жестче.

— Проследи по карте, куда нацелена красная стрела. Как видишь, на австро-венгерскую границу, а точнее на город Надьканижа. После потери румынской нефти этот район для Гитлера единственный источник натурального горючего.

Я показал на Дунай за Воеводиной, который предстоит форсировать нашей армии, спросил:

— Почему на том берегу так мало немецких частей и соединений?

— Они уже идут из Греции, Франции, северной части Югославии. Оставляю тебя наедине с картой. Смотри и запоминай, а дороги в особенности. Должен знать их, как улицы своего села или города, где ты жил.— Он вышел.

Воеводина. В селах и городах небольшие наши гарнизоны. Линии фронта как таковой нет. Лишь на стыке Дуная с Дравой и севернее, на том берегу, замечены разрозненные немецкие полки и отдельные венгерские батальоны. Много населенных пунктов, густо пересеченных дорогами. Нет никакой возможности запомнить их названия: Пюшпекпуста, Багсентдьердь... Стараюсь запечатлеть в памяти дороги. Вот влажно-грунтовые. Их больше ближе к той части Дуная, которую нам предстоит форсировать. Между крупными населенными пунктами — дороги с твердым покрытием. На венгерский город Байя тянется отличная магистральная трасса... Главные силы нашей армии — в районе Белграда. Они сейчас тайно сосредоточиваются у сербского городка Гроцка. Здесь намечена их переправа на Воеводину, отсюда летят красные стрелы на Байю, Апатино, Батину...

Валович вошел и полотном накрыл карту.

— Сколько на твоих?

— Семнадцать тридцать три.

— На минуту отстают. Завтра в шестнадцать ноль-ноль быть на переправе у Гроцка. У тебя будут «виллис», «студебеккер», группа офицеров и отделение автоматчиков. Задач много, но главная: за неделю переправить все части и соединения. И так, чтобы не только вражеский самолет, но и птица ничего не засекала. Ваш день — ночь, только ночь. Идеальный порядок, движение строго по графику, абсолютная маскировка. Ты понимаешь, какую ответственность несешь?

— Командиры соединений выше меня по званиям, товарищ генерал.

— Они не менее тебя обеспокоены секретностью марша. Комендант переправы, оперативная инженерно-саперная группа, начальники гарнизонов тоже в твоём подчинении. Со мной связываться только по ВЧ.

...Дождь начался внезапно. За ночь оголил деревья, смыл с лица земли осенние краски. В кюветах бурлила рыжая вода.

Гроцк набит войсками, однако улицы пусты, разве пробуксует одинокая полуторка, поверх кузова заляпанная грязью. В домах — солдаты, под деревьями — замаскированные пушки, машины крыты брезентом, обсыпанным палой листвой. Не так-то легко догадаться, что в городке затаился стрелковый корпус со всеми своими дивизиями, приданными частями и подразделениями.

Дорога круто падала к Дунаю. «Виллис» доскользил до закрытого шлагбаума, тут стояли строгие автоматчики:

— Стой, из какой части, куда?

— Ответственный порученец штаба армии. Что на переправе, где комендант?

— Правее шлагбаума, метрах в ста его землянка.

Над головой раскачиваются под ветром высокие раскидистые ветлы. Меж толстыми стволами — землянка. Вошел — тепло. На столе, сбитом из двух неструганых дюймовых досок, положив русую голову на руки, сладко спал лейтенант в полевых погонах. В углу топчан, на нем тоже кто-то спал.

— Эй, хозяйева!

Лейтенант вскочил, будто и не спал:

— Здравия желаю. Вам кого?

— Я порученец из штаарма.

— Мы вас ждем. Товарищ комендант! — гаркнул на всю землянку.

С топчана скатился подполковник, протер глаза, уставился на меня и замахал руками:

— На этот раз не пройдет!..

— Здравствуй! Вижу, узнал меня..

— А, иди ты!.. Нет твоего полка в графике — на переправу ногой не вступишь, так и знай. — Он сел на топчан, почесал спину.

— Я на этот раз ответственный порученец штаарма.

Комендант вскочил.

— Господи, пропала моя голова!

— Почему же?

— Накавардачишь, мать честная..

— Лейтенант, выйди на минуту, — приказал я. Подождал, пока закрылась за ним дверь. — Дай руку! Подполковник Тимаков.

— Да знаю я тебя.. И надо же — моим начальником оказался. Не застрелишь насмерть, а? Филипп Казимирович, от роду сорок два. — Сунул теплую руку в мою холодную как лед.

— Константин Николаевич. А «накавардачишь» — это ты здорово сказал! Произвел впечатление, поэтому обещаю сохранить тебя для будущего, до дней, когда будешь качать внука. А пока угости чайком, Филипп Казимирович.

— А покрепче?

— Начнем не с этого. Кто сегодня по графику и когда начнется марш?

— Эх, недоспал! Ты уж сегодня все маты на себя бери, ага?

— Матов не будет, Филипп.

— Тю на тебя, перекрестись! Знаешь, у русского мужика дурацкое упрямство. Решил раньше всех быть на том берегу — график не график, а прет как сатана. Вот тебе и вся обстановка. — Короткие пальцы его то сжимались, то разжимались. Он сам это заметил, сунул руки в карманы. — Баба домой не примет — на хрен ей такой псих?..

Меня потребовал к себе командир дивизии. Он жил в ближайшем от переправы доме. Немолодой генерал с детскими глазами и суровыми складками морщин, расходящимися от ноздрей к уголкам рта. Я представился.

— Ладно уж, садись, чайком побалую. — Он подкладывал мне удивительно вкусные шаньги, и я их умял, наверное, с дюжину.

— Начнем переправляться на два часа раньше. Так, подполковник?

— Это невозможно, товарищ генерал. Только по графику, утвержденному начштаарма.

— Слепой, что ли? График, график, но и голова на плечах. Небо шашкой не проткнешь!

— Километрах в девяти севернее на небе голубые окна.

— Ерунда. Имей в виду: приказ командирам частей мною уже отдан.

— На переправе до семи вечера будет обычное движение.

— Смотри, я, брат, могу и руки скрутить, ежели нужда заставит!..

Небо и вправду низкое, чуть ли не за береговые кручи цепляется. Может, генерал и прав, желая выгадать по крайней мере часа два времени?

Я послал дежурного офицера на разведку. Полчаса спустя его мотоцикл затормозил возле меня.



— В районе Херхецсанта небо высокое. С поста воздушного наблюдения есть рапорт: над поселком четыре часа висела немецкая «рама».

— Действовать по боевому расписанию. Всем по местам.

Филипп Казимирович, широко зевая, спросил:

— Ты, брат, не успокоился ли? Погляди повыше. Замечаешь?

— Колонна грузовиков с пушками! — ахнул я.

— То-то!.. Ты уж сам сегодня, лады?

Между деревьями я увидел первый «студебеккер». В кузове — солдаты, на прицепе — тяжелая гаубица. Все это, тормозя, ползет к нам. Из-за левого борта тягача выскочил «виллис», скользнул по склону. Высокий худощавый полковник крикнул из машины:

— Эй, как переправа?

— В полном порядке.

— Поднимай шлагбаум, ручаюсь, в один заход часть моя будет за рекой.

— Здравия желаю, товарищ полковник. Ваша часть будет переправляться согласно графику в четыре часа утра. Прошу убрать колонну с дороги.

Он спрыгнул на землю, дернул головой точно от удара.

— Сроду такого сукиного сына не видел! Я старший по званию и действую по приказу комдива.

— А я — по приказанию начштаарма генерала Валовича.

Полковник щелкнул пальцами, отвернувшись от меня, махнул рукой — колонна загудела мощными моторами, заглушив ревущий бег Дуная.

— Группа оперативная, к бою! — скомандовал я. — Предупреждаю: буду стрелять по скатам!

Полковник задыхался от бешенства.

— Ты, мать твою!.. — Его словно вылинявшее на глазах лицо передернуло судорогой.

— Освободите дорогу, и немедленно, — потребовал я.

Не знаю, что подействовало — то ли моя сдержанность, то ли решительный вид автоматчиков, готовых исполнить приказ, но полковник перекрестил над головой руки, и машины, разворачиваясь, стали удаляться от переправы.

Ну и ну! Сколько же будет таких наскоков и хватит ли у меня выдержки?

Нещадно сек нас дождь, вымокли, грелись неразбавленным спиртом. Я ни на минуту не отлучался от шлагбаума. Из ночи вдруг выныривали какие-то подразделения, о которых в графике не было ни единого слова, и прорывались на переправу. На середине реки неожиданно застряла машина-фургон. Техник-лейтенант божился и клялся, что через десять минут он тронется с места и — «аллюр три креста» — будет за Дунаем. Филипп Казимирович залез под кузов. Выскочил с такой поспешностью, будто вытолкнули его.

— Шляпа-мордоляпа, техник-мошенник!.. Да твой драндулет и руками не вытолкнешь на берег, хоть ротой толкай. Это точно, Константин Николаевич!..

Вот-вот подойдет гаубичный полк с нервным полковником. Не дай бог задержать его хоть на полчаса!..

— Толкай, сопляк, башку твою в бочку! — панически кричал техник-лейтенант на водителя.

— Дежурный, вызвать комендантский взвод и сбросить эту гробницу в Дунай!.. Лейтенант, а тебе десять минут на эвакуацию того, что сможешь эвакуировать, — приказал я.

— Это же для меня смертоубийство, — захныкал он.

Машину подняли на руках, и она с громким всплеском исчезла в реке.

Техник-лейтенант чуть не плача умолял:

— Дайте мне официальный документ. Я материально ответственное лицо.— Долго надоедал мне, пока не взял его на себя Филипп Казимирович.

Прошли считанные минуты, и гаубичный полк РГК вступил на переправу.

Перед рассветом, когда наступила небольшая пауза, ко мне на «опель-адмирале» подъехал генерал, угощавший шаньгами:

— Припомню тебе, подполковник!

— С богом, товарищ генерал...

— Мой бог при мне! — фыркнул носом.— Молись, чтобы мои части пришли в срок куда назначено!

— За это с вас спросят, товарищ генерал... Прошу поскорее быть на том берегу. Вот-вот начнется марш иптаповцев, а времени в обрез...

— Запомни Андрея Борисовича Казакова, служаку с той германской войны!..

Трое суток без сна. Меня поражал Филипп Казимирович. Комендант переправ на Днепре, на Днестре, на Дунае, еще раз на Дунае. Как он мог выдержать лобовые атаки разгоряченных командиров частей и соединений?

— Планида моя богом и людьми проклятая,— улыбался Филипп Казимирович, поднимая уголки губ. Улыбка молодила его, смягчала лицо в глубоких морщинах.— Черт даст, выживу... Нет, к бомбежкам привык, вертким стал, а вот к вашей братии никак — каждый по-своему наганом в морду тычет. Так вот коль выживу, сам себе памятник у реки поставлю, вот те крест!..

Я валился с ног, дня у меня тоже не было: мотался на машине за рекой, следя за маскировкой армейского корпуса, ночами наползавшего по раскисшим грунтовым дорогам снова к... Дунаю, да, да, к этой могучей реке, извивающейся на нашем пути, за которым просторы Южной Венгрии были еще в руках противника.

### 35

Воеводину секли косые дожди. Солнцу лишь изредка удавалось пробивать толщу туч, и тогда неснятые кукурузные поля проглядывались насквозь, а жирные черные дороги неправдоподобно блестели. Степь напоминала родную кубанскую, я даже высовывался из машины, желая увидеть раскидистую станицу с церковью посередине. Станиц не было, а вдоль прямых асфальтовых дорог стояли целехонькие, чистенькие, но безлюдные городки. В них еще недавно жили-поживали и добро наживали немцы-колонисты. Драпали они без оглядки, кое-где бросив в добротных и чистых свинарнях десятипудовых кабанов, от собственной тяжести не стоявших на ногах, визжавших от страха и одиночества.

Бои начались сразу же на двух плацдармах, Батинском и Апатинском, с отчаянной дерзостью захваченных нашей пехотой, форсировавшей Дунай — который раз! — на подручных средствах. Туда, в пламя и дым, колесо к колесу шли грузовики, повозки, тягачи с пушками и понтонами, самоходки и санитарные машины. Из-за туч выныривали немецкие пикировщики, вокруг вздымалась черная земля...

Плацдармы, плацдармы... Слово это было на устах у всех — от командующего армией до связиста, с мужицким упорством восстанавли-

ливающего непрестанно обрывающуюся связь между двумя берегами. По реке плыли трупы.

Валович, не дав и дня передышки, откомандировал меня и на батинскую переправу. Часы полного изнеможения перебивались короткими минутами сна где-нибудь в полуразбитом крестьянском доме, опоясанном красным перцем, паприком, как звали его в этих краях. Я поднимался, пошатываясь, обливал себя обжигающе холодной водой — и снова к реке.

На батинской переправе судьба опять свела меня с Филиппом Казимировичем, неистово наседавшим на командира понтонно-мостовой бригады: скорее, скорее!

Пока действовало только пять паромов, три катера и восемь барж. Все, что мы успевали переправить за ночь на плацдарм, нещадно перемалывалось в жестоком дневном бою. Немцы успели подтянуть четыре пехотных дивизии, две из них эсэсовские.

Понтонно-мостовую бригаду скрыли в роще, их много вокруг. Но чуть посветлеет небо, немцы наугад пикируют поочередно то на одну рощу, то на другую. Все же им удалось однажды накрыть понтонщиков и расколошматить шестьдесят метров готового к стыковке понтона.

Валович вызвал к прямому проводу:

— Что вы там копаетесь, в конце концов? В эту ночь наплавной мост должен действовать — приказ командующего!

— Не будет он действовать, товарищ Четвертый.

— Командир бригады и вы пойдете под военный трибунал!

— Это делу не поможет... Мы работаем без авиационного прикрытия. Где наши истребители, товарищ Четвертый?

— Ждите у телефона.

Прижав телефонную трубку, вытянув шею, я смотрел, как семь немецких пикировщиков обрабатывали ближнюю рощу, всего в трехстах метрах от понтонной бригады. Загорелась машина со снарядами. От нее побежали солдаты, потом плашмя упали на землю. Горячий воздух врвался в оконный проем и обволакивал меня жаром.

— Где вы пропали, Тимаков? Вас бомбят, что ли?

— Слушаю...

— Обеспечение с воздуха будет. Кроме того, на машинах отдельный саперный батальон. Через час прикатит к вам. Приказ командующего остается в силе.

— Спасибо.

— Да, Константин Николаевич, как только наладите переправу известных вам частей, возвращайтесь в штаб!..

Уже не бомбили — наши истребители сбили одиннадцать «юнкеров». В час ночи шестнадцатитонный четырехсотвосемьдесятиметровый наплавной мост соединил берега и началась торопливая переправа частей, готовых к броску за Дунай.

Днем мост разводился в стороны, к берегам, и маскировался. Нас беспощадно поливали снарядами из-за Дуная. А тут еще после частых дождей менялся уровень реки. Мы перестраивали причалы и пристани, а ночами, соблюдая полную тишину, гнали по мосту пехоту и толкали пушки с колесами, обмотанными тряпьем. Однажды на рассвете я на свой страх и риск пустил на тот берег на полном ходу самоходный артполк. Удалось, хотя и не без потерь — прямым попаданием немцы запалили одну машину.

К исходу дня 18 ноября на том берегу уже было четыре стрелковых дивизии, два самоходных и три иштаповских полка.

Меня нашли спящим в кустах, перенесли в машину и увезли в

штаб армии. Об этом, правда, я узнал после тридцатишестичасового непрерывного сна.

В окно врывается яркий свет, у входной двери стоит незнакомый, опрятно одетый ефрейтор.

— Умоюсь, товарищ полковник.

— Ты что, в званиях не разбираешься? — Я соскочил с кушетки и стал разминаться.

— Разбираюсь, товарищ полковник. — Из кармана брюк он достал пакет. — Приказано вручить лично и срочно.

Полковничьи погоны! И приказ о присвоении мне нового звания. Еще записка от Валовича. Твердая рука вывела: «Чтобы в лесу твоём еще один волк подох! Поздравляю».

В офицерской столовой дежурный капитан усадил за отдельный стол:

— Отныне здесь ваше место, товарищ полковник.

Завтрак принесла женщина с симпатичными ямочками на щеках.

— Вот и молоденького полковника нам дали!.. Ой и кормить вас надо!

Ее полноватая теплая рука, ставя на стол тарелку с хлебом, как бы невзначай коснулась моей щеки. Будто в глубокий холодный погреб ворвался луч такой яркости, что можно и ослепнуть!.. Почему-то возник в памяти давно виденный и позабытый евпаторийский пляж с чистым желтым песком и голым пухловатым малышом — он сгребал в кучу перламутровые ракушки. Женщина поднесла руки к груди и стояла, машинально перебирая пальцами пуговички — не расстегнута ли кофта. Я не поднимал головы, но почему-то все видел..

Колбаса травянистого вкуса не лезла в горло. Проглотил без хлеба кусок сливочного масла и запил полуостывшим чаем. Встал.

— Папиросы, папиросы ваши, — сказала женщина каким-то упавшим голосом.

Я взял пачку «Казбека», сунул в карман.

— Благодарю, — сказал я, торопясь уйти.

— Когда к обеду-то ждать? — спросила с тихой бабьей жалостливостью.

Перескочив канаву, уселся на первый попавшийся пенёк, закурил. Десять затяжек — и пришло успокоение, так успокаиваются волны после упавшего ветра. Возвращался на землю, к всегдашнему, к тому, что было вчера, позавчера и много-много дней назад. И тут же услышал глухие и сердитые перекаты с той недалекой стороны, где поднимались фонтаны земли с водой. Ни для меня, ни для кого другого ничего не может сейчас существовать, кроме войны с ее уханьем, аханьем, татаканьем, лужами и грязью, мужской руганью, приказами, без которых не знаю, как мыслить и жить. И не дай бог неожиданной тишины — изнутри взорвешься!..

...На лестнице столкнулся с адъютантом Валовича.

— Вас требует командующий.

Гартнов встал навстречу:

— Поздравляю с высоким воинским званием!

— Служу Советскому...

— Служи, а как же. — Рука его потянула меня к столу. — Садись и дай поглядеть на тебя.

Сдал генерал: щеки втянулись, мешки под глазами набрякли, потемнели.

— Кури, если хочешь, — сказал, по-стариковски махнув рукой. — Трудно, полковник... С Днепра многих довел до чужой земли в здравии и уме. — Он выставил три длинных морщинистых пальца. — Говорят, бог троицу любит. — Два пальца убрал, оставил указательный. —

На последнем он кровенит нас нещадно.— Сведись седые брови.— Третий раз форсируем Дунай и за все более или менее спокойные марши по Балканам расплачиваемся тысячами жизней!

Я лишь сейчас увидел генералов Бочкарева и Валовича — они сидели за столом в стороне и молча глядели на нас.

— С этой минуты ты, полковник, представитель Военного совета армии... Сиди, сиди, береги силенки. Обстановка на плацдармах тяжелая. В ротах солдат — на пальцах пересчитаешь! — Подвел к карте.

Бочкарев и Валович встали, молча пожали мне руку.

— Двести пятая высота! Они ее в крепость превратили. А подходы? Гляди. Две дамбы, а между ними трясина выше головы. Станция Батина, куда тянется узкая однопутка. С северо-запада затопленная местность. На высоте доты, дзоты, сотни пулеметов, десятки тысяч отборных эсэсовцев. Зачем все это Гитлеру потребовалось, на кой ляд он палит полк за полком? Расчет точный. Не удержат — прощайся с нефтью, бензином, огромной и богатой сырьем землей между Балатоном и Дравой. А взять двести пятую надо, и возьмем! Пойдешь на вторую дамбу. Там дивизия Казакова и самоходки, что ты пропихнул через Дунай, может, на свое счастье. К исходу завтрашнего дня жду доклада, что станция Батина пала. Ты готов?

— Да, товарищ командующий.

— Полномочия неограниченные, но пользуйся ими разумно и уважительно. Не забывай, что пережил наш солдат за три с половиной года войны. Возьмем высоту — дадим простор армии. Другие части, свежие, так двинут фашистов — аукнется в Вене!.. До встречи, полковник...

Землянка генерала Казакова хитро скрыта под могучим дубом. Было здесь несколько таких деревьев, на столетия занявших островок суши. Высокая дамба прикрывала их с запада.

Вечерело, но артиллерийская дуэль продолжалась. Вокруг узенькой дорожки, по которой я на полном ходу проскочил к дамбе, на трясинах и болотах клокотали гейзеры. Они выбрасывались из чрева земли к небу. Освещенные желтым закатом, сгорали на глазах и падали туда же, откуда поднимались, рассыпая вокруг огненные брызги.

— Ага, начальствовать пришел, укуси тебя вошь! Судьба еще раз свела нас, и в очень нелегкий час... А ну-ка марш за мной!

Вскарабкались на дамбу. Генерал сказал:

— Ты только взглядишь. Мне приказывают: взять станцию Батина. Что скажешь? — Руки его легли на лоб, прикрывая глаза от низкого солнца.

Слева от нас простиралось болото, справа, в черном дыму и пламени, был скат той самой высоты, там шел бой немецких танков с нашими самоходками. Путь один — лобовая атака.

— Не пуцу пехоту, не пуцу! — закричал генерал. — За сегодня — семь танковых контратак. Два батальона смяли в лепешку. Не пуцу!

Мина шмякнулась метрах в сорока от нас, потом другая, но уже правее.

— Берут в вилку, айда!

Генерал скатился с дамбы, я за ним. Уселся и не стали подниматься. Третья мина упала на то место, где мы стояли секунд сорок назад.

— Вишь, пристрелялись, ходу никакого. Как будем брать, а?

— Не знаю, товарищ генерал.

— На что ты мне нужен? Диспозицию поглядеть пришел? Так ее

из окна командарма видать. Или болото очистишь за ночь, осушишь дно? Я, брат, по Сивашу шел, так там под ногами твердость была!..

Ночь ноябрьская, холодная: стылая сырость пробирает насквозь. Грохот не обрывается ни на секунду, перестаешь его замечать.

Стрелковый батальон пошел по пояс в воде, чтобы обойти станцию с юго-востока. Встретили огонь в лоб. Отошли на исходный рубеж.

— Нерадивому упрямству конец! — кричал Казаков. — Попрошу вас сейчас же связаться с высшим командованием и доложить, что у меня не полки, а роты, не батальоны, а полувзводы! Пусть сровняют высоту с землей с воздуха, к чертовой матери!.. Нет у Казакова полков, и шабаш!

Полки были, правда изрядно поредевшие. Оставался и резервный батальон.

К часу ночи по-пластунски ползу по однопутке с разбитыми шпалами, искореженными рельсами. На насыпи хоть голыши считай — до того видно все вокруг. Одна ракета потухнет, рассыпаясь в черноте осенней, и тут же вспыхивает вторая, за ней третья...

Стараюсь слиться с насыпью. За мной, тяжело дыша, низко пригнув головы, стелется отделение автоматчиков.

Странная насыпь: ее края срезаны сразу же за шпалами. Тут и «виллису» не пройти. Неужели то, что толкает меня вперед, задумано зря? И все же я ползу, ползу, замирая на то мгновение, когда свет от ракеты падает прямо на дамбу. Впереди какие-то шорохи, потом буд-то рашпилем по дереву. Услышал тихий голос:

— На полтрака, товарищ капитан!..

— Пройдешь, а? — негромко пробасил кто-то.

— Пройти можно, но первый снаряд в лоб — и капут.

Кто же там, впереди? Разведчики из самоходного полка?

Даю заранее обусловленный сигнал — притрагиваюсь рукой к плечу отделенного, — и мы начинаем отползать на исходную точку, но нас услышали.

— Пароль? Стрелять буду!

— Усач, — отвечаю и требую: — Отзыв?

— Рыжий.

Мы вместе скатились с дамбы.

— Кто такие? Я представитель Военного совета армии полковник Тимаков.

— Я командир авангарда самоходного артполка капитан Алмазов.

— Сколько у вас машин?

— Ровно дюжина и никакого прикрытия.

— Ну?

— Пройти можно — водители первоклассные, обстрелянные. Как они встретят нас — вот в чем фокус. Аккуратненько саданут — и пощелкают все мое хозяйство.

— Тут и дурак не промажет, — соглашаюсь.

Солдаты приткнулись к откосу. Мы с капитаном устроились пониже, у основания дамбы, сидим спина к спине и молчим. Думаем об одном и том же. Не оборачиваясь спрашиваю:

— Готовы на риск?

— А на кой ляд я лазил бы, обдирая штаны? Соображаю так: тут наша дорога на Батину. Лучше пулю в лоб, чем на такое смотреть: стрелковый батальон за полчаса на трясилах до ста солдат потерял. Не смогу до утра дожить, ежели не ворвусь на станцию!..

— Спокойнее, капитан.

— Да уж куда спокойнее... Передаваю гадов, как щенят, мать их в душу...

Закипел человек — на все пойдет.

Не сразу понял и самого себя. Только сейчас, после слов артиллерийского офицера, как молния вспыхнули прощальные слова Гартнова: «И самоходки, что ты пропихнул через Дунай, может, на свое счастье...»

А что немцы, немцы? Думай, думай. Ты изнутри их видел, и разных: от обозного до генерала, мчащегося по южнобережному шоссе в машине с не пробиваемыми пулями стеклами. Пустил бы самый отчаянный немецкий офицер свои самоходки в ночь-полуночь вот по этой дамбе? Да ни за что на свете! Значит... значит, на дамбе пехотный заслон, а в худшем случае подход на станцию кроют пехотой с двумя-тремя полковыми пушками. А маневр? Не дать ему времени — и все!

— Капитан, рискнем?

— Ворвусь на Батину, а что дальше? Без пехоты мы нуль без палочки...

— Будет пекота!

Генерал материл меня без зазрения совести, кричал:

— Мальчишка! Я лишь в девятьсот двадцать седьмом году, пятнадцать лет верой и правдой служа народу, удостоился полковничьего звания! А тут на тебе — пекут вас, как блины! Не получишь мою пехоту, нет и нет!

— Именем Военного совета требую стрелковый батальон, — настаивал я, зная, что и сам генерал отлично понимал: другого выхода нет, потому и не может сдержаться себя, на мне отыгрывается.

— А шиша не хочешь? — Казаков с силой швырнул на стол финку, которую держал в руке.

Капитан Алмазов, словно статуя — гвардейского роста, плечистый, — сжав губы, смотрел на нас. Я спросил у него:

— Вы на какой машине пойдете?

— На четвертой.

— И я с вами.

— Красуешься, сукин сын! Вон из землянки!

Мы ждали. Я знал: генерал связывается с командующим и требует отмены решения. Только напрасно.

Прошло десять минут.

— Ждите меня здесь. — Я пошел в генеральскую землянку.

Казаков, опустив голову, не глядя сказал:

— Бери хоть всю дивизию...

— Нужны две полные роты, взвод автоматчиков, одна иптаповская батарея.

— Какого черта торчите перед глазами? Идите, идите!..

Марш начался в два часа тридцать минут. Никогда не пойму, как можно было пройти по узкой дамбе этим мощным орудиям на собственном ходу и на большой скорости. Я находился в состоянии человека, летящего в пропасть и не знающего, что его там ждет: спасительная вода или хаос вулканических пород...

Потерял счет времени. Казалось, шли мы целую вечность, только потом узнал, что одолели дамбу за какие-нибудь девятнадцать — двадцать минут. Алмазов орал, ругался. Самоходка то качалась из стороны в сторону, то прыгала по-козлинному.

— Ур-ра! Вперед, ур-ра!!!

Я увидел угол кирпичного здания, потом промелькнула маятников качающаяся доска с надписью: «Batifa». Самоходка подняла передок. Куда-то проваливаясь, я ударился обо что-то, и весь грохот боя как ножом срезали...

...Качается низко над головой полуовальная крыша с горячей лампочкой посередине. Я лежу на носилках, рядом усталый, небритый мужчина в белом халате и шинели, накинутой на плечи. Подремывает.

— Где я?

Фельдшер шевелит губами, глядя на меня.

— Громче!

Он широко раскрывает рот, наклоняется ко мне, но я ничего не слышу — ни его голоса, ни шума мотора, хотя понимаю, что меня куда-то везут и санитарную машину подбрасывает на ухабах.

— Напишите!

Фельдшер закивал головой, из планшета вытащил блокнот, быстро что-то написал карандашом, подал мне. «Вы легко ранены и контужены».

— Станцию взяли? Где наши, на высоте?

Отрицательно покачал головой, но руками изобразил обхват, а потом все перечеркнул пальцем.

Хана фрицам! — понял я по движению его губ. Он приложил палец к ним, как делают матери, укладывая спать малышей, требуя молчания и тишины.

### 36

Занесенный снегом фольварк из красного кирпича, с башней, возвышающейся над сосновым бором, удобно стоял на краю плато, глядя окнами на простор Печского угольного бассейна с терриконами, меж которыми застоялась дымная пелена, не пробиваемая слабеньким зимним солнцем. Ветер с той стороны приносил сырой угарный дух. От налета угольной пыли тускнело оконное стекло в моей роскошной, с рогатым светильником и охотничьими трофеями на стенах палате. Словно наступали сумерки. К счастью, чаще набрасывались северо-восточные ветры, приносившие яркость дню, прохладу звездным ночам.

Я жил в тишине и ее боялся. Со страшной медлительностью тащилось время. Засунув руки в карманы шинели, до бровей напялив ушанку, сидел, уединившись под башенными часами — там было нечто похуже на нишу. Глядел на дали, зачастую ни о чем не думая, никого не вспоминая. Из сомнамбулического состояния выходил лишь тогда, когда распахивались ворота армейского госпиталя и на площадке у парадного входа останавливались санитарные машины.

Выносили раненых. Я ничего не слышал, но всем своим существом хотел понять, что происходит на переднем крае. Поступали, как правило, с осколочными ранениями — значит, фронт не двигался, но жил активно и артиллерийская дуэль не смолкала.

В тишине ушел в небытие декабрь, наступил новый год, сорок пятый. Мы встречали его с елкой в большом парадном зале. Я, со всеми вместе осушив бокал трофейной шипучки, забился в уголок и смотрел, как веселилась молодежь. Сестры-красавицы и выздоравливающие кружились в вальсе под аккордеон.

Незаметно ушел в палату, пробовал читать. Не читалось. Думал о том, где сейчас мои близкие, друзья, боевые товарищи. Вошел капитан, лечащий врач, с двумя полными бокалами. Подал мне записку: «С Новым годом, товарищ полковник! Мой подарок: вы будете слышать! Медленно, но верно слух возвратится к вам — таково заключение фронтального профессора-ларинголога. Поздравляю».



Утром солдат на мотоцикле доставил мне пакет и посылку. Военный совет поздравлял с Новым годом. В посылке — коньяк, папиросы, носовые платки и... шпоры. Улыбнулся — это от генерала Валовича.

Шел последний день января. Проснулся, как обычно, в семь утра, побрился, умылся. Вышел из палаты и... замер: издали, очень издали, будто сквозя ватные тампоны пробивались удары набата: бом, бом... Сердце запрыгало. Приставил ладони к ушам, стало громче — бом! бом! бом!

— Капитан! Капитан! — Я в три прыжка одолел лестницу, ведущую на второй этаж. — Капитан! Я слышу! Слышу, я слышу... Товарищи, я слышу!..

Раненые, окружив меня, улыбались. Я обнимал всех... Слух исподволь возвращался. Часами из расстроенного фортепиано я выколачивал звуки. От зимнего низкого солнца пылали окна фольварка, мороз накрепко сковал землю, на соснах лихо разгуливали белки. На макушке дерева каркала ворона.

— Громче, проклятая!

Я упивался музыкой человеческого голоса, приставал к раненым, просил, требовал рассказать что-нибудь о себе.

В конце февраля госпиталь начал свертываться. Многих уже эвакуировали в глубокий фронтовой тыл. Я пошел к врачу:

— Когда выпишете, доктор?

— Выдержка, выдержка, Константин Николаевич.

— Вы готовитесь к эвакуации. Куда?

Он махнул рукой на запад.

Эвакуация продолжалась. Утром подошла машина, из нее выпрыгнула женщина... Хочу окликнуть ее, а голоса от волнения нет. Скачиваю вниз и застываю у парадной двери.

— Галина!

Она бросила узел в машину, обернулась:

— Я!

Незнакомая женщина удивленно смотрела на меня.

— Простите...

Ее глаза блеснули из-под спутанных волос.

— Я же Галина. Вы меня звали?

— Простите, обознался...

Не спеша поднялся на свою верхотуру под башенными часами, сел, закурил... Домик на окраине, за некрашеным забором; комната с печуркой, теплые глаза Галины... И ночь с лунным отблеском ее голубого тела. И стремительно рвущаяся куда-то река, и обваливающиеся берега... Я казю себя, казю за тот час, за то мгновенье, когда повстречал в румынском городке на Дунае бидарку с женщиной в кудряшках...

На другой день в госпиталь приехал генерал Валович.

— Молчите, я вас буду изучать! — сказал излишне громко.

— И вы испытываете мой слух?

— А почему бы нет? Что такой худой? Несолідно!..

— Увезете с собой?

— Не больно хотят врачи из своих рук выпускать...

— Уговорите их, пожалуйста!

За нами остались угольные курганы; потекли долины с виноградниками, садами, поближе к дороге развороченными бомбовыми ударами, растоптанными танками.

За городом Капошвар стала остроощутимой близость фронта. Там

шла усиленная артиллерийская дуэль, в небе за слоем туч каруселили самолеты. Чем ближе к переднему краю, тем больше разбитой техники — нашей и немецкой. Впервые увидел с разломанной пушкой — ствол врылся в землю — танк «королевский тигр». Ну и махина!

— Рванули, товарищ генерал!..

— Верно! Но противник сильно огрызнулся, местами перехватывал инициативу. И все же не тут он прошляпил, а ранее, на высоте двести пятой. Передержал себя, спалил десятки тысяч отборных солдат. И нам, конечно, досталось — немало потеряли...

— Когда высота пала?

— На третьи сутки после Батины. Расплата была у них тяжелая — Гитлеру пришлось двинуть против нас стратегические резервы. Тогда они и сдержали наш натиск на нефтяной район Надьканижа. Сейчас линия фронта нашей армии: озеро Балатон — Марцали — Надьбайом — Барч... Идут активные бои без особого успеха для нас и для противника. Но собыггия назревают...

— А как в районе Будапешта?

— Положение еще сложнее.

Прием у командующего продолжался не более двух минут:

— С возвращением в строй, полковник. Завтра у генерала Чернышева примешь под командование гвардейский полк. Сейчас — два часа на отдых. А потом — в дорогу!

На командном пункте маршала Ф. И. Толбухина собрался генералитет 3-го Украинского фронта.

Во вместительном зале с занавешенными окнами находились командующие и начальники штабов армий, члены Военных советов, командующий Дунайской военной флотилией, командующие союзными войсками — югославскими, болгарскими — и мы, группа старших офицеров.

Вошел маршал, голоса в зале стихли. Минут за десять до всеобщего сбора я неожиданно столкнулся в коридоре с Толбухиным лицом к лицу. «Здравия желаю, товарищ маршал!» Он улыбнулся: «Спасибо, полковник. И тебе, как вижу, не мешает поднакопить здоровья»...

Толбухин сказал:

— Усаживайтесь, товарищи.— И сам грузно опустился на стул.— Прошу, генерал,— обратился он к начальнику штаба фронта генералу Иванову, стоявшему у оперативной карты.

На карте три жирные синие стрелы — с северо-запада, запада, юго-запада,— стремительно сближаясь, сходились за Дунаем приблизительно в районе венгерского города Байя.

Иванов взял указку:

— В феврале наш фронт вел трудные наступательно-оборонительные бои. Главная тяжесть пала на плечи частей и соединений, сдерживающих натиск Шестой армии и Шестой танковой армии СС в районах озер Балатон — Веленце. Оперативный план противника по освобождению окруженной группировки в Будапеште нами сорван. Мы, выполняя приказ Ставки Верховного Командования, готовились к наступлению с задачей в ближайшие недели окончательно освободить занятые территории Венгрии, выгнать немецкие войска из Восточной Австрии, взять Вену и сосредоточить свои силы в направлении Южной Германии. Верховная Ставка поставила нас в известность, что Гитлер наметил стратегический контрудар. У противника цель: сильным ударом с трех направлений расчленить наш фронт, уничтожить главные силы, а тылы отбросить за Дунай. По данным всех видов разведок, противник нацелил на нас тридцать одну дивизию, в том числе один-

надцать танковых. Помимо того, у него в резерве многочисленные части, моторизованные бригады и бригады штурмовых орудий. Соотношение сил на главном направлении Балатон — Веленце: у противника превосходство по пехоте более чем в два раза, по танкам и самоходным артиллерийским установкам — более семи раз, по артиллерии — в два раза. По уточненным данным, немецкое контрнаступление назначено на шестое марта. — Иванов положил указку.

— Благодарю, генерал. — Толбухин встал. — У Гитлера весьма дальний расчет: обезопасить нефтяные районы и заставить нашу Ставку оттянуть с берлинского направления армии на юг и тем самым спасти свою столицу. Сообщаю доверительно: Ставка последнее решение оставляет за Военными советами наших фронтов, резервирует право отхода с активными, изматывающими врага боями... — Толбухин замолчал, как бы желая убедиться, достаточно ли тихо в зале, чтобы каждый мог услышать то, что он скажет дальше: — Резервирует право отхода... за Дунай!

Зал приглушенно охнул, а потом будто перестал дышать... Как за Дунай? А жертвы на плацдармах, на штурме высоты, прорыв?

— Военный совет фронта, — продолжал маршал, — примет окончательное решение после того, как выслушает командующих армиями, командующего флотилией, командующих югославской и болгарской армиями. Остаются здесь командующие, члены Военных советов, начальники штабов армий. Остальных товарищей прошу покинуть зал.

Мы вышли ошеломленные. Разошлись кто куда. Было так тихо, будто я снова оглох. С острой болью вспомнил ночь, когда с капитаном Алмазовым сидел спина к спине под дамбой...

— Здравия желаю, товарищ полковник!

Передо мной стоял молоденький младший лейтенант с орденом Красного Знамени на гимнастерке. Улыбался.

— Здравствуй, но не припомню, где мы виделись...

— Бывший сержант Баженов из запасного полка.

— Наш запевала! — Я обнял его. — Рад, очень! Расскажи о себе.

— Под Бендерами боевое крещение получил. А на Апатинском плацдарме осколок половину почки выдрал. Три месяца в госпитале, ограниченно годен. Теперь в конном взводе при командующем фронтом.

— Наших встречал?

— Мало кого. В наш полк под Заечаром прибыл начальником штаба майор Сапрыгин. Он же был подполковником...

— Всякое случается!

— Возьмите меня с собой, товарищ полковник!

— Хочешь, чтобы я вступил в конфликт с самим маршалом? Не такой я отчаянный... Ну, до свидания, запевала. Дожить тебе до тишины!

— И вам, и вам!..

Машина шла на большой скорости. Валович сидел рядом с водителем и ни разу не повернулся к нам. У полевого НП армии она остановилась. Валович выпрыгнул из нее, за ним адъютант. Генерал приказал водителю:

— Полковника доставить на командный пункт генерала Чернышева.

Командир гвардейской дивизии генерал Чернышев — мужчина крепкого сложения, широкоплеч, пшеничного цвета усы пожелтели от табачного дыма. Он уделил мне минимум внимания — спешил.

— Здравствуйте, полковник. — Рука железной хваткой сжала мою ладонь. — С немецкими танками сражались?

— Нет, товарищ генерал.

Нахмурился. Тень разочарования скользнула по крупному загорелому лицу.

— Офицеры полка грамотные, танки, даже грозные «королевские тигры», им не в диковинку. Идите в полк, в шесть ноль-ноль с докладом ко мне.

В полк добрался в десять часов вечера. Тщательно одетый, подтянутый подполковник в пенсне представился:

— Александр Александрович Алексин, начальник штаба. С прибытием, товарищ полковник. Разрешите ввести в обстановку? — Подошли к столику, где была развернута оперативная карта. — Мы окапываемся там, где нас остановил противник. Нашу самостоятельность в решении оперативных задач обеспечивают приданные средства: танковый полк, глубоко эшелонированный иптаповский полк, два дивизиона гаубиц. Кроме того, при штабе постоянно находится оперативный офицер с непосредственной связью с аэродромом.

Глаза мои, привыкшие читать карту, не могли не заметить, что на ней слабо отражены данные о противнике. Лишь обозначены линия его обороны, несколько артиллерийских позиций и западнее переднего края — танковая колонна с вопросительным знаком.

— Да, — опередил меня Алексин, — скудно, скудно... И разведка боем языка не дала. К сожалению, наши наблюдательные пункты находятся на невыгодных точках — без достаточно широкого обзора. Так что сведения о противнике сумняся ничтоже...

— Александр Александрович, а здесь? — Кончиком карандаша я показал на отметку: населенный пункт с церковью. — Эта богомольня существует?

— Пока цела.

— А если на колокольню — НП полка?

Алексин промолчал, смущенно потер рукой до глянцевого блеска выбритый подбородок.

— Ну, пока снимаем с повестки дня этот вопрос... А сейчас прошу показать полк.

— С удовольствием!

Ночь темная, тихая, сырая. Пахнет болотом. В небе изредка вспыхивают ракеты, и холмы, где находится противник, озаряются неживым светом. Мы идем вдоль нашей обороны с севера на юг. Окопы и ходы сообщения между ними — в полный рост, сверху прикрыты виноградной лозой и присыпаны землей. По дну траншеи, где скапливалась вода, уложены дощатые мостики... Полк работает.

Луч карманного фонарика начштаба выхватывает из темноты лица офицеров, рапортующих мне, солдат и сержантов, укрепляющих огневые точки. Светловолосые и темноволосые, стриженные под машинку, в белых подворотничках, в зеленых стеганках с поблескивающими гвардейскими знаками, орденами и медалями — хоть сейчас на полковой смотр.

— Прямо-таки молодец к молодцу, ничего не скажешь!

— Гвардейский почерк. — Алексин остановился, предупредил: — Сейчас повернем направо и будем на НП полка.

На НП я сажусь к стереотрубе и наблюдаю за холмами, вытянувшись с севера на юг. Постепенно глаза привыкают к темноте, начинаю различать редкий кустарник на скатах, за которым, вероятно, расположена первая линия обороны противника. На южном фланге холм срезан. Оттуда доносятся звуки — там что-то ритмично ухает.

— Александр Александрович, прикажите осветить южный фланг серией ракет.

В свете навесных ракет я замечаю странные деревья — они, как пьяные, наклонены в разные стороны.

— Посмотрите-ка.— Торопливо уступаю свое место начальнику штаба.

— Деревья! Их здесь утром не было. Вероятнее всего, они маскируют проходы для танков. Судя по всему, придется наш танковый полк перебросить на этот фланг.

— Подумаем, Александр Александрович...

Моя землянка — под шестью накатами, просторная, обшитая досками изнутри. Сажу на раскладной трофейной койке, под ногами коврик. Вошел сержант со стаканом чая, накрытым белой салфеткой. Чай с лимоном. Все здесь прекрасно, а я почему-то чувствую себя одиноком. До боли сжалось сердце: Клименко, Касим...

Ашота бы сейчас сюда! Рубанул бы он своей единственной рукой: «Ва! Колокольня! Обзор, широта!» Танковый полк на левый фланг? Наступающую армаду одним полком не остановишь. Главное — противотанковая оборона. Я срочно вызвал командира истребительного противотанкового полка.

На пороге землянки появился небольшого роста офицер, с головы до ног укутанный в плащ-палатку. Когда он откинул капюшон, я бросился к нему:

— Горбань! Горбань, черт тебя побери! — Обнял его, усадил на трофейную койку.— Дай-ка поглядеть на тебя.

А он, как и прежде пробурчав что-то невнятное, выжидающе уставился на меня.

— Что ж, встреча состоялась, переходим к делу. Пойдем к столу, посмотрим оборону полка. Вот здесь, на южном фланге, немцы готовят проходы для танков и маскируют их. Возможно, это дезинформация. Противник может ударить с севера по соседу, а потом и по нас. Как ты думаешь?

Он молча пожал плечами.

— Правильно — мы незрячие. А тут, в Местегне, церковь с колокольной метров в сорок высоты.

Горбань, на лице которого появилось оживление, выхватил из планшета карту, быстро перечеркнул свой НП, обведенный красным карандашом, и ткнул пальцем на отметку Местегне.

— Отлично, мы всегда без слов понимали друг друга. Полезем на колокольню?

Вошли в церковь — нас окутало пороховой гарью. Даже в темноте заметны пробойны в западной стене. На колокольню вела крутая деревянная лестница с выбитыми местами ступеньками, приходилось подтягиваться на руках. Задыхаясь, взобрались на самую верхнюю площадку. Она квадратная, защищена толстыми каменными стенами, каждая из которых не более двух метров ширины, с круглым окошечком.

За час до восхода солнца доложил генералу, что полк мною принят. И сразу обратился с просьбой — разрешить развернуть наблюдательный пункт полка и приданных частей на колокольне церкви в населенном пункте Местегне. Генерал сердито:

— Риск?

— Минимальный. Попадание снаряда с закрытых позиций исключается. С открытых не позволим.

— А удар с неба?

— Площадка — четыре квадратных метра. Вероятность попадания — один шанс из тысячи. На НП будут только командиры частей и связные.

— Запрещаю находиться там всем. Лезьте сами и по мере необходимости держите там одного из командиров частей!

Утро началось мелким дождем. Холмы накрыло туманом, видимость — не более ста метров. Я с Горбанем и двумя связными пробрался на новый НП — знали об этом только начштаба полка и мой заместитель по политической части.

После полудня подул холодный северо-западный ветер, разогнал тучи — открылся горизонт. Мы сразу же засекли две дальнобойные батареи, группу танков, замаскированных ветками. До самой ночи наши оперативные карты пополнялись данными о противнике.

Позвонил генерал:

— Держитесь?

— Не трогают, не догадываются, должно быть...

— Или для себя берегут. На всякий случай заминируй.

— А мы не собираемся оставлять вышку — нам удобно.

— Припрут — оставишь...

### 38

Ночь с 5 на 6 марта взорвалась от внезапного и мощного артиллерийского удара. Снаряды противника били и по переднему краю нашей обороны и по второму эшелону.

У нас было меньше танков, самоходных орудий, но командование армии, точно угадав направление главного удара, стянуло бронетанковые силы в нужный район и хорошо замаскировало.

Начался танковый штурм: на километр фронта — сорок вражеских машин. Они прорвали оборону на глубину три километра. Но им был нанесен мощный контрудар. Противник откатился на исходный рубеж.

Атака повторилась утром.

Наша дивизия оказалась на левом фланге штурмующих войск. С высокой церковной колокольни в восьмикратный бинокль поле ожесточенных схваток видно как на ладони. На виноградниках точнее Надьбайома горели немецкие танки, семитонные «бенцы».

В двенадцать часов дня наша дивизия пошла в наступление. После тридцатиминутного сосредоточенного артиллерийского удара по позициям немцев я поднял полк в атаку.

Нас встретили бешеным огнем. Чернышев приказал отползать в окопы и траншеи.

Немцы тут же под прикрытием средних и тяжелых танков контратаковали нас пехотой. На высоте 87,6 первый батальон моего полка был сжат танками.

— Майор, давай штурмовую авиацию, немедленно! — приказываю представителю авиационного полка.

Через десять минут из-за опушки леса выскочила группа «Илов» — противотанковыми бомбами и пушечным огнем запалили пять немецких танков. Батальон с небольшими потерями вернулся на свои укрепленные позиции.

Связался с генералом.

— Вижу, вижу... И чтобы никаких обхватов, слышишь? Есть пленные?

— Обер-лейтенант и два унтера.

— Головой отвечаешь за их сохранность. Немедленно конвоировать ко мне.

Спустя час генерал предупредил:

— Имей в виду, они кое-что соображают. Боясь флангового удара, против нас выставили дивизию СС «Бранденбург»...

Серое небо сеет дробный дождик. Переувлажненная земля глухо вздрагивает от взрывов гаубичных снарядов. Полк топчется в грязи в старом мадьярском селе Местегне. Ни одной живой хатенки, ни единой живой души без ружья. Пустые банки от американских и немецких консервов гремят под ногами. Ветер гоняет обрывки газет на русском и немецком языках. Может быть, десять, а то и все двенадцать раз село переходило из рук в руки. Мы дрались за колокольню, а южнее нас отборные немецкие дивизии все еще рвались к Капошвару с сумасшедшим упорством. Поля и виноградники усеяны подбитыми, горелыми танками и машинами. Незахороненные трупы мокнут под дождем. Дни и ночи сливаются в одну нескончаемую битву...

В этом проклятом Местегне бои идут с переменным успехом. В некоторых ротах осталось всего по одному офицеру. Позавчера убили замполита. Пополнения все нет и нет. Мы держимся из последних сил, то отжимаясь от колокольни, то захватывая ее вновь. То я на ее вершине приказываю тянуть телефонный кабель и устраиваюсь здесь со своим наблюдательным пунктом, то командир полка из эсэсовской дивизии «Бранденбург». Кто хозяин колокольни — тот и хозяин местности на много верст вокруг.

Лишь ночами на час-другой покидаю свою высоту и отдыхаю в подвальчике разрушенного дома.

Вчера перед полком появилась неуловимая «пантера». Она лавировала меж скирдами соломы. Покажется там, где не ждешь, бабахнет прямой наводкой — и поминай как звали. Уже потеряли два орудийных расчета.

Сегодняшний рассвет обещал солнечный день. Я связался с командиром противотанкового полка Горбанем:

— Так кто ж кого: «пантера» тебя или ты ее?

Молчит.

— Не дай бог с тобой словом перекинуться — онемеешь!

Я взял бинокль и стал всматриваться в лес, стоявший в двух километрах севернее колокольни. Пока тихо, никаких передвижений.

— На проводе генерал.— Дежурный связист подал трубку.

— Спишь, хозяин? — спрашивает начальство.

— Жду...

— Авиаразведка донесла: танки скапливаются в трех километрах севернее твоих позиций. Пойдут на тебя?

— А куда денутся — другой дороги нет; если виноградниками, можно на засаду напороться.

— Устоишь?

— Мне бы крупички на две каши...

Генерал закрыл рукою микрофон и с кем-то говорил. Я все же расслышал: «Соображения твои неплохие, но у тебя не горит».

— Ты слушаешь, Тимаков? Так вот, жди на одну варку.

— Когда? Сегодня, сейчас?

— А ты, брат, обнаглел! В общем, соображай. И береги людей — не вообще, а каждого в отдельности. Помни: наши на Одере. И немцы на нашем участке вот-вот выдохнутся!

Вокруг тишина, медленно перевожу взгляд с севера на запад, потом на юг. Немцев будто нет, и это мне не нравится. Связываюсь с комбатами, полковым артиллеристом, потом с командирами приданных частей и подразделений.

В ротах всего по десять рядовых на взвод. Но, слава богу, мы богаты приданными средствами. В окопах недалеко от церкви тесно от командиров частей со своими радистами, адъютантами: танкисты, ип-

таповцы, минометчики, пушкари из гаубичного дивизиона, представитель авиаполка со своей сложной радиотехникой и специалистами.

Время идет, немцы помалкивают. Что они там надумали?

В полдень снизу закричали:

— К нам пополнение с замполитом, товарищ полковник!

Кто-то, тяжело сопя, поднимается по лестнице. Я оглянулся и ахнул:

— Рыбаков!

Спускаюсь навстречу. Обнялись, я похлопал его по жирной спине:

— Хоть под нож, ну и раскормили!

Леонид Сергеевич трубочкой сложил губы, и мне стало так хорошо, как давно уже не было. Он внимательно всматривался в меня, с придыханием сказал:

— Костя, ты же седой!

— Да ладно... Ну, поднимемся на мою голубятню!

Лестница на верхотуру крутая — не дай бог. Я привык к ней, а Рыбаков пыхтит.

— Ты не спеши, Леня.— Поджидаю его.— До чего же здорово получилось!..

Он отдышался, глаза радостно смотрят на меня.

— Ей-ей, встретил бы на улице — не узнал. Ты совсем другой.

— Укатали сивку... Зима — вспомнить не захочешь. А как ты попал в полк? Напросился?

Леонид улыбнулся.

— Спасибо... Старая дружба что старый конь — борозду тянет как по линейке.

— Разве мы с тобой дружили? — Он разволновался.— Хорошее качество — забывать все плохое!..

— С плохим будем бороться, а помнишь его — на кой ляд?.. А вот у меня в полку есть сержант из тех наших сержантов, уже взводом командует. Ты не забыл августовские дни?

— Это забыть, Костя,— грех на душу брать!

На колокольне — на моем наблюдательном пункте — никто не смел поднять голову: враз снайпер срежет.

— Запомни, Леонид, как старуха катехизис: в окошечки не выглядывать, жаться к стенам. А теперь за мной.

Я пополз в угол. Рыбаков плотно придвинулся ко мне.

— Гляди в цель. Перед тобой почти все наше ратное поле. Времени нет — введу в обстановку на скорую руку. Слева роща, видишь? Там наш первый батальон. Чуть правее, у кучки деревьев,— второй. Теперь — виноградники правее, еще правее. Стоп! Вон под откосом дорога; видишь, как она вбегает в хуторок Шашгат? С минуты на минуту ждем атаку.

— В хуторке наши?

— Спроси у него,— показал на командира противотанкового полка, приткнувшегося в уголке напротив.

Леонид присматривается.

— Где-то вроде встречались... Майор Горбань, не ошибаюсь?

— Вин пидповковник,— сказал усатый телефонист, разлегшийся с полевым телефоном у ног своего командира.

— У вас весело, хлопцы.— Рыбаков чувствовал себя еще не в своей тарелке.

— Ничего, Леня, два-три дня — и пропишешься в нашем клане на постоянное жительство. А пока...— Я взял флягу и по глотку спирта разлил по кружкам.— За твой приезд. Чтобы ладно и складно.

— Чистый?

— «Чистим-блистим», как говорил покойный Касим...



— И он?..

— В Свилайнаце. Вот так-то... Как рана?

— Чуток похрамываю, но годен.

Я посмотрел на трофейные часы. Запаздывают бранденбургцы сегодня. Неужели что пронюхали?

— Идут! — крикнул наблюдатель.

Я за бинокль: восемь танков, три самоходные пушки, за ними на бронемашинах пехота.

— Рыбаков, вниз, в подвал! Там наш резерв. Чтобы никто носа не высунул. Понял?

— Нет. Задача какая?

— Следи за сигналом: ракета желтая, за ней зеленая, потом снова желтая. Тогда все бегом за виноградники, пройти дальнюю рощу и окопаться.

Справа выскочили наши штурмовики и реактивными по танкам. Один сразу же взорвался. Самоходная пушка стала боком и загорелась. Но немцы не останавливаясь шли на большой скорости к хуторку Шашгат. Минута-другая — они в хуторке и, развернувшись фронтом, поползли на окопы 3-го батальона. Ударили противотанковые пушки Горбаня, подбили еще один танк — гусеница его, как змея, взвилась вверх и рухнула на пахоту.

Танки утюжили наши окопы, но там были чучела в солдатских шинелях. Батальон до поры до времени отсиживался в глубоких контрэскарпах. На полных скоростях немецкие машины двинулись к ложным орудийным установкам, а пехота, спешившись, фронтально на двигалась на фальшивую боевую линию батальона.

Я подтянулся к телефону:

— Третий, бегом на позицию и задержать пехоту!

Ударили несколько станковых и ручных пулеметов — немцы залегли. С флангов пушки Горбаня били прямой наводкой по танкам, и они вспыхивали один за другим. Самого Горбаня уже не было на моем НП. Связался с командиром группы минометных батарей:

— Засыпь фашистскую пехоту, к чертовой матери!

Севернее Местегне уже развернулись наши танки, на полном ходу прошли Шашгат и, перевалив за хребет, преследовали противника.

Под ухом запищал зуммер полевого телефона — в трубке голос начальника разведки артполка:

— Спуститесь, застукали «пантеру». Три пушки смотрят на нее.

Мы с адъютантом переползли виноградник и подобрались к заброшенной хатенке под камышовой крышей. Тут застали разгоряченного Рыбакова.

— Наши окапываются на новом рубеже! — доложил он.

— Не задержимся на нем — ночью марш на запад! А сейчас посмотрим дуэль с «пантерой».

К одной скирде прижалась «пантера», оголив бок. С первого же выстрела ее будто развернуло вокруг собственной оси, а потом вывернуло наизнанку.

— Чистая работа! — Я посмотрел на колокольню. — Прощай, вышка! А ты, черт, счастливый! — хлопнул Рыбакова по плечу. — Смотри, как сегодня светит солнце!..

— Так весна же, Костя!

Шутливо приложив руку к козырьку, я поднял голову и увидел столб огня над собой. Что-то ударило в затылок, обдало жаром. Падая, услышал:

— Идут танки...

Лежу на койке, смотрю в окно с цветным витражом в верхней части. За ним серое небо, верхушка платана, на которой еще цепко удерживаются прошлогодние листья, скрюченные, как старческая пятерня. Идет косою весенний дождь. Я слежу за тем, как он, упорно сбивая листья, начисто оголяет дерево.

Соседи мои, одурманенные снотворным, в забытьи. Ближе ко мне — полковник; выставив из-под одеяла острый подбородок, всхлипывает во сне.

А мне не спится — болит затылок.

Вошла сестра, взглянув на моих соседей, сказала:

— Все спят и спят. — Встряхнула термометр, подала мне и тут же взялась за другой.

— Не трогай их, пусть спят, — попросил я.

— Всем велено мерить.

— А чего такая сердитая?

Что-то буркнула себе под нос и удалилась. Вошел хирург.

— Ну как, без швов легче? — спросил меня.

— Затылок чертовски мучит.

— Пройдет, все пройдет. — Вытащил из кармана руку, разжал кулак. — Тридцать два грамма железа! Возьмете на память? — На его широкой ладони лежали мелкие осколки мины.

— Выбросьте...

— И то дело. — Распахнул форточку: — Лети, трофей... Давайте-ка посмотрим, как наши дела... Закройте глаза, вытяните руки. Так, недурно. Опустите руки и откройте пошире рот... Ясно. Можно и на прогулку...

Стратегический контрудар Гитлера провалился. Не только оперативного, но и тактического успеха он не имел. Только жертвы, жертвы...

В наш белградский военный госпиталь поступают раненые старшие офицеры со всех участков двух Украинских фронтов. Из рассказов я довольно ясно представил себе все, что произошло на огромном театре военных действий. Удар 2-й танковой армии противника из района западнее Надьбайома был лишь отвлекающим. Главная битва произошла на участке между озерами Балатон—Веленце. Здесь все началось утром 6 марта. После мощного удара по нашим позициям пошли в атаку танковые колонны СС при поддержке значительных сил авиации. Кровавопролитные бои развернулись на участке советского стрелкового корпуса. За двое суток жестокого сражения противник вклинился в нашу оборону. Одновременно действовало триста вражеских танков! 9 марта немецкое командование ввело в бой резервную танковую дивизию СС. Город Секешфехервар переходил несколько раз из рук в руки.

Маршал Толбухин попросил Ставку разрешить ввести в бой резервную гвардейскую армию. Москва, однако, считала, что немцы напрягают последние усилия, и просьба командующего фронтом была отклонена.

13 марта на этом участке фронта сражалось пятьсот немецких танков. Противнику удалось захватить плацдарм южнее Шио-канала. Сражение достигло апогея. Обе стороны несли тяжелые потери.

Моральный дух немецких дивизий после таких потерь был подорван. Исход сражения стал очевиден. После 15 марта даже наиболее стойкие гитлеровские соединения отказывались идти в атаки. Взятый в плен немецкий генерал на допросе показал, что не только в самых

отборных дивизиях СС истощились силы, но даже отряды личной охраны Гитлера потеряли веру в успех контрудара. В бешенстве Гитлер приказал снять с них нарукавные знаки с его именем...

...Я, судя по всему, отвоевался. Что же дальше? Что я умею, на что гожд? Чему научился? Вся сознательная жизнь отдана военному делу, то есть той адской работе, конечная цель которой: как полоче, похитрее, с наименьшей затратой своих сил расправиться с противником, уничтожить то, что называется его живой силой. Знаю, что я и все те, кто под ружьем, родились не для того, чтобы убивать, но знаю также: и не для того, чтобы быть убитыми. Все это так. Но — что завтра, что в мирной тишине?

Под платанами, выбросившими сережки, смеялась солдатская братия, перемигиваясь с горожанками. Пахло дымком — белградцы палили прошлогоднюю листву, очищали город от застоялой военной грязи.

По мне весна проехала другим боком. Я худел, плохо ел и никак не мог согреться даже под высоким солнцем. Часто посиживал около церквушки, где похоронен небезызвестный Врангель, смотрел на детей, пытался им улыбаться, но они сторонились меня, жались к своим няням. Мне не хотелось ни видеть людей, ни говорить с ними. Облюбовал поляну в древнем парке Калемегдана и часами смотрел оттуда на широкий Дунай, на дальние степи, чувствуя на губах привкус талых вод.

Где полки, которыми я командовал? Уже в Австрии. Еще убивают наших. Ашот, Рыбаков, суровый Платонов... Где вы? Чтобы жили, чтобы пуля последняя вас миновала!.. Могилы, могилы по всему белому свету... Слава богу, выздоравливающих солдат провожали уже не на фронт, а домой — в Москву, в Сибирь, на Кубань. Я жадно ждал минуту, когда войдет в палату хирург и скажет: «Домой, домой, полковник!»

А со мной все еще возились незнакомые врачи. Мне все это осточертело, я настаивал на эвакуации.

— Хорошо,— сказал мой врач,— еще одна консультация — и все.

— Чья?

— Армейского фтизиатра.

— А зачем?

— Туберкулез...

— Откуда он у меня?

— А вы, батенька, не из стали выкованы,— сказал он.— Еще орудия не смолкли, а мы, медики, уже разворачиваем госпитали и противотуберкулезные и другие... Боролись за то, чтобы поставить солдата на ноги, дать ему ружье, а теперь будем лечить и раны и болезни. Вырастет новое поколение, а госпитали для инвалидов войны еще будут существовать — таковы, батенька, страшные издержки! — Пожелал счастливого воскресенья и ушел.

Счастливого воскресенья у меня не было — горлом пошла кровь.

...Я в Москве, в Центральном военном госпитале для легочных больных. За толстыми казарменными стенами, за садиком, где стоит памятник Достоевскому, за старой московской улицей Божедомкой ворочается, пошумливает огромный город.

Палата — взвод размещай: от дверей до окна двадцать семь шагов, в два ряда койки, на них офицеры, которых выплюнула война в последние дни своей агонии. Жизнь наша сусличья. Мне кажется, что нахожусь я в серой равнинной степи, в которой не за что зацепиться

глазу. Тут говорят о кавернах, палочках Коха, пневмотораксах, а думают о своем неожиданном одиночестве.

В неделю раз, по воскресеньям, в один и тот же час ко мне приходит Вера. Ровно в семнадцать ноль-ноль я слышу стук ее каблучков, потом дверь открывает рука с наманикюренными ногтями и наконец появляется она в синем платье в мелкий белый горошек, с ямочками и весенним румянцем на щеках. Она вымученно улыбается офицерам, молчаливо глядящим на нее, подходит ко мне и, дотронувшись рукой до одеяла, садится на стул, чуть-чуть отодвигая его.

— От доченьки тебе поцелуй. Мама пирожки с картошкой прислала. Еще тепленькие. Как ты?

— Как всегда. По-старому.

Вера оглядывается, страшась прикоснуться к чему-нибудь, чувствует себя неуютно. Я понимаю, все ее предосторожности справедливы: палата наша для больных с открытой формой туберкулеза. Но на сердце тяжесть, обида. Сидит минут десять—пятнадцать. Потом я говорю:

— Спасибо, что пришла...

— Что тебе еще принести? Хочешь яблоки?

— Не надо. Нас хорошо кормят — на убой. Ты, в общем, иди, а то поздно. Пока доедешь до Орехова...

— И правда... Я в следующее воскресенье опять приду.— Снова мягко прикоснулась рукой к одеялу, улыбнулась всем.

Она спешит покинуть палату. Вижу ее упругую спину, кудряшки, за которыми проглядывает белая шея. Закрывает за собой дверь. Я потянулся к тумбочке, взял рамку с фотографией дочери, здесь ей около годика. Большие глаза с удивлением смотрят на меня, будто спрашивают: а кто ты? Пухлые ножки в пинетках, в волосиках бантик. Ищу свои черты — не нахожу. Сердце мое спокойно — отцовских чувств не испытываю. Просто приятно смотреть на малышку, такую беспомощную...

Меня перевели в полковничью палату. Светлая, в два окна, с зеркалом вполстены — бывший будуар, что ли? Нас трое. Мы рассмотрели друг друга, познакомились и ушли в молчание, в котором не было ни тишины, ни покоя...

У окна лежит полковник Васильев. Он южанин, часто стоит спиной к нам, ждет солнца, и когда оно появляется, что-то едва слышно напевает. Между ним и мною — полковник Пономаренко, худой, с синюшным лицом, с тяжелым кашлем по утрам: он постоянно сплевывает мокроту в платок, рассматривает ее и время от времени кричит: «Сестра, у меня кровь!»

В начале июня мою койку передвинули поближе к окну, а полковника Пономаренко отгородили от нас ширмой; за нее носили кислородные подушки и все чаще и чаще заглядывали врачи. Васильев перестал ловить солнце. Тишина в палате стала еще глуше.

Пономаренко умер на рассвете, когда мы спали.

Васильев в полосатой пижаме лежал на неразобранной постели, молчал. После обхода врача он лег на бок, ко мне лицом.

— Тимаков, расскажи о себе. У меня правило — знать тех, с кем сталкивает жизнь. Поймешь другого — разберешься и в себе.

— О чем рассказывать?

— Давай, давай, Тимаков, а то тоска на душе. О жизни давай. Сам я на трех войнах был; начал с германской, семнадцатилетним. Гражданскую, как говорится, от пуга до пуга... И эта...

Поначалу меня что-то сковывало — скорее всего глаза Васильева, очень уж заинтересованно глядевшие на меня. Постепенно находились

нужные слова. Память моя как бы расковывалась, и то, что тяжким грузом лежало за семью печатями, рвалось наружу — откровенно, с неожиданными подробностями, с детства и до мгновенья, когда я поднял голову, чтобы увидеть солнце и вместе с Рыбаковым порадоваться наступившей весне.

Васильев слушал, серьезно слушал.

Пришло время обеда, потом наступил долгий час тишины. Я лежал с открытыми глазами.

Васильев сбросил с кровати ноги в грубошерстных носках ручной вязки.

— А мы ведь с тобой однополчане!

— Как это?

— А так, браток. Мы епифановцы. Под Заечаром мой полк был на правом фланге, а твой на левом. Когда погиб наш Епифанов, тяжело было. Да война штука такая, что на долгие переживания времени не отпускает. Бои за боями... Марши и снова бои... На дивизии стал грамотный, культурный Иван Артамонович Мотяшкин. Думали, нам повезло: порядок, четкость, под руками полный боекомплект, раненым срочная эвакуация. Епифанов натуры был широкой, сам любил простор и другим давал. Порой это оборачивалось, как водится у нас, и негативной стороной. А тут тебе — полный аккурат. Нравилось... Соберет нас Иван Артамонович на своем командном пункте под шестью накатами, выслушает не перебивая, а потом получи приказ — хоть в полевой устав вноси. Так жили — с переменным успехом. Главная заваруха, как ты знаешь, началась на плацдарме за Дунаем. Сперва бои шли успешные, по шесть-семь танковых атак в день отбивали. Потом что-то у нас закрипело. Немцы как-то хорошо стали понимать наши маневры. Чудеса, и все. Мы, ветераны дивизии — я еще до войны в ней служил ротным командиром, — призадумались: где же собака зарыта? Потом дошло: инициативу противник из наших рук перехватывал. Епифанов командиров частей не опекал — и требовал, и давал простор для самостоятельности. А тут тебе узенькая дорожка — не смей ни влево, ни вправо. Словом, все должны быть в круге своем...

Я улыбнулся.

— Да, это любимое мотяшкинское изречение. А дальше пошло у нас так: Мотяшкин распорядится, мы как положено: «Есть, будет исполнено», сами же воюем по-епифановски. Как-то, восточнее Надьбайома, мой полк трое суток отбивался от немецких ударов. Дошли до ручки. Бывает, что солдату надо во что бы то ни стало дать отдых. А тут его приказ: штурмовать кирпичный завод. Умоляю: «Возьму его на рассвете, а сейчас дайте поспать, люди с ног валяются. Подниму в атаку — последних потеряю». А он: выполняйте приказ, и баста. Выругался я и приказал ротам спать. Для отвода глаз палил из пулеметов и пушек. Только Мотяшкина вокруг пальца не обведешь — явился на мой командный пункт собственной персоной. И начался разнос... От полка отстранил. Ну и я ему дал... Он грозил военным трибуналом, да не успел — кровь горлом у меня пошла. В бою, Тимаков, сразу видно, кто есть кто. Все короли — голые. Вот и Мотяшкин стал просматриваться насквозь...

— Остался на дивизии?

— Убрали. Был слух, что где-то в штабах преуспевает. Война кончилась. Когда на земле тихо, слышно даже, как на болотах лопаются пузырьки...

— Павел Николаевич, а кто такой Мотяшкин?

— Да как тебе сказать... Вот в старой русской армии от немцев было тесновато. Они насаждали свой образ военного мышления. Но

не приторачивались друг к другу немецкая военная школа и русский характер — думается, от этого немало голов полегло. А вначале наша рабоче-крестьянская власть без старых военспецов не могла обойтись. К такого склада наставнику, может быть, и попал Мотяшкин и сам стал сколком с него — он ведь службу-то начал сразу после гражданской войны. В характере его слишком развита черта пунктуальности. Вот ведь он честный, не обманет, но его философия — все стороны квадрата равны. И чтобы никаких случайностей, неожиданностей! На правом фланге — этаким высокий прямоугольник, а потом, пониже за ним, идут квадраты, квадратик. Его самого можно вычертить и вычислить. — Васильев лег и натянул одеяло до подбородка. — Что-то знобит... И язык стал заплетаться...

Как я уснул, не помню. Вскочил в каком-то беспамятстве, дико озираюсь по сторонам.

— Воюешь? — услышал голос Васильева.

Я подошел к окну. За ним зеленел раскидистый клен. В медленно наступающих сумерках его листья темнели и казались неправдоподобно большими. За оградой прошли два сцепленных трамвайных вагона. Залился звонок, колеса с визгом брали поворот... «В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый... В чистом поле под ракитой богатырь...»

— Чего ты там бормочешь? Давай покурим.

— Влипнем, как вчера.

— А, с нас взятки гладки!.. Только свет не будем включать.

— Покурим так покурим. — Я с силой распахнул окно. — Все вылезит, вылезит из тебя война! Захлебываешься. Как переключиться на тишину?

— А ты не форсируй. Не спеши. В том галопе мчавшемся времени... и сплеча рубили и ошибались, нанося раны, которые и сейчас кровоточат. Четыре года! А ты хочешь так сразу и высвободиться от всего. Нет, друг, это останется с тобой навсегда. С тобой, со всеми нами. Теперь не меньше чем на столетие вперед вопросы и мира и войны никому нельзя решать без оглядки на первую половину сороковых годов двадцатого столетия. Это ты обязан понять. И еще... если не осмыслишь всего, что пережил, не оценишь, а может быть, и не переоценишь иные поступки, будешь балластом жизни, издержкой войны!..

Все меньше звуков доносилось к нам в открытое окно. Умолкли трамвайные звонки. Где-то недалеко поскуливала собачонка. Васильев задышал часто, натужно — уснул? Ночная прохлада выстудила палату. Я тихо прикрыл окно.

— Ты чего не спишь? — спросил Васильев.

— Не получается...

— Ночь теперь для сна. Тебе жизнь отмерила время — еще не раз собственное сердце руками ощупаешь! — Он повернулся лицом к стене и вскоре впрямь уснул.

А меня память увела в далекую маленькую комнатенку на окраине Краснодара, к женщине в длинном шелковом халате, с высоко поднятой керосиновой лампой в руке: «Вы кричали... Может, какая помощь нужна?..»

...Шли дни. Они были то солнечными, то дождливыми. Мы с Васильевым больше молчали, но иногда, под настроение, он рассказывал что-нибудь о своей жизни, и эти рассказы немолодого опытного человека — ему уже под пятьдесят — были так необходимы мне!..

Только что прошел грозовой дождь. Стою у окна, смотрю на де-

рево с подрагивающими еще глянцевыми листочками сердцевидной формы — молодая липка. Говорят, такой формы листья излечивают сердечные заболевания, а почкообразные — почечные. Интересно, какими листьями лечат наши легкие? Только все это сказки...

Солнечный луч заглянул в палату.

— Павел Николаевич, лето!

Васильев открыл глаза:

— Да. Как я ждал его — и вот опоздал...

— Ну что вы!

Он сел, опустив отекавшие ноги, потер бледной рукой горло.

— Задыхаюсь. У меня в легких четыре дырки, да и возраст... Ты посмотри на окна — бойницы. Выходи скорей из этих стен, Тимаков. Там началась другая жизнь. Иди скорей. А я тебе по-хорошему поза-видую. Ты молод: одолеешь, поживешь, повидаете, поборешься еще!..

Откуда-то издали доносилась музыка. Духовой оркестр играл военный марш.

Поживу ли? Чувствую себя таким изношенным... В партизанском лесу любил оставаться один на один с ночью, слушать шум говорливой горной реки, смотреть на звездный небосвод, на смутные очертания гор. Мечтал: кончится война, дотяну я до седин и приду сюда, к верховью Донги, к подножию Басман-горы. Там, где под ветром шумит молодая роща, поднимаются папаша-дубы, а где сейчас стоят молодые сосенки, устилая землю смолистыми иглами, вырастет большой лес. Только древний Басман по-прежнему никому не уступит высоты своей, своего величия. И я побреду по тропе, охватывающей с юга его могучую каменную грудь...

— А я думала, вы спите. Стучу — не отвечаете. — Вера прошла прямо к тумбочке, положила на нижнюю полку сверток, встала за спинкой кровати.

— Что там, в городе?

— К параду Победы готовятся.

— Наших не встречала?

— Не пришлось...

— Как дома?

— Как обычно. Наташка здорова. Все стены комнаты разрисовала красным карандашом. А как ты?

— Все в порядке.

— Знаешь, Костя, Наташка покоя не дает, рвется к тебе. Уж и не знаю...

— Чего же ты не знаешь — к нам опасно...

— Так я про это и толкую матери, а они обе к тебе хотят — что малая, что старая.

— Ты иди, а то на поезд опоздаешь.

— Да, они сейчас редко ходят.

Дверь за Верой закрылась. В палате тихо-тихо. Васильев, наверное, уснул...

— Кто она тебе?

Я вздрогнул от неожиданности.

— Ну, жена...

— Почему «ну»?

— Сам не знаю...

— Вот те раз! Не любишь?.. А любил кого? Где она?

— Не надо, Павел Николаевич...

— Как знаешь. Только это не жизнь, а одна проволочка.

— У меня дочь.

— Что же это у вас так получается?

— Так сложились обстоятельства...

— Ну, милый мой, война — вот это обстоятельства. А в любви человек властен над ними. И не дай бог, если обстоятельства станут сильнее тебя. Тогда ты и сам не обретишь и другим не дашь, может быть, самого главного в жизни!..

Музыка гремела где-то рядом, наверное на площади Коммуны; слышны строевые команды. А мелкий дождик все сыпал и сыпал. Влажные кумачовые флажки нависали над трамвайными линиями. Божедомки — они виднелись за гранитной спиной Достоевского.

В день парада нас угостили роскошным завтраком, потом мы собрались в ленинском уголке, слушали по радио голос Левитана, бой часов на Спасской башне, цокот копыт по мостовой, встречный марш и рапорт командующего парадом маршалу Жукову.

После обеда в палату вбежал санитар:

— Кто будет полковник товарищ Тимаков?

— Я.

— К вам пришли жена с дочуркой. Ждут в ленинском уголке.

— Пустили сюда ребенка?

— Да они за окном. Вы халат, халат накиньте, окно там открою.

Прижавшись к матери, худенькая, росленькая девчушка, задрала белую головку, смущенно смотрела на меня. Моя, моя, моя... Все-все мое — даже чуть заметная ямочка на подбородке...

— Здравствуй, Наташенька!

— А ты мой папа?

— Твой, твой, а чей же?

— Войны нет, а ты домой к бабушке не приходишь!

— Я рану лечу.

— Тебя — автоматом?

— Полковник, немедленно в палату! — Дежурный по госпиталю решительно закрывает окно.

— Там моя дочурка!

— Все понимаю, но в палату, в палату. — Он чуть ли не силой выталкивал меня из комнаты.

В коридоре никого не было. Я бросился бегом к входной двери. Дежурный санитар, пожилой солдат в белом халате, остановил меня:

— Далече, товарищ больной?

— На свет божий!

— Никак нельзя! Наше медицинское дело только начинается. Главный сказал: шла война — на нервах держались, пришла тишина — с ног валяются. Человек не железный, подковать его заново надо, жизнь требует!

— Философ ты, однако. На каком фронте воевал?

— Ты лучше в палату ступай, а то и тебе и мне — под микитки.

— Так меня уже подковали — домой скоро. Я ненадолго, а?

Вышел. Моих не видно. Неужели успели уйти? Спустился к памятнику Достоевскому. Вокруг него ухоженная земля, растут канны, молоденькие, на развернутых листьях — радужные капли дождя. Земля слегка парит. Под кленом скамья. Сел в тени, потянулся, осторожно попробовал поглубже вдохнуть. Хорошо! Увидел на тапочке муравья. Загадал: поползет по ноге вверх — буду жить долго. Он никуда не пополз, покойненько сидел себе. Шевельнул ногой — свалился.

Кто-то подходил ко мне. Поднял голову — Вера.

— Костя, я ищу тебя, оставила Наташку вон в той пристройке, у няни, добрая такая... Ведь не успела сказать самого главного. В Крыму нам дают квартиру — друзья-партизаны постарались.

— Вот и хорошо. Наташа будет жить у моря.



— Да, еще: тебя скоро выпишут, я была у главного врача.

— Догадываюсь...

Вера села рядом.

— Костя, не обижайся, но я обязана тебя предупредить: будь осторожен, не подпускай к себе Наташку. Что ты так смотришь на меня? Я же ничего такого не сказала. Спроси у любого врача...

Я отвернулся, чтобы она не видела моих глаз.

...Наш пассажирский, натужно одолев подъем, вырвался на простор. Мелькают разрушенные разъезды, полустанки, деревни, в которых вместо изб торчат одни дымари. Но рядом уже поднимаются стены, растут новые стропила. За переездом, у каменного сарая без крыши — колесный трактор, возле него суетятся мужики в военных засаленных гимнастерках.

Сверкнула полоса цветущей гречихи, и началось пшеничное поле с овсюгом и васильками. Внезапно оно оборвалось, и потянулась пустошь с полуразвалившимися окопами, ходами сообщений, капонирами, бывшими артиллерийскими позициями — все это зарастало сорными травами. За путевой будкой, под старыми вязами, огороженная кустарником — большая братская могила...

И в этом огромном пространстве под высоким летним небом, в этой нескончаемой тишине я услышал землю с ее полями и дорогами, лесами и садами, селами и городами, встающими из пепла. В них вместе с домами на площадях поднимутся обелиски и из братских могил шагнут на пьедесталы павшие солдаты.

А поезд набирает и набирает скорость, колеса стучат: жить-жить-жить! И еще быстрее, быстрее: жить-жить-жить! жить-жить-жить!..

1970—1976 гг. Москва.



---

---

СЕМЕН ДАНИЛОВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

*С якутского*

### ОСЕННЕЙ ПОРОЮ, В БЕЗЛУННУЮ ТЬМУ

Осенней порой,  
в непроглядную тьму,  
когда листопад  
прилипает к подошвам,  
к тому, кто немолод  
(ко мне ль одному?),  
приходят  
неспешные думы о прошлом.

Не то  
чтобы сладко я жил, не тужил,  
не ведал, что в жизни бывают невзгоды,  
любовью отечества я дорожил,  
доверьем и лаской  
неброской природы.

И если  
к чему была страсть велика,  
так это к тому,  
что всех песен превыше:  
к звучаньям  
привычного мне языка,  
к сиянью окна  
под покатостью крыши.

Так, слово заветное,  
грянь, опиши,  
как трепетно  
преклонял я колени  
пред тем,  
что зовется свободой души,  
в чем жизни высокое определенье!

Здесь очи людей  
миролюбьем полны,  
здесь, в неколебимой  
отчизне Совета,  
законно гордился я

мощью страны,  
солдатской судьбой,  
назначеньем поэта.

Смешон мне  
высоких тщеславий недуг —  
поспешная слава  
чревата подвохом,  
мне б только хотелось  
почувствовать вдруг,  
что ты,  
мой земляк, современник и друг,  
ответил мне  
доброй улыбкой иль вздохом.

И если одна только песня моя  
останется в памяти друга и брата,  
то в ней оправданье путей бытия,  
то с ней  
не страшна мне  
любая утрата!

Будь сыном земли  
и старайся согреть  
студеную землю  
любовью сыновней,  
а если придется на ней умереть,  
себя всем ушедшим  
почувствуешь ровней!

Безлунною мглой  
иль в осеннюю тьму,  
сторожко  
ступая по листьям взъерошенным,  
к братьям моим  
(не ко мне одному!)  
приходят раздумья о памятном прошлом.

Ну что же,  
как должно я прожил свой век,  
в чьих травах блеснула мне счастья подкова,  
и помнил,  
что я на земле — человек,  
ни в чем не роняющий званья людского.

### **СТРЕМИСЬ ВПЕРЕД В ПУТИ БЕССОННОМ!**

Стремись вперед в пути бессонном,  
жизнь измеряй большим разгоном,  
на исполинский свой аршин!  
Гордись стремленьем неуклонным  
к земным морям темно-зеленым,  
к необозримым небосклонам,  
к снегам заоблачных вершин!

Запомни твердо, навсегда:  
гниет стоячая вода!  
Беги, лети иль — ногу в стремя,  
в движенье истины залог,  
так в путь-дорогу — и не время  
для сокрушений и тревог!

А если тяготы и муки  
тебе в дороге суждены,  
не бойся тягостной разлуки,  
ступай в разлив святой весны:  
еще далеко до итога,  
пока влечет тебя дорога!

Пусть голодая, холодая,  
а ты избудешь бремя бед!  
Пусть, здравым смыслом обладая,  
остался дома домосед —  
пльви: шипит волна седая,  
терзает струны твой сосед.

Кто б ни был ты — попутчик чей-то  
иль одинокий пешеход —  
пусть искусительная флейта  
тебя в дорогу позовет:  
не огорчайтесь, не жалейте  
идущего — ведь он дойдет!

Путь жизни не всегда подобен  
зеркальной гладкости катка —  
не счесть ухабов и колдобин  
на этой плоскости пока,—  
путь жизни не всегда удобен,  
порой дорога нелегка!

Ступай, дорога не обманет,  
езжай, потерян верстам счет,—  
вот потому она и тянет,  
и обещает, и зовет!

## В МИГ, КОГДА ЛИСТВА РАСПУШИЛАСЬ

На просторах Якутии ночью в ушах  
в миг, когда чуть листва распушилась,  
ясно слышится чей-то решительный шаг  
или сердце чьего-то решимость.  
По весне на просторах умершей пурги  
ясно слышатся гулкие чьи-то шаги.

Смог я чьей-то души торжество услышать,  
той души, что отрадой согрета.  
Иль весной посылает мне родина-мать  
этот гул в знак любви и приветая?  
Пробуждайся, весна, и траву шевели  
на просторах якутской суровой земли!

### САМЫЕ ЧИСТЫЕ РУКИ НА СВЕТЕ

Самые чистые руки на свете,  
Самые честные в правой заботе  
Бывают подчас в грязи и в тавоте,  
Бывают подчас не к ласкам приучены,  
Не всяческими радостями обеспечены,  
А от боли скрючены  
И изувечены.

### ДЕВУШКА ПРОШЛА

Я грустил  
по-старчески сутуло,  
думая о тайнах ремесла,—  
девушка, как пуночка, вспорхнула,  
юная, пригожая прошла.  
Я смущен был в некотором смысле  
от такого множества чудес,  
и мои увесистые мысли  
спутались и потеряли вес.

### ХОТЬ ПОРОЙ РАЗБРЕДАЕМСЯ МЫ КТО-КУДА...

Хоть порой разбредаемся мы кто-куда,  
будто странники и непоседы,  
нам родной стороны не забыть никогда,  
не забыть нам родимой беседы.

Не забыть, как урочища наши цветут,  
как добыча рвет крепкие пути,  
как про древних героев рассказы ведут  
говорливые о л о н х о с у т ы.

Хоть порой разбредаемся мы кто-куда  
за теплом и за солнцем в погоне,  
но желанье одно в наших душах всегда,  
не растеряно в громе и в звоне.

Что ж, в родные края мы вернуться хотим,  
чтоб взвился над трубой приснопамятный дым,  
чтоб очаг возродить, чтоб детей народить,  
чтобы в отчую почву вновь корни пустить.

Широка ты, земля, до чего широка,  
но родного нельзя забывать языка,  
нужно в памяти нежить и в сердце беречь  
талисман от невзгод — материнскую речь!

### СНОВИДЕНИЕ

Сплю  
среди урочищ и еланей  
сном — одним из самых беспробудных;

под подушкой — тьма моих желаний,  
самых дерзких, самых безрассудных.  
И во сне себе кажусь я бравым  
удальцом и сорвиголовою,  
в самой опрометчивости правый,  
спор лихой веду с душой живою.  
Что-то неизведанное снится  
этой ночью влажной, ночью темной:  
мой двойник в груди моей теснится  
опрометчивый и неумный!

### КОГДА ПРИЕЗЖАЮ В АЛАС КОРЕННОЙ...

Когда приезжаю в алас коренной,  
всей грудью впиваю я воздух родной,  
когда захожу я к любому соседу,  
когда с земляком затеваю беседу —  
легчает душа, озаряется высь,  
а ноги как будто свинцом налились!

### В КРАЮ, ГДЕ МОРОЗЫ И СТУЖИ...

В краю, где морозы и стужи,  
половицу вновь повтори:  
коровы пестры, мол, снаружи,  
а люди порой изнутри!

На лбу нет особого знака,  
по коему ты узнаешь,  
что этот твой ближний, однако,  
порою не слишком хорош.

И все же, забыв огорченья,  
люби своих ближних, мой брат,  
поскольку отрада общенья  
превыше всех бед и отрад.

Ведь в каждом есть солнца осколок,  
частица того вещества,  
в чьих качествах — истинный сколок  
земного, как свет, божества.

*Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.*



---

---

ВЛАДИМИР КОМИССАРОВ

★

## СТАРЫЕ ДОЛГИ\*

Роман

х

«Гражданину Билибину И. П. надлежит явиться в Ярцевское отделение милиции к 3 часам дня во вторник 16 июля по вопросу хищения цветов...»

Иннокентий Павлович отпихнул послание. Но тут его осенило: он тщательно расправил смятую бумагу, жирно зачеркнул свою фамилию, сверху написал «Соловьеву В. В.» и достал из стола новый конверт. В ином случае такой фокус доставил бы Билибину пару веселых минут, но теперь он проделал его с мстительным чувством: Соловьев заварил эту кашу, пускай сам и расхлебывает. И без того по его милости нужно бросать все дела, терять драгоценное время, ехать к Старик-у доказывать необходимость необходимого, элементарность элементарного.

Соловьев, услышав, что Иннокентий Павлович пойдет к Старик-у, забеспокоился не напрасно. С шефом Билибина связывала многолетняя дружба, если можно назвать так отношения сравнительно молодого еще, а прежде совсем молодого человека и уже старого и прежде уже старого. Этот факт для Василия Васильевича был куда серьезнее, чем все другие, вместе взятые,— ученые звания Билибина, например, его авторитет и право требовать.

Старика побаивались все. Сам Старик побаивался лишь своего молодого друга. Очевидцы утверждали, что Билибин лепит шефу дерзости и частенько даже кричит на него. Иные даже уверяли, что Билибин — побочный сын Старика и тот, чувствуя свою вину, позволяет ему многое. И еще всякую чепуху говорили: непонятное, как всегда, рождает суеверие.

Отношения у них действительно были необычные, и начались они давно, чуть ли не с первого курса университета, когда Старик приметил ершистого студентика. На втором курсе Билибин доводил до бешенства Старика своими сумасбродными идеями, главная особенность которых состояла в том, что их трудно было опровергнуть, впрочем, доказать тоже трудно — настолько они всегда оказывались невероятными. Великолепные он тогда выдавал идеи, Билибин до сих пор с грустным восторгом вспоминал это время. Однажды Старик в ярости запустил в своего ученика увесистым справочником. Билибин водворил справочник на место, высказал своему руководителю все, что думал в этот момент о его умственных способностях, и повернулся, чтобы уйти

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

навсегда из университета, но тут Старик закричал вдруг пронзительным мальчишеским дискантом:

— А сам-то! Сам-то очень умный! Да?

Они еще немного поругались на том же уровне, помолчали, обиженно отвернувшись друг от друга, и Старик как ни в чем не бывало произнес:

— И потом, сударь, по какому такому закону силовое поле у тебя смещается? По закону Ломоносова — Билибина, что ли?

Из университета Билибин все же ушел. Вернее, вылетел оттуда с грохотом за публичное восхваление кибернетики. И Старик не вступился, не защитил. Иннокентий тогда на него очень обиделся: с основами этой проклятой идеалистической науки его познакомил Старик, раньше Билибин о ней и слыхом не слыхивал.

Вот и вся тайна, которая существовала в их отношениях. Чувствовал ли себя шеф виноватым перед Иннокентием?

Через несколько дней после исключения, когда Билибин уже собирал вещички, чтобы махнуть куда-нибудь на стройку подальше, пришла телеграмма из большого сибирского города; в ней сообщалось, что он зачислен студентом такого-то курса, такого-то факультета, такого-то института... Иннокентий сразу же сообразил, кто организовал приглашение; в молодой злой своей обиде решил, что Старик замаливает свой грех, но учиться хотелось отчаянно — он поехал.

Нет, не чувствовал Старик никаких угрызений совести, это Иннокентий понял лишь позднее. Шеф мыслил совсем иными категориями, чем простые смертные. Простые смертные видят настоящее, мудрецы — будущее. Старик обладал удивительной способностью видеть из будущего настоящее и поэтому всегда знал истинную цену событиям, подсчитывая ее к тому же с бухгалтерской точностью. В тот раз его сальдо-бульдо, видимо, показало, что целесообразнее переправить талантливого и вздорного парня в далекий город, где ректором института был старый друг, чем объяснять непосвященным инстанциям смысл кибернетики, который они сейчас все равно не поймут; что подумает при этом Иннокентий, Старика совершенно не интересовало.

Словом, Иннокентий Павлович и сам не знал причины несколько необычного отношения к нему шефа и мог только догадываться о ней: похоже, мудрому Старика нужна была какая-то разрядка. Он выбрал Билибина; тот порой ловил себя на том, что с охотой подыгрывает Старика.

...В институт Иннокентий Павлович сегодня не собирался, визит к шефу можно было нанести и попозже; чтобы не терять времени, он решил поработать с утра.

Последние дни наполнились для него особым смыслом. Случайно мелькнувшая мысль о некоем новом явлении, которое он истолковал как ошибку в расчетах, до сих пор оставалась сумеречной, неуловимо-расплывчатой; возможно, она принадлежала к числу тех великолепных сумасбродных идей, которыми он донимал некогда Старика, а возможно, и нет. Во всяком случае, Иннокентий Павлович чувствовал себя в эти дни примерно так же, как чувствует себя беременная женщина: так же пытался представить конкретный облик младенца, так же размышлял о его будущем, с испугом прислушивался — что-то притих, жив ли? Да, жив, вот толкнулся, напомнил о себе. Но еще не пришло время разродиться Иннокентию Билибину. Он спешил закончить другие дела, зная, что тогда уж будет не до них, тогда все пойдет кувырком. Ему до смерти не хотелось заниматься ими — незначительными и скучными по сравнению с тем главным, что ожидало его. Пришлось схитрить: положить на столе в беседке стопку чистой бумаги, несколько книг, которые могли понадобиться, остро заточить карандаши... За-



кончив эти приготовления, похожие по смыслу на ритуальный танец пчелы, Иннокентий Павлович отправился бродить между сосен, и впрямь похожий на пчелу, вылетевшую за взятком: голый по пояс, смугло-мохнатый, большеглазый — в очках... К тому же он еще и жужжал потихоньку — бормотал отрывки фраз, хмыкал недоверчиво, насвистывал задумчиво, но все это, по правде, не столько в творческой сосредоточенности, сколько в желании вызвать ее; стопка бумаги, книги и остро заточенные карандаши служили той же цели — он ни разу не присел к столу. Прием действовал безотказно. Иногда Иннокентий думал: не такие уж дурни были первобытные мужики, когда перед охотой кололи копьями нарисованного на земле быка, путая причину и следствие; настраивались небось на охоту хитрые ребята — отличный психологический тренаж!..

Упорно изображая трудолюбивую пчелку, которая вот-вот полетит, нагруженная нектаром, в свой улей, Иннокентий Павлович вскоре почувствовал, как сосредоточенно потекли мысли, и заторопился к беседе, но тут его окликнули:

— Дядя Билибин! Я вам письмо от тети Лиды принес...

...Надумав явиться в отделение с повинной, Пашка, чтобы не застрять, решил как следует ознакомиться с местом, где он совершил свое преступление. Сначала он покрутился возле забора, с опаской наблюдая, как бродит между сосен, бубня себе под нос, странный полуголый бородач, которого Пашка не раз встречал в городе, правда одетого и молчаливого. Пашка, ясное дело, подумал, что тот хорошо заложил с утра, но вскоре по каким-то неуловимым признакам отверг такое предположение: опыт у него в этой области был богатый. Может быть, он и не решился бы войти, но тут, по счастью, углядел в почтовом ящике, прибитом к калитке, белый уголок конверта, тотчас запустил в ящик сучок с загогулиной на конце и выудил письмо.

Пока обрадованный Иннокентий Павлович читал коротенькое послание («Все о'кей, безмерно устала, Светку заставь сходить к эндокринологу, приеду через месяц»), Пашка, присев на корточки возле клумбы, разглядывал уцелевшие цветы. Таких он отродясь не видел. Если не считать, конечно, того случая, когда рвал букет для шоферов. Он для того и прибыл на место, чтобы уточнить детали. Букет — больно жирно, штук пять, а лучше три, меньше ругать будут. Однако не поддавшись соблазнительной мысли, Пашка принялся старательно пересчитывать сломанные стебли. Выходило, что сорвал он шесть штук.

— Как там тетя Лида живет, дядя Иннокентий? — деловито спросил Пашка, запомнивший имена и фамилии адресата и отправителя на конверте.

Иннокентий Павлович с минуту соображал, кто находится перед ним. Мальчишка, судя по всему, был знакомый, хотя Билибин вроде бы видел его впервые. Но Иннокентий частенько не узнавал знакомых, помнил за собой этот грех и к тому же был благодарен Пашке за доставленное письмо; подавив досаду от Пашкиного не ко времени вторжения, он опустился рядом с ним на корточки.

— Дядя Билибин, — спросил Пашка, — говорят, у вас цветы оборвали?

— Оборвали, — вздохнул Иннокентий Павлович. — Жалко. Я их с другого конца земли привез.

— Вы кем работаете? Путешественником?

— Нет, — усмехнулся Иннокентий. — Физиком.

— Физик у мы еще не проходили, — грустно сказал Пашка, прикидывая путь от забора до клумбы, который пришлось ему преодолеть, когда он рвал цветы. — А что физики делают?

Этот вопрос привел Иннокентия Павловича в некоторое замешательство.

— Просто не объяснишь... Открывают законы природы...

— А зачем?

— Ну... чтобы люди жили лучше.

Иннокентий Павлович сначала отвечал Пашке односложно: популярно объяснять широким массам трудные научные проблемы он не умел, за что не раз был критикован на собраниях. Но затем, к собственному удивлению, увлекся, целую лекцию прочитал о величии науки, о счастливом будущем человечества, облагодетельствованного учеными. Он говорил так, словно спорил с кем-то. Так оно и было, в сущности: он спорил с собой. И еще не скоро бы, верно, остановился, не раздайся у него за спиной тяжелый, как у притомившейся лошади, вздох. Вздох был тяжелым потому, что лейтенант Калинушкин, стоя за спиной Библибина и не решаясь по своей деликатности дать о себе знать, слушал его с завистливым почтением.

В светлое будущее человечества Александр Иванович Калинушкин верил так, как раньше верили в загробную жизнь, в подробности не вникал. Сказали — будет, значит — будет! Он не завидовал тем счастливым, которым ученые денно и нощно обеспечивают светлое будущее, а завидовал самим ученым, поскольку всегда считал, что у них и сейчас жизнь была очень неплохой. Сиди себе на природе, открывай для людей ее законы. Плохо ли? И тотчас другое, тоже привычное, чувство охватило его: беспокойство за человечество, которому ученые готовили счастливую жизнь. Люди — они разные, есть честные и добрые, а есть жулики и подлецы. И всем сразу хорошо быть не может. Если честному хорошо — подлецу плохо. Конечно, подлецов помаленьку выведут, а пока не выведут, счастливой жизни у людей не будет, хотя бы все они друг к другу в гости на ракетах летали, на атомных плитах яичницу жарили и каждый день ходили в театр слушать итальянскую оперу «Риголетто», которую сам Александр Иванович слушал один раз в жизни и то по телевизору и не до конца, потому что напряжение упало. Калинушкину давно хотелось знать: предусмотрен ли у ученых какой-нибудь выход из такого положения или нет? Прошлой зимой он завернул к Фетисову обогреться во время обхода, и они этот вопрос обсуждали. Александр Иванович считал, что ученые должны такой выход придумать, а Фетисов стал орать, что всем этим ученым цена три копейки, он этих ученых видел-перевидел без счету, самый bestолковый народ! Все у них гниет да рушится, подтекает или протекает, они бегут к нему, Фетисову, и он лупит с них деньги какие хочет, они хватаются за голову, а потом все равно соглашаются, потому что сами гвоздя вбить не умеют. Закончил Фетисов свои обличения неожиданно, сказав, что все они люди хорошие и он, Колька, им первый друг! Кроме, конечно, гада Иорданского с Лесной, девятнадцать, который накрыл его в прошлом году на тридцатку.

Ну что Фетисова слушать! Вот теперь случай был очень подходящий. Калинушкин уже совсем собрался уточнить у Библибина этот вопрос и заодно про атомный двигатель: нельзя ли магнитом из него вредные отходы вытягивать? Но Иннокентий Павлович, увидев участкового, спохватился, глянул на часы и, поднимаясь в полный рост, довольно сухо поинтересовался: чем обязан?

И пришлось Калинушкину извиниться, объяснить, что явился за Павлом Фетисовым.

— Ты чего тут? — спросил Калинушкин недовольно, едва вывел мальчишку за калитку.

Вместо ответа Пашка засунул руку за ворот рубахи и достал помятый цветок. В первое мгновение лейтенант не сообразил, что

цветок совсем свежий, стебель еще мажется липким соком. Значит, все-таки не врал Пашка, он и есть тот, кого Калинушкин искал три-четыре недели!

Но Пашка тут же разрушил его уверенность, сказав с укоризной:

— Как же, дядя Саш! Станут в отделении спрашивать — какие цветы, сколько нарвал? Теперь знаю: синие с красным, длинные. Шесть штук. Даже показать могу.

Калинушкин остановился, словно наткнулся на преграду.

— Играешься? — тихо спросил он, перекатывая на щеках желваки. — Ну играйся, коли делать нечего...

— Письмо я Билибину принес. К нам попало, — успокоил его Пашка.

Александр Иванович, покачав головой, зашагал дальше. И когда он записывал Пашкины показания, и потом, когда докладывал в отделении, все покачивал головой, вздыхал незаметно, сильно сомневаясь в их искренности.

А Иннокентий Павлович, оставшись один, тотчас предпринял попытку вернуться к прерванным мыслям. Он опять бродил между сосен, заходил в беседку, заново точил карандаши и перекладывал на столе стопку бумаги. Но мысли теперь приходили к нему самые ерундовые: почему мальчишка спрашивал про цветы, и зачем опять появился милиционер, и какая связь между появлением того и другого? Ерунда лезла в голову не все время, а периодически, на одном и том же месте тропинки, которую Иннокентий Павлович проложил между сосен. Наконец он сообразил, что виной тому клумба с цветами; каждый раз, проходя мимо, он невольно бросал на нее взгляд. «Этак правда садовником стану...» — вспомнил он недавний разговор с Геней Юрчиковым и отметил с некоторым удивлением, что подумал об этом с иронией.

Выкинув все из головы, Иннокентий Павлович взялся за работу — и увлекся; когда пришла время ехать к шефу, он рассердился и нехорошо отозвался о Василии Васильевиче, из-за которого должен был прервать на полуслове важную статью; судя по разгону, мог бы закончить ее уже сегодня.

Да, зарвался Васька, отождествил свою должность с собственной персоной, приятное заблуждение! Он так примерно и сказал, когда приехал к шефу, едва поздоровавшись, едва присев: мол, уймите Соловьева, мешает работать!

Старик собрал морщины в усмешку:

— Спасибо, значит, Соловьеву, иначе бы и не вспомнил...

— Вас не вспомнишь! — сказал Иннокентий Павлович. — И не хочешь — вспомнишь! На прошлой неделе особенно вспоминали. Незлым, тихим словом...

— Это по какой же причине?

— Это когда увидели, что вы с планом нашим сделали.

— А-а... — Морщины на лице шефа весело заиграли. — Я думал, в вашем институте серьезные люди... Научные фантасты!

— Не мы фантасты, а вы старый догматик! — ворчливо сказал Иннокентий Павлович. — И к тому же перестраховщик, как все бюрократы. И вы меня, пожалуйста, не заводите, ничего у вас не выйдет, а ответьте прямо: намерены Соловьева к порядку призвать или нет?

— Нет, — сказал Старик. — Чего вы этого парня не поделили?

— Не в нем дело! — с досадой воскликнул Иннокентий Павлович, даже не удивившись информированности шефа, которая, кстати, вполне могла сойти, и порой сходилась, за пронизательность.

— Не в не-ем? — протянул Старик. — Тогда в чем же? В принципе?

— А хотя бы и в принципе! — вызывающе проговорил Иннокен-

тий Павлович.— Если я считаю нужным, чтобы Юрчиков работал у меня, значит, имею основания. Думаю, имею и право!

— Сильно! — пробормотал Старик, откровенно насмешливо поглядывая на Билибина.— А не слишком ли, Кеша?

— Нет. В самый раз!

— Ты уж меня извини, бестолкового,— смиренно вздохнул шеф.— Не пойму: чего ты приехал, чего тебе надо?

— Юрчикова.

Что-то происходило со Стариком. Глаза прикрылись тонкими коричневыми веками, морщины повисли складками, усохшие плечи опустились. Иннокентий Павлович покашлял. Старик не шевельнулся, только издал невнятный горловой звук, словно птица во сне. «Неужели спит!»

Иннокентий Павлович был многим обязан человеку, сидевшему напротив в откровенной дремоте. Эпизод с исключением из университета и телеграммой-приглашением в другой город оказался первым из серии подобных. Тень шефа всегда маячила где-то рядом с Билибиным. Только поэтому он мог ныне считаться красой и гордостью ярцевского института. Но Иннокентий Павлович, как и все, не любил вспоминать то, что хотел бы забыть. Он искренне считал, что достиг положения в ученом мире благодаря своему таланту, упорству и прочим замечательным качествам. В прошлом году французы, рассказывая об участниках парижской конференции физиков, написали об Иннокентии Билибине: «Тяжелое детство в сиротском приюте не отразилось на его блестящих способностях». Откуда они этот сиротский приют взяли? Ребята в институте, конечно, тотчас же приняли фразу на вооружение, изгилялись как могли. Устроили даже, собаки, симпозиум. «Роль сиротского приюта в формировании блестящих способностей (На материале биографии И. П. Билибина)», «Тяжелое детство в сиротском приюте и способности индивидуума». И так далее...

Его доброе чувство к Старику было, следовательно, бескорыстным, и жалость, которую он сейчас испытывал, была того же свойства; как ни привык он за долгие годы к старости шефа, слишком уж откровенной она предстала перед ним. Он забыл, что немощное состояние Старика есть лишь начало дурного расположения духа; миновав его, шеф становился либо любезным — с людьми, ему неприятными, либо ворчливо-капризным — с людьми, которых любил.

— Скучно мне с вами! — неприязненно произнес он, не открывая глаз, словно бы не желая видеть надоевший ему мир.— В планах фантазии, в делах склока, это уж как водится... О тебе вон иностранцы пишут, о твоих блестящих способностях...— В голосе шефа змейкой скользнула издевка. Иннокентия Павловича передернуло: откуда он знает? — А ты чем занялся? Самолюбие чешешь...

Старик, несомненно, хотел сказать «тешишь», но то ли протез во рту чуть сдвинулся, то ли с закрытыми глазами он затруднился четко выговорить слово... Иннокентий Павлович рассмеялся, радуясь, что шеф восстал к жизни, и чувствуя себя несколько отмщенным.

— Отдайте Юрчикова,— попросил он миролюбиво.

— Зачем он тебе?

— Мне? — удивился Иннокентий Павлович.— На кой он мне! Он сам по себе, талантлив, дьявол! Поведение «Марты» предсказал в магнитном поле. И Лауренса подтвердил...

— Врешь! — сердито сказал шеф.— Лауренса ты подтвердил.

— Лауренса я. А «Марту» он.

Старик долго молчал. Билибин тоже помалкивал, хотя его так и подмывало на дерзости: ему не привыкать было, да и не хотелось выступать в роли просителя.

— Вот я и говорю,— наконец нарушил молчание Старик, вновь прикрывая глаза, оседая и уходя от мира.— Суетишься, самолюбие тешишь... Если правду про этого... Юрчикова... А пришел с чем? Имею основание и право! Поверить не можешь, что стал человеком. Проверяешь: все ли поняли?

«Силы небесные! — взмолился про себя Иннокентий Павлович.— За что мне такое испытание? Дайте мне кротость!» Не выдержав, он выскочил из кресла:

— Можете вы что-нибудь сделать? Не можете — скажите прямо!

Иннокентий Павлович в сердцах уже собирался махнуть на все рукой и покинуть негостеприимный сегодня кабинет, но Старик спросил, испытующе вглядываясь в лицо Билибина:

— Про «Марту» тоже врешь?

— Нет.

— Я проверю.

— Проверяйте.

Старик знал, что через несколько лет, если толковый парень Юрчиков займет свое место в их ряду, Иннокентий скорее всего станет говорить о нем более сдержанно, а еще через несколько лет раздраженно, считая, что заслуги его явно преувеличены. Но это будет еще не скоро — когда Билибин уже не сможет тягаться с Юрчиковым. Судя по тому, с какой решительностью Иннокентий заботился о молодом даровании, он находился еще в хорошей форме.

Говорят, истинный талант всегда пробьет себе дорогу. Как же! Очень удобная мысль для тех, у кого крепкие локти: если пробился — значит, талант! На глазах у Старика молодые люди с блестящими данными, одержимые идеями, становились заурядными сотрудниками только потому, что не обладали житейской разворотливостью и давали оттереть себя в сторонку. Впрочем, Старик отнюдь не считал свои отношения с Иннокентием Павловичем меценатскими. В свое время он нуждался в Билибине, как ныне Иннокентий нуждается в Юрчикове, может быть даже не сознавая этого. Электрический разряд возникает лишь между двумя электродами.

...Через четверть часа Иннокентий Павлович, очень довольный, простался со Стариком. Ласково поправил ему сбившийся галстук-бабочку, оценивающе обошел вокруг.

— Если бы вас не выдавала ворчливость и жажда читать мораль... Вполне, вполне... Ваську Соловьева вы превосходно уложили...

Старик отстранился.

— Давно я тебя, Кеша, не видел...

— И век бы еще не видеть? — улыбнулся Билибин.

— Нет, почему же... Ты почаще заходи. Боюсь, отвыкну, путать начну. Больно уж вы все похожи стали...

И не дав опомниться Билибину, подтолкнул его к двери.

Шеф определенно сказал какую-то гадость, кажется, даже подвел некоторые итоги. Иннокентия Павловича это не слишком удручало; комбинация, задуманная Стариком, была отменной, простой, как все гениальное. Сводилась она к тому, что Соловьев, выбив новые штаты для института, тем самым дал возможность зачислить Гену Юрчикова в отдел Билибина. Конечно, предстоял скандал, но шеф все расходы брал на себя.

Он не расстроился бы, даже если бы догадался, с кем сравнивал его Старик, скорее всего пожал бы плечами: «Сдал, совсем сдал шеф!» — тем самым подтвердив мнение Старика. Но он не знал о визите Соловьева, и такая мысль не пришла ему в голову.

По правде говоря, Иннокентий Павлович вообще несколько дней

не думал о своем разговоре с шефом, а следовательно, и о Гене Юрчикове. В институте начинался новый эксперимент, надо было закончить статью, а тут еще передали, что его разыскивает Олег Ксенофонтович, не может найти, просит позвонить. Билибин был едва знаком с ним. На каком-то совещании Соловьев торжественно, со всеми титулами, представил их друг другу. Помнится, они даже говорили довольно долго... Но о чем? Этого Иннокентий не мог припомнить уже через полчаса. Ощущение было такое, словно побывал на приеме у дипломатов дружественной страны: все очень мило, подчеркнутая сердечность, а если что и вспоминаешь, так бутерброды с черной икрой и соответствующие напитки.

Иннокентий Павлович даже хотел пойти к Василию Васильевичу — может быть, тот знает, зачем понадобился он начальству? Втайне он надеялся, что Соловьев перехватит по привычке инициативу и снимет с него обязанность звонить кому бы то ни было. Наверное, так оно и случилось бы, но тут Иннокентия Павловича снова позвали к телефону.

Олег Ксенофонтович обращался с просьбой. Он хотел бы, чтобы Билибин просмотрел одну работу и высказал о ней свое мнение. Если, конечно, это не затруднит... Когда найдется свободное время. Просто несколько слов... Разумеется, тема в той области, которой занимается Иннокентий Павлович... Поддав вздох, Билибин согласился, только спросил на случай, если автор окажется неудобным — приятель, например, или, наоборот, человек, с которым он состоит в неприязненных отношениях:

— Чья работа?

Олег Ксенофонтович ответил с некоторым усилием:

— Моя...

— Чья? — в удивлении не сразу понял Иннокентий Павлович.

— Моя, — повторил Олег Ксенофонтович на этот раз совершенно бесстрастно.

— А-а-а, — пробормотал Билибин, испытывая одновременно желание извиниться и выругаться.

Он выругался, но уже после того как положил трубку. А перед этим, конечно, воскликнул с энтузиазмом: «Ну разумеется, пожалуйста, о чем разговор!» — компенсируя тем самым свою бестактность. Он знал, что высказывать замечания приятелю, а тем более недругу, занятие неблагоприятное. Приятель ждет похвалы; недруг, естественно, подумает о необъективном подходе. Начальник стоит того и другого: он ждет одобрения и подумает о необъективности. Правда, для Иннокентия Олег Ксенофонтович существовал в виде некой абстракции, поскольку непосредственно они не общались, к тому же и сам Билибин в науке был Олегом Ксенофонтовичем если не по должности, то по значению... Вполне можно было остаться принципиальным, руководствуясь мудрой философией: «А что он со мной сделает? Ничего он со мной не сделает!» Но Иннокентий Павлович понимал, что все равно придется теперь проявить особую внимательность, тщательно формулировать замечания — тратить лишние усилия, а значит, и время. Словом, он имел все причины выругаться. Он не стал откладывать; едва рукопись Олега Ксенофонтовича оказалась в руках, тотчас занялся ею.

Проблема Юрчикова его уже не слишком волновала: роль свою он исполнил, остальное было делом техники. Как бы ни упрямылся Соловьев, со Стариком он ссориться не посмеет.

И действительно, вскоре Василий Васильевич пришел мириться. Иннокентий Павлович понял это сразу, как только друг его детства появился на дорожке к дому: еще издали вскинул вверх руки, приветствуя и бессознательно показывая таким образом свою покорность. Здраваясь, Василий Васильевич долго не отпускал Билибина, точно

не видел десять лет, обрадованно теребил за плечи, посмеивался... Словом, проявлял те признаки, которые у собак куда лаконичней выражаются в движениях хвоста.

— Тебе прислали? — Соловьев показал бумагу из милиции, которую Билибин давеча переадресовал ему. — Напрасно! — продолжал он, когда тот пренебрежительно отмахнулся. — А я пойду!

— Сходи, сходи, — усмехнулся Иннокентий Павлович.

Ему было скучно и жарко. Солнце шло на закат, оставив весь зной на земле. Стволы сосен, бурые у земли, розово-желтые сверху, точно остывали снизу, раскаленные за день докрасна. Пора бы уже прийти прохлады, но не было ветерка, чтобы выдуть жар из леса, все томилось в густой духоте.

Василий Васильевич еще раз внимательно оглядел веранду, обнаружил под столом вентилятор, тотчас притащил его, включил и вздохнул облегченно, развалившись в шезлонге под сквознячком. Весь день Иннокентий Павлович мучился от зноя, даже не вспомнив о вентиляторе; очень глупо, но не выхватывать же его!..

По счастью, Василий Васильевич заметил на столе рукопись, которую Билибин читал до его прихода. Перегнувшись с шезлонга, он лениво перевернул несколько страниц и вдруг так резко подался к столу, что шезлонг под ним затрещал. Иннокентий Павлович тотчас воспользовался этим и бесцеремонно повернул вентилятор к себе.

— Откуда она у тебя? — спросил Соловьев, овладев собой и небрежно отодвигая рукопись. — На отзыв? Официально?

Василию Васильевичу стоило больших усилий не выказывать волнения. Его так и разворачивало к столу, на котором лежала рукопись, как ни пытался он отвернуться от нее, разворачивало, словно подсолнух к солнышку. Он даже глаза опустил, чтобы Билибин не догадался о его мыслях. Не потому что мысли его были дурны, напротив, они естественно и логично вытекали из того факта, что на столе лежала диссертация Олега Ксенофонтовича. Но Соловьев вовсе не хотел раскрывать Иннокентию свои карты. Это нежелание имело под собой строго научное обоснование. Современная наука кибернетика обнаружила, что людей следует рассматривать не как друзей или, того хуже, братьев, а как противников и их отношения — как некую игру, в которой усиление позиций одного автоматически ослабляет позиции другого. Наука установила эту истину сравнительно недавно, Василий Васильевич же осознал ее еще в юные годы. Потому-то он и преуспел в жизни, что инстинктивно всегда мыслил научно и всегда радовался чужой неприятности, поскольку она усиливала его позиции. В давние годы, бывало, студенты поначалу его разыгрывали: «Тебе, Васька, хорошо, ты вон какой здоровый, а у меня вроде чахотка начинается...», «Почему, Васек, меня девчонки не любят, а? И вообще не везет мне в жизни, вчера декан вызывал, вроде отчислять собираются...» И Василий Соловьев безотказно откликался: «Ну да? Чахотка? Брось! Ну ничего, может, вылечат, не все помирают... Не любят? Серьезно? Это ерунда, я одного уж такого урода знал, и тот женился. Правда, на кривой... А из института не попут, у тебя один двояк, вот если бы два или, еще лучше, три, тогда могли бы...» Отвечал он с усмешечкой, с прищурочкой; его скоро зауважали, хотя и окрестили циником, поняв, что он парень совсем не простой и зря они потешались — он сам посмеивается над ними.

Иннокентий Павлович был знаком с законами кибернетики и, что еще важнее, давно знал Соловьева. Поэтому он сразу понял состояние своего гостя, с любопытством наблюдая за трепетным огоньком в его взоре. Сопоставлялись факты, рождались и тотчас распадалась связи между ними, возникали и отбрасывались предположения. Поиски оп-

тимального варианта. Как лучше использовать счастливый случай — то, что рядом, на столе лежит диссертация Олега Ксенофонтовича? Почему он обратился к Билибину, а не к кому-либо другому? Случайность или особое доверие? Не хватало двух вводных. «Сейчас он спросит, прочитал ли я рукопись», — подумал Иннокентий Павлович.

— Интересно, — пробормотал Соловьев. — Прочитал?

— Прочитал.

«Сейчас спросит, каково мое мнение».

— И какое мнение?

— А вот этого я тебе не скажу, — усмехнулся Иннокентий Павлович.

И тотчас погас огонек во взоре Василия Васильевича. Результата не было, не хватило одной вводной.

— Зачем же так, — поморщился Соловьев. — Он должен заявку дать в издательство, и, естественно, меня как члена редсовета интересуется...

— Естественно, — подтвердил Иннокентий, приятно улыбаясь.

— Что-то с тобой в последнее время происходит. Злой стал.

— Заметно? — обрадовался Иннокентий Павлович. — Вот и прекрасно. Тебе Старик о Юрчикове говорил?

— Из-за такой ерунды шум поднял. — Василий Васильевич, видимо вспомнив, что пришел не ссориться, а мириться, рассмеялся, потянулся к своему другу, похлопал его по колену. — Можешь забрать Юрчикова, если он тебе так нужен.

На этот раз Иннокентий Павлович не стал уверять, что Юрчиков ему не нужен. Соловьев не Старик, все равно не поверит. Пусть думает все что хочет, так даже лучше; щелчок он получил хороший. На будущее. Чтобы не зарывался!

— Вот и прекрасно! — повторил Билибин, в самом деле почувствовав себя удовлетворенным. — Не тянет Олег Ксенофонтович. Совсем слабо.

Василий Васильевич встрепенулся.

— Совсем?!

Иннокентий Павлович был уверен, что такой ответ опечалит гостя, но тот, поахав и посокрушавшись, несомненно остался доволен. Уточнив некоторые подробности, он наконец поднялся и стал прощаться. Прощался он еще более дружелюбно, чем здоровался, еще дольше тербил Иннокентия за плечи и не отпускал руку.

Проводив его, Иннокентий Павлович зевнул, немного подумав, принес из комнаты записную книжку, полистал.

— Нешто Тоське позвонить? — сказал он нерешительно. — Или Оленьке? — Он опять зевнул и захлопнул книжку. — Спите спокойно, дорогие, сладких вам снов. Этот Васька совершенно меня уморил.

Уже в постели, уминая кулаком одинокую холостяцкую подушку, Иннокентий Павлович пожалел, что не позвонил Оленьке... Или Людмиле. У него сложились чудесные отношения с ними, как, впрочем, и с другими знакомыми женщинами. Всем им Иннокентий был большим и бескорыстным другом, считая их существами высшего порядка по сравнению с мужчинами и доказывая где только мог, что патриархат — чистая случайность в истории человечества. Оленьке, славной женщине, умнице и красавице, блестящему филологу, Иннокентий рассказывал недавно об особенностях языка народа машона, живущего в Зимбабве; очень интересная статейка попалась ему на глаза, Иннокентий прочитал ее специально для Оленьки. Она внимательно и серьезно слушала его, задумчиво накручивая на палец свои прекрасные русые локоны, и вдруг сказала в самом интересном месте: «Слушай, уже позд-



но. Я на электричку не успею...» Иннокентий Павлович даже обиделся. «Можно было бы досказать эту статейку сейчас», — с сожалением подумал он, засыпая.

Василий Васильевич от Билибина направился домой, только по дороге завернул к Фетисову — давно собирался. Институтский жэк работал из рук вон плохо, с Фетисовым Василий Васильевич, цenia свое время, давно уже установил прямые связи, минуя хозяйственные инстанции. Забежав как-то еще в начале лета, Фетисов шепнул, что есть возможность взамен временной деревянной ограды, установленной пять лет назад вокруг коттеджей, достать нарядные чугунные решетки и такие же столбы, совсем готовые, с приваренными планками и крестовиной в основании. Если такого черта посадить на бетон, он сто лет простоит — не шелохнется. Василий Васильевич неоднократно и безрезультатно обращался в жэк с просьбой заменить ограду у дома, поэтому он без звука выдал Фетисову требуемую десятку, с помощью которой тот надеялся закрепить дружбу с рабочими некоего склада, где хранились столбики с решетками. Он потом дважды заходил сообщал, как продвигаются дела... Соловьев понимал, что новую ограду доставать надо с умом, чтобы не было потом неприятностей, и поэтому не торопил Фетисова. Однако сколько же можно тянуть?

Фетисова он не застал. Застенчивый славный мальчуган, встретивший Василия Васильевича во дворе, доложил ему: папки нет, ушел на работу в вечернюю, мамки тоже нет, сидит у соседей, папка вернется завтра, мамка — когда наговорится.

— Передай отцу, — сказал Василий Васильевич, ласково потрепав мальчишку по плечу, — приходил сосед насчет железной ограды. Прощай поторопиться.

С тем он и удалился. А Пашка поспешил выполнить поручение: подскочил на одной ноге к сараю, где отец с полудня налаживал хитроумный агрегат из нагревательной колонки, насоса, бачка и труб для облегчения домашнего труда любимой жены Клавдии, и сообщил:

— Вылезай, старый. Ушел. Просил насчет ограды напомнить, чтобы ты поторопился...

Потуже завертывая гайку на трубе, Фетисов прокряхтел:

— Как же! Потороплюсь! Видал, Пашка, какой у тебя отец? Начальники на прием ходят. Ученые всякие низко кланяются.

— А этот? Начальник или ученый?

— Начальник. А может, ученый... Они, Пашка, все ученые.. денежки тратить. Вот не поверишь — одно время мух разводили. Сто миллионов на мух выкинули! Вовремя их остановили, а то бы муха всех зажрала.

— Эти, что ли, разводили?

— Эти электричество жгут. Ужас сколько! Как включают свои аппараты... А пользы? Один вред. В телевизоре передача для слепых, циркулярка плачет, в холодильнике селедка с котлетами свадьбу играет. Ладно! Не то раньше терпели — вынесли! Скажи мамке: есть охота, пусть подает.

Несмотря на порядочный крюк, который проделал Василий Васильевич, завернув к Фетисову, он возвращался домой в отменном настроении. Ему повезло. Не отправься он к Старику с жалобой на Иннокентия, не узнал бы о диссертации Олега Ксенофонтовича; не навести Билибина, не увидел бы рукописи, не услышал бы мнения Иннокентия о ней... Теперь оставалось надеяться, что Иннокентий выскажет в отзыве правду-матку. Можно было не сомневаться, что тот

именно так и поступит, не станет церемониться. Интуиция? Везение? Раз повезло, два повезло... Надо же когда-нибудь и умение!

Впрочем, общение с Иннокентием независимо от практического результата почти всегда приносило Василию Васильевичу радость. Он понимал разницу между ним и собой, но, отдавая должное таланту своего друга, ничуть не проигрывал в собственном мнении. Как бы ни был талантлив Иннокентий, все же по отношению к Соловьеву он был лицом подчиненным, следовательно, в чем-то зависимым. И вообще талант — понятие отвлеченное, важен конечный результат; Соловьев тоже достигал его. Если Василий Васильевич и вспоминал о разнице между ними, то всегда с чувством удовлетворения: успехи Иннокентия обеспечила природа, здесь не было его заслуги, — Соловьев всего добился сам. Все преимущества, которые дает жизнь избранным — и почести, и блага, и сознание значительности, и, наконец, счастье творчества, — он взял с бою... Слушая интервью, которые Соловьев давал корреспондентам, или выступления на конференциях, наблюдая, как он, посмеиваясь, беседует со своими коллегами, особенно зарубежными, можно было лишь удивляться тому, что он понимал разницу между собой и Иннокентием. На это способны немногие.

Уже смеркалось, когда Василий Васильевич подошел к своему дому. Качнул пару столбов возле входа; да, шатаются, подгнили, надо будет опять зайти на днях к Фетисову поторопить. Вон у Иннокентия уже и цветы оборвали, а там, гляди, в дом залезут. Землякам своим Василий Васильевич не очень-то доверял.

Дом, в котором жили Соловьевы, внешне ничем не отличался от соседних коттеджей. Тот же розовый, с искоркой камень, похожий на армянский туф, та же терраска, те же три комнаты с кухней. В отличие от других в доме Соловьевых царил особый стиль, сложившийся как бы сам собой. С одной стороны, все здесь — мебель, и посуда, и всякие антуражные ухищрения вроде большого камина с медной решеткой, изготовленной народными умельцами из институтской мастерской, с могучими коваными светильниками или обшитого темным деревом кабинета — было богаче и изысканнее, чем в иных соседних домах. С другой стороны, на всем уже лежала печать невнимательности и даже запустения. Поначалу Василий Васильевич много времени уделял своему новому жилищу. Причина была не только в естественном желании устроиться с комфортом; причина была еще и в самом месте, где пятый год обитал Василий Васильевич, а именно в городе Ярцевске, в котором прошли его детство и юность.

Очень удачно получилось. Соловьев давно мечтал о даче и давно купил бы ее — ему предлагали их на выбор: в бору среди стройных сосен, шумящих под ветром, как морской прибой, и в белоствольной, спящей глаза березовой рощице, на крутогоре у прелестной веселой речушки и на разделанном под сад, открытом солнцу участке. Но Василий Васильевич хотел иметь дачу только в одном месте — под Ярцевском. Это было трогательно и даже возвышенно; благородная попытка ощутить тот корень, соки которого некогда питали тебя и в которых можно обрести новую силу. Ирина Георгиевна, правда, поначалу сильно сомневалась в целесообразности такого желания, опасаясь нашествия родственников, которых у Соловьева в Ярцевске осталось немало. Он успокоил ее, целиком предоставив право регулировать это нашествие по своему усмотрению.

Василий Васильевич уже вел переговоры на этот счет с вдовой отставного заслуженного генерала, построившего домик на опушке ярцевского леса, в полной изолированности от людей, видимо сильно надоевших ему за долгую службу, и не успевшего насладиться одиночеством. Но как раз в эти дни Василий Васильевич узнал о решении,

которое определило его жизнь на многие годы,— о строительстве института под Ярцевском. Работа в новом институте открывала для него гораздо большие, чем прежде, возможности. Желание вернуться в родные края, к родовому корню было далеко не главным для Соловьевы. Однако и оно сыграло свою роль. Ирина Георгиевна долго колебалась, когда речь зашла о переезде. Она понимала всю важность этого шага для мужа (а следовательно, и для нее), но очень уж не хотелось покидать большой город, свою клинику, перебираться в богом забытую провинцию, о которой и сам Василий Васильевич, честно говоря, вспоминал хорошо только в лирическом настроении. Она согласилась лишь после того, как узнала, что городская квартира останется за ними.

Ощутил ли Василий Васильевич свою причастность, обрел ли новую силу в родных местах? В хлопотах по переустройству коттеджа ему недосуг было задуматься над этой проблемой. Но приведя наконец все в надлежащий вид и справляя новоселье в окружении друзей и ярцевских родственников, он прослезился, и некоторые родственники, помнившие Василия Васильевича парнишкой сырым и не знавшие о решении его предоставить жене право регулировать отношения с ними, тоже прослезились. И, конечно, все тотчас вспомнили Васину мать, которой так и не пришлось увидеть триумфального возвращения сына к родовому корню.

Но с тех пор уже немало воды утекло. Потускнел паркет, кое-где выпал кафель на кухне, залоснилась обивка на креслах. Некогда и некому было поддерживать порядок. И желания особого нет, хотя Василий Васильевич порой ворчал, сердясь на жену за беспорядок, большей частью когда приезжали к нему в гости иностранные коллеги. Миновали тот этап Соловьевы, когда пятнышко на полу или лопнувшая кафельная плитка представляются бедствием и, наоборот, покупка гарнитура или сервиза на двенадцать персон — событием космического значения. Было все это. Теперь же Василия Васильевича не слишком волновала материальная сторона жизни. Не только потому, что он имел полный набор возможных благ: отличную квартиру в городе и коттедж под Ярцевском, заменявший ему дачу, машину и некоторую сумму на срочном вкладе, возможность посещать по своему усмотрению театры и концерты, не заботясь заранее о билетах... Право, он не слишком бы страдал, если бы даже лишился части этих благ. Их надо было вкусить, пройти через них и оставить как пылкую мечту другим, еще не вкусившим. Даже поездки за рубеж не волновали ныне Василия Васильевича. Когда-то они привлекали новыми ощущениями, а больше того — чувством избранности; поездки тогда разрешались узкому кругу лиц. Теперь он ездил за рубеж только на представительные конференции — с докладом, с сообщением. Василия Васильевича посылали охотно: он был большой дипломат, всегда говорил то что нужно, никогда — лишнего.

Возможно, Соловьевы не утратили бы вкуса к материальным благам, если бы имели детей. Тогда, естественно, их беспокоила бы мысль о будущем, о том, чтобы обеспечить детей и внуков если не на всю жизнь (это удастся немногим), то хотя бы на тот срок, пока они не осмотрелись, пока получают свою интеллигентную сотню рублей зарплаты. Но детей у Соловьевых не было и не возникало, следовательно, у них такого желания.

Василий Васильевич в ином черпал вдохновение. Недаром славная Люся из Дома культуры считала его Человеком в большой буквы. Соловьев действительно хотел им стать, но он вкладывал в это понятие несколько иной смысл, чем наивная, восторженная девушка.

Он не торопился войти в душные после дневного зноя комнаты, тем более что там его никто не ждал. Ирина Георгиевна, взяв машину, с утра уехала в свою больницу. Уезжала она частенько, Василий Васильевич привык и не роптал, разве что в тех случаях, когда она уводила машину у него из-под носа. Одно время он надеялся, что жена поймет разницу между тем простачком, каким он был в молодости, и нынешним Василием Васильевичем, который, возможно, станет, а для некоторых уже и стал Человеком с большой буквы. Теперь он уже не обольщался. Как известно, в своем отечестве пророков нет.

У Ирины Георгиевны был свой ключ, и Василий Васильевич не собирался ждать ее возвращения. Позевывая, он отправился в спальню, не зная о том, что лечь ему сегодня придется много позднее.

## XI

Тетя Даша Селиваниха совсем не собиралась идти войной на Фетисова. Худо ли, хорошо ли — прожили они бок о бок в одном доме много лет. Нередко ссорились, но и в одной семье бранятся. Как же соседям удержаться?

Николай был человеком незлобивым. Вчера он обрушивал страшные угрозы на соседку, которая якобы нарочно выпускает своих кур на фетисовские грядки с огурцами, а сегодня кричал с порога во все горло: «Бабка! Бросай все, скорей беги! Райкина по телевизору показывают!» У Селиванихи своего телевизора не было, она сильно зависела от Фетисовых. Скорее всего Фетисов звал тетю Дашу не из добрых к ней чувств, а из желания иметь рядом публику, потому что без нее телевизор просто телевизор, а при ней получается уже вроде как настоящий театр. Так что не только тетя Даша зависела в этом смысле от Фетисова, но и он, правда меньше, нуждался в ней.

Если бы не стечение обстоятельств, Селиваниха никогда не решилась бы на открытый конфликт с соседом. Два года она рядилась с Николаем насчет крылечка, требовавшего ремонта. И тут случилась история в фетисовской кладовке, когда она со страху чуть было не отдала богу душу. Здесь любой не удержался бы от соблазна воспользоваться моментом. Прежде чем пустить в ход жалобу, составленную Светкой, Селиваниха попробовала кончить дело миром. Выбрав время, когда Николай находился в добром настроении, тетя Даша высказала пожелание, чтобы он возместил ущерб, причиненный ее здоровью, отремонтировав безвозмездно крыльцо. Фетисов не рассердился, а посмеялся над соседкой:

— До чего ты, бабка, жадная! Небось на «Жигули» копишь?

— Откуда, Коля? — смиренно проговорила Селиваниха. — Из каких доходов-то?

— Ты кому другому мозги засоряй, — сказал Фетисов. — Чай, на одной земле живем. Сколько на редиске выручила? Молчишь? То-то...

— На смерть я себе коплю, Коля, — отбивалась Селиваниха. — Чтобы похоронили по-человечески...

— А ты не копи. Гроб я тебе задарма сделаю. Ей-богу! Такой отгрохаю — черти в аду за царицу примут. Давай скорей помирай, пока я доски хорошие не израсходовал.

— Коля, — сказала тогда Селиваниха печально, поняв, что по-хорошему Фетисова не уломаешь, — мне ведь на тебя бумагу написали. Жаловаться буду.

Ни слова не говоря, Николай подхватил старуху под руку, провел коридором, втолкнул в кладовку и щелкнул выключателем.

— Во! Гляди! — с гордостью ткнул он пальцем в какой-то странный предмет, стоявший на полке.

Предмет был похож на перевернутую вверх дном кастрюлю, каковой и оказался. К ручке кастрюли была привязана фанерная табличка. Она извещала корявым фетисовским почерком: «Улика преступного действия Дарьи Селивановой против гражданина Фетисова Н. П. След пальцев на 12 июля 197... года. Хранить бессрочно!» Фетисов жестом фокусника приподнял кастрюлю. Под ней на красивой металлической подставке лежал брусок сала. На его матово-белом боку выделялся черный, словно присыпанный угольной пылью, оттиск большого пальца.

И тетя Даша поняла, что ее надежда на возмещение убытков рухнула. В огорчении она даже не заметила, что след на бруске сала был раза в три больше, чем мог бы оставить ее собственный высохший палец.

— Я тебя, бабка, изучил — рентгена не надо! — хохотал Николай, наслаждаясь растерянным видом Селиванихи. — Все ходил ждал: когда ты на меня накатаешь? Ты на меня, а я на тебя... Выкусила?

— Стыдно над старой смеяться, — сказала тетя Даша и побрела прочь.

К вечеру она слегла и, поразмыслив, решила, что и впрямь пришла ее пора — народ нынче пошел такой, что все равно ни от кого сочувствия не получишь. Она вспомнила своих родственников — близких, Соловьевых, и дальних, Билибиных, а вспомнив, как они хотели ее пристроить к работе, которую она должна была выполнять за них, от злости даже вскочила с постели, но одумалась и опять легла. Из головы ее все не выходил разговор с соседом, перед глазами возникала то кастрюля с надписью, то брусок сала с черным пятном на боку, то рядок прислоненных к сараю ровненьких досок, на которые указывал Фетисов, когда обещал сколотить ей бесплатный гроб. Постепенно все лишнее, постороннее отсеялось и остались одни доски. Они стояли струганые, чуть желтоватые, маслянисто поблескивали свежей смолой. Селиваниха попыталась избавиться от наваждения, но не тут-то было! Хорошо еще, что она не была верующей, а то бы несомненно восприняла странное видение как прямой намек потусторонних сил: мол, пора тебе, старая, пора... Но тетя Даша была материалисткой, хотя и не научной, а стихийной. Поэтому она отвергла промелькнувшую все же мысль об этом намеке, подумав дополнительно, что у потусторонних сил хватило бы соображения представить ей в видении гроб целый, а не в разобранном виде. Нет, здесь действовали вполне земные силы. И старуха поняла: разговор с Николаем она не закончила, надо подниматься и идти к соседям.

Ей пришлось ждать довольно долго, потому что по телевизору шла передача «А ну-ка, парни!» и по этой причине подступиться к Фетисову не было никакой возможности. Он отчаянно вскрикивал, если «его парень» совершал оплошность, давая сопернику возможность вырваться вперед, багровел, поднимаясь со стула и напрягаясь всем телом, если «свой парень» пытался достать противника. Он награждал своего избранника ласковыми подбадривающими восклицаниями, а его соперника осыпал бранью, искренне желая, чтобы с тем случилась в ту секунду какая-нибудь неприятность — подвернулась бы нога или вывихнулась рука. Этих «а ну-ка парней» Николай, понятное дело, не знал, да это и не требовалось, хватало и того, что одного из них он сразу зачислил в свои, а другого в чужие. Иначе смотреть на них было бы так же скучно, как следить, к примеру, за работой двух безымянных пильщиков, разделяющих бревно.

Селиваниха села в сторонке, опасаясь, как бы Николай от полноты чувств не хлопнул ее по спине своей ручищей. Она тоже всей душой желала победы фетисовскому избраннику: если бы победил сопер-

ник, то Николай встал бы из-за телевизора злой, о том, чтобы благополучно завершить разговор, интересующий Селиваниху, нечего было бы и думать. К счастью, победил фетисовский герой, и Николай с торжествующим ревом приветствовал его, высоко вскинув руки, присоединяясь к тем сотням непосредственных зрителей, которые окружили победителя на экране. Несколько поостыл его восторг при виде главного приза — новенького, в сияющей хромо-лаковой дымке мотоцикла; Фетисов даже крикнул в расстройстве:

— Вот гад! За здорово живешь какую тележку отхватил!

Но мотоцикл вскоре укатили, на экране снова возникло потное, усталое лицо победителя, и Фетисов опять повеселел. Вот тут-то Селиваниха и спросила осторожно:

— Коля, про гроб мы говорили... Шутил ты или как?

— Сделаю, бабка, будь спокойна!

— Бесплатный?

— Бесплатно нынче только мотоциклы раздают, — сказал Николай желчно, кивнув на телевизор. — А я тебе это... в кредит! — вдруг выпалил Николай. — Вроде как стиральную машину. Или пианину! Будешь мне каждую субботу угощение ставить — расплатишься.

— До самой смерти, что ли? — возмутилась Селиваниха.

— А может, ты через неделю откинешься, — сказал Фетисов. — Тут не угадаешь. Кому повезет.

— И то верно, — вздохнула старуха.

— Завтра как раз суббота, — продолжал Николай. — Вот с завтрава и начинай... Считай за первый взнос.

Селиваниха вернулась домой обнадеженная. Никакие видения больше не волновали ее, когда она вновь легла в постель, и спала она спокойно, как обычно спят люди, для которых ясен и безоблачен завтрашний день.

Он и в самом деле оказался ясным и безоблачным. С утра Селиваниха сбегала в магазин, кое-что купила, выбирая самое необходимое и самое дешевое из необходимого, всего на сумму три рубля двадцать одна копейка, накрыла стол, украсила его дарами своей земли — свежими, с грядки, огурцами и помидорами, — выждала, пока Фетисовы пообедают, и лишь тогда позвала соседа.

Николай удивился приглашению: договор он с Селиванихой заключал из чистого зубоскальства. Но отказываться он не привык, дураком надо быть, чтобы отказаться, когда тебе подносят. Поэтому он недолго думая перескочил через низенький заборчик, отделявший его владения от соседской территории, и оказал уважение хлебосольной хозяйке, в минуту подобрав все, что находилось на столе, и несколько огорчив Селиваниху, которая рассчитывала, что Николай на сытый желудок не захочет пить или, по крайней мере, есть.

— Так-то лучше, бабка, — сказал Фетисов, с хрустом откусывая половину огурца и целая оставшейся в воробья, неосторожно присевшего на подоконник. — А то — жалобу! Голыми руками Кольку Фетисова не возьмешь! Зато сделай мне на копейку — я тебе рублем верну. Мне на твоё угощение наплевать, я и сам себя могу угостить. Мне твоё уважение дорого!

Только теперь Николай воспринял всерьез свой шуточный уговор с Селиванихой. Не жалкая четвертинка с закуской из ржавой селедки, банки хека в томате и огурцов нужна была ему и тем более не бабкино уважение. В этой истории Николай сильно выросал в собственных глазах потому, что всегда приятно сознавать себя умнее или, по крайней мере, хитрее других. Чувство, которое испытывал Фетисов сейчас, было сродни тому, которое испытываешь, захватив в переполненном автобусе свободное место. Если рассказать кому-

нибудь из дружков про уговор с соседкой, ни в жизнь не поверят, а поверят — лягут от зависти!

Николай еще задержался немного у Селиванихи, чтобы похвастаться своими производственными успехами и таким образом получить полное удовольствие. Он рассказал о том, как уважают его в мастерских, доверяя самые хитрые, ответственные работы, с которыми другие ни за что не справились бы, упомянул, конечно, и о почетной доске и даже приврал немного: будто теперь его на собраниях всегда сажают не куда-нибудь, а прямо в президиум.

Да, менялся Фетисов! В голове иное прежде вертелось. Хвалился, как ловко обштопал заказчика или сколько выпил в хорошей компании. Или сочинял красивую историю, как кинулась к нему на шею красавица профессорша в доме, где он менял отопление; хорошо, он успел разводной ключ отбросить в сторону, а то бы убилась... Воодушевляло Фетисова на этот раз еще и то, что Селиваниха слушала его с живейшим интересом, который Николай понял как полную капитуляцию соседки.

Однако уже вечером, едва Фетисов явился на дежурство в мастерские, его тотчас вызвал к себе председатель цехового комитета, когда-то Колякин дружок, а ныне мужик вовсе оторвавшийся, по мнению Фетисова, от масс, после того как выучился на мастера и откачался составлять компанию.

— Здорово! — сказал Николай, по-дружески, но довольно чувствительно шлепнув председателя по животу: чтобы не зазнавался и не думал, что Фетисов перед ним шапку станет ломать.— Наел, наел пузо-то, начальник!

Председатель невольно подобрал впалый живот и тоже дружелюбно шлепнул Фетисова по тутому чреву:

— А ты все худеешь?

— Чего вызвал? — спросил Николай, отесняя легонько председателя, усаживаясь на его стул и кивая хозяину на другой, стоявший поодаль.

— Поздравить тебя хотел,— сказал председатель скучно.— Как передовика. Красивый на Доске висишь.

— По такому случаю мог бы и сам притопать,— проговорил Фетисов назидательно.— Или уже трудно со стула вставать?

— Разговор к тебе есть. Собрание в четверг, не забыл? В президиуме будешь сидеть.

Фетисов недоверчиво покосился на председателя, вспомнив, что на днях загибал соседке как раз насчет президиума. Занятно получается, будто по щучьему велению; эту сказочку Николай с детства любил. Он поудобнее устроился за столом, передвинул стопку нарядов, ручку, листок бумаги, календарь, располагая все это хозяйство в том порядке, в каком оно пришлось бы впору ему, если бы он обосновался здесь всерьез. А что? Гляди, поставят еще такой же полуподирванный, навалят бумаг, скажут: давай, Фетисов, командуй! По щучьему велению, по его хотению... Только надо еще поглядеть, есть ли оно, хотение. До сих пор Фетисов за собой ничего такого не замечал. Он и сейчас не завидовал своему бывшему дружку. Однако воображение у него было отменное, оно тотчас нарисовало ему лестные картины одна соблазнительнее другой, он уже вполне мог и даже хотел тотчас приступить к делу, тем более что обстановка создавалась подходящая: стол имелся, бумаги тоже и сам он сидел за этим столом в уверенной, многозначительной позе. Окончательное решение созрело в его голове, когда дверь конторки отворилась и вошел слесарь Михайкин, фетисовский напарник и, конечно, дружок: у Ни-

колая в мастерских редко кто не ходил в приятелих. Еще с порога Михейкин начал кричать:

— Сколько это безобразие терпеть? Я еще в том месяце просил...

Фетисова за столом этот безобразный крик сразу привел в нервное состояние, он неожиданно для себя стукнул кулаком по бумагам и гаркнул, оборвав дружка:

— Чего орешь? Тебе тут стадион, что ли? А ну-ка выдь отсюда!

На Михейкина давно уже так никто не кричал, он с непривычки испугался и выскочил из конторки. Фетисов тоже испугался, но вместе с тем остался доволен собой.

— Во как с ними надо,— сказал он, стараясь скрыть смущение.— Понял?

Председатель хмуро глянул на него:

— Слушай, Николай, недавно соседка твоя приходила. Жаловалась.

Фетисову опять захотелось грохнуть кулаком по столу. Он, может, и грохнул бы, но председатель, привстав, принялся рыться в столе, разыскивая какую-то бумагу и таким образом оттесняя ненароком Николая, так что в конце концов тому пришлось поменяться местами с хозяином. И тотчас желание стучать по столу у Фетисова совершенно исчезло, он огорченно закрутил головой:

— Вот вредина старая! Я ей добром, а она, значит, накапала!

Председатель нашел наконец бумажку, обрадованно сказал:

— Ага, Селиванова... Так вот, эта Селиванова сегодня всю голову мне продолбила.

— А ты зачем слушал? Гнал бы сразу в шею! — беспокойно заржал на стуле Фетисов, стараясь сообразить, что именно могла наболтать Селиваниха.

— Черт знает что несла! — в сердцах проговорил председатель.— Не то сам вешался, не то ее грозился повесить!

— А вот если ко мне кто придет да скажет, будто ты жену свою утопил... Верить мне или как? — хитро вывернулся Фетисов.

— Эта Селиваниха, видать, вредная бабка,— продолжал председатель, в свою очередь уклонившись от ответа.— Она тебя, Коля, замочает...

— Еще поглядим! — сказал Фетисов против собственного ожидания не хвастливо, а неуверенно. Он знал причину своей неуверенности и не удивился, когда председатель назвал ее:

— Нельзя тебе нынче глядеть, нельзя, дорогой! Мы тебя выдвигаем, в передовиках теперь будешь ходить. Как старому другу совету: ну ее к лешему, эту бабку...

Председатель опять заглянул в бумажку, прочитал:

— «Не отдает доски согласно договору...» Что за договор у тебя с ней?

— Да так... Какой там договор... Для смеха,— пробормотал Николай, не решаясь рассказывать о своих отношениях с тетей Дашей.

— Из-за паршивых досок! — с досадой произнес председатель.— Отдай ты ей эти доски — и конец!

Фетисов хотел возразить, что доски совсем не паршивые, а наоборот, еловые, одна к одной, и пусть сам председатель, если он такой добрый, раздаст свои доски, но промолчал. Промолчал он потому, что председателины слова обернулись вдруг для него буквальным смыслом. «Правильно! Отдам я доски. Только — паршивые! — подумал он.— Наберу гнилья и вывалю: на, подавись!»

— Уговорил. Сделаю! — весело подвел Фетисов итог разговору и отправился разыскивать в мастерских своего дружка Михейкина:



еще подумает сдуру, что Николай на него всерьез шумнул, и на собрании отвод даст, чтобы не выбирали в президиум.

Он разыскал Михейкина и через минуту уже рассказывал с хохотом, как тот вылетел из конторки, и все вокруг смеялись, и Михейкин сказал:

— Ну погоди! Я тебя тоже подловлю — запрыгаешь!

В четверг Фетисову полагалось заступить на работу с вечера, но помня о собрании, он засобирался вскорее после обеда.

— Куда это ты? — подозрительно спросила Клавдия, заметив непривычную суетливость мужа.

— Гулять. К бабам! Куда еще? — лихо ответил Николай, чтобы не приставала с глупыми вопросами.

Он знал, что такой ответ лучше всего действует на людей; кто же станет признаваться, если чего задумал? Действительно, Клавдия притихла. Но едва Николай ушел, она опять заволновалась, раскусив его простодушную хитрость; мысли ее невольно потекли в направлении, указанном Николаем. Основания для беспокойства у Клавдии имелись. Николай был мужчина крепкий, за словом в карман не лез, а главное, постоянно подрабатывая на стороне, мог распоряжаться деньгами как ему вздумается, если Клавдия вовремя не обнаруживала их. С ним, конечно, любая не откажется приятно провести время.

Настроившись на такой лад, Клавдия начала представлять себе всякие нехорошие картины, перебирая в памяти всех возможных соперниц в округе, начиная от фигуры конкретной — станционной буфетчицы Тamarки, пользующейся понятным уважением у многих ярцевских мужчин, и кончая неопределенными, незнакомыми ей женами заказчиков, у которых Николай работал на квартирах. Вконец расстроившись, Клавдия яростно принялась за уборку в доме: энергия, накопившаяся в ней за то время, пока она искала возможную соперницу, требовала выхода.

Поглощенная ревнивыми размышлениями, она не слышала веселого тюканья топора во дворе, стука молотка и шарканья рубанка, на которые непременно обратила бы внимание, если бы находилась в спокойном состоянии. Правда, выплескивая за порог грязную воду из ведра, она увидела, что на половине тети Даши идет полным ходом ремонт: старое крыльцо отвалено в сторону и валяется посреди двора, а на его месте торчат свежие столбики. Не обратила она внимания и на свою соседку, которая, время от времени появляясь в окне, с беспокойством поглядывала в сторону Фетисовых. И уж, конечно, не слышала, как торопила Селиваниха двух дюжих мастеровых парней, приведенных ею из города вскоре после того, как Николай ушел на работу:

— Побыстрой, милки, делов тут на час...

— Чего, бабка, спешишь? — удивлялись парни.

— Так ни войти, ни выйти, — отвечала тетя Даша жалобно. — Ноги поломаю — отвечать кто будет?

К вечеру новое крыльцо было готово, светлея в начавшихся сумерках свежестругаными ступеньками и перилами. Вот это и не устраивало тетю Дашу. Расплатившись с плотниками, она сразу достала припасенные заранее банку с краской и кисть, мазнула раз-другой, приспособилась и бойко принялась за дело. Как положено, начала она с нижних ступенек, пятась задом, поднималась на следующие и так, словно улитка, втянувшая тело в раковину и закрывшая вход, оказалась в конце концов в доме. Теперь она была уверена, что Николай, если даже заметит новое крыльцо, дня два не сумеет по свежей краске ворваться к ней для объяснений. Кроме того, теперь

доски, употребленные на ремонт, приобретали новое качество, окончательно отчуждаясь от Фетисова. Эти были уже не простые, а крашенные доски, на что тетя Даша и собиралась указать Николаю в предстоящем объяснении. Ошиблась она в одном — в сроках. Вернувшись домой с дежурства на другой день, Николай сразу же заметил новостройку и удивился тому, как скоро, в одночасье, сладили Селиванихе крылечко; узнать бы кто да по рукам дать, чтобы работу не перехватывали! А больше Фетисов в ту минуту ничего дурного не подумал — спешил к Клавдии, чтобы рассказать, как его выбирали на собрании в президиум...

Выбирали по-особому. Всех — просто, а ему — хлопали.

Он не напрасно своего напарника Михейкина опасался — подловил тот Фетисова, дал-таки ему отвод. Закричал с места:

— Фетисова Кольку не выбирайте! Он у меня трояк зажал, полгода не отдает!

А Николай уже к столу направлялся, два шага оставалось, все в нем перевернулось, остановился, не знает, идти дальше или нет. Главное, не помнит, брал ли трояк, а если брал, то отдал или вправду зажал. Народ зубы скалит, Михейкин больше всех. Председатель говорит:

— Это к делу не относится!

Михейкин опять свое:

— Как не относится? У меня к нему доверия нет. Пусть отдаст трояк — тогда садится.

Тут Фетисова будто подтолкнули к столу; повернулся ко всем и речь сказал:

— Сроду я у Михейкина не занимал, он если и даст, потом ночь не спит и производительность теряет. Но на бедность его могу трояк пожертвовать, это мне ничего не стоит!

Подошел к Михейкину и сунул ему трешницу. Все хлопать стали Фетисову, как будто он был «а ну-ка парнем» из телепередачи и очков набрал больше, чем Михейкин.

За столом Николая усадили рядом с председателем, по правую руку; когда шум начинался, разговоры посторонние, Фетисов карандашом по графину стучал и покрикивал:

— Эй, потише, мужики!

Обо всем этом Николай, едва перешагнув порог, принялся рассказывать жене. Клавдия к тому времени уже успела сильно поссориться с Николаем, выгнала его из дому, а затем вновь вернула, подумав, что ему, бездомному, сразу дадут комнату от работы, куда он станет водить знакомых женщин, выследила и в кровь исцарапала свою предполагаемую соперницу, в отместку Николаю изменила ему дважды... Словом, не выходя из дому, Клавдия провела очень бурные сутки.

Слушала она мужа сначала с недоверием и все отворачивалась, чтобы он не узнал по ее лицу о недавних терзаниях. Но Николай с таким азартом излагал ей свой поединок с Михейкиным и свою последующую деятельность на собрании как заместителя председателя, что не поверить ему было невозможно. Тяжелый груз спал с души Клавдии.

— Теперь хорошо, — сказала она, с любовью глядя на мужа. — Если что, на тебя и пожаловаться можно, теперь ты не забалуешь!

Спохватился Николай во время завтрака.

— Не знаешь, кто у бабки крыльцо строил? — спросил он. — Чтой-то смудрила старая. Вот пятками чую. Небось увели где досточки-то... Больно скоро рванули — за день, да еще и покрасили!

Тут Фетисов, недоговорив, с руганью выскочил из-за стола, испу-

гав Клавдию, выскочил во двор и в одно мгновение оказался возле соседского крылечка.

Красила Селиваниха в сумерках, торопилась с маскировкой; теперь ее крылечко камуфляжной расцветкой удовлетворило бы самого требовательного специалиста в этой области. Но Николай легко узнал по непрокрашенным местам свои доски, которые он помнил до последней извилинки и сучочка.

Как и предполагала Селиваниха, Фетисов сторяча хотел было тотчас вломиться к ней для объяснений и уже занес ногу над первой ступенькой, но отпрянул с проклятиями: не мог он идти по живой краске! Тогда Николай бросился к окну и забухал кулаками в раму. Селиваниха не отвечала на угрозы соседа, но в конце концов не выдержала и воскликнула жалобно:

— Коленька! Выбьешь стекла-то! Вставляй сам будешь!

Выбежавшая следом Клавдия тащила мужа от окна. Николай отпихивался и, вздымая руки, словно пророк, призывающий силы небесные обрушиться на нечестивую голову Селиванихи, продолжал обличать ее.

Через полчаса Николай лежал, отдыхая после дежурства; на зеркально-полированной спинке кровати отражалась его физиономия, словно фотография на почетной доске. Он старался не глядеть на спинку, с недоумением размышляя о том, как странно все получается: от новой его жизни, против всех ожиданий, никакой выгоды нет. Наоборот, пока одни убытки и неприятности: того нельзя и этого... Трояк вчера Михейкину ни за что отдал! Доски — Селиванихе! Перед участковым выламывался... Вон даже Клавдия и та сообразила: теперь, мол, не забалуешь, теперь и пожаловаться можно! Что-то здесь было не так, что-то против законного смысла. Наверное, он, Фетисов, еще не приспособился; когда приспособится, то все станет тик-так, иначе почему другие тянутся к такой жизни?

Однако, пожалуй, уже не успеть. Раньше бы спохватиться! Он бы пожил! По способностям-потребностям...

Николай Фетисов перевернул разогревшуюся подушку и зло глянул в окно на залитые солнечным светом белые корпуса нового годка:

— Наплодились! Простому человеку податься некуда!

## XII

Ирина Георгиевна никак не предполагала, что ей придется дежурить в субботу. Накануне она договорилась с Геннадием о встрече, неожиданное дежурство было совсем некстати. Впрочем, встретиться они собирались вечером, и она не стала менять планы, решив, что из больницы просто-напросто заедет за ним.

В ночь на субботу в больнице оставались дежурные врачи и жизнь в ней замирала. Утихали приступы, снижалась высокая температура; организм больных, видимо, использовал внутренние резервы, поскольку сами больные хорошо знали, что лечить их в субботу и воскресенье всерьез не станут. В понедельник, правда, они брали свое за прошедших два дня.

Заглянула доктор Соловьева лишь в первую палату, где находились у нее два старичка — тяжелых, раковых. Она посидела возле них, профессионально отметив сгустившиеся коричневые тени возле глаз, обострившиеся скулы, пошутила грубовато: бабы толстых не любят... И старички оживились, порозовели, захихикали. Ох уж эти старички!

Она не выписывала их. Дома им было нехорошо, там с нетерпением ждали, когда они наконец отмучаются — перестанут жаловаться, переводить зря лекарства, которыми провоняла вся квартира, перед знакомыми стыдно... В больнице они чувствовали себя как в санатории: кормили бесплатно, пенсия копилась, окружали их разные люди, иногда даже совсем незнакомые, уже поэтому интересные — можно было рассказывать о своей болезни как будто в первый раз, не опасаясь услышать в ответ: «Надоел, дед, заткнись!» Ирина Георгиевна терпела пригревшихся у нее старичков — в отделении места были.

У старичков Соловьева задержалась недолго. Пришла она не к ним — к больному, вместе с которым недавно позировала перед кинокамерой и который лежал здесь после операции.

Тот день стал одним из самых неприятных в ее жизни.

...Аппендикс, изжелта-черный, тронутый гангреной, лопнул, едва Ирина Георгиевна добралась до него. Она понимала, что болезнь гле-ла давно, незаметно испепеляя то, что в иных случаях занимается огнем сразу. Она протянула в ожидании съемок целые сутки. Они могли стать решающими! Ее никто не посмел бы осудить, объективных показателей для операции, тем более срочной, не было. Наоборот, несмотря ни на что, следовало отдать должное хирургу Соловьевой, которая разгадала все коварство болезни и решилась на операцию.

Если бы перед ней на операционном столе лежал самый близкий человек, доктор Соловьева не могла бы сделать больше, чем сделала. И во время операции и потом — день за днем. Через мужа достала импортный антибиотик, сама колола, забегала каждый час в палату, только что с ложки не кормила, пока не стало ясно, что опасность миновала, осложнений не предвидится. Все вокруг говорили, что Ирина Георгиевна вернула Петровича с того света: гнойный разлитой аппендикс — шутка ли! Больные встречали ее с еще большим почтением, а сам Петрович до того избаловался вниманием докторши, что даже не скрывал недовольства, если Ирина Георгиевна задерживалась возле других пациентов.

Лишь один голос диссонансом врвался в благодный больничный хор. Этот голос, внутренний, принадлежал доктору Соловьевой. В таких случаях говорят о нечистой совести; Ирина Георгиевна давным-давно вышла из того девичье-розового состояния, когда нечистая совесть мучает бессонницей. Но она так дорожила своим авторитетом, что любое пятно на репутации восприняла бы как катастрофу.

Подбодрив старичков, доктор Соловьева лишь мельком взглянула на Петровича.

— Жалоб нет?

— Есть, доктор. Редко заходите, скучаем без вас.

Ну вот и все. Теперь она окончательно убедилась, что больной пошел на поправку, теперь можно даже температуру не мерить. Верный признак.

— Многие без нас скучают. Целое отделение, — ответила она устало.

И ярцевские старички дружно подхватили:

— Доктор неделю от тебя не отходил! Небось ножки не держат, ручки свои золотые не поднимет...

Ирину Георгиевну старички очень уважали. Они и к Петровичу относились с почтением, особенно после того как он урезонил костью нервного соседа в палате. Но слишком многое зависело в их нынешней жизни от доктора, они спешили показать свою преданность.

— Доктор, сколько вы получаете? Рублей триста? — неожиданно спросил Петрович, отмахнувшись от старичков.

— Больше, — сдержанно усмехнулась Ирина Георгиевна, направляясь к выходу.

— Ну что ж, это нормально. У нас в гараже ремонтники столько выгоняют. У вас работа потоньше — и ваньку валять нельзя...

Соловьева остановилась.

— Послушайте, вы, кажется, шофер?

— Водитель, — не то подтвердил, не то поправил Петрович.

— Ко мне работать не пошли бы?

— Отчего же... Был бы здешний, пошел. На «неотложку»?

— Ко мне лично.

— Это несерьезно, — лениво ответил Петрович. — Давайте наоборот. Переезжайте к нам в Степногорск.

— Подумаю, — насмешливо бросила Ирина Георгиевна.

— Правда, доктор! Городишко у вас паршивый, прямо скажу. В Степногорске не доводилось бывать? Вот это город! Больница — как дворец. Квартиру выьем, не беспокойтесь. Устроим в лучшем виде...

Ирина Георгиевна вышла не дослушав. Нет, видно, пришло время восстанавливать дистанцию.

После обеда Ирина Георгиевна принялась звонить Геннадию. Дозвониться до него всегда стоило больших трудов. Хозяйка, услышав женский голос, просто бросила трубку. Ирина Георгиевна едва не наорала на старуху — удержала лишь мысль о неприятных для Геннадия последствиях. Она унизилась до того, что, позвонив в десятый, наверное, раз произнесла металлически-размеренно, как по вокзальному радио:

— Говорят из горбольницы. Юрчиков Г. И. у вас проживает?

Старуха промолчала, и Ирина Георгиевна обрела было надежду, но услышала в ответ:

— Молода ты еще, девка, меня душить. Сказано — нет таких!

Только и радости что за молодую приняла.

Можно было бы задержаться после дежурства и отправиться на свидание прямо из больницы; домой Ирина Георгиевна ехать не хотела, Василий Васильевич, конечно, рассердится, если она, только объявившись, вновь ударится в бег на ночь глядя. Но Ирина Георгиевна решила все по-другому. Вспомнив, что Гена сегодня собирался ненадолго в город и обещал вернуться часов в восемь, она надумала встретить его прямо на станции.

Как всегда, она рассчитала все точно. Правда, так торопилась, что приехала на станцию задолго до условленного часа. Отогнав машину в сторонку, подальше от любопытных глаз, приготовилась терпеливо ждать.

Электричка постукивала по рельсам, разгоняясь от остановки к остановке. Юрчиков, приткнувшись к стенке, изображал глубокую задумчивость пополам с дремотой. До смерти не хотелось уступать место, не то у него было настроение, паршивое было настроение; только и сидеть так, уткнувшись в стенку, прикрыв глаза. Уже дважды соседка по лавке, вьедливая мордастая бабка с обросшим волосами подбородком, больно толкала его локтем в бок:

— Проспишь, милоч, свою станцию.

Он прочувствованно отвечал, не открывая глаз:

— Ни за что на свете, большое спасибо за беспокойство.

На днях позвонила Ирина, спросила встревоженно: «Что случилось? Не заболел?» Он успокоил ее, сказал, что хочет видеть. «В го-

род не собираешься?» Она всегда произносила эту фразу с особой интонацией. «Собираюсь... Ненадолго», — поспешно добавил Геннадий, зная, что Ирина Георгиевна в городе непременно пригласит его к себе. Ехать к Соловьевым на городскую квартиру он не хотел.

Юрчиков очень боялся, что Ирина узнает о его разговоре с Василием Васильевичем. При одной мысли о том, что она вмешается в их отношения с Соловьевым, у Геннадия начинали ныть зубы.

В город он ездил действительно ненадолго и без определенной цели: просто бродил около часа вокруг учреждения, куда сватал его Соловьев и куда должен был явиться две недели назад. Со смущением разглядывал он массивное здание — ряды глубоко-темных, как вода в омуте, окон — и думал при этом, какое из них могло бы стать его окном, если бы захотел. Зашел в вестибюль, но, встретив пристальный взгляд вахтера, повернул обратно.

Прямо со станции Геннадий собирался забежать к Билибину получить окончательный ответ: возьмет его к себе Иннокентий Павлович или нет? Надежд, впрочем, после разговора с Соловьевым у него почти не осталось.

Ох, надоело ему все! Что он, не устроится? Хоть учителем. В девятом классе ребятам можно квантовую давать, а им — манную кашу. Отобрать пяток поспособней. Летом в поход с пацанами, два месяца отпуск, шутка ли! А больше всего надоело чувствовать себя щепкой в луже: куда ветер дунет, туда и плыви. Он не винил никого, даже Соловьева, — только себя. Целых три года, доверившись Василию Васильевичу, прохлопал ушами... Да он и не хлопал — работал! Этого мало? Как говорил знакомый фоторепортер: «Что главное в нашей работе? Композиция? Экспозиция? Главное — сделать снимок, успев толкнуть ногой конкурента, чтобы испортить ему кадр». Гадость какая!

А может, напрасно он взбунтовался? Сидел бы сейчас, как все в лаборатории, слушал бы, как посмеиваются втихаря над Василием Васильевичем — Создателем Новых Исторических Концепций, отругивался бы элегантно от кадровика с его анкетами и фотографиями, а главное, шевелил бы извилинами. Ребята небось теперь о нем языки чешут. Вспоминают его шуточки насчет кандидатского минимума: мол, дешевый пижон и так далее. Собирал бы потихоньку материал на диссертацию. Как все.

Что скажет он теперь Ирине? Ничего не скажет. Ничего не случилось. Жизнь прекрасна и удивительна. Только надо настроиться заранее.

Электричка подходила к Ярцевску. Юрчиков стал настраиваться — в испуге вскочил с лавки, ошалело спросил:

— Романовка скоро?

И конечно, все вокруг загалдели радостно:

— Романовку полчаса назад проехали. Проспал, милый!

— Что же вы, бабуся? — укоризненно сказал он введливой старухе. — Что же вы меня не разбудили? Я на вас полагаюсь!

Он отчаянно махнул рукой, побежал к выходу, с удовольствием слушая, как сзади разгорался конфликт:

— Вызвалась — разбуди! Подвела человека!

— Да чтоб его черти на том свете разбудили! Не вызвалась я, по доброту его, пьяницу, будила!

Едва электричка остановилась, Юрчиков выскочил на платформу, глянул на часы: до Билибина минут десять, обратно столько же. И тут увидел Ирину. Подошел, распахнул дверцу машины:

— Шеф, подкинь.

— Куда? — деловитым баском отозвалась Ирина, с радостью включаясь в игру.

— На край света.

— Сколько дашь?

— Не обижу.

— Много, парень, запрошу.

— Сговоримся.

Вот так. Так — легче.

Они летели по шоссе, останавливались, бродили по лесу, целовались. Возвращались уже в сумерках. Километрах в трех от поселка Ирина свернула с дороги в поле, остановилась, забарабанила кулаками по рулевой баранке:

— Не хочу домой, не хочу!

Геннадий вышел из машины, она выскользнула следом. Постояли, обнявшись, поглядели на закат. Ласковый был закат: розовая река текла по горизонту, переливаясь за край. Нырнуть бы туда с белого облачка вниз головой и плыть потихоньку рука об руку, вдаль от всех. Он сказал об этом; Ирина благодарно приникла к нему и вытянула руку к розовой реке:

— Пошли.

— Мы будем петь и смеяться, как дети! — внезапно заорал Юрчиков во весь голос, подхватил Ирину на руки и пошел на закат.

Она блаженно прикрыла глаза.

Выдохся он быстро; Ирина пудов пять тянула, не меньше, к тому же замечено: девчонки почему-то легче, чем зрелые женщины. В общем, выдохся, остановился. Темнело быстро. Розовая река уже вся перелилась за горизонт. Трактор где-то урчал, собаки лаяли. В совхозе, совсем неподалеку, парни с девчатами частушки голосили. Ирина притопнула, пропела, дурачась:

Мой миленок сероглаз  
Целовал меня не раз.  
Он целует, я ворчу:  
Целовать сама хочу!

Из совхоза в ответ доносилось невнятное, вроде тоже про миленка, — как отзыв на пароль. Ирина встрепенулась:

— Ох, что сейчас будет!..

Мой милоч — механизатор,  
Он в совхозе тракторист! —

завопила она пронзительно.—

Он радио-нали-затор  
И в любви специалист.

Годится? — спросила она, победно глянув на Геннадия.

В иное время он, пожалуй, поморщился бы — понимал, что готовится очередной номер из ее программы «я молодая и безумная!». Но на этот раз Юрчиков сам начал. Откуда только она этот мусор собрала? Небось у санитарочек позаимствовала...

Схватив Геннадия за руку, она тащила его за собой все ближе и ближе к совхозному поселку; ей отзывались оттуда дружно, заинтересованно. Так они и вошли в поселок. На груде бревен перед неказистым приземистым зданием с могучими колоннами, похоже — клубом, грызли семечки парни с девчатами. Ирина, покачивая бедрами, направилась к ним, остановилась возле гармониста, сиявшего в сумерках нейлоновой сорочкой, сказала небрежно:

— Привет! Чего замолчали? Ну-ка давай!

Скрестив на груди руки, она неумело выбила дробь тувельками. Девчата захихикали. Гармонист растянул мехи, подыграл; она поплыла, неловко раскинув руки, с зазывной лукавой усмешкой; остановившись возле парней, поманила к себе — те посмеивались, покрикивали:

— Давай-давай!

Наконец ей удалось вытащить одного: лениво хлопнув ладонями по голенищам сапожек, он прошелся нехотя вокруг Ирины. Тут она и вовсе взвилась, передергивая плечиками, встряхивая выпяченной высокой грудью, еще раз пропела:

Гармонист в рубашке белой,  
Растяни свои меха...

На бревнах загоготали. Геннадий в сторонке нервно затягивался сигаретой; прикуривая у соседа, увидел его лицо, обращенное к Ирине, — сразу пропало дурашливое настроение, надвинулось ощущение беды. Надо было уходить. Не успел. Кто-то из парней крикнул одобрительно:

— Во дает старая!

И тотчас все загомонили:

— Сколько выпила, мать?

— С кем она? Одна?

— Не-е, вон длинный сидит.

— Не свисти! На кой она ему?

— Старые-то, говорят, слаще...

Геннадий прикинул: четверо, многовато, сомнут! — и пошел на них; ребята дружелюбно подвинулись, уступая место на бревнышках. Они, похоже, не издевались — констатировали и только. Юрчиков рванул ее за руку:

— Пойдем!

— Пойдем, — покорно согласилась Ирина Георгиевна. — А то и тебя обидят...

Он не сразу понял этой грустной насмешки, а когда понял, опять кинулся к бревнам. Напрасно Ирина отчаянно кричала вслед:

— Не смей! Я пошутила...

Юрчиков с ходу вцепил затрещину гармонисту, толчком опрокинул за бревно соседа, но тотчас и сам полетел наземь от тяжелого удара. Все плыло вокруг: бледное, искривленное криком лицо Ирины, колонны, клумба, бревна... Он не хотел драться, но теперь был даже рад: настроение последних дней нашло наконец выход.

— Уходи! — успел он крикнуть, прежде чем все четверо навалились разом.

Здоровые были ребята, деревенские, на свежем воздухе выросшие. Он прикрывал голову и старался удержаться на ногах. Пора было кончать, покалечить могли запросто. Если бы не Ирина... Геннадий закричал на нее, обругав так, что даже парни отскочили. Она, кажется, поняла; когда Юрчиков смог повернуться в ее сторону, Ирины Георгиевны уже не было...

Гнались ребята недолго. Вскоре он мог отдышаться и подвести итоги. Кровь на лице, нестрашно — из носа. Разбитые пальцы, глухая боль во всем теле, острая — в локте, оторванный рукав у рубашки... Могло быть хуже, но и сейчас не сахар. К Иннокентию Павловичу в таком виде не завишься. Да еще возвращаться...

Ирина Георгиевна, подбежав, прервала его невеселые размышления. Не обращая внимания на кровь, целовала, приговаривая, задыхаясь и торжествуя:

— Спасибо!.. Ты — настоящий, я знала...



Она-то знала, да он не знал о ее размышлениях и сопоставлениях во время дежурства; стоял, морщась не столько от боли, сколько от сознания своей глупости. Настоящий — это верно. Кретин настоящий...

Ирина подогнала машину, усадила, поддерживая под локоть; он не заметил, как подъехал к дому Соловьевых.

Его уложили на диване. Ирина хлопотала над ним, смывала кровь с лица, прижигала ссадины, бинтовала разбитые пальцы. Василий Васильевич входил на цыпочках, ласково опускал прохладную ладонь на лоб, вздыхал, снова уходил. Из соседней комнаты доносилось его возмущенное:

— Не понимаю! Почему нельзя? Я как в воду смотрел: сегодня цветы оборвут, завтра ножом пырнут... Я позвоню, надо же навести порядок...

Ирина Георгиевна отвечала резко:

— Не нужно! Гена тоже в долгу не остался.

— Ну и что? — живо возражал Соловьев. — Они на вас напали...

Он возвращался, присаживался в ногах. Вид у него был такой убитый, что Геннадий зажмурился от стыда, как от яркого света.

— Ничего, ничего! — Василий Васильевич ободряюще теребил его за колени, прикрытые пушистым пледом. — Молодец, не струсил, дал отпор. — И таинственно подмигивал: — А я уже хотел тебя разыскать. Совсем пропал...

Пожалуй, только теперь Соловьев вполне ощутил, как близок и дорог ему этот парень; когда увидел его окровавленного, сердце оборвалось. Конечно, не было никакой связи между их последним разговором в институте и сегодняшней неприятностью, но Василий Васильевич тем не менее, вспомнив невольно тот разговор, завздыхал, укоряя себя в ненужной жестокости. Можно было и полегче, не бросать его, как нашкодившего щенка, за порог, тем более что жизнь рассудила их, недвусмысленно взяв сторону Геннадия. Теперь оставалось признать свою ошибку. Вернее, не признать, а исправить: Соловьев никогда не признавал своих ошибок, но всегда старался исправить их. Сделать это в данном случае было просто: сообщить о том, что у Геннадия есть возможность работать у Билибина. Василий Васильевич уже готовился выдать приятную новость и уже подмигивал таинственно-обещающе. Однако именно теперь, когда он испытал нечто вроде отцовских чувств и понял прежнюю свою несправедливость, расставаться с парнем оказалось тяжело. Ирина только что рассказала: встретила Гену по дороге, шел к ним. Видно, обдумал все хорошенько, захотел вернуться. Глупо было бы говорить сейчас о новой работе. И к черту всех, кто вмешивается в их отношения, даже шефа, который на днях прислал любовное письмецо с просьбой перевести младшего научного сотрудника Юрчикова в другой отдел.

Конечно, ему давно уже следовало бы предоставить серьезное дело, дать выход в печать, заставить оформить диссертацию — материалов у него хватало бы на две. Серьезное исследование, проведенное талантливым и работающим парнем (под руководством и при участии самого Соловьева, разумеется), дало бы им обоим куда больше, чем те мелочи, которыми занимался до сих пор Гена. Но здесь был несомненный риск: отравив крылья, он мог легко вылететь из-под контроля и тогда оставалось бы лишь провожать взглядом его полет, досадуя и сожалея о содеянном. Теперь уже выхода не было.

— Надеюсь, ты еще глупостей не наделал? — вполголоса спросил Василий Васильевич, оглянувшись на дверь, за которой хлопотала жена.

— Каких? — испуганно перехватил его взгляд Юрчиков.

— Нигде еще не устроился?

— Нет.

— Ну вот что, милый! Завтра же выходи на работу!

От плеча исходил резкий, приторно-знакомый запах духов Ирины Георгиевны, и Геннадий задышался от этого запаха, который словно бы постоянно напоминал об их отношениях, выставляя напоказ его стыд. Вернуться? Хорошо. Завтра? Пожалуйста! Сейчас он на все был согласен. Не то чтобы он верил обещаниям Соловьева, который, растрогавшись, принялся рисовать перед ним соблазнительные картины будущего... По-прежнему не верил, хотя и видел, как близко к сердцу принял тот кровавый финал героического действия с Юрчиковым в главной роли. Одно желание владело им: убраться отсюда как можно скорее.

Соловьевы долго не отпускали его. Правда, Василий Васильевич в конце концов, словно устав от сознания своего благородства, по-сумрачному, вяло поддакивал жене, когда она атаковала Геннадия, страшая его мудренными медицинскими терминами. Юрчиков отшучивался, демонстрировал свою полную умственную и физическую полноценность: выдал на память формулу Резерфорда для быстрых частиц и, подняв за ножку кресло, промаршировал по веранде:

— Мы будем петь и смеяться, как дети...

Провожая Геннадия, Василий Васильевич повторил уже на крыльце:

— Выходи на работу, Гена.

Юрчиков промолчал. Соловьев глянул на него неприязненно, брюзгливо произнес:

— Не хочешь ко мне — иди к Билибину...

Геннадий стоял, посасывая разбитый сустав на пальце. Сплюнул горькую, с привкусом йода слюну, сказал с тихим бешенством:

— Прощайте, Василий Васильевич. Никуда я не пойду. Ни к вам, ни к Билибину. Надоело. Ищите дураков!

Он сидел на скамейке перрона, ждал электричку. Прогрохотал мимо товарный, обдав живым теплым ветром; вслед за ним медленно, на желтый светофор, потянулся пассажирский. Проплыли перед глазами белые таблички на вагонах. Поезд шел на Урал, в родные края. Геннадий с жадностью, как в знакомые кинокадры, вглядывался в освещенные окна: люди стояли, курили, устраивались на ночь, мальчишка с яблоком в руке прилип носом к стеклу, толстяк в майке-безрукавке, задрал голову, пил из горлышка лимонад, будто трубил походный сигнал. Послезавтра в восемь двадцать пять они будут в городе, откуда он уехал девять лет назад...

Вагоны все тянулись и тянулись вдоль платформы, медленно погромыхивая на стыках. Еще один... еще... У следующего дверь в тамбур была открыта, стояли на площадке два морячка.

Геннадий ощупал карман: десятка и две трешки, на билет хватит. Вещички хозяйка вышлет; какие там вещички — книги одни. Красиво! На ходу. В первый же поезд. Без билета и без вещей. И начать новую жизнь. Сколько раз проигрывался такой вариант в песенках у костра, с гитарой в руках, под томные взгляды девочек. Дерзай, Гена Юрчиков! Завтра ты уже так не поступишь. Завтра тебе в голову полезет сущая ерунда вроде мази против гнуса и специальных сапог с вентиляцией, которые Василий Васильевич вручил Геннадию в прошлом году, узнав, что тот собирается с ребятами махнуть на отпуск в тайгу. Мазь была классная, импортная — на пять метров вокруг полный вакуум; сапоги оказались просто волшебными — шагай без привалов; Гена сто раз благословлял в тайге Соловьева. Вот такая слезливая бодяга поле-

зет завтра в голову. Или вспомнятся бесплатные обеды, которыми Василий Васильевич потчевал его на первых порах... Или еще что-нибудь столь же сентиментальное. И подумаешь ты с раскаянием о своих отношениях с Ириной, о том, как гадко и подло обманывал ты Соловьева, — все для того, чтобы легко было вернуться, заставить себя вновь поверить в его искренность, в его обещания. Завтра ты уже пойдешь к Соловьеву и начнешь вновь ишачить на него.

Так думал Геннадий, примеряясь взглядом к поручням вагона. Шагнул ближе, протянул руки... Морячки на площадке поняли, загоготали:

— Давай, браток! Швартайся! Утром разберемся что к чему!

— А вот фиг вам! — сказал Юрчиков, вспомнив нечто такое, что разом заставило его остановиться. Перед ним словно бы встало массивное здание — ряды глубоко-темных, как вода в омуте, окон, — вокруг которого он ходил недавно, размышляя о будущей работе.

На этот раз моряки не поняли, свистнули насмешливо, пожелали того же и даже гораздо хуже. Юрчиков повернулся к ним спиной и не торопясь направился к другой стороне платформы — подходила его электричка. В последний раз оглянулся, окидывая взглядом притихший городок, его тусклые, сонные огни. Издалека чуть слышно донеслось:

Мой милоч — механизатор,  
Он в совхозе тракторист!  
Он радио-нали-затор  
И в любви специалист...

А может быть, только почудилось... Несомненно почудилось; совхоз остался далеко, и Ирине Георгиевне сейчас было не до частушек. В доме Соловьевых происходило неприятное объяснение.

Час назад Василий Васильевич на минуту вышел из комнаты, где жена приводила в порядок пострадавшего в драке Геннадия, а когда вернулся, то увидел картину, чувствительно ударившую его по нервам: Ирина Георгиевна сидела на диване, тесно прижавшись к своему подопечному, а тот протестовал шепотом: «Иринка! Опомнись!»

Василий Васильевич, смутившись, тотчас отступил; они не заметили его. В эти минуты Соловьев, естественно, ничем не выдал своего смятения; даже оставшись наедине с женой, он не мог решить, как ему следует отнестись к столь неожиданному и неприятному факту. Ему очень не хотелось стать участником пошлой сцены, тем более что многолетний опыт подсказывал: Ирина, верная себе, не станет обороняться, и тогда сцена окажется не только пошлой, но и оскорбительной. Молчать было трудно. Василий Васильевич не предполагал, что его так сильно заденет мысль об измене жены. Теоретически он не раз допускал такую возможность, но одно дело теория, а другое — конкретная картина, невольным свидетелем которой ему довелось стать. Василий Васильевич и хотел бы сомневаться, да не мог. По собственному опыту знал, как это бывает...

Хотя он по собственному опыту знал, как это бывает, и понимал, что Геннадия вряд ли подходит роль соблазнителя — скорее всего дело обстояло как раз наоборот, — Соловьев вспоминал теперь о нем с раздраженной горечью. Обидно было, что именно сегодня, когда он так искренне переживал случившееся, так испугался за Гену... Как за сына... Обидно и противно.

Но страдая и сердясь, Василий Васильевич тем не менее мужественно старался не выдать своих чувств; возможно, ему это и удалось бы, если бы Ирина сама ненароком не направила события по их естественному пути. Подошла к мужу, когда тот уже лежал в постели, присела на краешек кровати. В ярком свете лампы-торшера, придвинутого к изголовью, лежали на одеяле ее руки — крепкие руки хирурга,

ухоженные, с шелковистой, без морщинок кожей, но уже словно бы неживой, как облёгающий без морщинок ногу чулок-паутинка. Разглядывая их, Ирина спросила грустно:

— Василек... Старая я стала? Скажи правду.

И тут Соловьев не выдержал.

— Да, стареешь, — фальцетом от сильного внутреннего напряжения вскрикнул он, — если уж мальчишек стала соблазнять! Первый признак!

— А, — спокойно отозвалась Ирина, — да, я не подумала.

Дальнейший разговор получился именно такой, каким и представлял его себе Василий Васильевич, — пошлым и оскорбительным. Он говорил все, что полагается говорить в этих случаях уважающему себя мужчине: что целиком отдается работе и семье и, кажется, все — все-е-е! — делает для того, чтобы любые желания жены немедленно исполнялись. Франция, Италия, Скандинавия, европейский круиз — она побывала везде. Машина, прекрасная квартира, театры, приемы, на которые ей уже надоело ходить. И все ей мало...

Если бы Николай Фетисов стоял сейчас под окнами, он сильно бы удивился, услышав разгневанные тирады Соловьева, которые точь-в-точь повторяли обвинения самого Николая в адрес любимой Клавдии, правда по другому поводу и на несколько ином уровне.

Телефонный звонок прервал их объяснения; Ирина сняла трубку и поспешно, едва были произнесены первые фразы, протянула ее мужу.

— Гражданин Соловьев? — услышал Василий Васильевич. — Из Ярцевского отделения милиции... Тут мы задержали одного. По подозрению. Назвался фараоном египетским, а по документам — Юрчиков Геннадий Иванович. Личность подтвердить можете? Он на вас ссылается.

— А что случилось, собственно? Почему задержали?

— Драка.

— Но при чем тут фараон египетский?

— Нас этот вопрос тоже интересует. Так вы подтверждаете или нет?

— Да, да, конечно! — Василий Васильевич положил трубку. — Вот так, магушка, — сказал он злобно. — Доездили. Покрутили любовь! В милиции твой дружок!

— Ах, не нужно было отпускать его, — в досаде проговорила Ирина. — Ты поедешь, Вася?

— Я-а?! — задохнулся он от негодования. — Этого еще не хватало!

И Василий Васильевич демонстративно принялся поправлять подушки, устраиваясь на ночь.

Тем не менее через пять минут он уже звонил начальнику милиции — безрезультатно, впрочем, — а через четверть часа ехал в Ярцевск, ругая на чем свет стоит жену, Юрчикова, а больше всего себя за мягкость характера: неприятность, в которую, кажется, попали близкие ему люди, касалась его самого. Он должен был принять все меры, чтобы не оказаться в двусмысленном положении.

В Ярцевском отделении в этот поздний час было довольно спокойно. Лишь у ярко освещенного подъезда двое сержантов аккуратно вынимали из милицейской коляски пьяного; тот никак не мог перекинуть ногу через борт, покрикивал требовательно:

— Поддерживай, ребята, поддерживай!

Брезгливо обойдя стороной пьяного, Соловьев вошел в здание и прежде всего осведомился: нет ли начальника или его заместителя? Ни того, ни другого в столь позднее время в отделении не оказалось. Василий Васильевич, хотя и предвидел такой результат, немного огорчился;

поскольку начальники всегда умнее своих подчиненных — не только в милиции, но и во всех других учреждениях,— с ними гораздо легче вести дела. Пришлось обратиться к дежурному. Печальная в данном случае истина полностью подтвердилась. Ничто не отразилось на лице дежурного, молоденького, с курчавыми бачками лейтенанта, когда Василий Васильевич представился ему: скорее всего дежурный был новичком в Ярцевске. Он твердил:

— Разберемся, гражданин. Разберемся с этим фараоном египетским. Чего вы так волнуетесь?

Василий Васильевич действительно волновался — от сознания униженности своего положения вообще и от разговора с лейтенантом в частности. Волноваться же в общении с должностными лицами совершенно недопустимо, волнение сразу выдает неуверенность. Зная это, Соловьев попытался обрести спокойствие, уселся поудобнее, положил ногу на ногу, небрежно произнес:

— Когда вы, дорогой, станете полковником или генералом, тогда и поймете, почему я волнуюсь.

— Хорошо, хорошо, когда я стану генералом, тогда и пойму,— нетерпеливо отозвался непонятливый дежурный.

— Впрочем, вряд ли вы станете...

— А вы мне не угрожайте! — сообразил на этот раз лейтенант.

— Разве я угрожаю? — удивился Василий Васильевич.— Не всем же быть генералами, правда? Вот я, например, не являюсь таковым... Или тот товарищ... — он кивнул на милиционера, сидевшего поодаль за столом и неторопливо водившего карандашом по бумаге,— тоже пока не генерал.

— Что вам нужно, гражданин? — спросил дежурный, теряя терпение.

— Ну, прежде всего чтобы вы не волновались,— усмехнулся Василий Васильевич, окончательно перехватывая инициативу.— Остальное я уже объяснил: мне нужно, чтобы вы, представитель закона, не нарушали его...

— Это нам лучше знать! — лейтенант даже привстал со стула, и курчавые бачки его распушились.

— Нет, это мне лучше знать! — повысил голос Соловьев, но не как прежде, когда он нервничал, а как положено в неприятном разговоре с человеком, стоящим в служебном положении намного ниже.

Все вроде шло теперь правильно, но Василий Васильевич не стал сам собой, а только играл некую роль, роль Василия Васильевича Соловьева; он сам это чувствовал, и лейтенант чувствовал. Не такой уж зеленый оказался, как думалось. Вдруг остыв, произнес почти весело:

— Вот и хорошо, если знаете...

Неизвестно, чем кончился бы конфликт между ними, если бы дежурному не надоело и он не окликнул милиционера, сочинявшего в сторонке какую-то бумагу и, судя по всему, совершенно равнодушного к спору лейтенанта с настойчивым посетителем:

— Слушай, Калинушкин! По твоему участку, ты и разбирайся с гражданином.

Не оборачиваясь тот в сердцах заворчал и недвусмысленно повернулся к ним спиной. Но Василий Васильевич уже узнал его, а узнав, в один миг превратился из простого посетителя в лицо значительное. Он даже удивился, что участковый, который не так давно приходил к нему насчет пропавших цветов и получал строгие указания, не вмешался, не одернул дежурного.

— Ну? — сурово спросил Василий Васильевич, подойдя к Калинушкину.— Что же у вас тут творится! Вы в курсе?

— Я в курсе,— ответил Калинушкин, торопливо придвигая стул, при этом бросив свирепый взгляд на дежурного.

Соловьева он, конечно, сразу узнал. Александру Ивановичу давно уже полагалось сидеть дома, ему совсем не улыбалось вступать в объяснения с этим человеком, с которым он почему-то всегда чувствовал себя неуверенно. Правда, где-то в глубине души его, в самом укромном уголке, дремало дурное намерение: поглядеть на Соловьева, когда тот узнает подробности дела, которое привело его в отделение и которым как раз занимался сейчас Калинушкин. Но все-таки желание уклониться от объяснений и уйти домой было гораздо сильнее.

— Тут вот какая штука,— произнес он вопреки своему темному намерению сокрушенно.— Две драки у нас сегодня. С неизвестными лицами. Одна на шоссе, другая в совхозе, недавно сообщили. Так? Этот ваш знакомый, Юрчиков Г. И. ...

— Он мой сотрудник! — перебил Василий Васильевич.

— Ну, сотрудник... Следы имеет... Ссадина свежая на лице, пальцы разбиты. Вел себя подозрительно на платформе: на ходу хотел сесть в поезд дальнего следования. При задержании назвался фараоном египетским. В трезвом виде.

— Предположим. А он как объясняет?

— Нигде, говорит, не был, кроме как у Соловьевых, Лесная, двадцать шесть, можете проверить, позвоните. В поезд и не думал садиться. Насчет фараона объясняет: юмор. Зачем, говорит, спрашиваете, у вас мои документы в руках...

— Послушайте,— поморщился Василий Васильевич,— это все не повод для задержания.

— А драка! — возразил Калинушкин.— Вообще-то, похоже, дрался в совхозе. Совпадают приметы...

— В каком еще совхозе? — закричал Василий Васильевич.— На него напали — он дал отпор! Да! На шоссе! Тысячу раз разъяснили: хулиганству — бой! Вы что, газет не читаете?

Нехорошее намерение, угнездившееся в душе Калинушкина, от крика Соловьева проснулось и зашевелилось, требуя немедленной свободы. Но Александр Иванович справился с ним.

— То-то и оно,— завздыхал он.— Если в совхозе, тогда гражданин Юрчиков вроде потерпевшего получается. А если на шоссе, совсем наоборот. Если на шоссе — порезал он двоих...

— Порезал? — произнес Василий Васильевич, отшатнувшись.— Кого? Зачем? — бессмысленно продолжал спрашивать он, вмиг представив себе все последствия преступления, совершенного Юрчиковым при участии жены.

— Никого он не порезал,— поспешил успокоить его Александр Иванович опять-таки вопреки дурному намерению.— В совхозе подрался. Он ведь не один был? С женщиной?

— Да,— поспешно подхватил Василий Васильевич.— С женой моей. Они ехали вместе...

— Ну вот, мне так и сообщили. Высокий, худощавый, в темной рубашке. И с ним женщина, в возрасте уже... То есть не совсем молодая,— поправился Калинушкин, вспомнив, как обмишурился однажды с женой Соловьева.— Она, значит, жена ваша, с ребятами танцевать захотела, а ваш сотрудник драться полез. Ему ребята и наkostenяли.

— Да, да, похоже,— пробормотал Соловьев.— Я почему-то подумал: на шоссе...

— А все же для верности до утра мы его подержим. Уточним. Вы уж не обижайтесь.

— Конечно! — воскликнул Василий Васильевич.— Какой может быть разговор!

Калинушкин замолчал. Темно-румяное лицо его вновь напряглось и озаботилось.

— Угадал! — облегченно выдохнул он. — Угадал я вас!

— Как угадал? — опять встревожился Василий Васильевич.

— Бубырь у вас прозвище было. В детстве. Верно? Помните, мы с вами лодку на озере у рыбаков утопили? Еще гнались за нами...

Александр Иванович сидел напротив Соловьева, улыбался несколько сконфуженно, тер ладонью щеку, словно удивляясь, каким образом у него вдруг выросла совершенно взрослая щетина.

— Конечно! Еще бы! — подтвердил Василий Васильевич растроганно, не только не припомнив этих подробностей детства, но и не предпринимая такой попытки, хотя прозвище действительно сопровождало его до самой юности.

Расчувствовавшись, Калинушкин собирался предаться дальнейшим воспоминаниям, но Василий Васильевич уже понемногу приходил в себя от потрясения. Торопливо попросившись с участковым и даже кивнув дежурному, он заспешил домой. В коридоре отделения, когда до выхода оставалось каких-нибудь два шага, в открывшейся сбоку двери мелькнуло лицо Юрчикова; он отвернулся, увидев Василия Васильевича. Не замедляя шаг, Соловьев выскочил на улицу.

Калинушкин же, проводив взглядом своего собеседника, сдвинул фуражку на лоб и в раздумье почесал шею: вроде бы он давил в себе зловредное желание поглядеть на Соловьева, когда тот узнает подробности дела, а оно, это желание, все-таки взяло верх. Александр Иванович связывал его со злостью, оно обмануло, вылезло на свет с жалостью. Но получилось все как нельзя лучше.

### ХШ

— Погоди! Давай по порядку!

Начальник сурово постучал карандашом по столу.

Пашка стоял посреди комнаты, время от времени шмыгая носом — удерживая слезы.

— Я по порядку, — вздрогнув, произнес он. — Сорви, говорят, пацан, цветы, больно пахнут здорово... Дяденька-а-а! — надрывно выдохнул Пашка. — Отпустите, пожалуйста...

Начальник опять пробарабанил карандашом. В ясных Пашкиных глазах всплеснулся испуг.

— Чего ты пугливый какой? — поморщился начальник. — Родители, что ли, бьют?

— Лупят! — печально ответил Пашка. — Вчера так отлупили...

— Может, следовало?

— Следовало, — согласился Пашка. — Хлеба взял без спросу. Кусочек маленький... Так они...

Пашка тихонько заплакал. Он говорил правду. Вечером Пашка примчался с улицы, а мать как раз принесла свежие булки, и он, не дожидаясь ужина, отломил горбушку. Мать рассердилась, закричала: «Хлеба нажрешься, опять ужинать не будешь!» «Некогда, — вгрызаясь в румяную пахучую корку, ответил Пашка, — ребята ждут». А тут отец вышел. И точно: дал сыну по-дружески подзатыльник, чтобы не жевал перед ужином что ни попадя, и так худой, насквозь светится. Пашка, конечно, в долгу не остался, хорошего леща ему отвесил. Но об этом леще сейчас вспоминать не стоило, а о горбушке — в самый раз. Даже самому себя жалко стало.

— Не реви, — сказал начальник. — Вот я их оштрафую, родителей твоих.

Тут Пашка перепугался всерьез.

— Не надо! — закричал он. — Убьют меня!

Начальник покосился на Калинушкина.

— Проследите, товарищ лейтенант.

Калинушкин кивнул и отвернулся. Он как привел мальчишку в отделение, так и сидел, отвернувшись, безучастно уставясь в стенку. Ремонт в отделении делали прошлой осенью, но штукатурка уже сплошь была иссечена трещинами, совсем мелкими, с волос, потолще — со спичку, а в углу и вовсе уходила к потолку расщелина, карандаш, пожалуй, пройдет. Все вместе они покрывали стену сеткой. Стол начальника стоял как раз посредине стены, а стул, на котором примостился Пашка, у края. Если приглядеться, сетка трещин раскинулась точь-в-точь паутиной, начальник в центре ее, кругленький, с подпирающим стол брюшкой, с потной лысинкой, расположился пауком, а Пашка — неосторожной жертвой. Дело же обстояло как раз наоборот.

С самого начала Калинушкин сомневался в причастности мальчишки ко всей этой истории с цветами, теперь, услышав, какую тот чушь несет, окончательно уверился, что Пашка, как всегда, дает представление. Ожидая конфуза, участковый застыл в одном положении; ему было неудобно, хотелось вытянуть ноги, однако он не шевелился, словно любое его движение могло разрушить тот призрачный фантастический мир, в котором жил сейчас Фетисов-младший. В любую секунду Пашка мог рассмеяться: «Да я пошутил, дяденька!» И думать даже не хотелось, что ожидало Калинушкина в этом случае!

Если бы они находились в комнате одни! А то еще сидел подле начальника знакомый лейтенанту строгий гражданин Соловьев с Лесной, двадцать шесть. И недаром участковый всегда испытывал при нем уставные чувства — начальник, как слышал его фамилию, встал и не садился, пока тот не расположился рядом. И еще сказал: «Полковник Дроздов приказал лично вам доложить о результатах. Пока еще следствие идет».

Калинушкин, на днях душевно беседовавший с Соловьевым в отделении после того, как угадал в нем знакомого в детстве Бубыря, сначала заулыбался, хотел подойти пожать ему руку и, может быть, даже рассказать начальнику, как они вместе утопили у рыбаков лодку, но потом раздумал: давний знакомый, едва участковый встал, отвернулся, будто не узнал. А потом уже, когда Пашка свой спектакль принял-ся разыгрывать, у Калинушкина совсем иная забота появилась.

— Вот спросите у дяди Саши: не хулиганичаю я,— прохныкал Пашка.— Металлолом наше звено весной больше всех собрало, я один ужас сколько притащил, два дня руки болели...

Пашка опять жалобно потянул носом, вспомнив тот день. Он, точно, тогда наткнулся за продуктовым ларьком на гору железного лома. Правда, когда он последнюю железяку тащил, ведро дырявое, налетели на него пацаны из соседней школы — они с утра эту кучу собирали,— Пашка еле ноги унес. Но об этом сейчас тоже вспоминать не стоило.

— А ты чей, мальчик?— спросил Соловьев.— Живешь где?

— Фетисов я.— Пашка обольстительно улыбнулся Василию Васильевичу.— Вы к нам недавно приходили... К отцу, чтобы заборчинить.

— А-а,— пробормотал Василий Васильевич несколько смущенный, поскольку речь шла о дефицитных железных столбиках, которые доставать нужно было с умом.— Значит, ты Николая Фетисова сын... Как же это? Отец — рабочий человек, золотые руки. Тебе бы пример с него брать...

Калинушкин хмуро кашлянул, не выдержав:



— Закладывает он, Фетисов. Да и вообще... Пример-то не больно... Василий Васильевич брезгливо сказал:

— Я не это имел в виду. Я о рабочей гордости говорю.

— Ага! — обрадовался Пашка, поняв, что самая неприятная часть разговора осталась позади. — Такой тут гордый заявился. Повесили его!

Калинушкин быстро перебил:

— Не болтай чего не знаешь. Сам он. Под мышки.

— Позвольте! — Василий Васильевич даже привскочил. — Как повесили, когда?

— На Доску повесили, на почетную! — пояснил Пашка. — Так он прямо загордился. Не пьет!

— Вот видите! — воскликнул Соловьев, победно глянув на участкового. — Я думаю, мой маленький сосед понял свою вину. — Он улыбнулся Пашке, и тот в ответ изобразил самую благодарную, трогательно-жалкую улыбку. — Но... — Тут Василий Васильевич вспомнил собственные слова во время недавнего разговора с Иннокентием: «Сегодня цветы, а завтра...» — Но я, собственно, зашел, чтобы напомнить: много еще безобразий у нас. Вот тех шоферов, которые мальчугана научили... Этих надо бы найти и наказать.

Он пожал руку начальнику, почтительно привставшему из-за стола, потрепал Пашку по голове:

— Прощай, Робин Гуд. Надо бы, конечно, и тебя наказать, да принимая во внимание...

Василий Васильевич не договорил, что именно следует принять во внимание, и без того всем было ясно, о чем идет речь. Однако он принимал во внимание совсем иное: с Николаем Фетисовым не стоило портить отношения, тем более что вопрос о дефицитных железных столбиках еще не был решен.

Распроцавившись с Соловьевым, начальник заметно приободрился.

— Чтобы я тебя тут в первый и последний раз видел! Ясно? Брысь! — гаркнул он на Пашку, гаркнул не зло, даже весело, и тот сразу это понял и оценил.

— Большое спасибо за воспитание, — произнес он прочувствованно.

Калинушкин перехватил его в дверях:

— Погоди на улице, домой отвезу.

— Ну, — сказал начальник оживленно, когда Пашка вышел, — развязались мы, Александр Иванович, кажется, с этим делом. Ты на меня небось обиделся?

— Чего уж... — вздохнул Калинушкин.

— Не обижайся! Хуже нет кляуз. А ты недооценил. Мол, пустяки, цветочки. Не нажми я на тебя, эти цветочки ягодки бы горькие дали! Сейчас мы бумагу накачаем в управление — и конец. Садись поближе, закуривай.

Начальник подтолкнул к Калинушкину пачку сигарет, достал лист бумаги и приготовился писать. Лейтенант смотрел на все приготовление без интереса. Мыслями он был далеко отсюда. Он думал о странной связи, существовавшей между людьми. Каждый вроде бы сам по себе, свою дорогу имеет в жизни... Николай Фетисов, Калинушкин и эти местные, ярцевские ученые, даже Пашка и те шоферы, что оставались на ночь в поселке и на которых показал мальчишка. И вдруг по пустячному поводу их дороги пересеклись, и хотя дальше опять пойдут все своим путем, а все же чуть-чуть да не тем... У одних, может, на вершок сдвинется у других побольше. Недавно передачу для школьников смотрел Калинушкин по телевизору про то, как всякие там атомы-молекулы бегают, сталкиваются, свою дорожку меня-

ют. Беспорядочное движение называется. Александр Иванович не поверил; это вон как из села впервой в Москву попадут, так криком кричат, все им беспорядочным представляется: машины мчатся друг на дружку да на людей и люди сталкиваются, под машины лезут...

Из раздумий его вызвал веселый голос начальника:

— Напишем так: «С несовершеннолетним Павлом Фетисовым проведена воспитательная беседа, о его проступке сообщено по месту учебы для принятия мер». Пожалуй, штрафануть надо бы родителей, а? Как считаешь, Александр Иванович?

Калинушкин сказал:

— Что хочешь, то и пиши. Все равно.

Наконец-то он устроился поудобнее, на спинку стула откинулся, ноги вытянул с наслаждением, совсем затекли, до мурашек. Закурил.

— Почему «все равно»? — спросил начальник весело, но тут же отшвырнул карандаш и подозрительно уставился на своего подчиненного. — Почему «все равно»?

— А потому что не рвал Павел Фетисов цветы, врет он.

— Зачем врет?

— Да кто его знает, — слукавил Калинушкин, утаив от начальника то, что Фетисов-старший кричал про трешку, которую он дал сыну, чтобы тот помог найти озорников. — Чумной малый. Артист, одним словом.

— Так какого черта ты его притащил? — закричал начальник. — Ну, ты даешь, Калинушкин, — продолжал он удивленно и даже как бы жалобно. — Верни этого артиста! — опять сорвался он на крик, но тут же, сообразив что-то, вытянул руку ладонью вперед, отменяя свое приказание. — Артисты! Что теперь в управление писать? Я тебя спрашиваю, лейтенант!

— Как хотел, так и пиши. Мол, беседа проведена. Про школу ни к чему. На родителей штраф наложить, это можно. Я Фетисова все равно штрафовать хотел. По другой причине.

Начальник неодобрительно засопел и с уважением поглядел на Александра Ивановича.

Мотоцикл неторопливо тарахтел по разъезженной дороге. Пашка сидел в коляске — одна голова торчала наружу. Сначала он хорохорился, посмеивался, смотрел на лейтенанта со значением, потом при- молк. Калинушкин подвез мальчишку до перекрестка, притормозил. Пашка нехотя вылез из коляски, постоял, держась за борт, виновато поглядывая на участкового.

— Дядя Саша, не сердись. Не рвал я цветы.

— Знаю, — буркнул Калинушкин.

— Ну да! — не поверил Пашка.

— Дешевка ты, парень, — сказал Калинушкин и сплюнул в пыль, под колесо мотоцикла. — Дешевка! — безжалостно повторил он. — Трояк тебе цена. За трояк готов в дерьме вывалиться! Тьфу! — Александр Иванович сплюнул еще раз. — Вопил, сопли пускал, только что ноги не лизал... А за пятерку тебя и вовсе со всеми потрохами купить можно!

Калинушкина разбирало зло. Вроде бы кончилось глупое кляузное дело, которое целый месяц не давало ему покоя, благополучно завершилось. И как раз благодаря этой продувной бестии, лукавому мальцу, который так ловко обвел всех вокруг пальца, что все остались довольны. Больше всех мог бы радоваться сам Калинушкин. А он вы- зерился на Пашку — остановиться не мог.

Фетисов-младший стоял поодаль пригнувшись, как в драке.

— А сам! — выкрикнул он вдруг торжествующе. — Сам-то!

— Чего сам?

— Зачем меня в милицию потащил, если знал?

Калинушкин хотел объяснить, что тогда он еще не знал, но стоять вот так на перекрестке и переругиваться с мальчишкой он себе не позволил. С достоинством, неторопливо, чтобы не было похоже на отступление, развернул мотоцикл, и только когда Пашка скрылся за поворотом, прибавил газу.

Мальчишка ударил точно. Даже себе до сих пор не признавался Александр Иванович, что вместе с Пашкой разыграл этот спектакль. Конечно, не следовало бы тащить мальчика в отделение, надо было прежде самому разобраться. А он, выходит, подыграл Пашке.

Тяжелый мотоцикл, как и прежде, неторопливо тарахтел по дороге. Солнечные блики перебежали с его боков на яркий козырек форменной фуражки Александра Ивановича и столь же яркие ботинки; пуговицы кителя те и вовсе горели, будто раскаленные добела. Темно-синий мотоцикл с красной полосой на борту коляски и надписью «Милиция». Красный околыш фуражки. Слепящие солнечные блики. Румяное от ветра, с четкими линиями лица. Строгий взгляд. Очень впечатляющая была картина. Кто мог бы поверить, что несколько минут назад лейтенант Калинушкин разворачивал свой мотоцикл на дороге с одним желанием: не уронить свое достоинство, не дрогнуть перед мальчишкой. Но дело обстояло именно так, потому что лейтенант Калинушкин обладал философическим складом ума и в этот момент совсем не к месту подумал вновь о человеческих тропках, которые сходятся, чтобы затем пойти не в прежнем, а в каком-то ином направлении. И подумав так, испытал перед Пашкой Фетисовым стыд и досаду на себя, хотя по всем признакам должен был испытывать лишь радостное облегчение.

Однако он зря беспокоился за Пашкину жизненную тропу, которая могла пойти вкось из-за несчастного тройка. Пашка вернулся домой злющий и вконец разобиженный. С ходу нагрубил матери, которая хотела послать его в булочную, залез на чердак и наотрез отказался вступить в переговоры с отцом, когда тот предложил ему спуститься. Пристроившись в любимом месте, у слухового окошка, он смотрел сверху на улицу и размышлял о случившемся. За что его дядя Саша обложил? Соппи пускал за трешку? Они, взрослые, все умные, все учат. То не делай, того нельзя... Не такие уж они умные, если приглядеться. Командовать, когда ты командир, всякий может. А вот вы попробуйте, как он... Вовсе не за трешку, а вроде игры, только интересней: и весело и страшно.

Вспомнив про злосчастные три рубля, которые так рассердили Калинушкина, Пашка повеселел. Он честно заработал их, что бы ни говорил участковый. Трешка лежала здесь же, на чердаке, в захоронке, в углублении под балкой. Пашка сунул туда руку — пальцы обшарили пустоту. С минуту он, ошарашенный, стоял возле балки, соображая, не переложил ли куда-нибудь деньги; этого он не припомнил, а припомнил совсем другое: вчера вечером отец зачем-то поднимался на чердак, вернулся веселый и потом приставал к Пашке, щекотал и дурачился, как маленький.

Кубарем, обдирая руки, Пашка скатился с лестницы. Фетисов-старший стоял во дворе, задумчиво разглядывая бельевой бачок, который никак не хотел компоноваться вместе с дровяной колонкой в один агрегат. Пашка подбежал к отцу, вцепился сзади в рубаху.

— Отдай!

Отец от неожиданности выпустил из рук бачок, тот с грохотом свалился ему под ноги, и Фетисов отпрыгнул, потянув за собой сына.

— Не брал! Ей-богу, Паш, не брал! — закричал Фетисов испуганно.

Пашка, окончательно утвердившись в своих подозрениях, трахнул кулаком в отцовскую спину, лягнулся, стараясь почувствительней сандануть его по ноге.

— Отдай трояк!

Николай вывернулся из цепких рук сына, подхватил бачок, загородился им, заорал:

— Не подходи! Убью!

Толстые щеки Фетисова тряслись от смеха, и Пашка совсем взбесился. Раз за разом налетал он на отца, и тот, обессиленный смехом, едва успевал увертываться. Наконец ему удалось вбежать в дом; закрывшись там, он отдышался, сказал строго:

— Кончай! Сейчас выдеру, честное слово, выдеру!

Пашка всхлипнул, ударил с размаху ногой в дверь, взвыл от боли и полез на чердак, плача и ругаясь сквозь зубы. Должно быть, наплакавшись, он заснул; очнувшись, увидел рядом отца. Тот лежал бок о бок на сене, кусал былинку и не пошевелился, когда Пашка отпрянул от него.

— Слушай, сынок, чего скажу-то,— произнес Фетисов. Незнакомый, серьезный голос был у отца, и Пашка невольно притих.— Трояк мне твой нужен, как... — Николай с трудом удержался от яркого сравнения.

— Ну и отдай!

— Отдам. Сначала сказку послушай.

Фетисов перевернулся на спину, с минуту лежал молча, уставясь в стропила, из-под которых в полумрак чердака пробивался слабый солнечный луч, повздыхал и начал:

— У одного мужика было три сына. Двое умных...

— А один дурак,— сердито перебил Пашка.— Знаю.

— Не знаешь. Двое умных, а один хитрый! Вот говорит мужик: «Эй, тунеядцы, кончай портки протирать, дуйте за своим счастьем». Пошли. Не успели из деревни выйти, глядь — избышка стоит, во дворе стол накрыт, бутылка, конечно, и все такое. За столом девица-краса. Тут хитрый смекнул: вот оно, счастье! И ходу! Пока братья думали, он за стол да кричит: «Топайте да! Я свое нашел!» Те и ушли. Вот. Так и жил хитрый, в ус не дул да посмеивался над братанами.

Фетисов умолк.

— Ну и что? — спросил Пашка.

— Ничего,— скучно ответил Николай.— Братаны-то шли-шли и на дворец набрели мраморный. С царскими дочками. ...Там и остались.

— Дурак он был, а не хитрый,— сказал Пашка.

— Вот и я гляжу. Больно ты хитрый. Как бы в дураках не остался.

— Не останусь. Мне учителка всегда говорит: «Ты, Фетисов, далеко пойдешь». Давай трояк-то!

Николай вздохнул, протянул сыну смятую бумажку и стал спускаться с чердака. Вслед ему Пашка закричал отчаянно:

— Чего ж ты дал? Целковый один!

— Хватит с тебя,— проворчал Фетисов.— Разбежался!

#### XIV

Из милиции Василий Васильевич поехал сразу в город, хотя жена наказывала вернуться к обеду.

Эти несколько дней после неприятного объяснения Ирина Георгиевна проявляла заботу и нежность, которые Соловьев истолковал как нечто новое в их отношениях, а не как желание загладить свою вину, что было бы ему крайне неприятно, напоминая об этой вине и

лишний раз подтверждая ее. Нечто новое в их отношениях и позволило Василию Васильевичу поехать из милиции сразу в город, хотя жена ждала его к обеду и он обещал ей вернуться. Обещал, да передумал.

Дневное шоссе не было похоже на утреннее. Утром в город вливался сверкающий поток лимузинов, отесняя в сторону редкие и словно бы сонные грузовики. Днем шоссе стонало от тяжелых машин, заполнявших его от обочины к обочине, и воздух над ним дрожал знойными струйками, и легковые машины испуганно сторонились пышущих жаром тяжеловозов.

Василий Васильевич не сторонился. Грузовики уступали ему дорогу. Со стороны это выглядело даже странно: только что чумазый парень на грохочущем «ЗИЛе» мчал среди шоссе, а в хвосте у него, безуспешно сигналив, покорно следовали «Волги», «Жигули» и «Москвичи». Но вот Василий Васильевич пробивался вперед, пристраивался сзади к «ЗИЛу», коротко, мимолетно касался сигнала, и тотчас грузовик послушно брал вправо. Такой уж имелся талант у Василия Васильевича — проходить беспрепятственно. Он, несомненно, мог бы посещать кино и театр без билета — контролер не задержал бы его, подумав, как думали все в таких случаях, что он имеет право. Конечно, Соловьев в театр и в кино билеты брал, но мимо секретарей, вахтеров, а порой даже милиционеров, проверяющих пропуска у входа в учреждения, проходил совершенно свободно. Талант Василия Васильевича оказался особенно полезным в отношениях с должностными лицами: не заказывая пропуск, минуя секретаря, он входил в их кабинеты не просителем, даже если суть дела, которое приводило его сюда, и заключалось в просьбе, а партнером. По меньшей мере партнером. Равным. А возможно, и лицом начальственным, ибо известно, что таковые не задерживаются в бюро пропусков и приемных.

Однако в главке, где работал Олег Ксенофонтович, ему все-таки пришлось заказать пропуск — тут насчет этого было строго. Но он сманеврировал: позвонил не Олегу Ксенофонтовичу, а давнему знакомому из другого отдела, с которым не одну ночь провел за преферансом в санатории «Благодатное». Поболтав с ним о том о сем с четверть часа, Василий Васильевич направился к Олегу Ксенофонтовичу как бы мимоходом, между других важных дел, которые привели его в это учреждение к другим людям, работающим здесь. Весь этот маневр Соловьев проделал совершенно рефлекторно и столь же рефлекторно, увидев в кабинете у Олега Ксенофонтовича посетителя, не вышел, извинившись, как поступил бы иной, а шумно поздоровавшись, пожав крепко руки хозяину кабинета и гостю, опустился в кресло, тотчас включился в разговор, и посетитель быстро закруглился, исчез как-то незаметно.

Впрочем, здесь на всем лежала печать незаметности. Серенькие дорожки прикрывали беломраморные ступени лестниц — здание было старинной, богатой постройкой, — скромная мебель в кабинетах, ничего лишнего, современно-спартанский стиль, обивка стульев и кресел тоже серенькая, неброская. И неприметные, подчеркнута обыкновенные сотрудники. Негромкие голоса, спокойные интонации, скупые жесты... Стиль. И Олег Ксенофонтович не был исключением. Сидел перед Соловьевым человек неопределенного возраста — может, тридцать, а может, и все пятьдесят, — с правильными, но словно бы стертými чертами лица, с зеркально-непроницаемым взглядом, в сером, модном, дешевом костюме. Тихий, обходительный, вежливо-дружелюбный, никогда не приказывающий, а только советующий.

Его «да» означало «да» и «нет» означало «нет». Василий Васильевич хорошо это знал, не обманываясь внешностью Олега Ксенофонтовича.

Стиль. Школа. И, пожалуй, еще то обстоятельство, что здесь не было нужды ни в роскошных коврах, ни в дорогой мебели, ни в громких голосах, напористых интонациях и резких жестах. Соловьев всегда мечтал о таком стиле, да не та школа у него была, а главное — не та власть. У него тоже был свой стиль — усмешечка, небрежно-иронический тон, — но это уж скорее демонстрация превосходства, по бедности, так сказать, в сравнении с истинным превосходством. Что поделаешь: по одежке протягивай ножки.

— Каким ветром? — спросил негромко Олег Ксенофонтович.

— Попутным, — ответил Соловьев.

— У вас всегда попутный в парусах, — пошутил хозяин кабинета и, чтобы не было в том сомнений, чуть улыбнулся. — Как это вам удается?

— Ну-у, — протянул Василий Васильевич, лукаво прищурившись (в ином случае он подмигнул бы). — Нехитрое дело: всегда знаю, откуда ветер.

— Сдаюсь. — Олег Ксенофонтович чуть приподнял бледные ладони над столом. — С профессионалами не играю.

— В каком смысле? — озадачился Василий Васильевич.

— У вас встречи, приемы, интервью... У нас четыре стены — весь горизонт.

У всех людей есть свои слабости. У железобетонного, невозмутимейшего Олега Ксенофонтовича их не было. Во всяком случае, Соловьев до сих пор никак не мог определить его уязвимое место. Но в последние дни наконец что-то забрезжило, стало проясняться.

Какую бы нынче должность ни занимал Олег Ксенофонтович, завтра все могло измениться самым решительным образом, стоило ему ошибиться раз-другой — от ошибок никто не застрахован. И тогда? Рядовой. Рядовой необученный, как говаривают в армии. Но ученая степень... Свои труды... Что бы ни случилось, он уже и не рядовой и обученный. Гарантия на всю жизнь. Да и сейчас, на должности, авторитет его неизмеримо повысился бы. Не просто работник — автор работ. Ученый. Через два-три года Олег Ксенофонтович попривыкнет к новому своему положению, уязвимое место затянется, зарастет, тогда к нему совсем не подступишься. А пока он новичок в науке, стоящий еще у входа в ее храм. Нет, тут определенно что-то брезжило, Василий Васильевич понял это сразу, едва узнал о его работе над диссертацией.

— Я действительно попутно, — произнес Соловьев несколько даже раздраженно. — Меня волнует один вопрос, который вас, кажется, совершенно не волнует.

Олег Ксенофонтович слушал, и ничто не отражалось на его невыразительно-красивом лице, если не считать постоянного чувства доброжелательного внимания к собеседнику.

— Доколе вы будете тянуть с опубликованием? У нас ведь план. Планы — штука серьезная!

Соловьев говорил все более требовательно и напористо: издательство требует... издательство заинтересовано... нельзя так манкировать... И Олег Ксенофонтович оценил деликатность Соловьева и дал понять, что оценил. Потупился скромно, покивал:

— На днях представлю.

— Да что там «на днях»! — воскликнул Василий Васильевич, очень удачно развивая свой маневр. — Честно говоря, я ведь за рукописью и заехал.

Он протянул руку к столу и прищелкнул пальцами: мол, где она там у вас?

Хозяин кабинета еще более потупился.

С утра в его столе лежал листок, тесно, как зерна в подсолнухе, набитый строчками. Олегу Ксенофонтовичу достаточно было и двух последних. Смысл их состоял в том, что представленная на отзыв работа отражает вчерашний день науки, некоторые положения ее опровергнуты позднейшими исследованиями. Поэтому работа в целом требует коренного пересмотра.

Собственно, Олег Ксенофонтович и не ждал иного. Вот уже пять лет он имел к науке лишь косвенное отношение. Дело, которым он занимался ныне, было важным и нужным и само по себе давало возможность научных обобщений. Олег Ксенофонтович именно так и поступил: подготовил материалы и уже собрался приступить к их обработке. Но в это время выяснилось, что его непосредственный начальник работает над той же темой, и все труды Олега Ксенофонтовича пошли насмарку. Начальник, получив ученое звание, недавно ушел на повышение, его должность ныне занимал сам Олег Ксенофонтович. Теперь у него имелись все возможности для того, чтобы исполнить задуманное. Но он еще раньше, не дожидаясь естественного хода событий (кто мог предвидеть их?), взялся за тему, которой занимался некогда, работая в заводской лаборатории. Он понимал справедливость отзыва Билибина, предчувствовал, что именно такой отзыв и получит. Но столько уже было затрачено труда, и столько надежд связывалось с этой злосчастной рукописью, и так красиво она была перепечатана и упакована в югославскую кожаную папку, совершенно как драгоценный фолиант, что Олег Ксенофонтович, обладая умом холодным, аналитическим, все же надеялся на чудо. Не в том смысле, что рукопись проскочит — такие чудеса организуются просто, — а в том, что, возможно, он слишком критически относится к себе, недооценивает сделанное... Он поступил, как и должен был поступить в таком случае порядочный человек: попросил прочитать рукопись не кого-нибудь, а самого Билибина, зная, что тот скажет правду. Что же, значит, не суждено...

— Кстати, Иннокентий Павлович Билибин низко вам кланяется, — мельком заметил Соловьев.

— Спасибо. Передайте ему тоже поклон, — сердечно поблагодарил Олег Ксенофонтович, но голос его при этом невольно дрогнул и зеркальный взгляд затуманился, что не укрылось от наблюдательного Василия Васильевича и привело его в такое трепетное волнение, которое испытывает лишь любитель рыбной ловли, когда туманится зеркальная гладь от вздрогнувшего поплавка.

— Ну кто же так делает, — с ласковой укоризной произнес он, давая понять, что ему известно затруднительное положение Олега Ксенофонтовича. — Мы бы нашли хорошего специалиста, попросили бы отнестись внимательно...

— Разве Билибин не специалист? — слабо удивился Олег Ксенофонтович.

— Крупнейший специалист! Но, насколько я понимаю, у вас работа в плане практическом. А Иннокентий Павлович скорее теоретик. У него совсем иные мерки, иные масштабы. Для него мы все во-о-от такие. — Василий Васильевич, улыбаясь, чуть раздвинул большой и указательный пальцы.

— Вы, кажется, хорошо знакомы?

— С детства! — воскликнул Василий Васильевич с неподдельным чувством. — Прекрасный ученый, милейший человек. Правда, несколько эксцентричен. Большие ученые нередко большие дети, вы же знаете...

Олег Ксенофонтович засмеялся одними губами:

— Я слышал... какая-то история у него была в Прибалтике? Заску-

чал на конференции и включил поворотное устройство сцены... Президиум за кулисы уплыл...

— Фольклор! Но мог бы! Честное слово, мог бы. Он мне рассказывал: еле сдержался.

Олег Ксенофонтович вздохнул и, словно бы убедившись в чем-то, открыл ящик стола.

— Пока лишь заявка. Рукопись представлю позднее,— произнес он с заметным усилием.

— И на этом спасибо.— Василий Васильевич бережно, как аккредитив на крупную сумму, принял листок в руки.— Первая книга — первая любовь. Завидую вам. Вторая, третья — это уже не так интересно.

— Не смею спорить,— сказал Олег Ксенофонтович, склоняя голову.

— Теперь я могу вам признаться.— Соловьев впервые за все время знакомства с Олегом Ксенофонтовичем решился подмигнуть ему.— Бой у нас на днях был в издательстве великий. До сих пор кулаки болят.— Он поднес пальцы ко рту и подул на них.— Все печататься хотят... Кроме вас, разумеется...

Без нужды перекладывая бумаги на столе, порозовев пятнами, Олег Ксенофонтович смотрел на своего гостя все с тем же доброжелательным вниманием, однако сейчас оно было не манерой, а искренним выражением чувств. Впрочем, он поспешил переменить разговор.

— Геннадия Ивановича еще не видели в новой роли?

— Кого? — не понял Соловьев.

— Юрчикова.

«Как?!» — чуть не вскрикнул Василий Васильевич. Но, конечно, не вскрикнул; поскучнев, разглядывая свои кулаки, будто и в самом деле стараясь найти на них следы недавней схватки, пожаловался:

— Зря отдал я Юрчикова. Сгоряча.

— Скупой вы человек,— попенял Олег Ксенофонтович.— При вашем таланте находить таланты... Уверен, у вас в запасе еще с десяток молодых гениев.

— Были бы должности — гении найдутся! — повеселел Соловьев.— Вы мне, кстати, их обещали.

— Были бы гении — должности найдутся,— улыбнулся в свою очередь Олег Ксенофонтович.

— Пять-шесть младших научных да двух старших — мы бы развернулись! — мечтательно прищелкнул языком Василий Васильевич, как бы просмаковывая свои слова.— Даже без старших! Молодежь нужна. Ученики! Столько накоплено знаний, столько идей, концепций — на десятерых хватит,— продолжал он, внимательно наблюдая, как бегают карандаш Олега Ксенофонтовича по листку настольного, для памяти, календаря.

Написав несколько строк и подчеркнув одну из них, тот предупредил тотчас:

— Вы же знаете, я ничего не решаю. Могу лишь подсказать товарищам.

— Добрый совет двух решений стоит,— осторожно произнес Василий Васильевич, не позволив себе на этот раз не то что подмигнуть, но даже улыбнуться, чтобы таким образом не выразить сомнение в искренности хозяина кабинета.

На том и расстались. Олег Ксенофонтович проводил гостя до самых дверей и сердечно простился с ним. Оказавшись в коридоре, Василий Васильевич медленно двинулся по ковровой дорожке к лифту, порой даже останавливаясь и оглядываясь. На душе у него было смутно: слишком уж противоречивыми оказались чувства, которые испытал он, узнав, что Юрчиков отныне работает с Олегом Ксенофонтови-



чем. Здесь было и прошлое, проверенное временем, доброе отношение его к Геннадию, и возникшая в последние дни неприязнь, и досада, что отдал парня, хотя, как выяснилось, вполне мог бы оставить у себя, и облегчение, что не придется работать вместе, неизбежно вспоминая при этом о своих семейных неполадках. Василию Васильевичу сейчас бы радоваться столь удачно проведенной в этих стенах операции, помечтать о тех возможностях, которые открываются перед ним: шутка ли — иметь в своем распоряжении десять новых сотрудников, которые будут развивать его идеи, его концепции!.. А он в нерешительности, совершенно не свойственной ему, топтался в коридоре, поскольку никак не мог определить своего отношения к Геннадию, а значит, выразить это отношение в действии. Но так долго продолжаться не могло, Соловьев привык действовать незамедлительно. И если сразу же, не раздумывая не отправился из кабинета Олега Ксенофонтовича разыскивать Юрчикова, то это могло означать лишь одно: он не был готов к такой встрече. Оглянувшись в последний раз на двери, за одной из которых ныне работал его любимец, Василий Васильевич зашагал, как всегда, стремительно, так что ковровая дорожка, рассчитанная на сдержанных людей, обитающих здесь, заерзала у него под ногами.

Решение, принятое им, было правильным, что и доказали последующие события.

Они столкнулись возле лифта, когда Геннадий выходил из него.

— А-а! — насмешливо воскликнул Василий Васильевич. — Фараон египетский! Повернитесь, повернитесь, ваше высочество, поглядим, как вы смотрите на этом фоне...

Он безуспешно старался повернуть Геннадия и в конце концов сам был вынужден обойти вокруг.

— Непривычно, наверное? Другая среда, другие порядки... Ничего, обвыкнешься...

Он спрашивал и тотчас же сам себе отвечал не только потому, что был все же несколько растерян, но и потому еще, что Геннадий вел себя странно: молча, с вежливо-дружелюбной улыбкой смотрел он на суетящегося Василия Васильевича и взгляд его был зеркально-непроницаем, хотя и доброжелателен.

— Благодарю вас, я отлично вписался, — произнес он наконец громко и как бы несколько замедленно. — Вы ко мне? Нет? Тогда приветствую...

С этими словами, сделав скупой прощальный жест, Юрчиков неторопливо двинулся по коридору, и Василий Васильевич, оторопело уставясь ему вслед, невольно отметил, что идти ему по упругой ковровой дорожке удобно и приятно. Какое-то время Соловьев еще надеялся: Юрчиков повернется, рассмеявшись, скажет: «Вот как я вас, а! Получается?» Но тот исчез в глубине коридора, и Василий Васильевич, оскорбленный в лучших чувствах, поторопился покинуть место, где разыгралась нелепая сцена.

Впрочем, он довольно быстро пришел в себя, наконец-то определив отношение к Геннадию. Неблагодарный мальчишка — тут и думать было не о чем! Зато картина прояснилась: отцовские чувства, телячьи нежности побожу; как ни трудно, но он справится. Деловые контакты, не больше. Если бы Юрчиков не работал ныне с Олегом Ксенофонтовичем, и в этих контактах не было бы нужды. А со временем все встанет на место: Геннадий захочет и степень ученую получить и печататься... Как все.

Дежурный у входа, принимая пропуск из рук Василия Васильевича, почтительно откозырял ему, и это означало, что Соловьев, пока

спускался на лифте, уже успел обрести свое обычное душевное состояние и сознание своей значительности.

## XV

Никто не понимал, почему Гена Юрчиков вновь появился в институте. Приходил как на работу, иногда на пару часов, иногда на весь день. Больше сидел в библиотеке, но не избегал и лаборатории.

— Ты что, вернулся? — допытывались ребята.

— Работайте, товарищи, работайте, не отвлекайтесь, — отвечал Геннадий несерьезно.

Василия Васильевича он неуклонно встречал доброжелательно-вежливой улыбкой, но разговаривал, конечно, не столь демонстративно, как в коридоре главка. Соловьева не надо было учить дипломатии: он, в свою очередь, чуть изменил ракурс в общении с Геной — не обнимал за плечи, как прежде, не звал вместе пообедать и, уж само собой, не приглашал в гости, но и не держался принципа сугубо деловых контактов, как решил сгоряча. Сдержанно говорил: «Ага, не можете без нас, Геннадий Иванович! А храбрились!»

Причина, по которой его бывший любимец посещал институт, не была для него секретом; Олег Ксенофонтович, позвонив на днях, сообщил, что он просил нового сотрудника курировать некоторые работы, ведущиеся в институте. Для Василия Васильевича никакого труда не составляло узнать, что эти работы имеют отношение к диссертации Олега Ксенофонтовича.

Юрчиков не преувеличивал, сказав недавно своему бывшему благодетелю, что вполне вписался в новую обстановку. Конечно, многое казалось ему непривычным: и этот тон доброжелательно-непререкаемый, и подчеркнутая несуетливость, и не подчеркиваемая, но ясно ощутимая черта между сотрудниками, стоящими на разных ступенях служебной лестницы, — все столь отличное от институтской вольной атмосферы. Но Геннадий так примерно и представлял себе условия на новом месте, они не были для него неожиданностью. Неожиданным оказалось для него иное — Олег Ксенофонтович, обстоятельно расспросив о том, чем занимался он в институте, удивился:

— Что же вы не защитились?

Геннадий не стал высказывать свое мнение о диссертациях — оно относилось к прошлому, в новой жизни еще не оформилось. Ответил неопределенно: мол, некогда было...

— Напрасно, — сказал Олег Ксенофонтович с сожалением, непонятным Геннадию. — Не теряйте времени, потом поздно будет...

Юрчиков недолго раздумывал, поняв, что новая жизнь диктует ему свои условия. И в самом деле: кто он? Простой служащий. Случись что-нибудь — от ошибок никто не застрахован, — останешься на обочине, а то и вовсе полетишь в кювет. Не воспользоваться добрым отношением Олега Ксенофонтовича было бы глупо, тем более что он и условия соответствующие тотчас создал: поручил Юрчикову курировать некоторые институтские работы.

Билибин с Геннадием не захотел разговаривать: проходил мимо не здороваясь. Доброхотам, пытавшимся помирить их, отвечал так грубо, что самые настойчивые отстали, потеряв надежду на успех. Иннокентий Павлович возмущался чрезвычайно, словно Юрчиков преступление совершил. Да что там! Если бы преступление — еще попытался бы вникнуть, понять, может, и пожалел даже. А здесь и понимать нечего было — как на тарелочке: прикидывался, примеривался, принюхивался, его, беднягу, жалели, ему сочувствовали, Билибина втравили, заставили бегать по инстанциям, портить кровь себе и другим... Ловкий мальи, ничего не скажешь! Век бы его, хитрована, не видеть! И еще

долго бы Иннокентий бушевал, а возможно, и навсегда прервал бы всякие отношения с Юрчиковым. Но тут пришло время Иннокентию Билибину разрешиться. Он, наверное, и бушевал потому, что пришло время: все теперь воспринималось обостренно, на пределе. Теперь он знал, что находится на верном пути — в прессе появились сообщения: американцы тоже предлагают менять мощность луча, чтобы избежать ударной волны. Но и у них пока дело застопорилось.

И днем и ночью перед Иннокентием Павловичем маячили, дразнясь, две кривые на графике: одна реальная, дурацким колпаком, вторая прекрасная, словно след взлетающего реактивного истребителя, и недостижимая. Билибину в его поисках они были, в общем-то, ни к чему, но выполняли важную роль: словно кабалистический знак от вторжения темных сил, охраняли от навязчивых мыслей о тяжелых последствиях научного прогресса для человечества. Наука всесильна, она справится и с этой задачей, только вперед и вверх, иначе — дурацкий колпак! Примерно так можно было бы определить смысл символа, которым Иннокентий Павлович защищался от самого себя. И не без успеха. Апокалипсические видения пылающего земного шара отступали, вместо них воображение рождало иные, мирные образы. Так, например, однажды ему представилась странная картина: железнодорожная насыпь, поблескивающие рельсы, набегающие с грохотом колеса паровоза, рвущий уши гудок, которым машинист отпугивал мальчишек поодаль, — и счастливый результат, чудо мгновенного превращения, теплый, сверкающий лепесток, который только что лежал на рельсе старой монетой или ржавой гайкой. Именно эта идиллическая картина с набегающим паровозом и мальчишками, прильнувшими к насыпи, далеко продвинула Иннокентия Павловича на пути к истине. Незыблемой связью в его подсознании соединились два образа: расплюснутая колесами гайка и нарастающий в полуденном зное рев паровозного гудка. Он принялся за расчеты, еще не веря своей догадке. Она подтвердилась: чтобы мишень не разлетелась в первое же мгновение, скорость сжатия не должна намного опережать скорость звука; но чем сильнее сжималось вещество, тем больше увеличивалась в нем скорость звука, и, значит, скорость сжатия может нарастать.

Иннокентий Павлович размышлял о возможностях лазера — его воображение как раз и работало по принципу этого хитроумного прибора, накачивая мозг самой различной информацией от сложных формул до житейских картинок, имеющих хотя бы отдаленное отношение к сути дела. Рано или поздно перевозбужденный мозг должен был озариться ослепительной истиной.

Однажды под вечер, когда сотрудники уже торопливо распахивали приборы по шкафам и бумаги по столам, а сотрудницы, давно все распахав, неторопливо подкрашивались и пудрились, Геннадий заглянул в лабораторию. Там возле вакуумной установки в полном одиночестве и одичании сидел Иннокентий Павлович, скрестив руки на груди, раскачиваясь взад-вперед, словно баюкал еще не рожденного младенца. Геннадий отступил, потихоньку прикрывая за собой дверь. Равнодушно скользнув по нему взглядом, Иннокентий Павлович отвернулся, но в ту же секунду, подскочив, заорал в сильном возбуждении:

— Генка! Стой! Ты на каких режимах «Марту» гонял?

Юрчиков вернулся не колеблясь, доложил обстоятельно, глазом не моргнув, будто не было размолвки. Может, только в подчеркнутой бесстрастности тона таилась его обида, хотя он знал, что Билибину сейчас не до оттенков их отношений. Он даже не был уверен, что

Иннокентий Павлович слышит что-нибудь,— настолько отрешенным и бессмысленным казался его взгляд. Но Билибин слышал.

— Идиот! — рывкнул он вдруг, рубанув воздух сжатым кулаком.— А я-то голову ломаю! Ты вышел на импульс сверхсжатия, кретин!

Гена Юрчиков, приподнявшийся со стула при первом оскорблении, рухнул обратно при втором.

— Мамочка! — только и выговорил он.— Не может быть!

Билибин подскочил к окну, возле которого стояла на тренажерке грифельная доска довольно неприглядного вида, в царапинах-шрамах, следах битв идей, происходящих порой на ней, схватил мелок и стремительно принялся заполнять ее формулами. Юрчиков стоял за ним, только что не наваливаясь на спину, дышал в затылок.

— Ну? — победно воскликнул наконец Иннокентий Павлович, поворачиваясь к Юрчикову, хватая его за плечи и ожесточенно встряхивая.— Кто ты после этого?

— Идиот и кретин! — повторил ошеломленный Геннадий.

Дальнейшие события разворачивались стремительно и нелогично: в лабораторию ворвались люди, Иннокентия тащили от Юрчикова, он упирался, ругаясь, визжали женщины, какой-то негодяй в тенниске, с усиками мертво держал Билибина за руки, басил укоризненно:

— Иннокентий Павлович! Как не совестно, успокойтесь... Да перестаньте!..

— Прочь! — приказал Билибин, от возмущения топая ногой.— Генка, скажи им!

Юрчиков провел ладонями по лицу, а когда отнял их, такую безмерную радость выражало оно, что непрошенные защитники, обмякнув, стали нерешительно переглядываться, а наиболее осторожные потихоньку выскальзывать за дверь.

— Мы думали... — смущенно начал негодяй в тенниске, в котором Иннокентий узнал своего заместителя.

— Это мы думали! — закричал он гневно.— Мы! А не вы! Что это за манера — врваться, хватать за руки! Я вот тебе в следующий раз схвачу!

Вытолкав оробевших сотрудников, Иннокентий Павлович, все еще кипя, обратил свой гнев на Юрчикова: он наконец вспомнил свою обиду, о которой знали все в институте и которая лежала, несомненно, в основе инцидента.

— Между прочим, я себе слово дал с вами не разговаривать. Забыл, к сожалению...

— Не надо, — попросил Юрчиков жалобно.

— Не пойму я тебя. Вроде всегда был мужик... Петляешь, как заяц.

— Формируюсь, — пьяно улыбаясь, ответил Геннадий.

— И долго еще?

— Уже.

— Уже-е, — передразнил Иннокентий Павлович, понемногу остывая.— Оно и видно.

Они просидели в лаборатории допоздна, обсуждая достоинства и недостатки новорожденной гипотезы, которая, возможно, завершала многолетний труд тысяч исследователей и открывала перед человечеством невиданные перспективы. Тот день всем надолго запал в память. В институте годы спустя говорили, вспоминая о каком-либо событии: «Помнишь, Билибин Геннадия бил в лаборатории? Вот примерно через месяц...»

Олег Ксенофонович и Старик узнали об этой безобразной истории не сразу, а когда уже стала она фольклором. Первый из них, вы-

слушав объяснения Геннадия, только улыбнулся одними губами, а Старик накричал на Билибина, потому что тот уже точно не знал: то ли бил, то ли нет. А когда вспомнил наконец, что не бил, тут же заявил: хотел, но, к сожалению, помешали. И еще добавил деловито, как давно решенное: людей, которые из-за нравственной неустойчивости теряют на дороге бесценные идеи, надо физически убивать — желательно душить...

Но все это случилось позднее. А пока Юрчиков с Билибиным сидели в лаборатории, обсуждали бесценную идею. Геннадий сказал:

— Как вам пришло в голову? Я и думать забыл...

— Заметно, — злопамятно отозвался Иннокентий Павлович. — Когда человек забывает думать, сразу заметно. Что вот теперь делать? Локти кусать? Гипотеза еще не факт.

Юрчиков кисло пошутил:

— Ну, вы уж давайте... А я вроде как на общественных началах.

— Чудно! Субботники будем устраивать. Между прочим, учти: я сам гениальный. У меня других идей — навалом!

Первые восторги у них поостыли. Геннадий сидел, съезжившись, как от холода, Иннокентий Павлович принялся насвистывать унылый мотивчик.

— И черт меня дернул. Сколько неприятностей из-за тебя... Вот что, уважаемый. Поигрались — и хватит! Завтра пойдешь к Соловьеву...

— А почему не вы?

— А потому что я тебя умнее в двадцать один раз!..

Иннокентий Павлович умолк, поскольку еще не видел Геннадия вежливо-дружелюбным, с зеркально-непроницаемым взглядом.

— А у меня к вам покорнейшая просьба, — сказал Юрчиков громко и как бы нарочито замедленно. — Давайте, Иннокентий Павлович, забудем обо всем.

— Не понял...

— Я не возился с «Мартой», вас черт не дернул...

— У меня к тебе тоже покорнейшая просьба, — начал Иннокентий Павлович в таком тоне, что Юрчиков заранее встал, чтобы уйти, не дожидаясь просьбы. Но Иннокентий Павлович порядком утомился и не испытывал желания заниматься любимым делом — создавать легенды о себе, о своей нетерпимости, грубости, вспыльчивости и прочих грехах. Что поделаешь: у всех есть маленькие секреты; Билибину было бы скучно жить, не имея своего. И вместо того чтобы нагрубить, как собирался, — тут Гена не ошибся, — он закончил устало: — Просьба: взять карандашик, бумажку, прикинуть, что нам нужно, и с этой красиво перепечатанной бумажкой завтра явиться к Соловьеву.

Как порадовался бы Старик, услышав такую солидную, вескую речь! Иннокентий Павлович, вздыхая, вдабливал Юрчикову истины, которые полагалось знать уже ребятам старшей группы детского сада: что их идея может считаться их идеей лишь до тех пор, пока она не родилась, а с этой минуты она принадлежит обществу; что время великих открытий с помощью двух гвоздей и катушки крепких ниток давно прошло; что впереди непочатый край работы, если даже подключить человек десять — год обеспечен, условно, конечно, с удержанием пятидесяти процентов за испорченное оборудование, которое надо еще достать и которое сожрет значительную долю институтского бюджета...

Немного отдохнув на удачном, по его мнению, образе, позаимствованном из уголовного кодекса, Иннокентий Павлович постепенно воодушевился и закончил свое поучение той самой мыслью, которую позднее высказал Старик и которая во многом способствовала живу-

чести легенды об избиении Юрчикова, — мыслью о физическом истреблении людей, бросающих на дороге бесценные идеи.

Геннадия не убедила, не проняла даже эта достойная речь. Он обещал подумать, но для того лишь, чтобы вновь не обострять отношений с Иннокентием Павловичем. И только домашний анализ, проведенный бессонной ночью, показал, что выхода у него нет, к Соловьеву придется идти, хочет он того или нет. Он очень не хотел. Казалось, три года, которые он провел в институте, кричат сейчас ему каждым своим днем: не ходи!

Но многое изменилось, теперь он был человеком самостоятельным, и это внушало надежду.

Оставались еще его отношения с Василием Васильевичем. Ирина Георгиевна, едва он, отсидев ночь, вернулся из ярцевской милиции, позвонила в тревоге, а когда успокоилась, сказала со смущенным смешком: «Между прочим, Василий Васильевич, кажется, все понял... Я тебе просто в порядке информации...» Юрчиков от такой информации чуть трубку не выронил; уже потом, когда положил, обнаружил вдруг, что улыбается грустно и облегченно. Он и с Соловьевым в коридоре главка разговаривал демонстративно, опасаясь, как бы тот не потребовал объяснений, и в институте держался с ним отчужденно по этой причине... Улыбнувшись грустно и облегченно после информации Ирины Георгиевны, он мог бы и не бояться объяснений. Было? Да, было. Не такое уж страшное слово. Вроде бы выходило все гладко. Одного не мог себе представить Геннадий: как он, покинув институт и работая совсем в ином месте, сможет продолжать свои исследования? Наконец он понял: как раз за ответом на этот вопрос и посылал его Иннокентий Павлович к бывшему наставнику... Надо было идти!

Утром по дороге в институт Геннадий проигрывал в воображении различные варианты своего разговора с Соловьевым; еще не став человеком интеллигентным в полном смысле слова, Юрчиков уже приобрел эту дурную привычку, тем более дурную, что разговор всегда происходил по варианту непредусмотренному. В сильной своей сосредоточенности Юрчиков порой даже бормотал: «Если он так, то я так, а если он так, тогда я...» Прохожие смотрели на него с уважением, а придя на работу, рассказывали сослуживцам, что повстречали на улице молодого гроссмейстера, судя по всему, занятого подготовкой к ответственному матчу. Ход мыслей у гроссмейстеров, как известно, иной, но об этом известно далеко не всем.

Между тем проходим повезло куда больше, чем они предполагали: они встретили человека, который, возможно, вскоре должен был оказаться гордостью Ярцевска... А возможно, и нет. Все зависело от ряда обстоятельств, и первым в этом ряду стояло отношение Василия Васильевича к некоему открытому Геннадием явлению — к явлению, а вовсе не к самому Юрчикову, как думал тот в простоте душевной. Если бы речь шла о какой-нибудь ерундовой идейке, тогда Геннадий был бы прав. Но Василий Васильевич в таких делах хорошо разбирался.

Сначала он долго не мог понять, о чем идет речь, потому что Иннокентий Павлович поднял его утром, еще сонного, с постели. Сначала он понял только, что речь идет о Юрчикове, и выпуклые голубые глаза его, ясные после сна, как у ребенка, затуманились; с некоторых пор в этом доме имя Юрчикова не упоминалось. Он поскорей увлек своего друга под локоток на садовую скамейку, подальше от Ирины Георгиевны, и стал внимательно слушать. И едва он осознал удивительное сообщение, как тотчас все мелкое, личное, пошлое сторело в его душе, словно грязная ветошь в очищающем жарком пламени. Он даже не ощутил зависти или досады, хотя не многие на его месте удер-

жались бы от таких чувств. Все-таки именно он руководил три года Геной Юрчиковым, именно ему полагалось бы сейчас праздновать победу. Но Билибин есть Билибин — этим все сказано!

Юрчиков, которого утром некоторые прохожие принимали за гроссмейстера, думал, как начинающий: мол, он так, а я тогда этак... Василий Васильевич, которого никто не принял бы за гроссмейстера, потому что он не стал бы бормотать на улице, мыслил истинно как большой мастер — не отдельными ходами, оценивал позицию целиком.

— Ну пират! — воскликнул он восхищенно, увлекая Иннокентия Павловича обратно в дом теперь уже за плечи. — Ирочка! Ты когда-нибудь видела настоящего живого бандита?

Ирина Георгиевна опасливо выглянула из-за двери; она была в интимно-розовом воздушном халатике, который всегда действовал на Иннокентия Павловича возбуждающе.

— Мы с Геной, — он произнес это имя почти нежно, — три года бились над проблемой... в поте лица... шаг за шагом... Врывается этот старый разбойник... Блестяще!

Василий Васильевич продолжал рассыпать комплименты своему другу, не забывая, однако, и себя, грешного, — в этом и состояла его позиция. Наконец он прямо заявил, что будет счастлив отныне продолжать работу вместе с Иннокентием; при этих словах он не сумел справиться с волнением, и голос его, дрогнув, прозвучал несколько заискивающе. Но отчего было заискивать Василию Васильевичу? Он мог считать себя полноправным участником будущих свершений. И он быстро успокоился, поняв, что позиция у него надежная. Теперь его беспокоило иное. Хотя все мелкое, личное, пошлое в их отношениях с Юрчиковым уже сгорело в восхищенной душе Василия Васильевича, он вновь ощутил к своему бывшему ученику и сотруднику неприязнь, вспомнив, как уговаривал Геннадия остаться в институте. Тот поступил по-своему... Ну что ж, пусть теперь сам ищет выход из положения. Отпустят его из главка — милости просим, не отпустят — работы начнутся без него.

Все это Василий Васильевич изложил тотчас, особо напомнив про Старика, к которому бегал Иннокентий, и тот рассердился тоже и признал в сердцах доводы резонными. Однако, подумав, он попросил Соловьева поставить обо всем в известность Олега Ксенофонтовича, подтвердить официально то, что будет говорить ему Юрчиков.

— Разумеется! — воскликнул Василий Васильевич.

Тогда Иннокентий еще немного подумал и сказал:

— Я, пожалуй, вместе с тобой поеду. Я вчера Геннадия посоветовал к тебе явиться. Выходит, зря. Надо теперь парня как-то подбодрить, а?

— Ну подбодри, подбодри, — усмехнулся Василий Васильевич.

Подумав еще немного, Иннокентий Павлович спросил деловито:

— Значит, как мы договорились? Ты меня подбрасываешь в институт, а сам едешь в главка?

— Нет. Мы оба едем в институт и занимаемся своими делами. Если Олег Ксенофонтович поинтересуется нашим мнением, мы его изложим.

— А если не поинтересуется?

Соловьев развел руками.

— Но ты подумай! — заволновался Иннокентий Павлович. — Как это будет выглядеть! Я только помог Генке.

— Не скромничай! Он только подготовил материалы. Ты это знаешь не хуже меня!

— В конце концов, Юрчиков может просто уйти из главка!

— Может. Со скандалом. А со скандалом я его не возьму. Будет еще один.

— Ты же должен понимать: игра стоит свеч! — настаивал Библибин.

— Свечи нынче дорогие... Хорошо, я поеду к Олегу Ксенофонтovichу. И скорее всего вернусь несолоно хлебавши. У него есть серьезные причины, о которых ты не догадываешься. Я сделаю все возможное. Но если он не согласится отпустить Геннадия, тогда что? — осторожно спросил Соловьев.

— Не знаю, — хмуро ответил Иннокентий Павлович. — Не в моих это принципах... Генка работал три года.

— Под моим руководством, — напомнил Василий Васильевич.

— Какая разница?

— Для тебя никакой, для меня большая.

Василий Васильевич умолк. С ним происходило нечто удивительное. Несколько минут назад он ощущал себя только шахматистом, оценивающим позицию, все его мысли были заняты одним: дать понять Иннокентию, что и он причастен к событию, которое произошло вчера вечером. Но вот словно бы огненный гром оглушил лесную уютную тишину; игрушечная шахматная позиция стала реальным полем битвы. Василий Васильевич понял, что наступил счастливый миг, когда решается судьба сражения, которое он вел много лет, с тех самых пор, как почувствовал в себе великую силу.

Соловьев поднял голову. У него было вдохновенное и суровое лицо полководца, перед глазами которого в муках и крови падают сотни его солдат, но там, в глубине обороны противника, уже выигрывая сражение, может быть решающее судьбу всей войны. Только что он искренне радовался успеху Геннадия и восхищался талантом Иннокентия и был озабочен лишь тем, чтобы не оказаться в стороне от их успеха, потому что, по правде говоря, имел об исследованиях Юрчикова представление лишь постольку, поскольку использовал их в своей последней книге. Теперь он скорбел, видя, как падают боевые друзья, прошедшие вместе с ним трудный путь. Но победа без жертв не дается, тем более что в данном случае жертвы были условием ее. Еще одно усилие — а там подоспеет резерв, он и закончит битву. И битва станет историей, а Соловьев — ее героем. Иными словами — Основоположником, Корифеем. Никто не вспомнит о жертвах, на которые он вынужден был пойти, никто не станет разбираться в тончайших интуитивных его замыслах, когда он, еще не предчувствуя надвигающихся событий, обеспечивал себе резерв — тех самых новых научных сотрудников, которых должен был выхлопотать ему Олег Ксенофонтovich...

— Да! — произнес он наконец, и голос его, привыкший за эти мгновения к грохоту боя, прозвучал жестко и трубно. — Науку остановить нельзя!

Завтракали они молча и молча садились в машину. Перед Василием Васильевичем все еще стояли волнующие картины воображаемого сражения. Иннокентий Павлович, видя отблески в его глазах, злился, не зная, что предпринять. Как бы ни хвастался он, уверяя, что у него «своих идей — навалом», он прекрасно понимал: эта стоит всех других. Он и сам, конечно, мог бы поехать в главк или вновь попросить Старика вмешаться. Но буквально на днях он отправил Олегу Ксенофонтovichу неодобрительный отзыв на рукопись. Старик же все сделал, чтобы Юрчиков остался в институте, и теперь попросту выгонит недослушав. Действительно придурок парень, Василий Васильевич прав! Науку остановить нельзя! Пострадают потомки, за счастливую жизнь которых Иннокентий Павлович чувствовал личную ответ-



ственность, ощущая себя необходимым звеном между прошлым и будущим.

И все-таки Билибин обрадовался, когда Соловьев, высадив его у института, стал разворачивать машину, чтобы ехать в главк.

— Без Юрчикова не возвращайся! — напутствовал он своего приятеля.

Василий Васильевич уже вполне был готов отправиться в путь, перегнувшись, тянул к себе дверцу, которую придерживал ногой Билибин.

— Что еще? Что тебе? — нетерпеливо спросил Соловьев.

— В крайнем случае, — нерешительно произнес Иннокентий Павлович, — в крайнем случае обойдемся без него. Только в крайнем случае. Если уже никакого выхода не будет, слышишь? В конце концов, действительно, сколько можно с ним возиться!..

Не ответив, Василий Васильевич захлопнул дверцу.

По институту еще со вчерашнего вечера волнами ходили слухи. Билибина ждали с нетерпением. Пришлось задержаться в коридоре устроить небольшую пресс-конференцию, чтобы напустить еще больше туману. Вопросы сыпались со всех сторон.

— Правда ли, что вчера произошла драка между вами и Геннадием?

— Да, правда...

— Если не секрет, из-за чего?

— Нет, не секрет. Пришлось отстаивать честь и достоинство одной прелестной девушки, о которой дурно отозвался Г. Юрчиков.

— Как он отозвался?

— Сказал, что она искусственная блондинка, а это заведомая ложь!

Шум в коридоре, возгласы: «Мы серьезно спрашиваем!», «Противный!»

— А Юрчиков говорит, будто вы вчера глобальную идею выдали, это верно?

— Нет, неверно. Глобальные идеи я выдаю только по четвергам и только по предъявлении справки месткома о погашении задолженности в кассу взаимопомощи.

Шум в коридоре, протестующие возгласы: «Очень остроумно!», «Энтроспия!», «Противный!»

— Дамы и господа, — сказал тогда Иннокентий Павлович, обидевшись. — В таком случае я закрываю пресс-конференцию, благодарю за внимание, катитесь от меня к бабушке...

Надменным жестом раздвинув толпу, он отправился разыскивать Юрчикова, чтобы подбодрить его, а разыскав, быстро ввергнул в нервное и подавленное состояние — он передал ему содержание своего разговора с Соловьевым, но умолчал, разумеется, о своих последних напутственных словах ему. Оставив Юрчикова в таком состоянии, Иннокентий пошел по отделам, везде говорил гадости, ко всем придирался, так что все ополчилось на него и изгнали во двор, как стая мелких птиц изгоняет со своей территории злобредную ворону. Здесь, на скамейке в скверике, с весны до осени в обиходе именуемом «филиалом», но сейчас почему-то пустынным, Иннокентий мог спокойно, не дергая себя и других, ждать возвращения Василия Васильевича. Но какое уж там спокойствие!

Он сознавал, что в последнюю минуту предал Геннадия, и не мог понять, как это произошло. Только что он старательно защищал интересы Юрчикова, а вернее, свои принципы, только что чувствовал себя благородным борцом — и вдруг столь неприятная перемена. Если не знать, что Иннокентий Павлович поступил так во имя науки, то о нем

вообще можно было бы подумать дурно. Но кто бы мог подумать дурно? Не Соловьев же! А вокруг никого не было!

Тем не менее Билибин очень переживал свою оплошность.

Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы Юрчиков, оставленный на произвол судьбы в институтской библиотеке, не осознал вдруг, что надо бороться за дело, не рассчитывая на других. Как тогда, когда на таежной реке понесло их плот на камни и вся шарага попрыгала в воду... Он всегда был человеком решительным и только в последнее время растерялся...

Геннадий сорвал трубку с телефонного аппарата, как в поезде рвут ручку стоп-крана:

— Олег Ксенофонович! Соловьев у вас? Я прошу без меня никаких решений не принимать. Слышите? Сейчас приеду.

Отдав распоряжение своему начальнику, Юрчиков вышел из института на улицу, молча миновав Иннокентия Павловича. Здесь он загородил дорогу первой же попавшейся машине, и шофер почему-то не выругался, а распахнул перед ним дверцу.

## XVI

То, что произошло в институте три дня назад, было известно лишь четверым. А Старик уже прикатил в Ярцевск. Оперативность его была тем более поразительной, что за это время никто из четверых не вступил с ним в контакт.

Молодцевато откинувшись, Старик бойко постукивал каблуками по коридору, подчеркнуто уступая дорогу молоденьким лаборанткам, спешившим на обед, и бросая вызывающие взгляды на их спутников. Этих он, наоборот, выставив сухой локоток, старался задеть. Но только крайние эгоцентристы, с неохотой уступающие дорогу даже автобусам, не спешили сейчас податься в сторону: Старика узнавали сразу, хотя многие видели его впервые.

В последние годы Старик выезжал редко, каждая поездка становилась событием не только для окружающих, но и для него самого. Он мог бы, конечно, и не ездить в Ярцевск, вызвать к себе Соловьева и Билибина (Юрчиков пока был для него фигурой бесплотной), чтобы разобраться в их фантазиях. Однако у Старика сразу возникло предчувствие большой удачи; фантазия, которую можно просчитать, убедительней любой реальности.

Шеф шел по коридору, и Василий Васильевич, предупрежденный звонком снизу, ждал его в своем кабинете, едва удерживаясь, чтобы не броситься навстречу. Неожиданный приезд Старика вносил изменения в распорядок дня, как всегда точно расписанный у Соловьева. Среди других дел, которые можно было и перенести, имелось одно неотложное. На три часа он назначил встречу здесь, в институте, сотруднику ведомственного журнала. Вчера Соловьев позвонил в редакцию, сообщил, что назревает сенсация; железо следует ковать горячим, но прежде-то надо его нагреть! Он был опытен и осторожен, откровенничать с корреспондентом не собирался: несколько многозначительных намеков, общее направление, фамилии — и только. Ему нужно было еще до официального утверждения темы поставить ее в центре внимания, обеспечить всеми средствами, заодно накрепко связав со своим именем.

Но, с другой стороны, шеф явился словно по заказу. Все равно Соловьев собирался не сегодня-завтра отправиться к нему, чтобы добиться о многообещающих результатах, полученных в институте, добиться благоговения на продолжение исследований, которые он, Соловьев, должен будет с этого момента возглавить. Все другие сегодняшние заботы, конечно же, не следовало принимать во внимание.

Как всегда перед разговором с шефом, Василий Васильевич испытывал неприятное физическое напряжение, нечто вроде космической перегрузки, которую приходилось преодолевать усилием воли. Сегодня многое могло решиться в жизни Соловьева. Он не догадался о причинах визита шефа; зная не хуже других об удивительной осведомленности Старика в делах, он тем не менее не связывал визит с блестящим открытием, которое было сделано им, Василием Васильевичем, и его помощниками: поспешность Старика любому показалась бы невероятной.

И действительно, очень скоро выяснилось, что дело, которое привело шефа в Ярцевск, не имело никакого отношения к нынешним волнениям Соловьева. Оно тоже было чрезвычайным — настолько, что Василий Васильевич на время даже забыл о нетерпеливом желании получить от шефа согласие на продолжение своих исследований.

Старик потребовал представить перспективный план работы.

— Но мы уже давно представили! — перебил Василий Васильевич и, тотчас сообразив, что имеет в виду шеф, просветленно закивал, компенсируя таким образом свою несдержанность.

Речь шла о составленном еще года два назад проекте значительного расширения ярцевского института, о создании здесь целого научного комплекса. Проект за давностью считался надежно погребенным, о нем уже и вспоминать перестали, тем более что институт продолжал расти, не исчерпав возможностей проекта первоначального. И вот теперь, выходит, дело сдвинулось?

Старик продолжал толковать о новом плане, не вступая в объяснения, а только давая указания, как будто считал Соловьева простым исполнителем. Лишь после того как он замолчал, Василий Васильевич осторожно спросил:

— Есть новости?

— Есть. Пока неофициальные, не будем спешить, — ответил Старик.

«Не будем, так не будем», — подумал Василий Васильевич, прикидывая, кому бы из информированных знакомых позвонить после отъезда шефа, чтобы узнать эти самые новости. Если действительно проект вновь оказался на ходу, Соловьеву предстоял непочтатый край работы, следовало заранее подготовиться к ней. Пока же самое время было приступить к делу, которое так волновало его последние дни.

— Кстати, — проговорил Василий Васильевич. — И у нас новости.

— Это какие же? — отозвался Старик, помедлив самую малость, ровно столько, сколько требовалось.

— Поздравлять нас еще рано, — со скромным достоинством начал Василий Васильевич, но тут голос изменил ему, пророкотав торжествующе: — Первые результаты, однако, ошеломляют... Кажется, мы нашли новый подход...

Теперь он и не пытался сдерживаться, обнаружив, как изменилось нечто в его привычно-многолетних отношениях с шефом. Торжествующий рокот его голоса в одно мгновение разорвал невидимые путы, всегда связывающие его в присутствии Старика, он впервые ощутил в общении с ним свою собственную значительность. Василий Васильевич вроде бы продолжал отчитываться, но уже и на отчет это не было похоже: шла заинтересованная, достойная беседа двух крупных ученых, больше всего на свете озабоченных процветанием любимой науки. Шеф лишь изредка перебивал уверенно-плавный рассказ Соловьева требованием уточнить ту или иную деталь; за минувшие три дня Василий Васильевич успел разобраться во всех подробностях своего открытия, вопросы не застали его врасплох.

Старик уже утратил тот молодцевато-бойкий вид, с которым, про-

шествовав по институтскому коридору, появился в кабинете Василия Васильевича. Сухие складки, сбегающие с лица на шею, набрякли, отчего она заметно раздулась, придавая облику шефа недвусмысленное выражение грозной сосредоточенности, готовности в любой миг сделать опасный выпад. Василий Васильевич, зная отношение к себе шефа, прекрасно понимал его положение. Что и говорить, мало радости присутствовать при торжестве человека, которого много лет терпишь лишь по необходимости! Но он столь же хорошо знал, что личное отношение имеет свои пределы, если речь идет о важных делах: чем дело серьезнее, тем меньше пределы. К тому же торжество Соловьева хотя бы отчасти должно было разделяться самим шефом: как ученый он всю жизнь готовил то, что произошло на днях в институте; как лицо официальное тем более имел прямое отношение к работе ярцевских энтузиастов. Так что Василия Васильевича не смутила грозная сосредоточенность шефа. Зато Старик, впервые не сумев совладать с собой, выразил открыто свои чувства, разговаривая с Соловьевым, и это значило, что шеф наконец принимает его всерьез.

Все же Василий Васильевич несколько сбавил тон. Он особо отметил заслуги своих коллег-помощников Билибина и Юрчикова и впрочем, едва ученая беседа вновь сменилась административной прозой, поспешил вернуться в прежнее состояние. Как ученый, творец, он, возможно, приближался теперь к уровню, на котором находился Старик, но в служебном отношении находился намного ниже, об этом не следовало забывать.

Полностью в прежнее состояние Василий Васильевич не вернулся, да и не хотел возвращаться. В нем осталось нечто неуловимое от той беседы, словно у ошарашенного, долго домогавшегося взаимности любовника, который по-прежнему полон нежности и преданности, но во взгляде которого уже неуловимо торжествует удовлетворенная страсть.

— Вы мне не ответили,— осторожно напомнил он шефу.— Новые исследования включать в план?

— Какие же это исследования? Пока лишь игра умов! — раздраженно фыркнул Старик.— Билибинские парадоксы... В высшей степени занято и в высшей степени непонятно... Это нам знакомо. Нет, дорогой мой, поздравлять вас действительно рано!

Василий Васильевич понимающе усмехнулся. На месте шефа он ответил бы точно так же. Так отвечал он и на своем месте. В этих случаях не следует торопиться, энтузиаст должен вполне прочувствовать: его вдохновенный творческий порыв — фикция, элегантный полет мысли, не более, до тех пор, пока не отданы распоряжения, благодаря которым бесплотная идея становится реальностью.

Наивно было думать, что Старик бросится на радостях обниматься; если Соловьев и рассчитывал сегодня на решающий разговор, то скорее от нетерпения, от желания ускорить естественный ход событий. Он и сейчас не отказался от мысли поторопить их, не дожидаясь, пока шеф соизволит раскачаться. Например, воспользоваться влиянием Олега Ксенофонтовича или подключить редакцию.

Поняв, что от шефа сегодня ничего не добьешься, Соловьев несколько заскучал. Время подходило к трем, вот-вот должен был появиться сотрудник журнала, Василий Васильевич незаметно поглядывал на часы, соображая, как поступить. Можно было попросить корреспондента подождать, но еще лучше подсунуть кого-нибудь шефу вместо себя хотя бы на время, необходимое для беседы с прессой. Самой подходящей, вернее, единственно подходящей заменой был бы Иннокентий Билибин; тут шеф возражать не станет. Заодно пусть они выяснят между собой, что кажется Старика в высшей степени занят-

ным и что в высшей степени непонятным. Сам Василий Васильевич пускаться в теоретический спор не решался.

Извинившись, он на минуту покинул кабинет, чтобы отдать три распоряжения: если появился корреспондент — попросить подождать, срочно вызвать Иннокентия Павловича и принести чаю, до которого шеф, как все знали, был большим охотником. Чай подали почти следом; получилось, что Соловьев только затем и выходил. Билибин тоже скоро явился: наверное, узнал о приезде Старика, иначе не поторопился бы. Едва вошел в кабинет, сказал вместо приветствия:

— Между прочим, тебя корреспондент ждет с утра, а вы тут чай гоняете.

— Ну уж и с утра. Небось только пришел,— недовольно ответил Соловьев: он не хотел, чтобы шеф знал о сегодняшнем интервью.

Слово не воробей, но раз уж оно вылетело, Василий Васильевич не стал отступать.

— Впрочем, если вы отпустите меня на полчаса...

И тут Старик, отчужденно сидевший за нетронутым чаем, вдруг произнес очень любезно, обретая утраченное равновесие:

— Несомненно, дорогой Василий Васильевич. Пресса — одна из великих держав, так, кажется?

Настроение у шефа менялось прямо на глазах. Опали набрякшие складки на шее, он семеня по кабинету, без нужды трогая и переставляя сувениры-безделушки на столе и в шкафу, словно бы исполняя какой-то сложный старинный танец и в этом танце постепенно отступая к двери.

Перемена в настроении шефа насторожила Василия Васильевича. Он быстренько перебрал все возможные причины ее и решил, что шеф просто рад поводу закончить разговор, принявший неожиданный для него поворот. Василий Васильевич успокоился. Старик между тем в своем движении к двери незаметно миновал порог, не оборачиваясь и не замедляя шагов, по многолетней привычке уверенный, что его молодые коллеги или, по крайней мере, Иннокентий последуют за ним. Иннокентий Павлович действительно догнал его в коридоре, но прежде нетерпеливо спросил Василия Васильевича:

— Ну что?

— Поздравлять нас еще рано,— усмехнулся тот.— Просто игра умов и билибинские парадоксики!

— Ах, старая черепаха! — закричал Иннокентий Павлович и бросился из кабинета.

Некоторое время он молчал, сопровождая шефа и сильно страдая оттого, что не может выразить на людях свое возмущение. Так они и шли, пока Старик не обнаружил, что Иннокентий явно теснит его плечом, определяя их путь по коридору в неизвестном направлении.

— Идите, идите! — нервно сказал Билибин, когда Старик попытался воспротивиться.— Билибинские парадоксики, да? Игра умов?

— Подслушивал, что ли? — спросил Старик.— Некрасиво. Я разве тебе говорил? Не тебе сказано, не тебе и обижаться. Поздравлений ждешь? Пожалуйста. Поздравляю. От всей души.

— Не понимаю!

— И не надо. Скажи лучше: этот... Юрченко... вместе с тобой над темой работал?

Иннокентий Павлович принялся объяснять, как все получилось у них с Геннадием, Старик не дослушал.

— Значит, он — с Соловьевым?

— Как вам сказать,— замялся Билибин.— В общем, да.

— А в частности?

— Кто с кем, что почем! — опять разозлился Иннокентий Павло-

вич, испытывая то же самое чувство, что и Старик минуту назад, когда Билибин теснил его плечом в неизвестном направлении.— Спросите у них самих!

— Послушать Соловьева, ты с этим... Юрченко— простые исполнители. Ты, кажется, в академики собирался? Простые исполнители не баллотировались...

Они спустились во двор, подошли к машине, шеф попрощался, и Иннокентий Павлович тоже попрощался с ним, но тем не менее полез следом в машину, потому что посчитал разговор незаконченным: требовалось не то доругаться, не то выразить признательность— этого он еще не решил. Фокусы Соловьева он знал отлично и в академию скоро выборы— тоже правда...

— Господь бог выгнал торгашей из храма,— пробормотал он.

— Не верь, Кеша,— весело откликнулся Старик.— Храм был, торгаши тоже, бога не было! Зажирел ты, за себя постоять не можешь!

— Почему я должен стоять за себя?!— закричал Иннокентий Павлович.— По принципу кто первый пистолет выхватит, что ли? Миленький принцип! Особенно в науке! Или вы меньше меня заинтересованы в результатах?

— Ты в академики собираешься,— смиренно напомнил шеф.

— Я не вас лично имею в виду. И вообще, что вы от меня хотите?

— Ровным счетом ничего.

— Ну и до свиданья!

Иннокентий Павлович, не дожидаясь, пока машина остановится, приоткрыл дверцу с одним желанием: тотчас вернуться в институт и высказать Соловьеву все, что думает о нем.

— Погоди,— остановил его Старик.— Еще не все сказал. Новый проект утвержден.

— Теперь все?— нетерпеливо отозвался Иннокентий Павлович, не желая терять направления мыслей, чтобы не потерять одновременно и чувства, сопутствующие им.— Все?

— Не все. Ты ведь местный, кажется? Из Ярцевска? Отвези меня на самое высокое место, чтобы город весь на ладони. Есть такое?

— В другой раз,— ответил Билибин, даже не удивившись странному желанию шефа.

— Неужели трудно?

Самым высоким местом в Ярцевске была крыша блочного дома-башни в институтском городке. В запальчивости Иннокентий Павлович хотел предложить именно этот вариант, но прежде спросил:

— Зачем вам?

— Хочу представить, как здесь станет... лет через десять,— ответил Старик почему-то застенчиво, словно бы просьба его могла показаться нескромной и он требует того, что ему не положено.

Иннокентий Павлович понял шефа, но безжалостно промолчал. Однако он все же захлопнул дверцу и стал показывать шоферу дорогу к заросшему редким сосняком крутому обрыву километрах в двух от Ярцевска. Оттуда и впрямь город был виден как на ладони, во всяком случае, лет двадцать назад, когда Билибин с Соловьевым смотрели в последний раз с обрыва, решив поклясться в вечной дружбе.

Машина въехала на обрыв. Старик, подсеменя к самому краю, смотрел на город, лежащий перед ними,— старый, уткнувшийся в землю, и новый, словно белоснежная океанская флотилия, приплывший на сизых волнах дальнего леса и причаливший к ветхой пристани. Иннокентий Павлович решил, что шеф непременно начнет патетически объяснять, где разместятся по новому проекту корпуса, куда протянутся кварталы и улицы: они находились на возвышении и желание произнести речь было вполне закономерно.

Иннокентий Павлович не ошибся: шеф видел мысленно перед собой эти новые кварталы и улицы на месте ветхих домишек, обращенных ныне к нему лоскутами крыши. И думал он при этом возвышенно, хотя отнюдь не собирался делиться своими мыслями с Билибиным, попросту забыв, что тот стоит рядом.

Старик думал о том, что сроки, отведенные ему судьбой, кончаются и нет такой силы, которая отодвинула бы их. Он жил долго, долго вдвойне и втройне, если считать не по календарю, а по объему событий и свершений, из которых состояла его жизнь, и многое оставлял здесь, на земле. Но истинная старость, а вместе с ней равнодушие к жизни приходит лишь тогда, когда срабатывается мозг. Тут шефу до старости было далеко, судя хотя бы по тому, с каким изяществом он проводил свои служебные комбинации. Старик боялся смерти, как все, и даже больше, чем многие: для многих смерть — лишь небытие, для него она была к тому же концом свершений. Он понимал, конечно, естественность формулы «король умер, да здравствует король!». Свято место пусто не бывает, придут другие и продолжат его дело точно так же, как сам Старик продолжил некогда дело своего предшественника. Но Старик жил так долго, что сам уже не считал себя современником нынешних поколений, — его современниками были великие люди, давно лежащие в могилах. Как и положено старику, он относился скептически к нынешним своим коллегам. Конфликт между отцами и детьми всегда и везде решался в пользу детей, правда лишь тогда, когда они становились отцами. Этот день наступал, и никакие силы не могли отодвинуть сроки.

Так думал шеф, глядя с высоты на старинный, ветхий город, обреченный на гибель, а затем на блестящее возрождение.

К счастью, Старик умел видеть масштабно и поэтому привычно скорректировал невеселые мысли, навеянные, несомненно, недавним разговором в институте.

Он всегда считал высшей справедливостью равные возможности для всех. Высшей справедливостью и высшей целесообразностью. Он понимал, что значит это обстоятельство для общества, для науки — непрерывный и мощный приток свежих сил со всех концов огромной страны, еще совсем недавно, на его памяти, лапотной и купеческой. Стоило ли удивляться, что этот мощный живительный поток нес с собой мусор — древние, веками копившиеся привычки? Такая масштабность взгляда часто вырочала Старика; события представляли перед ним в своем истинном размере. Собственно, и шефом он смог стать благодаря этому замечательному качеству.

Вот, пожалуй, и все, чем мог утешиться Старик, размышляя о неприятном разговоре в институте.

Насмотревшись вдоволь на город и не порадовав Иннокентия Павловича патетической речью, Старик вернулся к машине, только и спросил с усмешкой:

— Твой-то дом еще стоит?

— Наш-то не тронут. В нем музей откроют. Вэ Вэ Соловьева! — ответил Иннокентий Павлович с прежней непримиримостью.

Шеф уже сожалел о своем неосторожном замечании, которое привело Билибина в столь возбужденное состояние. Не дай бог начнется склока! Она была бы сейчас совсем некстати, нарушив изящную комбинацию, которая начала складываться в голове Старика под конец беседы с Василием Васильевичем. Но не возить же Билибина с горки на горку, пока тот остынет.

— С Юрчиковым вам бы встретиться, — вдруг произнес Иннокентий Павлович совершенно спокойно.

— Обязательно! Вот как-нибудь приеду...

— Нет, сейчас! Вон он, Юрчиков-то!

Машина, спускаясь с пригорка, миновала родной дом Билибина, но не туда смотрел Иннокентий Павлович, а вперед и несколько в сторону, где стоял на отшибе старый, однако еще крепкий домишко на два крыльца, одно из которых ярко зеленело разводами свежей краски. Именно на этом крыльце Иннокентий Павлович заметил хорошо знакомую долговязую фигуру Гены. Не обращая внимания на протесты Старика, Иннокентий Павлович высунулся в окно и принялся изо всех сил звать Юрчикова. Тот вроде бы отозвался, даже спрыгнул с крыльца навстречу, но затем почему-то быстро повернулся и скрылся в доме. Когда же Иннокентий Павлович получил наконец возможность выйти из машины, то на крыльце уже стояла хорошо знакомая ему тетя Даша Селиванова, а на втором, с другой стороны дома, столь же хорошо знакомый ему Николай Фетисов, выскочивший на крики в одном исподнем, потому что как раз переодевался с работы.

— Ты чего, Кеша? — спросила Селиваниха.

— К тебе сейчас никто не заходил, тетя Даша? — спросил, в свою очередь, Билибин.

— Вроде нет. Все свои. Обознался, что ли?

— Иди к нам, Палыч! — гаркнул со своего крыльца Фетисов. — Иди в гости!

— Спасибо, ждут меня, — ответил Иннокентий Павлович, с недоумением глядя на Фетисова, который, хоронясь за дверью от соседки, подавал ему какие-то непонятные, тайные знаки.

К машине Иннокентий Павлович вернулся настолько озадаченный странным поведением своего молодого друга, что даже не сопротивлялся, когда Старик попросил его для пользы дела воздержаться от объяснений с Соловьевым.

— Да ну вас всех, — сказал Билибин устало и отправился домой, едва кивнув Старикау на прощание.

## XVII

Поведение Гены Юрчикова, которого Билибин увидел на крыльце у Селиванихи, могло показаться странным лишь на первый взгляд. Геннадий просто не был готов к объяснениям, а они неотвратимо созревали.

Бежав в дом, Юрчиков нервно хохотнул, стараясь скрыть растерянность:

— Пропали! Иннокентий Павлович!

Светка вскочила с полосатого, бодро пахнущего мочалой матраца, купленного вчера в хозторге и еще не поставленного на подпорки, заметалась, оправляя постель. Потом оба застыли перед дверью, взявшись за руки, с глуповатыми от напряжения лицами.

— Как войдет, сразу хором: «Поздравь нас, папочка!», — сказал Геннадий.

Светка кивнула.

— Говорил я, — зашептал Гена, — надо было по-человечески. Теперь красней из-за тебя!

Они услышали голоса Иннокентия Павловича и тети Даши за дверью, прижались друг к другу. Светка спросила:

— А зачем вернулся? Струсил?

— Очень, — ответил Юрчиков честно. — Ты своего родителя знаешь: не разобравшись и по шее даст...

Недели три назад Гена Юрчиков понял, что не может жить без Светки. Она нравилась ему давно, но осознал он свое отчаянное по-



ложение, когда Светка явилась в клуб в нежно-зеленом вязаном брючном костюме, который так ловко и плотно обтягивал ее полненькую фигуру, что девушка казалась существом мифологическим: не то сиреной, не то наядой. Кроме того, Геннадию стало ясно, что ходить в наядах ей осталось считанные дни или даже часы: там, где она проходила, загорались глаза мужчин и гасли глаза женщин.

Чувство, которое испытывал Юрчиков, оказалось совершенно незнакомым ему. Любовь он отождествлял с радостью, даже его странный роман с Ириной Георгиевной не был исключением. Сейчас Геннадий только злился. Да и как было не злиться, если вокруг Светки вечно вилась стайка поклонников и, судя по всему, он должен присоединиться к этой стае, чтобы рассуждать об авангардистах и поп-арте, стараясь оттеснить других. Собственно, он уже приступил к исполнению своих обязанностей: выбрав наиболее опасного, по его мнению, поклонника из второй лаборатории (красивый парень, походочка штангиста, медная цепка на бычьей шее), в мимолетном споре легко доказал, что тот бездарь и неуч. При этом он не только не испытал угрызений совести, но весь день находился в хорошем настроении, а к вечеру на правах победителя решил проводить Светку домой. Всю дорогу он нудно наставлял ее: нельзя жить одним днем, надо думать о будущем, пора взяться за ум — самого тошнило от поучений. Светка сначала добросовестно старалась понять свою вину, но потом прозрела и воскликнула:

— Генка! Ты влюбился в меня, что ли?

Ему бы ответить: мол, наконец-то сообразила,— или просто подтвердить ее догадку; наверное, он так и сделал бы, если бы Светка в этот момент не расхохоталась, очень довольная своим открытием. Она расхохоталась, а Геннадий почувствовал, что сейчас разрыдается. Не отзываясь на Светкины оклики, Юрчиков рванул в сторону. Два дня он ходил сам не свой, на третий отправился к Иннокентию Павловичу, придумав какой-то пустячный повод. Однако, увидев Билибина перед домом в шезлонге, набрался мужества и признался:

— Я к Светке...

— Валяй,— равнодушно разрешил Иннокентий Павлович.— Только зря. Время тратишь.

— Почему? — испугался Юрчиков, решив, что уже опоздал и Светку увели у него из-под носа.

— Чего-то она говорила... А-а, несет от тебя чем-то.

— Как несет? — совсем испугался Гена.

— Сейчас вспомню... Ага. Само дыхание, говорит, его ядовито и несет от него, паразита... Может, одеколон?

— Что ж я, пью одеколон, что ли? — забормотал Юрчиков.

— Да. Там про дыхание. Не подходит. В общем, я тебя предупредил.

И Билибин уткнулся в сборник «Американский детектив», который читал, когда пришел Юрчиков, не предполагая, что несколькими безответственными фразами мог ненароком изменить судьбу любимой дочери. По счастью, этого не случилось: Гена, сжав зубы от обиды и боязни отравить воздух ядовитым дыханием, ринулся в дом объясняться.

— Типично метафизическое мышление,— сказала Светка, когда Геннадий с порога заявил ей: или она станет его женой, или он сойдет с ума.

Сказав так, девушка уткнулась в грудь Юрчикову, и он, счастливый, понял, что сходиться ему с ума не надо и жизнь продолжается.

Впрочем, очень скоро, едва первые любовные восторги поутихли, он понял, что жизнь продолжается совсем не в том варианте, в котором он ее себе представлял. Жить в одном доме с Иннокентием Пав-

ловичем Юрчиков наотрез отказался, зная наверняка, что очень скоро испортит с ним отношения, и не желая их портить. А Светка отказалась покинуть родной дом и следовать за любимым куда бы то ни было, даже в новую квартиру, которую Юрчиков поклялся выбить в ближайшее время, а тем более в чужой, снятый угол.

— Геночка, мы чудно будем жить! — воскликнула она. — Ты у себя, а я у себя! Представляешь?

— Не представляю, — ответил Юрчиков.

— Но это же так просто. Вечная романтика. Без быта, тряпок, кухни, посуды... Только я, ты и любовь!

— Я не могу целовать тебя и одновременно думать: сейчас войдет нечаянно твой родитель и даст мне пинка, — мрачно сказал Юрчиков.

— В крайнем случае можно расписаться, чтобы не приставали.

— В крайнем случае... — горестно произнес Геннадий.

Светка поцелуем заглушила его жалобы и продолжала рисовать картины их семейной жизни, в корне, по ее мнению, отличной от мещанского счастья, о котором мечтают тысячи девиц в подвенечных белоснежных платьях и фате, свидетельствующих об их совершенной, как у Христовых невест, непорочности, и парней в строгих черных костюмах, лучше всяких слов говорящих об аристократизме их владельцев. Светка решительно не хотела вливаться в эту счастливо-безликую массу. Недавно ей на глаза попала статья в популярной молодежной газете, где высмеивалась пара молодоженов, решивших создать семью именно на тех принципах, которые излагала сейчас Светка. В статье, несомненно, был смысл, если, конечно, понимать его по определенному методу, то есть если делать выводы, противоположные тем, которые содержались в газете.

Гена Юрчиков, не зная, что за взглядами его возлюбленной стоит авторитет популярной газеты, хотя и весьма своеобразно использованный, продолжал отчаянно бороться за свое семейное счастье. Черт с ними, с подвенечным платьем, фатой и строгим костюмом! Но жить врозь во имя какой-то романтики?

— Смешной ты, — терпеливо объясняла Светка. — Любовь? В промежутках между чисткой картошки и мойкой посуды?

Наконец-то Геннадий понял скрытый смысл опасений своей любимой и просиял:

— Кого ты видишь перед собой?

Он горделиво выпятил грудь и стал бить в нее кулаком.

— Я вижу перед собой очень славного обезьяна, — с нежностью сказала Светка, поглаживая любимого по плечам. — У них этот жест означает угрозу. А у тебя что?

— У меня он означает похвальбу! — ответил Юрчиков. — Кого умоляют на сабантуях готовить шашлыки? Кто делает фирменное харчо по-ярцевски?

— И картошку ты умеешь чистить?

Юрчиков схватил ее на руки и закружил по комнате.

— Я царь природы! — заорал он. — Я умею чистить картошку и рассчитывать конфигурацию магнитных ловушек! Я знаю двенадцать способов удержания плазмы и четырнадцать способов мойки посуды!

Понимая, что следует с самого начала утвердить свое мужское достоинство, Юрчиков упрямо стоял на своем. Все доводы в защиту новой семьи, свободной от душного быта, он продолжал умело парировать, так что Светке пришлось признать себя побежденной и предоставить ему право устраивать их жизнь.

В тот же день Юрчиков отправился на поиски комнаты и вернулся к вечеру удрученным. Едва ли не в каждом ярцевском доме, где побывал Геннадий, он встречал своих, институтских, которые приветство-

вали его с радостью и провсжали с невольным облегчением: о чем с бездомным разговаривать? На третий день он окончательно упал духом, и Светка пожалела его, тем более что у нее в это время созрела очередная блестящая идея. На сей раз ей помогла телепостановка, в которой рассказывалось о прелестных друзьях-старичках, о жестокосердном внуке, который, решив жениться, уговаривал деда уйти в дом для престарелых, освободить ему комнату. Светку, как всегда, интересовала лишь информация, содержащаяся здесь, а выводы она, естественно, делала сама. Верная себе, Светка опять сделала выводы, совершенно противоположные тем, к которым стремились автор пьесы, знаменитые актеры, занятые в ней, а также работники телевидения, недавно в пятый раз показавшие постановку.

— Кеша! — подступила она к отцу. — Твое поведение противоречит нормам нашей передовой морали. Тебе не кажется?

— Кажется, — ответил Иннокентий Павлович легкомысленно, любясь славным, как майский день, обликом дочки.

— Не стыдно?

— Стыдно. А что?

— Бабушка живет совсем одна. Тебя это не волнует?

— Но она не хочет! — воскликнул Иннокентий Павлович.

— Все течет, все меняется, и ничто, Кеша, не остается постоянным, — меланхолически возразила Светка. — Вчера не хотела, сегодня мечтает.

— Говорила?

— Намекала.

— Ну что ж, — забормотал Иннокентий Павлович, в неприятном волнении начиная описывать привычные восьмерки по веранде. — Ее право... И наш долг...

— Наш святой долг! — поправила Светка сурово.

— Конечно, я не против... Пожалуйста, — вздохнул Иннокентий Павлович, ошарашенный неожиданным поворотом разговора, поначалу совсем безобидного, и такая безысходность послышалась в его голосе, что девушка на миг даже пожалела отца.

Бабка мыслила исключительно по второй сигнальной системе — сплошное рацио, к тому же построенное на литературной классике прошлого века, которую она так усиленно вдабливала в головы своих учеников-старшеклассников, что сама пропиталась за многие годы высокими принципами, как пропитываются запахами парфюмеры или повара; случай, по мнению Светки, почти патологический — классика эмоциональна, а бабка рациональна. Светка не то чтобы не понимала, на какую жизнь она обрекает своего безалаберного родителя, но просто не придавала этому никакого значения, поскольку была озабочена совсем другим. Вспыхнувшая на миг жалость к отцу разбудила дремавшую ее совесть, однако предохранители у Светкиной совести стояли надежные, они тотчас сработали, направив ее мысли в новое русло, и в результате весь разговор приобрел иной оттенок. Убедившись, что отец не хочет брать к себе бабушку, она пришла в негодование. Подумать только: свою родную мать, которая родила, выкормила, воспитала его! Старую, беспомощную и несчастную! Ее так возмутила неблагодарность и эгоистичность Иннокентия Павловича, что она едва удержалась от резких слов; в них не было уже нужды: пусть нехотя, но отец все же согласился с ней.

Не теряя времени, Светка отправилась завершать дело, которое так успешно начала в своем доме. Негодование против эгоистичного Иннокентия Павловича не успело остыть за те полчаса, которые ушли на дорогу, и к бабушке Светка вбежала с пылающими щеками. По-

скольку в этих переговорах она решила применить тот же хитроумно-простодушный прием, ее негодование пришлось как нельзя кстати.

Бабушка варила клубничное варенье. На электрической плитке стоял медный тазик, рядом старинные весы с разновесами, при помощи которых Билибина-старшая всегда стряпала, не доверяя глазу и продавцам, а по комнате плыл такой упоительный запах, что Светка едва не растеряла свою сосредоточенность и не воскликнула просяще: «Бабуль, дай пеночек!» Но она не стала размениваться на мелочи, воодушевленная важной целью.

— Бабуль, извини за нескромность, — начала она, едва переступив порог. — Кеша у тебя приемный сын или родной?

И продолжала в том же духе; мол, Кеша один-одинешенек, ходит голодный, неухоженный и скоро наживет себе язву желудка или что-нибудь похуже; она весь день на работе... Словом, отец очень просил бабушку переехать...

Светка произносила свою небольшую речь, одновременно окидывая бабкину комнату внимательным взглядом и невольно примеряя ее к той жизни, которая ожидает их с Геной. Получалось очень мило — комната была просторной и светлой; если избавиться от бабкиной рухляди и подкупить немного модерна, вполне на первое время подойдет.

Увы, остроумная затея рухнула, едва оформившись. Бабушка, не отрываясь от тазика с вареньем, который она то и дело встряхивала, преспокойно ответила, что до сих пор не замечала у сына особого желания жить вместе, а если теперь такое желание появилось и ему действительно плохо, то они с Иннокентием разберутся во всем без посредников. Попутно она заметила, что у правильно воспитанного человека разницы между родным и приемным сыном не существует.

— Ну и пожалуйста, разбирайтесь! — обиделась Светка, поняв, что потерпела решительную неудачу. — Стараешься тут, заботишься... Дай хоть пеночек!

Пеночек бабушка положила, правда негусто. Внучка мигом вылила плоское блюдечко, заев таким образом горечь поражения, и отправилась восвояси. Если бы бабушка не варила варенье, возможно, Светка так и пришла бы домой ни с чем. Но выйдя на улицу, она облизнулась, снимая розовым язычком остатки пенки с уголков губ, почувствовала еще раз вкус клубники и словно бы услышала старушечий умильный голос: «Я в долгу не останусь... Клубнички нарву...»

Вернуться к бабушке и узнать адрес тети Даши было для Светки минутным делом. А вскоре она уже поднималась по свежеевыкрашенным ступенькам к Селиванихе, широко раскинув руки, чтобы обнять свою дальнюю родственницу — славную сухонькую старушку, спешившую ей навстречу. О чем они говорили тогда, осталось их секретом. Однако уже на другой день Гена Юрчиков вместе со своей нареченной хозяйничали в доме Селиванихи.

Новоселье едва не нарушил Иннокентий Павлович, но все обошлось: тетя Даша, поняв затруднение молодых, легко сбילה его со следа.

— На старости врать научите, — сказала она, лукаво и кокетливо поджимая губы и подталкивая Юрчикова кулачком в бок. — Чего испугались, глупые? Родителям свадьба — радость. Эвон я — сучок сухой, без потомства, сравнить не с чем. Глянь-ка, Светик, на своих. Бабка — рожа корытом и дура дурой, хоть учителька. Кеша уже чуток посправней, поумней. Ты всем взяла, что личиком, что умом. А детки ваши вовсе королевичами родятся...

— Золотые слова! — гаркнул Геннадий, на радостях чмокнул Селиваниху в морщинистую щеку и рысцой отправился туда, откуда вернул его недавно неожиданный оклик Билибина, а именно к летней кухоньке во дворе, где у него на плите грелся с утра бак с водой.

Пока он возился с чадившей плитой, в доме тоже не сидели даром. Когда Гена вернулся, то едва не наскочил на странную фигуру, в которой с трудом узнал Селиваниху. На ней были остроносые красные, похожие на стручки перца, туфли, зеленое, в желтый цветочек, трикотажное платье, а седая голова повязана шелковой пестрой косынкой с изображением римского Колизея. В этом наряде тетя Даша стала похожа на престарелую американскую туристку, отбившуюся от своей группы и невестку как угодившую в Ярцевск. Светка сидела на матрасе и окидывала Селиваниху взглядом художника. Старухе не хватало лишь бус и браслетов. Туфли были совсем новые, вышедшие из моды только в начале года, трикотажное платье тоже новое, правда синтетическое, а косынки у Билибиных валялись по всей квартире, так что Иннокентий Павлович порой по рассеянности употреблял их совсем не по назначению, например когда приходилось на кухне прихватывать что-нибудь горячее. Выбирая наряды для Селиванихи, Светка останавливалась на них в первую очередь, потому что они, несколько старомодные, как раз и должны были понравиться этим тете Даше. Так оно и случилось: Селиваниха вертелась перед облезлым зеркалом в простенке и все восклицала взволнованно:

— Сорок пять — ягодка опять!

Юрчиков недолго любовался тетей Дашей в ее новом обличье. У него впереди был непечотый край работы. Пока на плите грелась вода, предстояло соорудить подпорки к матрасу, чтобы придать ему пристойный вид. У Селиванихи подходящего материала, а тем более инструмента, не оказалось, и Гена не раздумывая перемахнул через заборчик во двор к Фетисовым, где успел разглядеть хозяйство куда более серьезное, чем на своей половине. Вышедшему навстречу хозяину он, поздоровавшись, изложил свою просьбу насчет инструмента и обрезка доски. Фетисов довольно долго разглядывал его и наконец сказал, не ответив на просьбу:

— А я тебя знаю. Ты в первой лаборатории работаешь. На третьем этаже. Верно, нет?

— Точно, — сказал Юрчиков не колеблясь, хотя на самом деле все обстояло иначе. — Я тебя тоже знаю.

— Тогда заходи! — сказал Фетисов, обрадовавшись законному поводу отметить встречу, но, вспомнив о том, что он находится не в прежней, а в иной, новой жизни, которая диктует ему свои законы, быстро поправился: — Заходи вон в мастерскую, бери чего надо... Подпорки, говоришь? Ну и валяй, строгай!

Не успел Геннадий войти в мастерскую и взяться за пилу, как Фетисов, не выдержав, присоединился к нему. Некоторое время он скептически наблюдал за Юрчиковым, определяя его действия руководящими указаниями и очень низко оценив способности нового соседа, а в конце концов отобрал у него инструмент, заявив, что лучше сам все сделает, чем будет мучиться, глядя на такую халтуру.

Юрчиков, смутившись, не стал возражать, рысцой побежал к разгоревшейся плите, плеснул из бака в тазик и, покрякивая: «Бабоньки, брысь! Освобождай фронт работы!», — принялся за генеральную уборку в доме Селиванихи. Он мыл, скреб, оттирал все подряд — полы, стены, окна; тетя Даша только ахала, глядя, как преобразается ее порядком запущенное жилье, и повторяла завистливо:

— Повезло тебе, девонька, вот повезло!

— Это еще неизвестно, кому больше повезло, — отвечала Светка, посмеиваясь.

— Ну, давай считать, мне больше всех, — примиряюще сказала тетя Даша. — На старости лет бог деточек послал!

Селиваниха и правда была очень довольна, беспокоило ее лишь

одно: как бы этот тронутый, потерявший всякое мужское обличье, шлепающий мокрой тряпкой по полу, не втянул и ее в свою грязную работу. Поэтому когда Светка попросила Селиваниху сбежать в магазин, чтобы отметить новоселье, та с радостью согласилась. Светка вручила ей последнюю четвертную и вздохнула: придется завтра опять грабить Кешу и он, как всегда, начнет занудничать. Впрочем, теперь она знала, что и отец и бабушка — жуткие эгоисты, если бы бабушка освободила комнату, не пришлось бы на такие расходы идти...

Все было прекрасно! В доме совсем по-деревенски пахло мокрыми полами и тянуло дымком. Пестрый римский Колизей на голове тети Даши проплыл под окном к калитке, взяв курс на гастронм. Со двора доносилось шарканье рубанка, которым Фетисов обстругивал до блеска подпорки. Юрчиков, босой, в одних тренировочных штанах, яростно драил пол обшарпанным голиком... Светка бросилась животом на матрац, заболтала стройными ножками.

— Генка! — крикнула она. — Знаешь, я счастлива!

— На здоровье, — весело откликнулся Юрчиков.

— Только мне стыдно. Все чем-то заняты, а я бездельничаю. Хочешь, я тебе стихи почитаю?

— Давай.

Светка зажмурилась, одновременно наморщив чистый лобик — это было довольно трудно сделать, но зато придавало лицу соответствующее случаю выражение лирической скорби, — и начала нараспев:

Жизнь вернулась так же беспричинно,  
Как когда-то странно прервалась.  
Я на той же улице старинной,  
Как тогда, в тот летний день и час...

Запнувшись, Светка взглянула на Геннадия и вскрикнула:

— Что с тобой?

Юрчиков, пританцовывая, продолжал шаркать голиком по мокрому полу. Его бессмысленный взгляд застыл в одной точке и казался слепым, поскольку точка эта не находилась в комнате; подбородок повис, округлив рот; руки, только что энергично согнутые в локтях, вяло болтались, и движения ног стали расслабленными. Что-то знакомое, даже привычное почудилось Светке во всей нелепости облика Геннадия — она не успела вспомнить, вскочила в испуге с матраца. Но Юрчиков уже пришел в себя и, в свою очередь, со страхом уставился на Светку:

— Что с тобой?

— Ты был такой страшный, Генка! Ужас. Прямо дебил!

— Правда? — Юрчиков вновь активно заработал ногами. — Извини, задумался. Ты продолжай, я слушаю, очень хорошие стихи.

Те же люди и заботы те же, —

продолжала Светка, не спуская теперь глаз с Юрчикова. — Генка! Перестань!

И пожар заката не остыл...

Юрчиков встrepенулcя и опять энергично зашаркал голиком.

— Как бы тебе это объяснить... Мы тут с Иннокентием Павловичем одну штуковину придумали... Не поймешь ты... — Геннадий щелкнул с досады пальцами. — Он считает, надо новую установку строить, а я сейчас сообразил... Или нет... Постой... Как же это?

— Я все поняла! — закричала Светка, тряся его за плечи, чтобы не дать вновь уйти в себя. — Ты такой же сумасшедший, как Кеша!

— Польщен...

— Всегда подозревала: мама всю жизнь провела на гастролях, чтобы не видеть этот ужас! — страдальчески произнесла Светка.

Геннадий потянулся к ней и страстно зашептал:

— Я больше не буду, честное слово! Ты меня только сейчас отпусти, Светик, а? Я к Иннокентию Павловичу должен сбегать... Во как надо, понимаешь...

— Нет! — сказала Светка, глядя на недоминый пол.

— Я все сделаю. На полчаса только, я мигом, — бормотал Юрчиков, одной рукой обнимая Светку, а другой пытаюсь натянуть рубашку.

Когда за Юрчиковым закрылась дверь, Светка плюнула ему вслед, показала язык, затем нехотя взяла тряпку и принялась возить ею по грязным лужам на полу. «Конечно, Генка — второй тип личности, настоящий мыслительно-интуитивный, — подумала она обиженно. — Но он обманул меня! Подло обманул! Неужели мне придется всю жизнь чистить картошку и мыть полы?»

### XVIII

Неделю спустя Иннокентий Павлович, задумавшись, стоял в институтском коридоре возле открытого окна. День был яркий и ветреный, солнце скользило пестрыми пятнами по скамейкам и кустам, но Билибин сейчас весь мир казался одноцветным, расплывчато-неопределенным. Такое счастливое состояние сосредоточенности в последнее время все чаще приходило к нему: взбудораженный мозг продолжал работать, прощупывая новую проблему со всех сторон. Поэтому Билибин не испытал удовольствия, заметив, что мир вновь стал приобретать четкость и красочность. Через несколько минут уже можно было ясно различить на скамейке в скверике одинокую женскую фигуру. Откинувшись на спинку, раскинув руки, поигрывая ножкой так, что белая туфелька прыгала перед глазами, в позе вольной и неприступной сидела там прекрасная незнакомка. Время от времени она поглядывала в сторону Иннокентия Павловича, и тогда ее юное, яркое, смуглое лицо выражало нетерпение. Но тут же она резко встряхивала чернокудрой гривой, обиженно отворачивалась.

— Ой! — произнес Иннокентий Павлович, обретая полностью зрение и уже совершенно не жалея об этом, тем более что незнакомка, опять глянув в его сторону, не отвернулась, а, просияв, вскочила, едва не потеряв туфельку, и — чудо чудное! — подняла руку в трепетном приветствии.

— Поздравляю! — услышал он за спиной насмешливый голос.

Не ответив и даже не обернувшись, Билибин опрометью кинулся по коридору и дальше, дальше, дальше — по лестнице, во двор, вспоминая поспешно, не назначена ли у него сегодня деловая встреча с какой-нибудь аспиранткой. Однако когда он выбежал в сквер, там никого не оказалось. Вот тут она сидела, на этой скамейке... Не померещилось же ему? Невольно Иннокентий Павлович поднял взгляд на окно, возле которого только что находился. Оттуда с непонятной усмешкой смотрел на него Василий Васильевич.

Он тоже чрезвычайно заинтересовался девицей в сквере, хотя и по другой причине. Соловьев не находился в творческом экстазе, подобно своему приятелю, и поэтому довольно быстро признал в ней Светку Билибину, хотя чернокудрый парик с сединой и неумеренная косметика совершенно преобразили ее. Василий Васильевич остался у окна и стал свидетелем сцены, которую не мог видеть Иннокентий Павлович: возле Светки появился Гена Юрчиков, мгновение они стояли, держась за руки, словно бы молча любясь друг другом, а затем, не размыкая рук, бегом пересекли сквер, исчезли за углом.

— Ах черт, из-под носа увел! — самоуверенно объявил Билибин, привыкший к легенде о своей неотразимости, когда Василий Васильевич прояснил ему положение, не обмолвившись, конечно, ни словом о Светке. — Хороша-а-а!

Рассеяннo потеребив бороду, он заторопился в лабораторию, забыв тотчас всех и вся, потому что в полном соответствии с законом о переходе одного вида энергии в другой ощутил могучий позыв к научной деятельности. А Соловьев еще долго стоял у окна, словно бы рассчитывая вновь увидеть молодых людей. Настроение у него было хуже не придумаешь.

Всю эту неделю Василий Васильевич не сомневался, что события развиваются так, как нужно, что именно он руководит ими и направляет их...

Неделю назад, приехав в главк, Соловьев сообщил Олегу Ксенофонтовичу о делах в институте и смиренно попросил совета. С одной стороны, Юрчикова, поскольку тот уже работал над темой, следовало бы подключить к разработке, с другой — он ныне сотрудник главка и к тому же занят: курирует некоторые исследования в институте.

Соловьев, надо отдать ему справедливость, излагал факты совершенно объективно. Если его сообщение вызвало крайнее неудовольствие собеседника, который на этот раз даже не скрывал своих чувств, то вины Василия Васильевича здесь не было. Он даже испугался, как бы в главке сгоряча не решили расстаться с Юрчиковым, и поспешил отвести возможный и такой несправедливый удар от своего недавнего любимца, объяснив, что Геннадий Иванович даже не знает об этом разговоре. Олег Ксенофонтович, овладев собой, обещал подумать, посоветоваться. Судя по всему, он собирался недолго думать.

Словом, все шло как должно.

Сегодняшнее утро нарушило эти точные расчеты. Позвонил Старик и любезно осведомился, не будут ли возражать в институте, если на некоторое время отзовут Билибина. Василий Васильевич замер. Перед ним вновь пронеслись недавние честолюбивые мечты, воинственные видения, где ему была отведена роль Полководца, Корифея. Судьба, похоже, продолжала воровать ему! Если Билибин уйдет из института, можно будет немедленно и с полным основанием приступить к разработке темы.

— Надолго? — спросил Соловьев.

— Несколько месяцев, самое большее на год, — ответил Старик, и Василий Васильевич окончательно возликовал.

Но он не дал эмоциям возобладать над рассудком, ответив, что факт этот был бы для института и лично для него весьма прискорбным и лишь в крайнем случае...

— Да, да, именно... — перебил его Старик.

Соловьев не стал спрашивать, куда направляют Иннокентия: шеф наверняка посчитал бы такое любопытство излишним и ответил бы какой-нибудь любезной гадостью.

Едва закончив разговор, Василий Васильевич заторопился к Билибину. Глядя прямо в глаза своему другу детства и помаргивая от желания выглядеть честным, Иннокентий Павлович принялся клясться и божиться, что для него, как и для Василия Васильевича, звонок Старика — совершенная загадка. Он даже предложил немедленно выяснить все, но вдруг передумал, заявив, что позвонит Старику попозже, поскольку сейчас должен закончить одно неотложное дело... Сделав вид, что вполне поверил клятвам Иннокентия, Василий Васильевич вернулся в свой кабинет.

Он привык идти навстречу житейским штормам. Набирая номер главка, Соловьев уже знал, что будет говорить Олегу Ксенофонтовичу.



Сначала информировать — ради этого, собственно, он и снял телефонную трубку. А дальше как получится...

Получилось хорошо. Но не очень. Олег Ксенофонтович сердечно поблагодарил и сказал, что он в курсе. Тогда Василий Васильевич произнес, стараясь, чтобы голос его звучал не слишком жизнерадостно:

— Ну и ну! Билибин... А раньше — Юрчиков! Кстати, с ним что-нибудь прояснилось?

— Да,— помедлив, ответил Олег Ксенофонтович.— Он тоже. Видите ли, мы тут посоветовались... Сибиряки строят новую установку. Нужны опытные кадры. Просили помочь.

— Но позвольте! — начал было Василий Васильевич, едва не срываясь на крик, потому что ему тотчас стало ясно: его провели, и все его великолепные стратегические замыслы тают, как случайный снежок, выпавший теплым весенним днем. И еще он подумал: Старик! Знакомый злодейский почерк, недаром он издавна опасался шефа.— Позвольте... Кто же будет курировать у нас вместо Геннадия Ивановича? — вывернулся Василий Васильевич в последний миг.

И счастливо вывернулся, потому что услышал очень странный ответ:

— Никто.

— Если вас интересуют эти материалы, мы можем, так сказать, своими силами...

— Благодарю вас,— душевно произнес Олег Ксенофонтович.— Не нужно. Сейчас это уже не имеет значения.

Неделю назад Олег Ксенофонтович был крайне недоволен, что его новый сотрудник, едва приступив к работе, собирается оставить ее. А сейчас для него не имеют значения даже материалы, которые готовил ему Геннадий. Выходит, он рассчитывает на что-то большее.

Соловьев положил телефонную трубку с таким почтением, как будто он держал сию минуту за руку самого Олега Ксенофонтовича. Ну что ж, таких ребят и пропустить вперед не обидно. Валяйте, жмите, мы притормозим! Так утешал себя Василий Васильевич, но слабое это было утешение. И словно бы в насмешку, словно бы желая поставить все на свое место, судьба продемонстрировала ему Светку Билибину под руку с Геной Юрчиковым. Ему бы радоваться, что у Гены новое увлечение и, значит, Ирина осталась при своих интересах, ему бы позлорадствовать, представив себе, как он изобразит жене трогательную встречу молодых людей. Василий Васильевич вроде бы и радовался и злорадствовал. Но — удивительное дело! — вместе с тем явно ощущал неприязнь не только к Юрчикову, но и к его новой возлюбленной. Если же вдуматься — ничего удивительного: несмотря ни на что, он продолжал высоко ценить жену, ее неудачи стали и его неудачами.

Василий Васильевич не заблуждался насчет отношений Юрчикова со Светкой, но вот отношения Геннадия с Олегом Ксенофонтовичем оценивал неправильно. На самом деле все выглядело не так, как представлял себе Соловьев, порядком огрубевший в той атмосфере расчетливой деловитости, в которой жил уже много лет.

На самом деле Геннадий, примчавшись в главк, просто-напросто выложил сторяча перед рассерженным своим начальником трехлетнюю историю деловых отношений с Василием Васильевичем, в том числе и историю открытия, из-за которого сейчас разгорелся весь сыр-бор. Олег Ксенофонтович был достаточно умным и опытным человеком, чтобы не поверить рассказу Геннадия. Вернее, он расценил этот горячий, не слишком связный рассказ как одну из версий истины. Если бы Олег Ксенофонтович захотел выяснить истину, он выслушал бы не только Юрчикова, но и Соловьева, а затем других со-

трудников института. После этого он привел бы истину в соответствие со своими взглядами и принял бы решение: Юрчикову посоветовал бы встать выше мелочного тщеславия и самолюбия, а Василия Васильевича упрекнул бы в невнимании к росту молодежи. Поскольку советы Олега Ксенофонтовича воспринимались многими как приказы, конфликт разрешился бы сам собой. На этот раз Олег Ксенофонтович по вполне понятным причинам не стал ничего выяснять. Он позвонил Старику и очень деликатно попросил его разобраться во всем.

Старик отличался от Олега Ксенофонтовича, как и от многих других, тем, что не искал истины столь сложным путем. Он вообще не искал ее. Истина находилась всегда при нем. Он просто вызвал Иннокентия Павловича и сказал:

— Возглавишь рабочую группу, Кеша.

— Не уверен,— ответил Иннокентий Павлович.— У меня своих дел по горло.— Билибин поелозил по нему ребром ладони столь энергично, как будто хотел перерезать.— А что же Соловьев? Формально он вел тему.

Старик весело блеснул мелкими фарфоровыми зубками.

— Мы не формалисты, Кеша! И в этом наша сила. Впрочем, если ты настаиваешь...

— Я не настаиваю,— поспешно проговорил Билибин.

Морщины на лице Старика сложились в добродушную разбойничью улыбку, и обескровленные возрастом губы вытянулись так, словно изготовились к лихому, леденящему душу одинокого путника посвисту. Недаром Василий Васильевич всегда опасался шефа, предчувствуя, что когда-нибудь этот лихой посвист остановит его посреди дороги. Соловьев, счастливо-озабоченный, еще спешил к своей давней мечте, неожиданно открывшейся за поворотом, а посвист уже несся по окрестностям. Василия Васильевича пора было останавливать. Старик терпел его как человека нужного. Но теперь Соловьев мог предстать перед всеми в ином, куда более авторитетном качестве. И тогда он лишь пожал бы небрежно плечами, услышав лихой посвист шефа. Не для того Старик полвека отражал, порой в одиночку, варварские налеты на Храм Науки, прослыв его ревностным хранителем, и заботливо оберегал его истинных жрецов, чтобы равнодушно смотреть на триумфальное шествие по нему Василия Васильевича... Старик понимал, что упустил время: сейчас никто не позволил бы ему всерьез расправиться с Василием Васильевичем. Осталось лишь осуществлять свои хитроумные комбинации.

Все это, однако, лежало скорее в области эмоций, и шеф несомненно справился бы с ними, если бы не счастливое совпадение: сибиряки действительно просили помощи, институт у них организовался недавно и занимался как раз теми проблемами, на которые вышли Билибин с Юрчиковым. Забрать из Ярцевска Соловьева было невозможно — при этом неминуемо оголился бы слишком обширный и ответственный участок работы, особенно сейчас, когда ярцевский институт превращался в научный комплекс.

И та и другая версия истинной причины, побудившей Старика принять свое решение, были равноправны, и никто не решился бы усомниться во второй из них. Кроме Василия Васильевича, который давно знал отношение к себе шефа.

— Так-то, Кеша,— сказал Старик.— Собирайся. Отправим вас на полгода к сибирякам. Это тебе не Ярцевск. Возможности другие, мощности неограниченные. За полгода сделаешь в десять раз больше, чем здесь.

— Не поеду! — закричал Иннокентий Павлович в крайнем возмущении.— Там холодно! Я не люблю, когда холодно! Прощайте!

Однако он не ушел, а сел в кресло и, скрестив руки на груди, торжественно заявил:

— Категорически!

— Вот и договорились,— миролюбиво сказал Старик.

Судя по всему, он находился в отличном настроении и наслаждался каждой минутой своего недолгого уже бытия, как маленькими глоточками доброго вина. Все сейчас было приятно ему и все приятно. И чудесный летний денек, врывающийся в открытые окна солнцем и ветром; и старинное кресло, давно уже принявшее форму его тела, поэтому спокойное и удобное, как разношенный ботинок; и громадный, на полкомнаты, стол, заваленный горками бумаг, которые Старик не разрешал убирать, похожий на артиллерийский миниатюр-полигон не только по форме, но и по содержанию — каждая горка бумаг была целью, требующей своего расчета. И приятен был Кешка Билибин, самый талантливый и непутевый из его учеников, и неизвестный ему пока паренек Юрчиков, и корректнейший Олег Ксенофонович, весьма кстати попросивший помощи. Но более всех приятен ему казался сейчас Василий Васильевич Соловьев. Старик думал о нем почти с нежностью.

Между тем Иннокентий Павлович вскочил с кресла и пересел в другое.

— Ни о чем мы не договорились!

Он вел себя так, как ведут себя актеры в многосерийном телефильме, пытаясь хотя бы таким нехитрым способом возместить полное отсутствие событий. Но здесь имелось лишь внешнее сходство. События, наоборот, развивались так быстро, что Иннокентий Павлович метался между ними не в силах решить, держаться от них в стороне или поспешать навстречу. В конце концов он обещал подумать и уж совсем было покинул кабинет шефа, но вернулся, вспомнив, что не сказал главного. Он застал Старика с телефонной трубкой в руке и, чтобы не мешать, скромно уселся в сторонке.

— Минуту, Олег Ксенофонович,— сказал Старик, прерывая начавшийся разговор.— Ну что тебе?

— Спросите, он Юрчикова отпускает?

Старик, пожевав губами, проглотил ответ и только сердито махнул рукой в сторону двери. Но Иннокентий Павлович и не думал уходить.

— Вот так, видимо, и решим,— сказал Старик в трубку, продолжая все энергичнее указывать Иннокентию на дверь.— Билибин — руководитель... Еще сотрудников подкинем... Хотелось бы человека основательного, ответственного. Нет, Соловьева мы передать не можем...

Старик говорил теперь, не обращая внимания на Иннокентия Павловича, но именно поэтому тот понял, что пора покинуть кабинет: от шефа холодом, как сквозняком, тянуло.

— Подумаешь, тайны,— бормотал Билибин, выходя.— Конспираторы!

— А я, грешным делом, их фантастами посчитал,— сокрушенно сказал Старик, продолжая разговор.— Вас еще догматиком, бюрократом, перестраховщиком не обзывали? Меня уже...

— Побольше бы таких догматиков и перестраховщиков,— почтительно ответил Олег Ксенофонович, которому Старик внушал те же чувства, что и другим.

— Вы думаете? — с сомнением спросил Старик.— А я, признаться, решил: не пора ли на покой? Сидишь в кабинете, руководишь... вче-

рашним днем.— Он вздохнул глубже и громче, чем это требовалось для естественного выражения чувств.— Иной раз примешь решение — и вдруг как обухом по голове: батюшки, что же ты делаешь! Какое нынче тысячелетье на дворе? Вчерашний день науки поддерживаешь! То безнадежно устарело, это новейшими данными опровергнуто... Ну, вам этого не понять, вы еще молоды...

Олег Ксенофонович в это время мучительно старался понять, случайны ли сетования Старика, почти дословно совпадающие с оценкой Билибиным работы Олега Ксенофоновича, или они следствие фантастической осведомленности собеседника, о которой он был наслышан не хуже других?

— Уничуждение паче гордыни,— овладев наконец собой, укоризненно произнес он.— Но вернемся к делу. Скажу честно: не хотелось бы мне с Юрчиковым расставаться... Отличный работник.

— Зачем же вам расставаться? И не надо,— проворковал Старик, удерживая смех.— Мы вас в ту же группу включим, и работайте на здоровье вместе... Я вам завидую. Побудете на переднем крае науки, на самом переднем... Вернетесь через полгода совсем другим. Тогда вас никто не назовет бюрократом и перестраховщиком, как меня.

Олег Ксенофонович промолчал, вновь стараясь понять природу странных совпадений в этой необычной беседе. Вчера вечером его пригласили в кабинет этажом выше и спросили, не согласится ли он некоторое время, положив полгода, поработать в группе Билибина, помочь товарищам-ученым, поскольку главк чрезвычайно заинтересован в новых исследованиях. Для Олега Ксенофоновича предложение не было неожиданным. Оно явилось логическим завершением докладной, представленной им недавно, где он подробно и с большим знанием дела поведал о перспективах открытия ярецевских ученых. Над докладной он и Гена Юрчиков просидели два дня не разгибаясь. Правда, Олег Ксенофонович до сих пор не знал, как отнесется Старик ко всей этой истории. Теперь, кажется, все стало на свое место.

...Вот как было дело, а совсем не так, как представлял себе Василий Васильевич, удрученный своим поражением.

Вечером Соловьев отправился в город, в Дом культуры. Ехал он туда без всякой цели, просто хотел как-то восстановить душевное равновесие, утраченное утром. «Зачем мне все это? — огорченно думал Василий Васильевич, вяло выкруливая среди потока машин и не пытаясь, как всегда, пробиться вперед.— Весь день среди людей, и все хотят получить, взять, выхватить. Ах, люди, люди!.. Когда же вы людьми станете?» Едва Василий Васильевич подумал так, ему и полегало. Не потому что он открыл для себя какую-то истину, а потому что понял, зачем едет в Дом культуры. К Люсе он ехал, к милой наивной женщине, которая ничего не требовала, была довольна всем, даже не захотела устроиться лучше...

К счастью, Люся оказалась на месте—ее пестро одетая, легкая фигурка привычно порхала в анфиладе старинного особняка. Василий Васильевич не сразу подошел к ней. Последнее время они встречались лишь здесь, в Доме культуры, когда Соловьев приезжал по делам. Поздороваются, он поцелует ручку, склонившись низко, чтобы скрыть некоторую неловкость, и побежит дальше. Иногда задержится на минутку, спросит торопливо: «Как жизнь, Люсенька?» «Лучше всех!» — заодно улыбнется Люся, и ее наивно-раскосые глазки грустно облакают Василия Васильевича. Кто знает, какие изменения произошли у нее в жизни за этот срок? Может быть, нашла человека, который тоже считает преступлением раз в месяц не посещать картинную галерею, и теперь ей до Василия Васильевича дела нет. В том настроении, в котором он пребывал, это было бы крайне неприятно...

Но все обошлось благополучно. Соловьев спросил, свободен ли у нее вечер, и Люся, не сумев скрыть радости, тут же на людях потянулась к нему, и Василий Васильевич с трудом удержался, чтобы не ответить тем же. Он ждал девушку как истинный влюбленный — нетерпеливо и покорно. И потом, в ресторане, куда они отправились ужинать, и дома, куда они поехали из ресторана, Василий Васильевич все вздыхал, растроганно глядя на раздумянившееся от вина и внимания Люсино лицо, говорил ей нежные глупости, от которых она замирала, и только удивлялся тому, как мог он до сих пор относиться к ней столь равнодушно. Лишь на несколько минут Василий Васильевич покинул Люсю: извинившись, зашел в спальню, где на тумбочке стоял параллельный телефон, позвонил жене, сказав, что придет поздно. Люся, конечно, знала, что ее друг женат, но зачем напоминать об этом лишний раз. Предупредив Ирину Георгиевну и одновременно убедившись, что она не собирается в город, Василий Васильевич повеселел и поспешил к своей гостье, по дороге прихватив с тумбочки засохший букет: тронутые тленом крупные лепестки цветов, кое-где еще горевшие алыми прожилками, свисали грязными тряпочками, пахли гнилью, плесенью, черт знает чем. Соловьевы летом редко навещали городскую квартиру, а в последнее время в особенности. Соловьев поскорее отнес эту гадость на кухню и брезгливо пошвырял в мусоропровод один за другим хрусткие стебли. Он не узнал их, этих мексиканских красавиц с клумбы Иннокентия, ему не пришлось думать о том, как они попали в его дом. Так что он вернулся к Люсе по-прежнему нежным и умиротворенным.

Им было очень хорошо в этот вечер. В милых, без ретуши, круглых, как вишенки, Люсиных глазах Василий Васильевич отражался словно в волшебном зеркале — человеком необыкновенным, едва ли не тем самым былинным богатырем, судьба которого несколько напоминала судьбу самого Соловьева. Если даже сделать скидку на восторженную наивность девушки, то и тогда ему оставалось немало. Он очень нуждался сегодня в поддержке; в конце концов, не столь уж было важно, откуда она исходила, главное, вернулось к нему ощущение собственной значительности, утраченное утром.

Люся дремала, свернувшись клубочком, жалко было будить. Василий Васильевич с уважительным удивлением вглядывался в ее кроткое, расслабленное сном лицо. Подумать только: этот розовый клубочек с острыми коленками и локтями, безмятежно посапывающий в подушку, вернул ему не только веру в себя, но и веру в человечество, в котором Василий Васильевич совсем недавно, по дороге в Дом культуры, видел одни пороки.

— Маленькая, пора.

Пока Люся собиралась, сонно позвякивая застегками, Соловьев нетерпеливо шагал по кабинету, досадуя на то, что не решился объявить жене о своем намерении остаться в городе. Ничего бы с ней не случилось за ночь; ему же теперь придется среди ночи гнать в Ярцевск. И не в том дело, что гнать, а в том, что Василий Васильевич ощущал сейчас такой душевный подъем, такую ясность мыслей — сидеть бы и работать, работать! Мысль о поражении, которое он потерпел утром, уже не приводила его в уныние, наоборот, возбуждала, звала к действию.

— Я готова...

Люся стояла перед ним с раскрытой сумочкой — подкрашивала губы.

— А? Да, да, — встрепенулся Василий Васильевич, потянувшись к куртке.

— Не надо,— сказала Люся, робко поглаживая его плечи.— Ты не выпшишься. У тебя столько дел, а ты не выпшишься. Я такси найду.

Василий Васильевич, конечно, не стал ее слушать, отвез домой, даже проводил до подъезда, и она, тронутая таким вниманием, не отпускала его еще несколько минут, все порываясь опять спросить о чем-то очень важном, интимном. Здесь, на улице, Люсины вопросы уже не волновали так Василия Васильевича. Почувствовав, наверное, его настроение, она наконец решилась.

— Я давно хотела сказать,— стыдливо произнесла она, теребя в руках сумочку.— Я веду себя аморально... Но все равно горжусь... Столько вокруг женщин, а ты выбрал меня... Такой умный, такой знаменитый...

Василий Васильевич насторожился в дурном предчувствии. Неужели она в последнюю минуту все испортит, все сведет к банальному объяснению: хочу быть вместе... всю жизнь рядом. А может быть?.. Нет, не может. По всем расчетам! Он осторожно привлек ее к себе.

— Что-нибудь случилось?

— Я, наверное, скоро выйду замуж,— отчаянно произнесла Люся.

— Поздравляю, маленькая,— произнес он, поскучнев.— Ты упрекаешь меня? Мы прожили с женой большую, трудную жизнь. И было бы подлостью сейчас бросить ее. Ты понимаешь это?

— Что ты! — испуганно перебила Люся.— Я совсем о другом. Я не хотела говорить...

Василий Васильевич, опустив голову, уныло переминался с ноги на ногу. Честное слово, у него болезненно сжалось сердце! Он даже обрадовался, приложил ладонь к груди. Люся заметила и схватилась испуганно за щеки.

— Ну, хочешь, все останется по-прежнему?

— Нет,— сказал Василий Васильевич, мужественно убирая руку, чтобы не волновать подругу.— Желаю счастья, Люсенька.

— Я не могла обмануть,— виновато произнесла она.— Ты не простил бы мне, больше не захотел бы видеть... Хотя я не знаю, захочешь ли видеть сейчас...

Василию Васильевичу стало чуточку легче.

— Мне будет трудно без тебя,— сказал он почти искренне.

Прощание вышло грустным, хотя они и договорились о встрече. Через полчаса Василий Васильевич уже мчался по загородному шоссе, совершенно пустынному, далеко выбеленному фарами его машины. Никто не догонял Соловьева, и он никого не обгонял; машины в нетерпеливом стремлении не толпились у светофоров — потоком перед заградой; не провожали их пристальными взглядами орудовцы, повелительным жестом приказывая съехать на обочину одним и подгоняя другие выразительным взмахом жезла. Скучно было ехать. Соловьеву хотелось спать, он с трудом держал себя в руках.

Чтобы не забыться в опасной дремоте, Василий Васильевич вспоминал проведенный день — не самый удачный, надо признаться. Но все события, неприятные и приятные, воспринимались им теперь одинаково. То был благословенный вечный бой, без которого жизнь для Соловьева показалась бы такой же скучной, как это пустынное, ровное, стиснутое по обочинам темнотой шоссе. Он совсем успокоился и повеселел, подумав: «Сколько еще этому старому черту осталось? Ерунда, каких-нибудь полгода, год... Тогда и восторжествует справедливость!» Василий Васильевич знал, что справедливость всегда, рано или поздно, торжествует. Он усвоил эту истину еще со школьной скамьи, на уроках литературы, которые вела учительница Анна Васильевна Билибина.

## XIX

Машины, два грузовых «ЗИЛа», стояли у переезда.

Многолетняя привычка заставила лейтенанта Калинушкина скользнуть взглядом по номерам «ЗИЛов», и он невольно отметил, что машины чужие, степногорские. Нырнув под закрытый шлагбаум, лейтенант миновал переезд и не торопясь зашагал дальше. Он выскочил вдруг на шоссе и выхватил свисток, прежде чем понял, зачем это делает.

— Похоже, старые знакомые? — спросил Калинушкин, просматривая в ярком свете фар документы водителей.

— Все может быть, — невозмутимо отозвался один из них, по-старше других, посolidнее.

Участковый как-то сразу понял, что этот у них за главного, обращался уже только к нему.

— Значит, с уборки? А как на уборку ехали, здесь как раз ночевали? Не помните. Напомню — ночевали. На Лесной, дом тридцать шесть. Возле дома гражданина Билибина.

— Что от нас нужно, лейтенант? Почему задержали? — спросил шофер.

Калинушкин и сам не знал, что ему нужно. То есть знал, разумеется, да ведь не скажешь им: помогите, мол, ребята, загадку отгадать. Все же Билибин на них показывал. Пропустив вопрос шофера мимо ушей, он продолжал спрашивать по всей строгости, как положено при исполнении служебных обязанностей: заходили ли к Билибину, что там делали?

— Слушай, лейтенант, ты вола не тьяни, — поторопил шофер. — Нам еще ехать да ехать...

Александр Ивановичу обидными показались эти слова, все-таки он в форме был. Если бы в штатском, тогда ничего, а поскольку в форме — нехорошо, неуважительно. Пришлось для остротки в блокнотик их адреса и фамилии записать. Но шофер тоже блокнотик вытаскивал:

— Ваша фамилия, лейтенант? Отделение милиции?

Обменялись они со злости адресами и фамилиями, как будто познакомиться захотели, друг к дружке в гости наведаться, и Калинушкин, не поддавшись искушению употребить несправедливо свою власть, сурово бросил: «Езжайте» — и уже повернулся, чтобы уйти от греха подальше, но шофер придержал его за локоть.

— Ладно. Пошумели. Что там у тебя? Может, правда нужны?

— Не нужны, — буркнул Калинушкин. — Без вас разобрались. Вот недельки три назад так просто не отпустил бы. Заявление на вас поступило: кража на Лесной, тридцать шесть, у Билибина, где вы ночевали.

Злой голос из кабины грузовика определил вкратце сущность гражданина Билибина как автора заявления.

— Ну, бывай, — сказал шофер. — Надо бы, конечно, твоему Билибину объяснить кое-что, жаль, некогда.

Калинушкин проводил взглядом удаляющиеся машины, смяв, выбросил листок с фамилиями и адресами водителей и зашагал к Николаю Фетисову, чтобы собственноручно вручить бумагу на штраф в десять рублей за мелкое хулиганство. Мог бы по почте переслать, если бы не Пашка — не выходил из головы у Калинушкина малец. Фетисову сказал, когда пришел:

— По знакомству, Николай!

Фетисов оценил поступок участкового по-своему. Что ему десятка? Раз плюнуть! Главное — никто не узнает. Обрадовавшись, Николай потащил лейтенанта в сад, за стол, ужинать.

Они хорошо сидели, на законном месте, под яблоней, летний сорт, коричное, и спелые яблоки порой стукались к ним на стол, потому что в толстой развилке над ними устроился Пашка и тряс дерево. Яблок на ветках не было видно в темноте, вместо яблок висели звезды, а на самой макушке покачивался месяц. Они сидели и пили чай, и Николай, морщась и отплевываясь после каждого глотка, жаловался:

— Третью неделю, Иваныч, веришь, не употребляю. Вот эту отраву хлебаю. У меня от нее мозги водянистые и тоска на душе ужасная.

Время от времени Фетисов грозился сшибить сына на землю, чтобы не вредил яблоню, и тогда Пашка затихал ненадолго, но с дерева не слезал, потому что внизу, за столом, разговор пошел интересный — решалась важная задача: как лучше к звездам лететь, чтобы быстрее и надежнее. Калинушкин специально для Пашки свою задумку выразил насчет атомного двигателя в ракете: магнитом вредные отходы вытягивать, как пылесосом. Николай сначала согласился, а потом засомневался:

— Где ж ты этот магнит держать будешь с отходами? Ежели в ракете, все равно вред.

Но Калинушкин и это предусмотрел:

— На тросике можно. За хвостом.

Фетисов подумал и снова:

— Залепит магнит-то отходами. Ежели только встряхивать...

У Александра Ивановича опять ответ был готов:

— Электрический магнит. Кнопку нажмешь — магнит. Еще нажмешь — железка простая, все с нее и осыплется враз.

Николай окончательно согласился:

— Тогда можно.

Пашка с дерева голос подал:

— Да ты, дядь Саш, папке поставь литр, он тебе куда хочешь слетает вон как есть — в одних тапочках, без ракеты.

Николай находился в мечтательном состоянии и не разозлился, а, наоборот, крикнул любовно:

— Шпана ты, шпана и есть! Три недели как завязал.

Такая умственная беседа у них получилась, так ответственно они к делу подошли — расставаться не хотелось. Подольше бы посидели — еще чего-нибудь придумали бы ценное: оба чувствовали, как подкатило что-то к горлу, и легкость какую-то душевную чувствовали. Казалось, тряхни Пашка посильнее яблоню — и на стол вместо яблок звезды посыплются и месяц, цепляясь рогами за ветки, сползет вниз... И все было бы хорошо, да под конец у Александра Ивановича настроение испортилось. Дурацкий разговор Фетисов затеял:

— Все в небо глядишь, а чего под носом творится, не видишь.

— Чего творится? Где? — встрепенулся Александр Иванович.

— А это я тебе не отвечу, — ухмыльнулся Фетисов. — Сам сообщай.

— Вышел я из возраста в загадки играть, — сказал Калинушкин.

— Одно скажу: коммутатор-аккумулятор! — таинственно произнес Николай.

— Что такое?

— Кому татор, а кому лятор!

Калинушкин с полминуты переводил фетисовскую тарабарщину на понятный язык, а потом возмутился:

— Это у тебя лятор, что ли? Ну ты даешь! Живешь как куркуль — одно звание рабочее...



— А-а,— пренебрежительно махнул Николай в сторону дома.— Все не то.

— Дядя Саша,— крикнул Пашка с дерева,— скажи ему, чтоб два рубля отдал за цветы! Целковый один кинул, жулик!

Калинушкин встал из-за стола, сказал официально:

— Спасибо за угощение. Про штраф не забудьте. В трехдневный срок.

Он вышел от Фетисовых и зашагал, вглядываясь в темноту, разрезанную цепочкой придорожных фонарей.

Одинокий стук каблучков догнал Калинушкина, заставил оглянуться и почтительно поднести руку к козырьку фуражки. Мимо него, обдав незнакомым запахом духов, прошла гражданка Соловьева. Она едва кивнула в ответ и заспешила дальше. Ирина Георгиевна торопилась к телефону-автомату.

Месяц назад она была бы счастлива, узнав, что муж задержится в городе. Но вот уже месяц Геннадий не давал о себе вестей. Хозяйка злобно отвечала: «Нету, съехал!» Ирина Георгиевна была уверена, что старая ведьма, как всегда, не хочет подзывать Геннадия к телефону.

Еще в тот злополучный день после объяснения с мужем она поняла: это конец. Можно было несколько отдалить его, промолчав о неприятном супружеском разговоре, но тогда Геннадий оказался бы в положении ложном и даже опасном. Ну что ж, конец должен был наступить рано или поздно, обманываться не стоило; она не рассчитывала и на такой срок. Если бы муж сейчас был рядом, Ирина Георгиевна, наверное, справилась бы с желанием позвонить Геннадию — она поглядывала на аппарат с сомнением. И действительно, словно не желая участвовать в бесполезной затее, телефон молчал, сколько ни нажимала Ирина Георгиевна на рычаг. То есть не совсем молчал: томный баритон под джазовые синкопы чуть слышно шептал о нежной любви и неземной страсти. Швырнув трубку, Ирина Георгиевна неприлично выругалась. Она это умела делать лихо, хотя обычно ругалась не по душевной необходимости. Такая нынче шла мода; не всякому она была к лицу, как и любая мода, а только людям интеллигентным, женщинам изысканным, и не во всяком разговоре, а в изысканно-интеллигентном, например о том, как проехать кратчайшим путем с парижского аэродрома Орли в Люксембург, о Фрейде и Бердяеве... Сейчас же она выразилась вполне по потребности.

Направляясь к станции, где стоял телефон-автомат, она чувствовала себя так, будто ей предстояло провести сложную хирургическую операцию. В такие минуты у нее менялось лицо — подбиралось, становилось угрюмо-скуластым, глаза заметно сужались, — голос звучал неприятно, легкие туфли грохотали, как тяжелые сапоги.

Ей повезло: полчаса назад Юрчиков вместе со Светкой зашел на старую квартиру, чтобы забрать свое барахлишко и расплатиться с хозяйкой. Телефон зазвонил, когда все уже было упаковано и увязано, когда Светка, обменявшись колкостями с хозяйкой, обозленной бегством несостоявшегося зятя, язвительно просила Гену проверить вещи, а он, отмахиваясь, торопливо пробирался к выходу с рюкзаком за спиной и чемоданом в руке. Хозяйка, сняв трубку, проворковала:

— Вас, Геннадий Иванович... Дамочка ваша.

Юрчиков подошел к телефону из самолюбия. Ирина Георгиевна сказала, пытаясь смягчить голос нежным придыханием:

— Геночка, наконец-то! Я уже думала — ты прячешься...

Юрчиков в ответ зароботал что-то смущенное, с каждой секундой надежды ее крепили.

— Ты приедешь? — спросила она тем особенным шепотом, который всегда волновал Геннадия.

Он не успел ответить, приглушенный смешок послышался в трубке:

— Ка-ак интере-е-сно! Бедненький Геночка, на части рвут, на мелкие кусочки.

Скулы обострились, натягивая кожу на лице, глаза стали как в операционной в критические минуты. Ирина Георгиевна приказала:

— Приезжай! Слышишь?

«Дай я скажу, ну дай!» — услышала она отдаленный нагло-счастливый возглас и возмущенный ответ Геннадия: «Оставь, пожалуйста!» — и наконец короткие гудки отбоя. Из телефонной будки Ирина Георгиевна вышла почти спокойная. «Все! — вертелось в голове. — Конец!»

Навстречу ей с платформы двигалась толпа из подъехавшей электрички. Все торопились к ярцевскому автобусу, едва не бежали, некоторые и бежали, проскакивая в тесные промежутки среди других, менее расторопных; иные, самые нетерпеливые, спрыгивали с платформы на рельсы, сокращая путь. Платья, рубашки, брюки, прически так и мелькали в ярком свете станционных фонарей. Молодые и счастливые. Бежали мимо долговязые юрчиковы, веселые, под руку с девчонками в облегающих брючках или в коротких платьицах...

Она по голосу поняла: ее соперница молодая и счастливая... Молодая, счастливая, с длинными прелестными ногами. У нее никогда не было таких ног. Широкие, крепкие бедра, сильные рабочие ноги. Подруги завидовали, восхищаясь ее фигурой. Ну что ж, по тем временам... Парни так и липли к ней. Теперь она завидует.

Полно! Не завидовала она им. Инстинкты, наивная коммуникативность, мечты о двухкомнатной квартире, «Запорожье» и прогрессивке в тридцать ре. Они не видели и вряд ли увидят когда-нибудь зеленое солнце Цейлона; они не будут ужинать вместе со знаменитым французским актером в маленьком кабачке на Мон-мартре; им вряд ли станет объясняться в любви, робая, как мальчик, капитан белоснежного лайнера, надменный и красивый, словно датский дог. Со знаменитым актером Соловьевы познакомились на Цейлоне; приехав на другой год в Париж, навестили его и весь день были гостями обаятельного француза. Отвечая надменному капитану, Ирина Георгиевна смеялась: «Слишком уж вы ослепительны... Если когда-нибудь вы попадете ко мне в клинику, я явлюсь вам в образе некой прекрасномудрой Афины Паллады. А это совсем не так. Давайте не использовать свое служебное положение...»

С усмешкой она вслушивалась сейчас в обрывки разговоров:

— Он говорит: «Девушка, вас, случайно, не Галей зовут?» «Нет, меня совсем не случайно Таней называли...»

Они еще ничего не понимали. Вряд ли когда-нибудь поймут эти милые создания, как устроен мир, каковы тайные пружины его. Они не знали, что такое власть — не только внешняя, когда исполняются приказы, а безраздельная, полная: жить человеку или нет? Нечему завидовать. То, что есть у них, у Ирины Георгиевны уже было; будет ли у них то, что есть у нее?

Дождавшись в сторонке, когда толпа схлынула с платформы, она пошла неторопливо, гуляюще, покачивая крепкими бедрами. Вот-вот выбьет дробь каблучками, взвизгнет: «Гармонист в рубашке белой...» Не взвизгнет. Устала. Устала выглядеть молодой и красивой, прыгать через ограду в двух шагах от калитки, сохранять равновесие между почтительными и восхищенными взглядами больных,

утверждать свое постоянное превосходство над мужем, казаться светской дамой, каковой совсем не была.

Снотворного — и спать!

Но слишком уж унижительным показалось ей такое решение. Уползти в свою нору, свернуться клубком в исцеляющей дремоте?

Проходя мимо Билибиных, она вынуждена была остановиться: из-за поворота, ослепив фарами, вывернулся грузовик, за ним другой.

— Гражданочка, как на Лесную, тридцать шесть проехать?

— Приехали уже, — ответила она.

Из кабины грузовика выпрыгнул кудрявый худой парень, вслед за ним, придерживаясь за дверцу, спустился на дорогу другой — постарше, поплотнее. Неуклюже-осторожные движения его показались Ирине Георгиевне очень знакомыми: так двигаются первое время после полостных операций.

— Рога бы ему обломать, хаму, — сказал парень. — Давай я схожу.

— Машины с дороги уберите. Ни пройти, ни проехать, — проворчал тот, что постарше.

— А вам кого нужно? — спросила Ирина Георгиевна, уверенная, что приезжие ошиблись адресом.

— Билибин тут живет?

Это уже становилось интересным. Иннокентию сейчас будут ломать рога! Она повернула обратно.

— Идите своей дорогой, гражданочка!

— Иду, — невозмутимо отозвалась она, направляясь к дому Билибиных.

— Вы здесь живете, что ли? — неприязненно спросил приезжий, нагоняя.

Машины, разворачиваясь, осветили фарами дорожку к дому. Резкая, непомерно длинная тень от приезжего протянулась к Ирине Георгиевне, будто схватила молча и неосяземо. Испугавшись почему-то этой тени, она дрогнула на миг и с облегчением услышала:

— Доктор!

Зловещая тень косо и трусливо юркнула в кусты, оставив своего хозяина на расправу доктору Соловьевой. Ирине Георгиевне странно было видеть этого человека смущенным.

— А, вы! Ну, что случилось? Зачем вам Билибин?

— Все, доктор, заматано. Вы-то как здесь оказались?

— А я здесь оказалась пять лет назад.

— Ясно. Муж, значит?

— Приятель мужа.

— Ясно.

— Счастливым вы человек: все вам ясно.

Три недели назад она оперировала этого героя, прогнавшего костылем надоевшего всем, а ей больше всех протеже Василия Васильевича. Своего партнера по неудавшейся киносъемке. Своего большого, которого едва не упустила, а затем вернула с того света. Сегодня написала досрочно, по его просьбе. Провожали его всем отделением — толпой по коридору. В который раз она подивилась значительности этого незначительного, судя по всему, человека. Утром заходил проститься: «Спасибо. Значит, еще бы день-другой и... Повезло мне — к вам попал».

— Рановато вы разъезжаете, — сказала она недовольно.

— Домой, доктор, прямым ходом.

— Непохоже. Вы вроде приехали Билибину рога ломать.

— Тут вот какая петрушка... Обиделись ребята. Милиция нас остановила: этот ваш Билибин жалобу наката, обокрали его. Нас подозревает. Вот хотели, значит, сказать ему пару ласковых...

— Нелепость какая-то, — поморщилась Ирина Георгиевна. — Ошибка. Ну, кажется, все выяснили.

— Еще не все, доктор. Помните, обещали подумать? В город наш перебраться?

Ирина Георгиевна с неприязнью окинула взглядом мешковатую в темноте фигуру. Откуда было ему знать, что именно сегодня доктор Соловьева увидела свое настоящее как бы отделенным от прошлого; многое в этом настоящем выглядело совсем иначе, чем прежде, когда оно составляло с прошлым одно целое.

— Я готова! Ну? Поехали! — сказала она, чтобы положить конец раздражавшему ее фарсу, и приготовилась добавить что-нибудь злое, подвести последнюю черту, едва этот самоуверенный и потому неприятный ей сейчас человек смешается от неожиданности.

— Так, — произнес Петрович, ничуть, однако, не смутившись и даже не раздумывая ни секунды. — Вещишек много? За час управимся?

Похоже, выводы он сделал раньше и не сомневался, что докторша в конце концов оценит заманчивое предложение — переехать в его родной Степногорск. Ирина Георгиевна едва не выругалась. Миновав стороной Петровича и отмахнувшись, когда он окликнул ее, вышла на дорогу. За спиной голоса:

— Порядок, Петрович?

— Поехали.

— Больно ты быстро справился. Надо бы его, черта, поутюжить туда-сюда, а ты небось «ай-яй-яй!» и обратно.

— Поехали, ребята, поехали.

— Дамочка с тобой, что ли, ходила?

— Это, ребята, не дамочка. Хирург. Не она — везли бы вы сейчас Петровича в кузове под брезентом. Знаменитый доктор.

— А мы гадаем: чего ты, старый, в больнице вроде как поселился, выписываться не хочешь... Конечно, когда такой доктор. Как королева!

— Точно! Из города телевидение приезжало, снимали...

Шла Ирина Георгиевна мимо усталая, несчастливая, немолодая и не старалась, не было нужды выглядеть иной — оказалась в королевах. Ясное дело: не она — лежать бы сейчас Петровичу в кузове под брезентом. Это действует на воображение. Ну что ж, королева — тоже должность!

Она невольно продолжала прислушиваться к голосам за спиной, но уже взревели моторы, передний грузовик проскочил мимо, прогнав ей прощально.

— Доктор! На минутку!

Из подъехавшего второго грузовика подзывал ее кудрявый худой парень, похожий на Христа, если бы у того вдруг до ушей раздвинулся бы в улыбку рот. Ирина Георгиевна узнала его по голосу: как раз он и назвал ее королевой.

— Доктор, у Петровича точно аппендицит был? Может, рак? Теперь так: говорят аппендицит, а на самом деле рак.

— Не рак, а дурак! — сердито ответила Ирина Георгиевна. — Не у него, у тебя. Здоровый и сидит глубоко!

— Хы! — Парень еще шире раздвинул рот, даже уши назад поехали. — Может, вылечите? Не сердитесь, доктор. Спасибо за Петровича.

Улыбающийся Христос, видно, воткнул сразу третью скорость: грузовик рванулся и тотчас скрылся из глаз.

Ирина Георгиевна в раздумье поглядела на освещенные окна Библиных. Делать ей здесь было совершенно нечего. Еще со времен

их неудачного романа она держалась с Иннокентием отчужденно. Сначала Ирина Георгиевна опасалась, что тот станет упрекать ее или, того хуже, попытается вернуться к прежним отношениям. Некоторые основания у нее были: Иннокентий действительно при виде своей давней любви приходил в возбуждение и норовил, заключив в объятия, пощекотать бородой. Довольно скоро она убедилась, что он просто безобразничает. Тут бы ей и успокоиться, но она обиделась. Василий Васильевич, проявляя мудрость, обычно брал под защиту своего друга: «Это у него комплекс. От самолюбия. И вообще, Билибин есть Билибин, тут ничего не поделаешь». С довольной улыбкой он рассказывал об очередных происшествиях с участием Иннокентия Павловича, чем вызывал у нее еще большее негодование: «Не понимаю, почему ему надо все прощать?» «Да потому, дорогая, что Иннокентий — талантливейший ученый, без него мы в институте стали бы на голову ниже».

Впрочем, столь непреклонной она бывала не всегда, поскольку безобразничал Иннокентий тоже не всегда, а периодически, улавливая грань, за которой их отношения могли бы перейти в постоянную, открытую неприязнь. Она привыкла повелевать и властвовать, и потому шутки, даже невинные, нередко воспринимались ею как оскорбление. Но еще больше злило Ирину Георгиевну, что Иннокентий мог позволить себе то, о чем не могли даже помыслить супруги Соловьевы. Сколько сил потратила она, чтобы придать мужу облик человека значительного и ответственного. Сколько сил приходилось тратить ей, чтобы в зависимости от обстоятельств казаться величественной, юной и озорной или светски обаятельной. Иннокентий же, наоборот, поступал так, словно задался целью навредить себе, своей репутации, своей карьере. И тем не менее оставался известным, талантливым, любимым и так далее.

Если она сейчас все же захотела зайти к нему, значит, ей стало совсем одиноко.

Между тем Иннокентий Павлович, не зная о том, что Ирина Георгиевна стоит у порога его дома, лежал, задравши ноги на спинку дивана, оставив на подоконнике включенный транзистор, и слушал передачу для работников сельского хозяйства. Собственно, слушал он хорошую грустную музыку, но потом влезла эта передача; занятый своими мыслями, Иннокентий Павлович долго был уверен, что по-прежнему наслаждается музыкой, и все так же вздыхал от полноты чувств, размышляя, как всегда, о вечном.

Заметив наконец несоответствие в радиопередаче, он приподнялся, протянул руку к транзистору на подоконнике и увидел в тусклом свете уличного фонаря прелестную незнакомку.

Конечно, Иннокентий Павлович заволновался, вскочил с дивана, произвел приборочку в доме с такой стремительностью, которой позавидовал бы хороший матрос на третьем году службы, расправил бороду и торжественно пошел встречать нежданную и таинственную гостью.

Это был очень странный вечер. Ирина Георгиевна, казалось, вдруг ощутила свое призвание в том, чтобы скрасить холостяцкую, постылую жизнь Билибину: навела кое-какой порядок в кухне, приготовила из совершенно сухого пайка приличный домашний ужин, заварила грузинский чай особым цейлонским способом, после чего его согласились бы пить даже сами грузины. Иннокентий Павлович зорко следил за Ириной Георгиевной, ожидая какого-нибудь подвоха. Он не мог представить себе, что она пришла без определенной цели. Как всегда, Иннокентий Павлович был недоверчив к Соловьевым и, как всегда, несправедлив.

Сначала он вообразил, что Василий Васильевич, расстроенный поражением, подослал жену, чтобы выведать некоторые подробности или даже склонить Билибина на свою сторону. Сообразив, однако, что Василий Васильевич лично проделал бы то же самое с большим успехом, Иннокентий Павлович отказался от этой мысли. Тогда ему на ум пришло совсем уж фантастическое предположение: Ироничка всерьез приняла его любовное бляенье и теперь пришла, чтобы остаться навсегда. Мысль эта была ужасной. Но он был голоден, из кухни доносилось такое соблазнительное шипенье и бульканье, что Иннокентий Павлович решил ничем не выдавать себя, пока ужин не появится на столе, а уж потом осторожно объяснить: мол, незачем с его стороны было бы подарить Соловьеву такую роскошную женщину, чтобы забрать подарок обратно. Он очень удивился, когда гостья стала собираться домой, не высказав желания остаться навсегда.

— А ты чего приходила? — задал Иннокентий Павлович вопрос, весь вечер вертевшийся у него на языке.

— Решила молодость вспомнить, — невесело усмехнулась Ирина Георгиевна.

— Молодость? Как не стыдно! Такая преле-е-стная, очаровательная, — заблеял по привычке Иннокентий, забыв совершенно о бдительности, и, как всегда, потянулся пощекотать Ирину Георгиевну бородой.

— Ты не меняешься, — сказала она, взглядывая пристально в его лицо.

Из бороды смотрел на нее Кешка Билибин, студент, с которым она некогда целовалась в подъездах. Только поэтому она не отстранилась, когда Иннокентий потянулся к ней, тряся своей овчиной, и даже, наоборот, прикрыла глаза, подставила лицо.

— А чего мне меняться, — сказал Иннокентий Павлович, поспешно отступая.

Она помедлила, не открывая глаз; обнаружив наконец, что Билибина нет рядом, вздохнула:

— Не меняешься, Кеша. Выраженный инфантилизм. Говорят, ты талантлив. Твое счастье. Не то прозябать бы тебе всю жизнь.

— Уж это точно, — подтвердил Иннокентий Павлович, отступая еще дальше. — С небольшой поправочкой: я не талантливый, а гениальный. Могу позволить себе такую роскошь — не меняться. А то бы прозябать. Хотя нет, — оживился он. — Уж на что твой благоверный в детстве... В общем, приспособился бы, пожалуй, а?

— Вряд ли, — ответила она сухо.

Уже спустившись со ступенек, попросила:

— Увидишь Гену Юрчикова, передай, пожалуйста: я на него не сержусь...

Проводив неожиданную гостью, Иннокентий Павлович вернулся на диван, тотчас же забыв о ней. У него было о чем подумать!

...Вчера приходил Гена Юрчиков. С порога бросился обниматься, сиял ярче электрического самовара на столе Билибиных. Иннокентий Павлович уже знал в общих чертах причину такой радости. Ничего нового Геннадий не принес, одни восторги и планы на будущее — так сначала решил Иннокентий Павлович и даже отключился на время, чтобы не слушать излияний, не имеющих минимальной информации. Между тем Юрчиков, возбужденно вышагивая по веранде, излагал сведения, чрезвычайно интересные для Билибина.

— Он вроде бы рад, а вроде бы нет... Ну, я прямо сказал: «Поймите, дело начинается грандиозное! Мы не можем заниматься всем

сразу. У вас опыт, большие организационные возможности. Вместе с вами мы вдвое ускорим исследования...»

— Постой! — очнулся Иннокентий Павлович. — Вместе с кем?

— С Олегом Ксенофонтовичем, — нетерпеливо ответил Геннадий.

— Да ты что! — вскипел Билибин. — Кто тебя просил?

В гневе Иннокентий Павлович выглядел очень непривлекательно: подбородок прыгал вместе с бороденкой, он начинал заикаться, и казалось — вот-вот расплывется. Сейчас Иннокентий находился именно в таком состоянии. Месяца два назад Геннадий, пожалуй, попятился бы, он и сейчас побледнел, но больше от неожиданности.

— Ты знаешь, что теперь будет? — продолжал неистовствовать Билибин. — Конеч! Мне наплевать, я уже свое сделал, никто не посмеет сомневаться. А твоей карьере конец! Над тобой хохотать станут. Так науку не делают, любезный! Понял?

То, что Василий Васильевич по-своему расценил приобщение Олега Ксенофонтовича к большой науке, было вполне естественно. Но почему так же дурно понял Билибин своего молодого друга, вряд ли сумел бы кто-нибудь объяснить. Во всяком случае, Юрчиков очень удивился.

— А вы не знали? Старик, говорят, решил. Мол, мы все люди, извините, несерьезные и вроде бы за нами, извините, глаз да глаз нужен, иначе пропадем. Ну, это он, конечно, меня имел в виду, — великодушно добавил Геннадий.

— Черт знает что, — проворчал Билибин. — Конспираторы! Все за спиной решают... А я подумал... Он мужик-то хоть ничего?

— Ну! Мировой мужик! — заверил Юрчиков. — За ним как за каменной стеной!

— За стеной? — с сомнением переспросил Иннокентий Павлович. — За каменной? Серьезное дело.

Расстались они, как всегда, дружески. Однако Юрчиков сказал на прощание:

— Чтобы не было в дальнейшем недоразумений... Не нравится мне иногда ваш тон!

Правда, он в это время улыбался дурашливо.

...И вот теперь Билибин, лежа на диване, думал о том, что Геннадий, кажется, прав. И пусть себе усмеваются ученые-коллеги. Время идет, все меняется... Ай да Юрчиков! Того и гляди, придется величать его по имени-отчеству.

Старик не ошибся, увидев в добром отношении Билибина к Юрчикову верный признак его творческой обеспеченности. Иннокентий Павлович находился в превосходном настроении. Впереди ждало его великое дело, которое было ему по плечу, и никакие видения вроде пылающего шарика с материками, сползающими в океаны, уже не беспокоили его.

И лейтенант Калинушкин, который в это время возвращался с обхода домой, думал примерно о том же — о давней своей догадке насчет беспорядочного движения. Никакого такого движения не существует. Это только кажется — беспорядочное, а на самом деле все по закону. И у людей так же. Только закон еще не придумали ученые. Когда придумают, сразу станет ясно, кому какой путь определен. И еще он думал, что, может быть, сам открыл бы этот закон, но пока дела не позволяют. Уйдет в отставку — тогда и придумает.

Всему свое время!



---

---

ВИКТОР СМИРНОВ

★

## СНЕГ

О, как он дружен был с рожденья с нами!  
Он скатертью дорогу устилал.  
Он дочь мою Иринку снегирями,  
Как ягодами, щедро угощал.

Он никогда нам не казался чинным.  
Его качала на руке сосна.  
Белел он, как яйцо, в гнезде грачином —  
И вылупилась из него весна.

Он с радостью бросался под салазки,  
Чтобы они летели до реки.  
Но на лугу, как вспышки чьей-то ласки,  
Зеленые все чаще островки.

Земля, вокруг оси своей вращаясь,  
Несла веселье звонкое сердцам.  
А он, назад упорно возвращаясь,  
Вдруг на головы сыпался скворцам.

Я знаю: птицам было не до смеха.  
Но — выжили! И песен — до черта!  
Проснулись мы однажды — нету снега.  
Он умер. Совесть у него чиста.

Береза улыбалась счастливо —  
Она всю белела за него.  
И лишь снегирь на ветке сиротливо  
Сидел, не понимая ничего...

\* \*  
\*

Глупо чего-то бояться.  
Я раньше боялся грозы.  
В небо глядел я со страхом,  
Где облака — как возы.

Глупо чего-то бояться.  
Я раньше боялся любви.  
С тайной какою-то целью  
Чувства берег я свои.



Глупо чего-то бояться.  
Я смерти боялся всю жизнь!  
Если кого хоронили —  
В хате сидел, запершись.

Мудро чего-то бояться —  
Сегодня сказать я берусь.  
О, как боюсь лишь того я,  
Что ничего не боюсь!

\* \*  
\*

Горели честные мозоли.  
А месяц лампою сиял.  
Я постигал науку в поле,  
Когда солому стоговал.

Тогда трудились ночью поздней...  
Я слышал: с юга шла гроза.  
Но там, где улыбались звезды,  
Смеялись и твои глаза.

Когда же треск раздался ближе,  
Примчался ветер на коне,  
С верхушки стога, как на лыжах,  
Ты ловко съехала ко мне.

Дышали рядом. Было душно.  
Гром ухал в небе тяжело.  
И навсегда вошло мне в душу  
Твое пшеничное тепло...

Мне жить, работать и смеяться,  
Как флаг, нести мечты свои.  
И до последних дней цепляться  
За ту соломинку любви.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО



## РАЗМЫШЛЯЮЩАЯ АМЕРИКА\*

8

**П**рофессор Уильям Б. Эджертон из квакерской семьи. Он и специалистом по русской литературе стал потому, что где-то услышал, будто Н. С. Лесков имел отношение к квакерам. Изучив творчество автора «Левши» и «Соборян», Эджертон убедился, что квакерство русского писателя — легенда. Зато в США стало одним знаком русской литературы больше. Ныне профессор Уильям Эджертон читает курс русской литературы в Индианском университете. Студенты совершенствуются в знании русского языка, штудировав роман «Соборяне». Шутя говорят: читать роман труднее, чем зубами дергать гвозди.

Сам профессор сдержан на слово. Скромн. Четыре дня я говорил каждому встречному и поперечному, что разыскиваю автографы М. Горького, находящиеся в США. Одни вспоминали, что видели рукописи Горького в Гуверовском институте, другие советовали посмотреть бумаги Кеннана-старшего в Библиотеке конгресса. Профессор Эджертон из скромности молчал. Может быть, потому, что в его письменном столе — более двадцати автографов Горького, взятых им из Колумбийского университета. Он пишет о них статью. Не сомневаюсь, что когда статья будет закончена, профессор сообщит нам все сведения о документах, столь необходимых издателям полного собрания сочинений М. Горького.

О политике, философии профессор Уильям Эджертон говорит не менее сдержанно, чем о литературе. Только однажды, развеселившись, пошутил:

— Мы уже почти достигли социализма, вытеснили из жизни капитализм. Вы обратили внимание на то, что мы везде обходимся без наличных денег, за все купленное выдаем расписки — вот такие «кредитные карточки»? И так двадцать девять дней в месяц. Двадцать девять дней социализма, и только один, тридцатый, день у нас царит капитализм. В этот день мы оплачиваем счета. Единственный неприятный день.

Но тут же, переходя на серьезный тон, заговорил о том, что в Соединенных Штатах каждому обеспечена свобода, справедливость, солидарность, «равенство возможностей», труд. В разговор вступили другие ученые. По их словам выходило, будто подлинное самовыражение личности возможно лишь в таком обществе, как американское, что классовые противоречия в нем снимаются научно-техническим прогрессом и что якобы в эпохальном споре «свобода или социализм, индивид или коллектив?» американцы раз и навсегда выбрали свободу и индивидуальность. И снова говорили о всеразрешающей силе научно-технического прогресса. Интерес к разговору у меня стал пропадать: приносилось слишком много знакомых фраз. Лет пять назад я держал в руках книгу с громким названием «Утопия», изданную в Нью-Йорке. В ней решающим фактором общественного развития, в противовес марксистскому учению о классовой борьбе, провозглашался научно-технический прогресс. Авторы книги исповедовали своеобразный технологический, технотронный детерминизм. Развивая взгляд на технический прогресс как на панацею от всех социальных зол, аме-

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

риканский профессор, известный своими антисоветскими настроениями, Збигнев Бжезинский в статье «Америка в технотронном царстве» писал: «Наша эпоха не вписывается в число известных до сих пор революционных эпох; мы вступаем в новую фазу человеческой истории. Мир находится на пороге перемен, гораздо более драматичных с точки зрения исторических и чисто человеческих последствий, чем те, которые были вызваны, скажем, французской или большевистской революциями... Америка... становится «технотронным» обществом, которое в культурном, психологическом, социальном, экономическом планах определяется влиянием техники и электроники, особенно счетно-вычислительных машин и средств связи»<sup>1</sup>. Отзвук подобных умозаключений отчетливо слышался в том, что говорили ученые, принявшие участие в нашей беседе с профессором Эджертоном. Но когда после обеда мы пошли прогуляться, профессор сказал:

— Я бесконечно рад тому, что уехал из Нью-Йорка в этот тихий, лишенный промышленности городок. Когда мы жили в Нью-Йорке, мы почти не могли спать, нашим детям нигде было гулять, они не видели природы, дышали не воздухом, а пылью, не знали вкуса настоящей воды. А теперь ко мне переехали дочь с двумя детьми и сын тоже с двумя детьми. Я счастливый дед, хотя не всегда пользуюсь самыми новейшими достижениями техники... В Соединенных Штатах ширится движение за образ жизни, максимально приближенный к природе. Люди отказываются от всего неестественного в еде, одежде, поведении. В магазинах открываются отделы, в которых продаются неподкрашенные мясо, сыры, помидоры, огурцы, арбузы, дыни, ананасы. Эти же люди выступают против сверхизобилия, сверхвласти, проповедают добровольную бедность и отречение от техники. Машины, индустриальные комплексы они считают злом, обесмысливающим человеческий труд, лишаящим его радости, порабощающим человека. По их мнению, научно-техническая революция при капитализме в лучшем случае формирует человека-робота, рассудочного аналитика и прагматика...

— Но способны ли эти «ласточки» в условиях монополистического производства изменить в стране что-нибудь по существу? — спросил я.

На это ответил профессор Дон Л. Кук.

— К этому движению, — сказал он, — уже пристроились коммерсанты, дельцы и неплохо зарабатывают на «добровольной бедности». — И рассмеялся. Потом, вздохнув, спросил: — Вам известно, что в нашем обществе изменилось отношение к технике? Вот уже который год США испытывают недостаток в студентах технического профиля и технически грамотных рабочих. И это при высоком уровне безработицы! Людей привлекают эмоциональные и нематериальные цели жизни. Поэтому сейчас и возник такой интерес к идеям Эмерсона и Торо.

— Хотя идеи их, — включился в разговор бледный лысоватый профессор, — иногда чудовищно извращаются, и тогда проповедуется прямо противоположное. Слышали вы о психологе Баррасе Скиннере? Еще в тысяча девятьсот сорок восьмом году он выпустил книгу «Уолден-два». Она почти во всем противоположна книге Торо. Если последний хотел спасти человека от издержек прогресса, то Скиннер настаивает на необходимости создания с помощью новейших достижений техники «запрограммированного» человека. Безжалостно топчет он старые ценности, считая, что перед лицом надвигающегося на нас демографического взрыва, голода, загрязнения атмосферы и всех других зол нашего века недопустима роскошь оставаться свободным, исполненным чувства собственного достоинства человеком.

— Не до жиру, быгь бы живу?

— Вроде этого. Но молодежь ему сочувствует. Наверное, потому, что он требует перемен в социально-политическом окружении людей, определяющем их поведение...

Эванстон — небольшой городок, вольготно раскинувшийся в самой уютной и удобной части мичиганского побережья. Говорят, это одновременно и самое теплое и самое прохладное место на озере Мичиган. Вдоль берега, усаженного плакучими ивами и величавыми вязами (к сожалению, насмерть пораженными и здесь, и в Ва-

<sup>1</sup> "Utopia". N. Y. 1971, pp. 127—128

шингтоне, и всюду в США каким-то голландским вирусом и тихо, но гордо «умирающими стоя»), проложена до самого Чикаго неширокая дорожка, залитая асфальтом. По ней гуляют пешеходы, беспрерывно мчатся велосипедисты. Чаще всего студенты.

Хотя Эванстон называют пригородом Чикаго, здесь очень тихо. Ушедшие от дел богачи часами сидят на местной бирже, следя за курсом акций. Распорядитель, едва мы показались в дверях, расплылся в улыбке, предложил нам «быть как дома». Но не местным Уолл-стритом привлек нас Эванстон, а тем, что здесь находится Нортвестернский (Северо-западный) университет, давно отпраздновавший свое столетие. Гордость университета — библиотека, и в особенности превосходно подобранное собрание книг на славянских языках. Инициатором строительства нового здания библиотеки был видный профессор-биолог. Он отдал ей десять лет жизни, вникал во все, начиная с поиска денег на строительство и кончая деталями архитектуры. Библиотека-трилистник, с точки зрения зодческого искусства, выделяется в кампусе своей оригинальностью. Внутри же есть все, что позволяет каждому студенту, аспиранту, профессору работать, почти не ощущая присутствия других и вместе с тем в любую секунду обменяться с ними мнением. Помимо общих залов, в библиотеке есть кабинеты для профессоров, аудитории для проведения семинаров и чтения спецкурсов. Из коридоров и вестибюлей через своеобразные прорези, узкие, но зато хорошо защищающие библиотеку от внешних шумов, можно любоваться озером Мичиган и чикагскими небоскребами на его берегу. Разумеется, как во всех новых библиотеках США, на контроле, выдаче и приеме книг, а также у выхода «трудятся» компьютеры. Главный из них, на выходе, «работает» контролером: стоит кому-либо по забывчивости прихватить библиотечную книгу, как он поднимает тревогу и кричит не что-нибудь, а очень обидное слово «вор».

Посмеиваясь над его невоспитанностью и прямолинейностью, идем вдоль полок с книгами на русском языке: три советских собрания сочинений М. Горького, три М. Шолохова, одно Л. Леонова, романы и повести Ю. Бондарева, И. Мележа, И. Авижюса, Г. Маркова, М. Алексеева, К. Симонова, А. Чаковского, И. Стаднюка, А. Иванова, В. Распутина, В. Астафьева, рассказы В. Шукшина, вышедшие в «Роман-газете», поэмы и стихи А. Твардовского, Вас. Федорова, Е. Винокурова, Е. Евтушенко, А. Вознесенского... Библиотека имеет почти все советские журналы (некоторые в фотокопиях).

Пока члены нашей делегации вместе с профессором Ирвином Уайлом снимают ксерокопии с документов и материалов, опубликованных в местных изданиях, перехожу на этаж, где собраны книги по философии. У каждого аспиранта свое индивидуальное место. На столиках стопочки книг. Перебираю один за другим фолианты, изучаемые будущими Гегелями и Джеймсами. Имена авторов книг нередко мне неизвестны. К тому же порой моего знания языков не хватает даже на то, чтобы правильно перевести заголовки. Но попадаетесь немало и знакомого. Например, сидящий вот за этим столом аспирант, по всей видимости, штудирует философию лингвистического анализа. Иначе зачем бы ему понадобились лекции Дж. Мура, «Вступление в «Революцию в философии» Дж. Райла, «Философские исследования» Л. Витгенштейна. Последнее сочинение, изданное в 1953 году в Оксфорде, когда-то заинтересовало меня тем, что в нем философия доводится до самоотрицания, отвергаются любые программы, любые теоретические установки, любые методы, а ее высшей целью провозглашается конкретный смысл отдельных слов и языковых игр. Невольно вспомнилось мимолетное замечание академика Бауэрса: «Ныне у нас популярен Витгенштейн, отрицающий существование и необходимость хоть какого-либо метода познания мира». Вслед затем в памяти всплывают другие его слова: «Сейчас увлекаются философией знаков, где цифр больше, чем философии». Быть может, вспоминаю об этом потому, что на другом столике лежат книги М. Шлика, Р. Карнапа, Г. Рейхенбаха, а также произведения Б. Рассела.

В США обеденный час почти священен, поэтому в зале нет ни души. А хотелось бы узнать, чем привлекает молодых ученых, например, философия персонализма — протестом против того, что личностный дух гибнет в обезличенном технократическом обществе, человек теряет самое главное — свою уникальную личность, или, напротив, субъективно-религиозными аспектами и потенциальным антидемократизмом, продиктовавшим одному из столпов философии персонализма утверждение: «Привычка собираться в толпы и принадлежать толпе стала угрозой цивилизации и должна быть определена как

болезнь современного общества»<sup>2</sup>. Впрочем, в работах Р. Флюэллинга, У. Хокинга, П. Шиллинга можно найти немало очень смелых заявлений, например: «Для совершения революции в материальном мире необходим прежде всего огонь революционного сознания»<sup>3</sup>. Весь вопрос в том, распространяются ли революционные преобразования на основы общества, включая экономические, или предполагается лишь внутреннее совершенствование личности.

В зале появились члены нашей делегации. Они восхищены тем, как легко работает в библиотеке: бросил в ксерокс десять центов — и фотокопия интересующей тебя страницы готова. Соглашаясь, в душе горько сожалею, что прогресс современной техники, ускоривший их возвращение в зал, помешал мне закончить одно из, может быть, самых необычных путешествий — в духовный мир размышляющей Америки. Знаю, что аспиранты и студенты — это еще не вся и далеко не главная часть ее. (Так же как сознаю и то, что встречающимися на моем пути учеными, аспирантами, студентами она не ограничивается.) И все-таки это была редкая возможность без свидетелей заглянуть в духовный мир думающего американца. Лишь в библиотеке Колумбийского университета мы совершенно случайно разговорились с аспирантами. Один из них рассказал, что работает над диссертацией о Гоголе. Рассказ был интересен. На столе у другого лежала изданная в Лондоне книга Кивна Уоддингса с обязывающим названием «Очерки философии марксизма». Три места в книге были отмечены закладками. Я записал название и заинтересовавшие аспиранта страницы, а приехав в Москву, выписал из библиотеки эту книгу, выпущенную в 1974 году издательством «Лоренс и Уишарт». На одной из отмеченных страниц дается характеристика труда в условиях капитализма, предопределяющего «отстранение», «отчуждение» человека. На другой излагается марксистское решение проблемы «свобода и необходимость». А на третьей отвергается утверждение буржуазных теоретиков, будто марксизм признает только насильственную революцию, сопровождающуюся разрушением, беспорядками, дезорганизацией хозяйственной жизни.

Из моего окна в отеле «Орингтон» (в Эванстоне) видишь лишь озеро Мичиган, берег, усеянный искусственными каменными глыбами (чтобы вода не съедала песчаный пляж), и бескрайнюю спокойную водную гладь. Только что ушли аспиранты Норт-вестернского университета, позелел мне отдохнуть перед лекцией, которая состоится через час. Чтобы скоротать время, листаю газеты, журналы и среди них предусмотрительно оставленный одним из аспирантов номер журнала, рассказывающий о том, как США собираются отмечать двухсотлетие своей независимости. Надо полагать, материал для этого номера отбирался с особой тщательностью. Тем неожиданнее для меня то, что я читаю в специальной подборке «Американцы о своей революции». Это высказывания людей разного положения, и я все сильнее ощущаю их озабоченность действительным положением и страны в целом и каждого человека в отдельности. Беспокойство их настолько острое, что редакция вынуждена предварить публикацию замечанием: «Больше всего поражает... общая для всех озабоченность проблемами сегодняшнего дня,— и с целью смягчить общее впечатление добавляет: — ...и неизменный во взгляде на будущее оптимизм, столь характерный для американцев». Оптимизм действительно присутствует в отдельных заявлениях, но отнюдь не в большинстве их, явно капитулируя перед озабоченностью.

Вот что пишет Джун В. Хеккендорф, жена скотовода из Колорадо: «Празднование двухсотлетия, по-моему, было до сих пор формальным. Нужен более глубокий духовный подход. Многие из того, к чему люди стремились в прошлом, было слишком меркантильно. Меня очень беспокоит, что такие ценности, как идеалы основателей нашей страны, забыты. Исчезает, например, внимательное отношение к ближним, а ведь это просто желание доставить другому человеку радость и удовольствие. Однако я замечаю, что положение вещей начинает меняться».

С этим выводом не соглашается адвокат Орланд М. Кристенсен из Сизтла (штат Вашингтон): «Мне кажется, что мы отучились глубоко и творчески мыслить, уделяя слишком много внимания мелким, незначительным заботам». Он же прямо говорит

<sup>2</sup> E. Hocking. *Man and the State*. N. Y. 1953, p. 275.

<sup>3</sup> R. T. Flewelling. *Man and the History*. N. Y. 1952, p. 48.

о тяжком ущербе, нанесенном американской демократии таким, например, явлением, как «коррупция в Вашингтоне». Более того, он пишет: «Наследием революции, вдохновлявшим страну с самого начала ее основания, была так называемая Великая американская мечта, воплощающая веру в то, что все люди должны иметь равные возможности в жизни, вне зависимости от их происхождения или общественного положения... Но в меняющихся условиях сегодняшнего дня померкла и эта Мечта. Будущее уже не кажется столь ясным, как раньше, и многие стали терять веру в собственные силы; поколебалась и уверенность в прочности устоев самой страны».

Так думает не только адвокат из штата Вашингтон. Оптимистически настроенный профессор Мэтью С. Месселсон из Гарвардского университета говорит: «Соединенным Штатам приходится праздновать свое двухсотлетие в довольно трудное, полное забот и тревог время». О «затруднениях, в которых завязла страна», пишут и банкир Роберт С. Пулсайфер из Денвера (штат Колорадо) и продавец Гарри Джонс из Эдмондса (штат Вашингтон). Профессор Джон П. Шеффер, президент университета штата Колорадо, начинает интервью словами: «Мы сознаем, что у нас далеко не все совершенно». Ричард Д. Ламм, губернатор штата Колорадо, так формулирует главную задачу: «Мы должны этот юбилейный год посвятить пересмотру наших основных институтов, их систематической оценке», — а профсоюзный деятель Джеймс А. Лабуа из Бостона (штат Массачусетс) корректирует его «рекомендации»: «Было бы полезно направить нашу энергию на предоставление работы безработным. Я бы хотел, чтобы, празднуя двухсотлетие, люди вспоминали этот юбилей как день, когда они вновь пошли на работу». Член городского совета Гарден-Сити Ралф Дода заявляет, что у господствующих в стране партий «нет достаточно авторитетных лидеров, которые могли бы повести по правильному пути», а Джерри Моррис, совладелец книжного магазина в Рестоне (штат Вирджиния), приводит все эти признания к такому общему знаменателю: «Я преклоняюсь перед великими целями и задачами Революции. Не будь экономических трудностей, я бы счел празднование двухсотлетия прекрасной идеей. Американцы охотно потратили бы на это деньги, но теперь они этого делать не станут: у них просто нет денег, да и вообще ни у кого нет настроения праздновать. Однако через год или два положение, возможно, изменится к лучшему. Хорошо бы народ оглянулся на события 1776 года и на их последствия и решился бы сегодня на какое-нибудь положительное действие: совершил бы, например, новую революцию, но только бескровную».

Судя по фотографии, Джерри лет двадцать пять — тридцать, он принадлежит к той Америке, в связи с которой Рэнди К. Эллиот, президент ученического коллектива Голдена (штат Колорадо), сказал: «По-моему, молодежь теперь больше верит в себя и в силы народа». Литератор из Саванны (штат Джорджия) Дэн Бэйноп, сам принадлежащий к молодой Америке, констатирует: «Я вижу много параллелей между сегодняшним днем и эпохой американской революции, разве вот только враги изменились — теперь это большой бизнес и разросшийся правительственный аппарат». И даже упомянутый выше банкир из Колорадо признает: «В наши дни все больше людей тянется к ценностям более высоким, чем материальные». А профессор Мэтью С. Месселсон подводит итог: «Молодые люди не проявляют ныне наблюдавшегося в прежние времена уважения к властям».

## 9

С профессором Ирвином Уайлом из Нортвестернского университета я знаком со времени его стажировки в Московском государственном университете. Он всегда был в моих глазах воплощением процветающего американца-оптимиста. Подтянутый, быстрый в движениях, профессор почти молниеносно реагирует на каждое слово, любит шутку в американском стиле, то есть несколько грубоватую, прямолинейную, охотно смеется и извиняется, когда не к месту приводит русскую поговорку. Мое уважение к нему повысилось после того, как он выпустил книгу о Горьком. Повторив в ней множество избитых догм и мифов, созданных советологией, он вместе с тем утверждал, что свой идеал подлинно нового человека Горький увидел в Ленине. Он заявил также: «Я не согласен с бытующим на Западе утверждением, что творчество Горького пострадало от глубокой связи с революционно-политическими проблемами...» И еще: «Для

Горького участие в политических делах было необходимо, чтобы писать так, как он писал; без этого он создал бы гораздо меньше и был бы гораздо менее интересной фигурой»<sup>4</sup>.

Встретив нас в чикагском аэропорту О'Хэйр, профессор заботливо уложил в багажник машины вещи гостей и со скоростью пятьдесят миль в час помчал нас через Чикаго в Эванстон.

— Итак, уважаемые коллеги,— начал он полушутливым тоном,— вы в третьем по величине городе Соединенных Штатов, городе беспримерной деловой активности. Чикаго родился в тысяча восемьсот третьем году, но на шестьдесят восьмом году его жизни занялся пожар, за три дня уничтоживший весь город — пятнадцать тысяч зданий. Очилив город от головешек, чикагцы выстроили его заново, с тех пор город почти не перестраивался, а только разрастался вширь и поднимался ввысь. Проспекты утверждают, что в Чикаго самый большой в Америке коммерческий аэропорт. Самый большой в мире почтамт. Самый большой в мире внутренний морской порт. Самый лучший в США оперный театр, где «Хованщина» идет на русском языке, а главный дирижер — женщина. «Идеальная погода на все вкусы». «Курорт круглый год». Воровство тоже. Своеобразие Чикаго проявляется и в том, что одна из трех главных магистралей его носит имя прославленного американского государственного деятеля, другая — военного деятеля, а третья — гангстера. Чикаго же вдохновил писателя Фуллера на создание одного из первых реалистических американских романов — «За процессией», а потом затравил его.

Через сорок минут мы были в Эванстоне, где расположен Нортвестернский университет. На следующий день я читал студентам славистического и еврейского семинаров лекции о советской литературе, встречался с аспирантами, профессурой, кормил сереньких белок в прибрежном парке. А еще через сутки, снова погрузив все наши вещи в багажник, профессор Ирвин Уайл повез нас на экскурсию в Чикаго.

Шоссе, по которому мчится машина, проложено по самому берегу Мичигана. Оно строилось в начале 1930-х годов по инициативе президента Рузвельта.

— Больше всего я люблю вот этот пролет между Эванстоном и Чикаго,— говорит профессор,— люблю эти двух-трехэтажные особняки, каждый из которых построен в своем стиле — викторианском, георгианском, в стиле тюдор — и имеет собственное лицо. К сожалению, их все сильнее зажимают или совсем раздавливают безликие, бездушные многоэтажные коробки. Вон посмотрите на того «елизаветинца»: уперся и ни с места. Силой же разрушить особнячок нельзя. Хозяин, видимо, ни на какие деньги не соглашается. Многие из новых домов кооперативные. А за ними спрятались куда более бедные дома. И люди там живут бедно. Иногда очень бедно.

Сидящий за рулем машины Уайл, показывая достопримечательности города, рассказывает о мэре Чикаго Дейли, «совершенно своеобразном человеке, которого все мы ругаем и вместе с тем каждый раз на выборах отдаем ему свои голоса».

— Он не любит выступать с речами, ненавидит репортеров, очень редко появляется перед кино- и телекамерами, но всегда оказывается первым на месте, где случается что-либо интересное и в особенности печальное для города. Он заботится о социальном обеспечении горожан, лично занимается вопросами доставки хлеба, горячей пищи голодающим, изыскивает средства ликвидации безработицы. Гаражи, гостиницы у аэропорта строятся по его почину,— почти восхищенно рассказывает профессор.

Сегодня профессор в ударе и не скрывает этого. Мои вчерашние лекции о современной советской культуре и литературе на руководимом им отделении прошли без инцидентов и даже, кажется, пользовались успехом; встреча советской делегации с профессурой университета тоже была интересной. Поскольку инициатором всех этих начинаний был он, Ирвин Уайл, то он и испытывает сегодня удовлетворение. И поэтому более откровенен, чем обычно. Мне не хочется портить ему настроение. И слушая его рассказ о Дейли, я стараюсь не вспоминать, что позавчера, когда увидел его на экране телевизора, почувствовал яростный протест. Все же я спрашиваю:

— А где Линкольн-парк?

Круто обернувшись ко мне, профессор показывает:

<sup>4</sup> Irwin Weil. Gorky. His Literary Development and Influence on Soviet Intellectual Life. N. Y. 1966, pp. 18—20.

— В том конце, если идти по Мичиган-авеню, справа...

И, видимо, уловив мою мысль, больше не возвращается к рассказу о Дейли. Помолчав, показывает в сторону Грант-парка, затем Линкольн-парка и говорит:

— И здесь и там избивали людей в шестьдесят восьмом году...

Он мог бы этого не говорить. Но мне приятно, что сказал. Это делает ему честь. Когда профессор произнес «Грант-парк», я удивился: никакого парка в принятом значении этого слова не было. А было широкое зеленеющее поле с множеством газонов, с красными и желтыми тюльпанами, аккуратно разделенное параллельными и перпендикулярными к Мичиган-авеню улицами. Неторопливо воображение вычертило на зеленеющем поле слова: «Бить наповал!» А потом вдруг все исчезло, словно день сменился ночью. В воображении, как в кинематографе, пронеслись увиденные мною сквозь призму японских газет и телевидения (я тогда находился в Токио) пять последних августовских дней 1968 года, когда полиция Чикаго, следуя лаконичному приказу Дейли, вступила в кровавую схватку с юной Америкой, с тысячами юношей и девушек, протестовавших против безумной империалистической авантюры во Вьетнаме, против расовой дискриминации, чудовищных социальных контрастов, попытки политиканов навязать стране неудобного ей президента, попрания демократии и стремления подчинить страну Пентагону... Пока тысячи юношей, отказавшихся проливать кровь во Вьетнаме, митинговали в Линкольн-парке, разыгрывали шарады, полиция зажала парк в клещи и в двенадцать часов ночи устроила избиение безоружных. То было дьявольское торжество дубинок и слезоточивого газа. Вошедшие в раж полицейские гонялись по парку за репортерами и фотокорреспондентами, вырывали у них блокноты, разбивали фотоаппараты, избивали представителей прессы и телевидения.

Сутки спустя, когда к протестующей молодежи присоединилось много пожилых людей, включая 400 священников, репрессии усилились. Полицейские не стеснялись бить «лежачих». Защищаясь, двадцати-двадцатипятилетние демонстранты с пением песен «Нет, нет, мы не пойдём» и «На войну нас всегда ведут старики, умирает же в боях всегда молодежь» стали швырять в полицейских куски асфальта, булыжник. Тогда подоспевшие новые отряды полиции открыли стрельбу. Демонстранты забросали их градом камней. «Молодежь отказывалась воевать во Вьетнаме вовсе не из-за недостатка мужества — она готова была сражаться на каждой улице старого Чикаго. Вчерашние школяры превращались в борцов. Казалось, что чем дольше их бьют и травят слезоточивым газом, тем больше они плачиваются. И теперь они шли к Грант-парку всей массой. Возможно, тысяча или две тысячи, а может быть, даже пять тысяч мальчишек и девочек собрались в Грант-парке в три часа утра. Они слушали ораторов, выражали свое одобрение, пели, выкрикивали что-то через Мичиган-авеню, где угрюмо высился огромный фасад «Хилтона». Полицию сменила национальная гвардия. За нею двигались «дейлидозеры» — «джипы» с решетками из колючей проволоки на бамперах. Оттесняемые к Грант-парку демонстранты продолжали петь. «Мы преодолеем», — пели они. И еще: «Эта земля — наша земля». И — чистое совпадение! — как раз тогда же недалеко от Грант-парка показались на Мичиган-авеню участники многотысячного «похода бедноты», возглавляемого преподобным Абернетти. Они шли к зданию, где проходил съезд демократической партии. Прорвав ограждение, оттесненная было в Грант-парк молодежь устремилась за фургоном «похода бедноты». Но у самого отеля «Хилтон» снова была окружена полицейскими, незамедлительно пустившими в ход дубинки и канистры со слезоточивым газом. «У юго-западного выхода в «Хилтон», — сообщала 5 сентября 1968 года газета «Вилддж войс», — худенький длинноволосый паренек лет семнадцати, споткнувшись, упал на тротуар, на него набросились четыре дюжих полицейских. Он в полуобмороке полз к сточной канаве. Увидев, что его снимают, он поднял руку и показал пальцами V — победа». Многодневная сентябрьская бойня в Чикаго заставила содрогнуться некоторых политиков из демократической партии. Один из них сказал, что «ничего подобного не видел никогда, кроме как в фильмах о нацистской Германии». Другой, не забывая основной цели своего приезда в Чикаго, осмелился заявить на съезде: «Если бы Джордж Макговерн был президентом Соединенных Штатов, мы не увидели бы применения тактики гестапо на улицах Чикаго». Когда он закончил, присутствовавший на съезде «Дейли вскочил, и Дейли грозил трибуне кулаком, и губы Дейли про-



нзносили слова — расслышать их было невозможно, но желающие без труда могли прочитать их на любом заборе»...»

...Вот что я вспомнил, пока мы проезжали мимо Грант-парка и профессор Ирвин Уайл увлеченно набрасывал портрет незаменного мэра Чикаго...

Машина въезжает в уставленную разнообразными и разноцветными — белыми, черными, зелеными, голубыми, коричневыми, малиновыми — небоскребами деловую часть Чикаго (когда-то ее называли «петлей»). Издали это красиво, величественно. Это притягивает. Струдившись, сорок или пятьдесят громадин на фоне голубого неба представляют зрелище очень своеобразное, заставляющее гордиться силой человеческого ума и рук, способных создавать такие чудеса. Красота прямо-таки подавляет, когда, поднявшись на Сирс Тауэр, мы любуемся городом со сто десятого этажа. Даже развязки дорог отсюда кажутся произведением искусства. Но меня неотвязно преследуют слова Ирвина Уайла: «А за ними спрятались куда более бедные дома. И люди там живут бедно. Иногда очень бедно».

— Там живут негры? — спрашиваю я у профессора.

— И негры. И белые. Больше негров.

— А чем объяснить тот факт, что негритянское движение, так долго бывшее нена-  
сильственным, с лета шестьдесят четвертого года вступило в полосу мятежей?

— Бедностью. Нищетой, — отвечает он. Потом подробно объясняет: — Вы, наверное, заметили, что в нашей полосе нет явно выраженных противоречий между белыми и черными. Я бы даже сказал, что у нас тут нет расизма. Но существует диспропорция, чудовищная диспропорция в экономическом положении. Всю тяжелую, грязную работу выполняют черные. Белый часто предпочитает остаться безработным, чем взяться за грязную или низкооплачиваемую работу. В последние тридцать лет резко увеличилась доля негритянского населения в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Вашингтоне и еще в двадцати двух крупнейших городах США. Это связано с перемещением черных в города и оттоком белых в пригороды. Из-за бедности негры селились в худших городских районах, часто оказывались без работы, пособия им выдавались незначительные, детей они почти не могли учить... Ужасные жилищные условия, жизнь впроголодь, отсутствие медицинского обеспечения, сегрегация и дискриминация вызвали в конце концов резкую реакцию, особенно у молодежи, сплоченной лишениями, общностью судьбы. Подхватив лозунг «Черное — это красиво!», они противопоставили себя белым. Их уже не устраивал призыв Мартина Лютера Кинга бороться за интеграцию с белым обществом, за возможность быть равноправными американскими гражданами. Ударной силой мятежной армии стали молодые люди в возрасте до двадцати пяти лет. Они и потрясли Америку. Они заставили руководящие силы страны призадуматься. Сегодня у нас есть один негр в сенате, одиннадцать конгрессменов, четыре негра являются мэрами больших городов, включая Вашингтон. Если нам удастся и дальше проявлять политическую гибкость и реализм, идти на уступки, ликвидировать бедность, то расовый конфликт будет успешно институционализирован. Кажется, все развивается в этом направлении. Политическая активность негритянского движения по-прежнему велика, но его лидеры уже оценили способность своих противников к компромиссам. И, повторяю, надо уничтожить бедность. Тогда все будет очень, очень о'кей...

— А как же уничтожить бедность?

Профессор оставил мой вопрос без ответа...

Выслушав мое замечание, что сейчас в США венцом всего сущего считается компьютер, что жизнь американцев запрограммирована, по крайней мере, на десять лет вперед и что не так уж далек день, когда американец будет справляться у компьютера, что взять на завтрак, аспирант Индианского университета Питер Роуэн спросил:

— Как вы скажете, это хорошо?

— Все зависит от того, кому подчиняется машина.

— Кому подчиняется или кого подчиняет — вот в чем вопрос. Американец спешит возложить на машину свою главную обязанность — размышление о жизни, ее смысле, назначении. И в этом наша беда. Давно сделав машину своей первой любовью, мы, кажется, что-то утратили в способности мыслить. Прагматизм в нашей стране возник из

чего, вы думаете? Из увлечения техникой, не позволяющей задаваться отвлеченными проблемами. Машина работает, движется — вот вам и вся истина. Вы читали Хайдеггера? Он прав, он совершенно прав, когда утверждает, что овладение бытием с помощью науки и техники рождает нигилизм, непомерное честолюбие и властолюбие, усиливает господство одного человека над другим. Отчуждение, порожаемое демоном техники, страшнее всех других зол, включая и экономические. Машина в атомный век — самый страшный эксплуататор.

— В вашем обществе?

— Наши философы и социологи утверждают, что отчуждение не зависит от политико-социальных форм. Но я не бывал у вас и не берусь судить, верно ли это. А вот то, что нами манипулируют все кому не лень, это бесспорно. Манипулируют, между прочим, и потому, что в одном из городов США есть электронный мозг, который знает обо мне больше, чем я сам. Одномерный человек — это, если хотите, специфически американское явление. Он стал настолько типическим, что наша цель сегодня — человек двумерный; так сформулировал ее в своей книге «Двумерный человек» английский профессор Коэн. Года два назад на страницах американских журналов велась дискуссия, каким должен быть человек в «массовом», «постиндустриальном», «сверхразвитом» обществе. Один известный литератор ответил: «Ни бюрократ, ни хиппи, а нечто среднее между ними». Он рассуждал примерно так. Поскольку социальную систему одолеть в условиях нашего века невозможно, а принять ее тоже нельзя, то идеальным может стать человек, не стремящийся мыслить, далекий от желаний понять и изменить мир, но внутренне несогласный с ним, что предохранит этого идеального человека от рабства, позволяя, однако, сотрудничать с существующим режимом и вместе с тем считать себя самостоятельным в выборе решений.

—Респектабельное лакейство? — не выдержал я.

Он, не отвечая на мой вопрос, продолжал развивать свою мысль:

— Быть может, эта странная идея возникла у автора в результате всем известного стремления многих современных американцев к стандартизации, стремления ничем не отличаться от себе подобных, ходить, думать, говорить, делать всё как все. А может, оттого, что он, так же как большинство американцев, не знает, что нас ждет в будущем. Даже в представлении о будущем современный человек становится похожим на машину.

— Вы видите сходство в том, что машина не может выдавать информацию о будущем?

— Нет, почему же? Может. Но это будущее в отличие от человека она воспроизведет в трансформируемых современных формах. Будет столько-то машин, будут автоматизированы такие-то формы труда, не будет безработных... Человек же способен видеть, осознавать свое будущее в качественно новых формах. Но мы боимся заглядывать в будущее. Отсюда страшное ощущение бездуховности, тяготящее нас. Прав голландский социолог Фред Поллак, что культура общества развивается, растет, цветет только до тех пор, пока общество видит свое будущее ярким и позитивным. А мы...

За окном деревья осыпаны розовыми и белыми цветами. Любуясь ими, Питер помолчал минуту, устало вздохнул и закончил свой затянувшийся монолог:

— Вы и ваши коллеги постоянно спрашиваете, почему Пушкин, Достоевский, Толстой, Горький, Шолохов, Леонов популярны у нас. Я не филолог. Я философ и социолог. Может быть, поэтому я рассматриваю их популярность как своеобразную форму протеста против одномерной, калькулируемой, манипулируемой личности.

Все было интересно в этой неожиданной исповеди. Но я спросил только о книге, заинтересовавшей меня названием. На следующий день Питер показал мне ее. Вышла в Лондоне в 1974 году. Автор — Эбнер Коэн, профессор Лондонского университета. Его специальность — социальная антропология. Он полагает, что сущность и поведение человека определяются как биологическими, антропологическими факторами, так и экономической, политической, «системой родства и ритуалами». Политика и экономика формируют отношение человека к власти, системы родства и религия — ко всему остальному. Объединяя «системы родства» и религию в едином целом, условно именуемом «символизмом», философ утверждает: все «символы» можно определить как объекты, понятия, действия или системы языка, различным образом соотносимые со множеством значений;

возбуждающих наши чувства и эмоции, разрешающиеся человеческим действием. Чаще всего они, эти действия, проявляются в стилизованных формах поведения, таких, как церемониал, ритуал, обмен подарками. Философ говорит о связи, даже пересечении «символов» с культурой, нравами, обычаями, нормами, ритуалами, мифами, ценностями, утверждая, что лишь на этом фундаменте человек может решать коренные проблемы жизни и смерти, добра и зла, успеха и счастья. На них опираются и официальные институты в своем стремлении подчинить себе классы, группы, отдельных людей. Ученый обобщает: «Политический человек — это человек символический». И универсализирует это обобщение: «Человек двумерен»<sup>5</sup>.

Многие положения Э. Козна нетрудно оспорить. При всем том интерес к его книге в стране, главные идеологи которой еще не так давно потешались над такими понятиями, как «национальный суверенитет», «исторические традиции», «народные основы», противопоставляя всему этому «технизированного» человека «без предрассудков», весьма знаменателен. С гуманистической точки зрения это тоже шаг вперед хотя бы потому, что двумерный человек — нечто большее, чем человек одномерный.

## 10

Тут следует сказать несколько слов вот о чем. Не одним мною замечено: в последнее время американцы энергично углубляются в прошлое. «История — это ерунда», — говаривал Генри Форд. Философ Д. Дьюи правильно усмотрел в этих словах выражение бездумного оптимизма. Ныне американцы, кажется, убеждаются, что народы, обладающие глубокими корнями в истории, прочнее стоят на земле. И вот с чисто американским напором они обнажают и демонстрируют фундамент своего исторического бытия. Под сенсационными заголовками печатаются статьи о том, что еще в 986 году Бьярни Герьюльсон был загнан бурей в один из американских заливов, за пятьсот лет до Колумба исландец Эрикссон высадился в Америке, назвав ее Винланд, а в XI веке в Америке «гостили» норманны, что о существовании ее знал и датский ученый Клаудиус Клавус в XV веке, но оставил без внимания при составлении карт. Издано немало книг о так называемых маундах — курганах и валах самой примитивной поры американского континента. Еще больше создается работ о культуре майя, ацтеков, инков, об их деревянных домах, крытых соломой, о дворцах с плоскими уступчатыми крышами и колоннадными порталами. В Чикагском институте искусства демонстрируются произведения древней американской скульптуры.

Но куда больше внимания и, главное, денег отдается пропаганде исторических событий, прославивших США. В связи с двухсотлетним юбилеем войны за независимость все рестораны снабжены салфетками, воспроизводящими национальный флаг, кресла самолетов в чехлах той же расцветки, на пакетиках с сахаром в снимаемых вами номерах мотелей портреты американских президентов с указанием времени и места рождения, сроков президентства, выдающихся деяний и дат смерти. Вот что написано о Франклине Д. Рузвельте: «Тридцать второй президент. Родился 30 января 1882 года в Гайд-парке, Нью-Йорк. Президентство: 1933—1945. «Новый курс». Вторая мировая война. Умер 12 апреля 1945».

За каждым завтраком я перебирал пакетики с сахаром, искал «счастливого билета» с Джоном Ф. Кеннеди. Не нашел. По телевизору посмотреть передачу, посвященную ему, тоже не удалось. Видел другую передачу — «Жены президентов США». Она пользуется самым большим успехом у зрителей.

О многих событиях прошлого рассказывают газеты, журналы, радио, телевидение. Но ни разу я не видел и не слышал, чтобы вспомнили о прогремевшей на весь мир забастовке рабочих завода Маккормика в Чикаго в 1886 году или расстреле рабочей демонстрации, о том, как Второй Интернационал в память об этих событиях объявил день 1 Мая днем международной солидарности трудящихся. Появились статьи о том, как были открыты золотые прииски в Клондайке. Но ни строчки о парализовавшей почти всю страну забастовке американских железнодорожников за два года до этого. Из последних газет и журналов я теперь доподлинно знаю, когда создавались фонды

<sup>5</sup> A. Cohen. Two-dimensional Man an Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society. London. 1974, p. XI.

Карнеги, Гуттенгеймов, Рокфеллеров. А вот как был создан Союз индустриальных рабочих мира — об этом ни полслова. Впрочем, видел я только буржуазную прессу.

Как бы там ни было, но американцы действительно ныне проявляют повышенный интерес к своему прошлому. Это выражается и в открытии мемориальных музеев, галерей, выставок, обновлении экспозиций, демонстрации картин и произведений скульптуры из частных коллекций. Иногда шедевры выставляются с подчеркнутым афишированием: мы не хуже итальянцев и французов, у нас тоже кое-что есть! Иногда же с очень большим эстетическим тактом и вкусом (галерея Филиппа в Вашингтоне, «Фрикколлекшн» в Нью-Йорке).

Теперь уж не помню, кто представил мне на приеме в Эванстоне невысокого коренастого человека с копной седых волос. И вот мы сидим за столом. Два десятка ученых и примерно столько же аспирантов из Русского и Восточноевропейского института при Нортвестернском университете, неторопливо пьем калифорнийское вино и ведем профессиональные разговоры. Одни расспрашивают членов нашей делегации о новинках советской литературы, другие — о последних исследованиях литературоведов. Седой ученый ни о чем меня не расспрашивает. Он рассказывает сам. Вернее сказать, рисует передо мною картину страны, 212 миллионов жителей которой стали пленниками, как он выражается, всевидящих глаз и всеслышащих ушей (он говорит «больших глаз» и «длинных ушей»).

— Уотергейтский скандал — всего лишь частный и, если хотите, случайный эпизод. Неожиданным он оказался, пожалуй, только по своим последствиям для Никсона. В самом же факте не было ничего неожиданного. Почему? Потому что всех американцев, как писал один мой друг, давно осмотрели, измерили, обследовали, опросили и разнесли по таблицам. Все жители у нас от колыбели и до могилы находятся под пристальным наблюдением бесчисленных агентов. Эти последние неустанно собирают информацию. Она наносится на перфокарту. Кто эти агенты? Имя им легион. Вы, наверное, знаете, что на каждого американского школьника и студента заводится личное дело. Записываются данные о здоровье, умственных способностях, социальном поведении, вкусах, склонностях, взглядах, их эволюции. Потом «дело» всю жизнь как тень ползет за человеком, пополняясь новыми сведениями. Копии его, если требуется, имеют полиция, правительственные учреждения, работодатели. Второе личное дело возникает вместе со страховой карточкой. Третье — в связи с получением прав на вождение машины. Еще одно — если вы покупаете в кредит. Одна из многих организаций, обслуживающих две тысячи кредитных бюро, располагает информацией о ста двадцати миллионах американцев. Что за сведения? Экономическое положение. Политические взгляды. Моральный облик. Даже сплетни. Все учитывается. Корпорации нанимают тысячи больших глаз и длинных ушей. Прибавьте к этому сведения, собираемые самими владельцами предприятий сервиса с помощью подслушивающих устройств и электронного «глаза» в магазинах, парках, кафетериях, аэропортах. Наши газеты не раз протестовали против электронной слежки за рабочими в цехах... Что? Здесь? Не исключено, что и наша сегодняшняя беседа записывается. Не думаю, чтобы полиция, армейская разведка, органы, связанные с ФБР и ЦРУ, прекратили сбор сведений об американцах. Разоблачения, сделанные капитаном Пайлом, вызвали сенсацию. Оказалось, что разведывательная сеть опутала всю страну, заведены личные дела на десятки миллионов людей, а вся информация сосредоточена в Балтиморе. Вслед затем обнаружилось, что агенты фиксировали каждый шаг сенаторов, конгрессменов, губернаторов, всех членов Верховного суда. Агенты были заброшены в негритянские организации, в студенческую среду, работали в библиотеках, тщательно исследуя круг чтения каждого студента. Под давлением общественного негодования появилось сообщение, будто балтиморские картотеки уничтожены. Но кто поручится за то, что всю информацию не сдублировали, доверив ее хранение электронной памяти?..

На вопрос, действительно ли в одном из небоскребов США создано специальное хранилище данных о всех гражданах США, мой собеседник не ответил. Скорее всего потому, что спешил высказать до конца свою главную мысль: усиливающееся вмешательство официальных властей, коммерческих корпораций и фирм в частную жизнь американских граждан, отсутствие законов, охраняющих неприкосновенность частной

жизни, и, наоборот, обилие законов, именуемых самими американцами «приглашением к подслушиванию», приводят к тому, что ни один человек в стране не чувствует себя в безопасности. Удивительно ли, что каждый третий американец лечится у психиатров? Еще десять лет назад член американского Верховного суда У. Дуглас сказал, что вопиющее нарушение принципа неприкосновенности частной жизни возрастает в геометрической прогрессии, что в стране создается общество нового типа, в котором правительство по собственному произволу вторгается в самые интимные сферы человеческой жизни. Сообщив все это, профессор вспомнил мой вопрос:

— Не знаю, существует ли уже общенациональное кибернетизированное хранилище данных, где каждый американец бесплатно получил свой пожизненный личный номер-перфокарту. Но что о единой информационной машине, или, если говорить по-нашему, о банке данных, мечтают правительство, полиция, корпорации, страховые монополии — это верно.

— А не пополнится ли данными ваша личная перфокарта в результате нашего разговора?

— Возможно, — ответил он равнодушно. — Только совсем не новыми. Я готовил материал для нашумевшей речи профессора Миллера. Я помогал Биму Северну собирать материал для книги «Право на неприкосновенность частной жизни»<sup>6</sup>. Так что у меня перфокарта насыщенная.

Каков главный принцип современной господствующей идеологии в США? Один из сидящих со мной за столом ученых (потом он сказал, что работает в Мичиганском университете) отвечает:

— Все тот же принцип «равных возможностей». Большинство людей, включая и ученых-социологов, исходят из того, что каждый из нас располагает одинаковыми возможностями стать кем угодно, и если он не Рокфеллер, Хант или Форд, то либо потому, что пока не сложилась ситуация, либо не хватило индивидуальных способностей, либо же время не пришло. Никогда не знаешь, где тебя подстерегает удача, но она приходит к тому, кто умеет ждать. Поддерживать людей в подобной уверенности помогают литература, искусство, наука, газеты, журналы, учителя и мы, профессора, возвращаясь без конца к известным мифам, фактам, чрезвычайным случаям. Социологи, философы, политики, большинство журналистов твердят о том, что ни одна общественная группа у нас не оказывает решающего влияния на правительство. И вот вам факт: отвечая на одну из наших анкет, с этим согласилось сорок процентов опрошенных с семилетним и девяносто два процента людей с высшим образованием.

Он привел еще множество разных цифр. Запомнить их, понятное дело, я не мог. Из-за обилия их я стал даже терять интерес к разговору. И, видимо, поэтому не заметил поворота в его развитии. Собеседник же говорил о кризисе главного принципа господствующей идеологии. Начало, как он утверждал, все углубляющегося кризиса относится к 60-м годам. Как-то своеобразно связав все с резким разрывом в доходах разных категорий населения, он продолжал:

— Мы распространили анкету в городе Мускегон. Типичный для двухэтажной Америки городок. Так вот здесь назвали США страной равных возможностей девяносто три процента людей с ежегодным доходом не менее двадцати пяти тысяч долларов, девяносто процентов с доходом меньше двадцати пяти тысяч и только пятьдесят шесть процентов с низким доходом. Что значит низкий? До шести тысяч долларов в год. Людей, работающих неполную рабочую неделю, женщин, безработных мы не опрашивали. Когда же, конкретизируя вопрос, мы спросили, имеются ли в США равные возможности для богатых и бедных, на него утвердительно ответило чуть больше сорока процентов опрошенных. И, наоборот, почти половина считает самой влиятельной у нас группу, условно именуемую «большой бизнес и богачи». Если бы цифры не нагоняли на вас скуку, я бы немало их привел. Что поделаешь, мы, американцы, воспринимаем цифру более эмоционально, чем картину. Вот вам еще несколько: шестьдесят шесть процентов из опрошенных нами бедняков считают, что богатство не является следствием личных достоинств. Шестьдесят шесть процентов белых. И восемьдесят три процента черных. Есть над чем подумать, господин профессор, — не правда ли?

<sup>6</sup> См. В. Severn. The Right to Privacy. N. Y. 1973.

С этим высоким, худым, смахивающим на Дон Кихота профессором я знаком давно. Есть нечто донкихотское и в его взглядах. Говорит он медленно, словно бы с трудом подыскивая слова, но слушать его приятно. Мы познакомились много лет назад в Нью-Йоркском городском университете. Тогда Джон А. Олдингтон был аспирантом, увлекался проблемами рабочего движения. Теперь он профессор, занимающийся в специальном институте изучением проблемы занятости. Так же как его коллеги Х. Шепард, Н. Херрик, Ф. Фолкс, М. Маккоби, он причисляет себя к социально-психологической школе, более всего известной у нас по работам Эрика Фромма. За годы, прошедшие с нашей последней встречи, Джон еще больше похудел, русая голова начала седесть, но ласковые голубые глаза не потеряли своего детского блеска. И по-прежнему излюбленной идеей Джона является идея «очеловечения труда» в США...

С трудом приткнув где-то его «фольксваген», мы вошли в небольшой бар с чудовищным количеством бутылок, заполненный «ночными бабочками», иностранными моряками и еще какими-то чересчур тщательной для Америки одетыми людьми. Взобравшись на высокие сиденья и сразу заказав двойной шотландский виски с содовой, начинаем неторопливый разговор. Расспросив меня о здоровье жены, детей, об общих знакомых, Джон спрашивает, состоится ли моя лекция в Нью-Йоркском университете.

— Отменили, когда я был еще в Чикаго.

— А знаете, почему отменили? — спрашивает он и отвечает: — Вчера полиция ворвалась в кампус, орудовала дубинками. Но студенческое движение, каким вы знали его по предыдущим приездам, сведено ныне хитроумными вашингтонскими политиками почти к нулю, вот что. Существует, однако, нечто, перед чем бессильны даже самые искусственные политики из Вашингтона. Я говорю о новом социальном типе американца. Он уже начинает доставлять неприятности и Вашингтону и нашим профсоюзным боссам. Он пугает своими антисоциальными настроениями, вот что. Тем более что все чаще предъявляет внеэкономические запросы. Я говорю о труднообъяснимом, но несомненном чувстве недовольства своим трудом среди двадцатипятимиллионной армии молодых рабочих. Понимаете, у человека хороший заработок, а он недоволен. Вдруг уходит с завода или из учреждения. С возрастом симптомы отчуждения от работы, отвращение к ней все отчетливее. Тут главная неожиданность в том, что эти рабочие неплохо зарабатывают и трудятся во вполне сносных условиях. По крайней мере, шестьдесят процентов из опрошенных нами считают свой заработок удовлетворительным. И все-таки тяготеют к работе, с годами начинают работать спустя рукава и при первой возможности меняют специальность. И вот что: это чувство испытывают не остальные рабочие, а рабочие, имеющие, по крайней мере, среднее образование. На вопрос, чем их не удовлетворяет работа, почти всегда отвечают: скучно, неинтересно, не то, чего ожидал. Думаю, что за этими ответами скрывается неудовлетворенность тем, что работа не приносит интеллектуального и психологического удовлетворения, бесперспективна, однообразна, не позволяет проявить творческую инициативу. Но это уже я и мои коллеги так объясняем этот неожиданный феномен. Вот Шепард и Херрик в книге «Неудовлетворенность рабочих» пишут, что у руководителей корпораций и профсоюзных боссов эта новая социальная разновидность рабочего вызывает настороженность, даже страх: ведь когда рабочий начинает задумываться и задает вопросы, то неизвестно, до чего он дойдет.

Прервав его, я говорю, что года два назад читал в нашем еженедельнике «За рубежом» перепечатку из какого-то американского журнала, озаглавленную «Социальный динамит Америки». Ее автор Эндрю Левисон, рассказывая о забастовке молодых рабочих на заводах компании «Дженерал моторс», писал примерно то же самое: «Безогорочная вера в «американский образ жизни», которую нередко приписывают «средней Америке», в значительной мере выветрилась у молодых рабочих, причем не из-за писаний Герберта Маркузе и Чарлза Рейха, а благодаря тем «перспективам», которые открывались с вертолетов, висящих над Данангом и дельтой реки Меконг». Автор считает даже, что корень зла в самой основе американского общества. Выслушав меня, Джон говорит:

— Я согласен с заголовком статьи, а с общим выводом не согласен. Ведь именно эта часть рабочих либо отличается политической пассивностью, либо впадает в экстре-

мизм, вот что. Ужасные разрушения на предприятиях «Дженерал моторс» во время забастовки в Лордстауне (Огайо) в семьдесят втором году — дело рук не отсталых рабочих, а образованных и хорошо зарабатывающих. Они же голосовали за Уоллеса на выборах и в шестьдесят восьмом и в семьдесят втором годах. Вот после этого и попробуйте Марксом объяснить подобные явления, — пытается уязвить меня Джон.

Мы спорим. Я знаю, что, считая себя социалистом, Джон вместе с тем смотрит на учение Маркса как на пройденный этап. По его словам, идея внесения социалистической сознательности в рабочее движение тоже устарела. И не хочет замечать, что нигде, кроме разве ФРГ, не делается столько, чтобы лишить «думающих» рабочих правильной социалистической ориентации, сколько в США. Джон Олдингтон полагает, что волнующая его проблема может быть решена путем комплексного изменения организации труда (нежная революция). Этот же «путь к осмысленному труду» рекомендуется и авторами книги, о которой он говорил. Кстати, в ней содержатся интереснейшие фактические данные, статистические материалы и вот такой вывод: «Определился новый социальный тип американца, настроенного антиавторитарно, жаждущего равенства и сохранения достоинства всюду в жизни, начиная с работы. В тех случаях, когда условия труда этому не благоприятствуют, у современного рабочего (особенно у молодых рабочих, настроенных крайне антиавторитарно), лишённого возможности утверждать свое равенство и достоинство в труде, возникает особый и весьма нежелательный... психический синдром. В политической сфере большинство из них (в отличие от старших) отвергает представление о том, что страна должна управляться посредством влияния избирателей на узкий круг лиц, и это сопровождается недоверием к двум ведущим политическим партиям...»<sup>7</sup>.

— Как сказал бы мой новый знакомый из Мичиганского университета, тут есть над чем подумать, — говорю я.

— Стоит подумать, вот что, — соглашается Джон, приветливо улыбаясь.

Пожилая худенькая дама лет шестидесяти пяти, разговорившись на вечеру в Эванстоне, как-то вся засветилась изнутри. И стала рассказывать о том, как сорок пять лет назад отправилась в Советскую Россию.

— Я поехала переводчицей с инженерами на строительство Кузбасса. Там ничего не было. Но тысячи простых людей взялись за лопаты, тачки, ломы... Работали удивительно, хотя еда была самая скудная. Некоторые из наших инженеров так увлеклись строительством, что остались навсегда в вашей стране. А я вернулась. Но вспоминаю это время как сказку.

В этот же вечер я познакомился еще с тремя женщинами. Одна из них искусствовед, две другие — философы. В этом женском обществе я не нашел ничего лучшего как заговорить о матриархате. И тотчас получил решительный отпор. Самая красивая из трех ученых дам, сообщив мне, что является неофеминисткой, членом Национальной организации женщин США, решительно оспорила правильность моих наблюдений:

— Нет-нет, вы не правы. Никакого равенства между мужчиной и женщиной у нас не существует. В истории США не было случая, чтобы женщина была президентом или вице-президентом. Количество женщин-ученых едва превышает десять процентов, еще меньше женщин-врачей и почти нет женщин-адвокатов. Нас не допускают ко многим видам работы под предлогом охраны труда, а в случае беременности увольняют. И нам платят меньше, чем мужчинам. Мы беззащитны перед предпринимателями. За счет разницы в оплате труда мужчин и женщин корпорации зарабатывают шестьдесят миллионов в год...

Она на минуту умолкла. Внимательно глядя на меня, что-то обдумывала, обдумав, сказала:

— Женщина у нас всегда была более революционна, более прогрессивна. Можно сказать, она главная прогрессивная сила. Впрочем, так же как у вас. В прошлом году я видела на Бродвее «Врагов» Горького. Там тоже самые революционные люди — женщины. И в повести «Мать». Я ее тоже читала.

Удивленный своеобразным истолкованием творчества Горького, я, однако, не стал

<sup>7</sup> H. Sheppard, N. Herrick. Where have all the Robots gone? Worker Dissatisfaction in the 70s. N. Y. 1974, pp. 93, 139.

спорить. Ничего не сказал и о постановке «Врагов» на Бродвее, хотя знал, что режиссер проявил беспримерное самоуправство. Но содержание своего разговора с неофеминисткой передал жене Ирвина Уайла, и она ее поддержала. Что же касается Горького, то в последние годы в США его открывают заново. Особенно популярна его драматургия.

— Чем вы объясняете успех его пьес?

— Тем, что он как художник и как мыслитель предварил все драматические проблемы наших дней.

— Театральные?

— Все.

## 12

Перед тем как снова отправиться в нью-йоркский музей Соломона Р. Гуггенхейма, где демонстрируются «важнейшие произведения живописи и скульптуры новейшего времени», заглядываю в свою старую записную книжку. Впервые я посетил американские музеи безобъективного искусства более десяти лет назад в сопровождении ученых — искусствоведов и литературоведов из Нью-Йоркского, Колумбийского и Джорджтаунского университетов. И записал тогда: «Мы видели произведения самых знаменитых модернистов. Но вот что любопытно: сопровождающие меня ученые всякий раз стремились отыскать в картинах, скульптурах намеки на реальный мир: «Смотрите, это, кажется, должно изображать голову человека?», «Не правда ли, там где-то видятся очертания небоскреба?» И им очень хотелось, чтобы я тоже увидел человека, небоскреб. Когда мы закончили осмотр живописи в музее Гуггенхейма, аспирант В. Рэй с искренней горечью воскликнул: «Сколько понапрасну растрченных сил!» В другой раз профессор Б. Унбеган предупредил: «Не вздумайте у музея вытереть о решетку ноги: то не решетка, а картина». Другой профессор рассказал: «Один мой знакомый в этом музее уселся на чурбан передохнуть и поплатился: оказалось, уселся на художественное произведение». Их слова пробудили в памяти знаменитую фразу Ф. Мориака: «Перечитывая «Войну и мир», я чувствую, что передо мной не пройденный нами этап, а утраченный нами секрет». О таком же секрете мы много говорили, попав на несколько часов в залы замечательной Вашингтонской галереи. Я испытал истинное удовольствие и оттого, что видел полотна знаменитых живописцев, и оттого, что американские ученые с неподдельным восторгом, с благоговением восклицали: «Биндо Альтовити» Рафаэля!», «Святой Мартин и нищий» Эль Греко!», «Читающая девушка» Фрагонара!», «Ветер крепчает» Гомера!» Такой восторженности, такого благоговения я не заметил у них, когда мы стояли перед «полотнами» С. Френсиса, Д. Поллака, С. Бриггса, Ф. Лодбелла, Н. Марсициано, М. Ротко».

Откровенно признаться, в музее Гуггенхейма мне тогда больше всего понравилось само здание. Этакая гигантская спираль. Кто-то метко назвал его гигантской улиткой. Но какая замечательная, просторная, светлая, легко поднимающая тебя вверх и столь же легко спускающая вниз улитка!

Помнится, в свой первый приезд в США я усиленно, даже надоедливо допытывался у моих американских коллег, что пишется в газетах, журналах, специальных монографиях о новейшем, моднейшем искусстве и вообще о целях и назначении искусства и литературы. Судя по той же записной книжке, выводы были малоутешительные.

Теперь в американских художественных музеях, в частности в музее Гуггенхейма, в отделах, отведенных новейшей живописи в галерее Филиппа, в Чикагском институте искусств, я не столько рассматриваю произведения, виденные мною и раньше (в музее Гуггенхейма только что открыта специальная выставка картин В. Кандинского, демонстрируются «достижения» современных американских модернистов), сколько наблюдаю за тем, как реагируют на них рядовые посетители. Радует то, что в залах галерей и музеев стало многолюднее. Радует и то, что уроки художественного образования школьникам даются в музеях. Дети сидят на скамеечках, созерцая древние изваяния греков, римлян, инков, шедевры эпохи Ренессанса. Но пусть меня простят поклонники кричащей новизны в искусстве: я ни разу не видел, чтобы урок эстетического воспитания школьникам давался перед произведениями М. Ротко. Не видели мы толп зрителей и перед полотнами В. Кандинского, ныне канонизированного в США.

В превосходном нью-йоркском «Линкольн-сентер» большое впечатление производят драматический театр, театр оперы и балета, филармония и своеобразно свя-



зывающий все строения фонтан. Архитектор решил, что фонтан станет произведением искусства, если внутри его поместить современную скульптуру. Задумано — сделано: над одной каменной глыбой нависла другая. Очертания глыб таковы, что их можно принять за лягушек фантастического размера. А можно истолковать, скажем, как столкновение в жизни уродливо-духовного начала с началом уродливо-животным. Допустимы и ассоциации, порождаемые «расколотостью современного мира». И только одно исключается начисто: радостное чувство при созерцании этого произведения. Сопровождавшая нас очень образованная женщина, кивнув в сторону скульптуры, сказала:

— Говорят, это очень модно, но я ума не приложу, что это означает.

Эта фраза заставляет вспомнить обмен репликами с аспирантом из Нью-Йоркского городского университета в музее Гуггенхайма в 1964 году.

— Краски, господин профессор, сами краски привлекают наше внимание к этим произведениям. Разве вы не согласны с тем, что цветовая гамма вечерней зари доставляет наслаждение? — спросил он.

— Согласен, — ответил я и добавил: — Но тут я вижу закат и не ощущаю даже намека на зарю.

Собеседник мой популярно выражал то, что тогда писалось самыми солидными искусствоведами. Изменилось ли с тех пор в США отношение к модернистскому искусству? Мне кажется, можно сказать, что, по крайней мере в широких демократических кругах, изменилось. В галерее Филипса из художников-абстракционистов шире других представлен Марк Ротко. Экспонируется несколько однотипных «полотен» с изображением переходящих одна в другую цветовых полос: черной и красной, красной и темно-красной, зеленой и бордовой, оранжевой и красной. Лично меня это сочетание не взволновало. И, по-моему, большую часть посетителей тоже. Не очень много их и в музее современной живописи и скульптуры при Смитсоновском институте в Вашингтоне. Когда я в одиночестве рассматривал «произведение», состоящее из четырех белых положенных одна на другую пластин, профессор Тонни Глассе рассказала мне:

— В Риме тоже есть Музей современного искусства. Для привлечения публики там дают концерты. Они пользуются таким успехом, что моя подруга никак не могла достать билет. Решила пойти на хитрость: поднялась этажом выше, села на диван над концертным залом и уставилась на чистое полотно с черной точкой в центре. Она смотрела в эту точку полтора часа. К ней подошел старик-зритель и сказал: «Простите, синьорина, по долгу службы я вынужден обратиться на вас внимание. Но не по долгу службы хотел бы узнать, что вы там увидели? Что могло вас настолько заинтересовать, что вы почти неотрывно смотрели целый час в одну точку?» Она ответила: «Замечательно! — И добавила: — Такое наслаждение!» Когда его брови изумленно полезли вверх, она объяснила: «Я говорю о музыке». Старик оцепенел на минуту, потом в восторге бросился к ней, поцеловал и сказал: «Спасибо, синьорина! А то я смотрю: такая красавица! — и думаю: неужели она видит то, чего нет?!»

Профессор Роберт Л. Джексон, руководитель русских исследований в Йельском университете, просил меня прочесть лекцию о советской литературе. Сам он специализировался в области русской литературы XIX века, пишет о Достоевском и Чехове, мечтает о конференции советских и американских ученых, посвященной проблемам изучения Чехова. Ему очень хотелось, чтобы моя лекция состоялась. Он звонил в Блумингтон, звонил в Чикаго, напоминая о предстоящей лекции. В Нью-Йорке меня встретил его помощник. Но случилось так, что я неожиданно заболел. Лекцию пришлось отменить. Больше всего об этом жалею я. Жалею потому, что давно хотел встретиться с самым профессором Робертом Джексонем, чью книгу «Подпольный человек Достоевского в русской литературе», книгу очень спорную, но по-своему интересную, прочел еще в 1959 году. Меня тогда приятно поразила смелость, с какой ученый писал о развитии крупнейшими советскими писателями, принявшими Октябрьскую революцию, лучших традиций Достоевского. В специальной главе, посвященной Леониду Леонову, он говорил о сложнейших «взаимоотношениях» нашего писателя с Достоевским, признавая, что с самого начала революция явилась для Леонова могущественной освободительной силой, что в романе «Скутаревский» подпольный человек был оценен с классовых позиций, а «трагическое видение человека... уравновешено уверенностью в большевистском

пути»<sup>8</sup>. Жалею и потому, что в Йельском университете работают ученые, немало писавшие о движении так называемых новых левых. Теперь это движение в США уже не ощущается с такой силой, как шесть лет назад, но один из йельских профессоров предрекает: «Это затишье перед бурей». Мне хотелось поговорить о знакомых, которых я когда-то знал студентами, потом читал о них в газетах как об идеологах «нового левого радикализма». Их любимое слово «бунт», расхожие эпитеты — «тотальный», «индустриальный», «биологический». Последний эпитет вскоре был вытеснен более популярным — «сексуальный», даже «пансексуальный» («бунт инстинктов», «экстаз тела» тож). Этот бунт оказался настолько «потенциально могучим», что на его основе воздвигалась теория «сексуальной революции» как альтернативы... «революции социальной». Последняя, дескать, нереальна потому, что пролетариат исчерпал свою революционность, «обуржуазился», а кроме того, революционный пролетариат не отказывается от идеи государства, оно же, государство, любое государство, тоталитарно, ограничивает индивидуальную свободу и поэтому должно быть взорвано вместе со всеми моральными нормами и заменено совершенно новым «четвертым миром».

Много было написано во всех странах о «новых левых», о хиппи и йиппи. Даже самые реакционные газеты не стеснялись крупным шрифтом набирать их лозунги: «Бунт против всего!», «Положим конец агрессивности и уродству современного образа жизни!», «Делай то, что хочешь!», «Революция непрерывная и всеохватная!». Немало внимания уделили «новым левым» профессора из Йельского университета. Однако меня очень удивило, что в звездный час движения «новых левых» профессор этого университета Роберт Лифтон выступил со статьей, озаглавленной почти вызывающе — «Человек, подобный Протею» («Protean Man»). В ней доказывалось, что в США возник и все более укрепляется в жизни «протеанский тип» — тип человека, отличающегося постоянной текучестью, изменчивостью своих убеждений, принципов, вкусов, симпатий и антипатий, сущность которого неуловима, непостоянна. Изменчивы и неопределенны его политические взгляды: с консерваторм он консерватор, с революционером революционер. Изменчивы основы его мировосприятия: он пессимист с пессимистом и оптимист с оптимистом. Изменчивы его нравственные представления: он считает все дозволенным для преуспевающего человека. Изменчивы его эстетические взгляды: сегодня он поклоняется Микеланджело, завтра Шагалу. Он презирает идеологии, понимает твердость и определенность убеждений как узость и догматизм. Профессор объяснял появление такого человека в США крушением всех традиционных духовных ценностей, трагедией Хиросимы и влиянием нигилистических концепций, навязывавшихся американцам в годы «холодной войны».

Об этом мы и говорим с помощником профессора Роберта Джексона. Улыбка не сходит с его лица, пока я излагаю содержание статьи. Трижды во время моего рассказа он бросает короткие реплики. Сначала: «Маркузе и до сих пор настаивает, что он был другом Розы Люксембург». Затем: «Большинство студентов сегодня переросли хипстеризм и думают над более серьезными проблемами, чем пансексуализм». И наконец: «Стало серьезнее и поколение Маркса и кока-колы, как у нас называли людей, тянувшихся к марксизму, но живущих по принципам американских стандартов». Он не согласен с тем, что протеизм — реакция на «безответственную бомбардировку Хиросимы».

— Мне кажется, профессор преувеличил. Он уловил опасную тенденцию в нашей действительности, но явно гипертрофировал ее. И не все причины назвал. Были и другие. Самая главная — маккартизм. Помните? Потом корейская война. Позднее — еще более наглое попрание всех наших устоев, принципов, норм, выразившееся во вьетнамской авантюре. Из года в год делалось все для того, чтобы отбить у человека интерес к большому гуманистическим проблемам, чтобы вбить его в самого себя — можно так сказать? — превратить в автомат, способный, как это было с нашими солдатами во Вьетнаме, «автоматически» сжигать и расстреливать все на своем пути... — Улыбнувшись своей обезоруживающей улыбкой, он тут же переходит в наступление: — Вы неправильно судите о хипстеризме. Его уродливые формы скорее говорят об уродливости условий, породивших бунт. Среди хиппи было немало честных людей, по-настоящему

<sup>8</sup> Robert Louis Jackson. Dostoevsky's Underground Man in Russian Literature. 1958, p. 201.

обеспокоенных нашим будущим. Хипстеризм я бы назвал даже неизбежным. Один из участников этого движения утверждал: «Мы отвергаем разум потому, что он не выдержал испытания и служил неправому делу Маккарти и Джонсона так же усердно, как в другое время служил Рузвельту и Кеннеди; мы отвергаем нашу демократию потому, что она в равной степени может служить и правому и неправому делу, во всяком случае, последнему она не воспрепятствовала; мы отвергаем этику, ибо чего она стоит, после того как добрые христиане, помолившись, бросают бомбу на Хиросиму и сжигают Сонгми; мы отвергаем прецеденты, вспоминая о том, что Нюрнбергский процесс не вразумил ни Риджуэя, ни Уэстморленда». Иными словами, все ценности казались несостоятельными: разум развращен, демократия попорана, этика обескровлена. Так долой же разум! Долой государство! Долой мораль! Долой прецеденты! Вот так думали и говорили мы тогда.

— Вместо разума попробуем опереться на подсознание, быть может, туда не проникли еще тлетворные бактерии цивилизации? Государству, любому государству пусть придет на смену всеобщий хаос, анархия на всей земле? Раз этические нормы не гарантируют честности, а, напротив, как всякий запрет, лишь усиливают желание нарушить их, выбросим их на свалку? Раз прецеденты не оказывают необходимого влияния на ход жизни — к черту историю, прошлое, опыт человечества? Не лучше ли начать все сначала, почти с четверенок?

Он снова широко улыбнулся:

— Так думали мы. Разве это не революционная идеология?

— Революционная? Но ведь изложенная вами философия хипстеризма только по видимости освобождает людей, лишь по форме революционна. На самом деле за ней скрывается бездна отчаяния. Она основана на неверии в человека, в его разум, в его исторический опыт. Это отчаяние проглядывает всюду. Даже в картинах Джексона Поллака и Марка Ротко. Они не имеют названий. Они изображают нечто такое, что можно привязать к любой эпохе. Хаос. Какую-то бессмыслицу. Порой становится страшно, что в двадцатом веке человечество, стоя перед конструкциями сверхмодернистов, не находит ни обаяния, ни тепла, а только что-то такое, что намекает на «извечность начал», порождающих отвращение, страх за жизнь и человека, ощущение бессилия перед абсурдом, хаосом, якобы извечно царящими в мире. Среди сверхмодернистов есть талантливые художники, так же как среди «новых левых» немало было действительно честных, смелых, отважных людей. Но не всякий, кто восстает у вас против общества, является революционером и героем нашего времени. Героем нашего времени является тот, кто имеет совершенно реальную программу борьбы за действительное счастье народа.

Если не считать доклада на симпозиуме и лекций, прочитанных в университетах, это была самая длинная из всех речей, произнесенных мною за океаном в этот приезд. Была? Или — могла быть? В тот день у меня температура подскочила до тридцати девяти градусов. Так что я теперь не могу сказать с уверенностью, произнес ли я все это вслух или всего лишь подумал. Помню только, что мой собеседник сидел у стола, пытаясь скрыть за широкой улыбкой глубокую озабоченность.

Не меньшую озабоченность, очевидно, читал и он на моем лице. Перебирая в памяти все, что услышал, узнал в эту поездку по США, я вспомнил рассказ из книги «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона.

Пожилой врач женился на состоятельной девушке, которую до этого долго лечил. Через год она умерла, оставив ему богатую ферму. Он бросил практику. И вскоре город Уайнсбург забыл о его существовании. Между тем в душе его созревали прекрасные семена. Он мыслил. Он непрерывно создавал нечто грандиозное и тут же разрушал его. Он записывал свои мысли на клочках бумаги. Даже не мысли, а начала и концы мыслей. В общем-то, мысли были не столь уж и великие. Но их было много, так что они сливались в огромную правду, заполняющую его целиком. Облако правды все увеличивалось, росло, становилось гигантским, обволакивало весь мир, но затем таяло, чтобы снова дать возможность родиться маленьким мыслям. Потому что клочки бумаги, на которых записывались мысли, доктор засовывал в карманы. Там они постепенно скатывались в бумажные шарики. Когда доктор бывал в добром настроении, он кидал эти шарики в своего приятеля...

Вспоминая этот рассказ, я неожиданно подумал: «А вдруг это символ? Вот и сегодня все больше американцев ищут правду жизни, а все идет своим чередом. Не случится ли с ними того, что произошло с доктором Рифи из рассказа «Шарики из бумаги?»»

Очень хотелось ответить «нет». И я искал в памяти все, что могло укрепить меня в этом. Вспоминалось же нечто прямо противоположное. Изгнанный в 1952 году из США Чарли Чаплин в 1972 году приехал сюда получить «Оскара»; после каждой встречи с американцами он грустно повторял: «Они похожи на детей, которых отшлепали за шалости». Сопровождавший его корреспондент сказал: «Вас здесь любят». Он ответил: «Да, конечно, но они любили и Кеннеди». И еще немало подобных историй всплыло в памяти, прежде чем вспыхнули в ней слова Уильяма Фолкнера: «Я отказываюсь принять гибель человека, я верю, что человек не только выстоит: он восторжествует...» И слова Джона Херси: «У человека есть и воля и сила пережить и, пережив, обновить и перестроить...» Но я вспомнил эти исполненные веры в человека слова уже после того, как мой собеседник ушел.

Второй день сижу с повышенной температурой в отеле «Лексингтон» на одноименной улице Нью-Йорка. Вечер. Члены делегации осматривают города, в котором «есть все». Может быть, сейчас они любят Манхаттаном, поднявшись на Эмпайр стейт билдинг<sup>9</sup>. С Эмпайр стейт билдинг Нью-Йорк лучше и красивее, чем вблизи.

Позавчера с профессором Робертом Белкнапом мы возвращались из книжного магазина Брентано в отель по Мэдисон-авеню.

— Все строится и перестраивается, — сказал он. — Мы говорим, что Нью-Йорк будет красив, когда будет кончен.

Посмеявшись, останавливаемся у черного, квадратного, «лишенного желаний быть красивым, тупого, тяжелого» двадцатипятиэтажного здания почти в центре Манхаттана. Профессор сообщает:

— А вот одна из тех «скребниц неба», о которых писал Горький. Вдоль них на высоте примерно третьего этажа пролегли рельсы воздушной дороги. По ним днем и ночью с грохотом мчались вагоны. Вой, шум были невыносимы из-за узких улиц, похожих на каменные мешки.

«Надземку» давно разрушили, а на месте двадцатипятиэтажных черных зданий выстроили небоскребы высотой в семьдесят, восемьдесят, сто этажей. В остальном город остался прежним. Когда идешь по тротуарам, они дрожат, всем телом ощущаешь грохот подземных поездов. В окнах зданий-громад не видно цветов. Деревья здесь встречаются реже, чем мясо в похлебке нищего. К вечеру город тонет в мусоре. И, как много десятилетий назад, нередко «в пыли и грязи мостовых безмолвно берутся дети, безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, и, как прежде, кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы». Когда я напомнил Роберту Белкнапу эти строки, он сказал:

— Конечно, конечно. Но мы ничего не можем поделать с мусорщиками. Чуть что — они объявляют забастовку. И город задыхается от нечистот и мусора. И знаете, мусорщики у нас много получают. Их профсоюз самый богатый. Одних акций он купил не то на один, не то на два миллиарда долларов.

— А верно, что долг города исчисляется в десять миллиардов и что возможно банкротство?

— Верно. Ни один город не может позволить себе расходовать больше, чем получает. Нью-Йорк расходует больше...

— А что означает банкротство?

— Разорение многих тысяч людей.

— Богатых?

— Нет, главным образом небогатых, но купивших на свои сбережения акции и таким образом страховавших себя от нищеты в старости...

Так начинает раскрываться перед нами Нью-Йорк вблизи. Лет двенадцать назад я любил в свободное время ездить в районы, находящиеся по ту сторону Ист-Ривер и Гудзона, в Бруклин, Бронкс. Было приятно сесть в автобус, проехать по несколько тяже-

<sup>9</sup> Стодвухэтажный небоскреб в центре Манхаттана.

ловесному, но все же величественному Бруклинскому мосту или легкому и прямому, как стрела, Манхаттанскому мосту и оказаться как бы в другом мире: нет грома, слепящей рекламы, молчаливо высятся каменные дома, похожие друг на друга, как сорок тысяч братьев.

Говорю о Бруклине. Бродя по его улицам, я убеждался в правоте Тома Вулфа, закончившего свой рассказ «Только мертвые знают Бруклин» словами: «Надо потратить целую жизнь, чтобы узнать Бруклин по-настоящему. Да и тогда не будешь его знать». Единственным братом Бруклина был Бронкс. Эти районы Нью-Йорка тогда процветали. Пищевая промышленность. Швейные предприятия. Изготовление музыкальных инструментов. Вообще — чего здесь только не производилось трудовыми руками людей. И вот позавчера утром, возвращаясь в Нью-Йорк с загородной дачи, где живет мой друг Сергей Бурак, работающий в аппарате генерального секретаря ООН, я попросил его ехать через Бронкс. Он посмотрел на часы, поднял стекла и, чуть помедлив, решил, включая мотор на полную скорость:

— Была не была.

Сказать, что меня потрясла развернувшаяся перед нами картина, значит почти ничего не сказать. На клочке бумаги я записал: «Мертвый город. «Джанки». Негры и пуэрториканцы. Пустые дома. Пожары. Наркоманы. Разутые машины. Мерзость и запустение.— И на обороте добавил строчку из стихов Уинстена Хью Одена: — Везде железное крошево и руины...» Тысячи многоэтажных домов шестидесятилетней давности буквально разрушаются. Многие без стекол, с заколоченными рамами. Другие горели, но не сгорели дотла (каменные коробки не берет огонь). В большинстве развалюх никто не живет. Но, кажется, пустуют и здания, уцелевшие от какого-то неведомого смерча, пронесшегося над ними.

— Здесь каждый день бывают пожары,— говорит мне Сергей. И уточняет: — Двадцать — тридцать в сутки. Чаще всего поджоги.— Показывая на «разутые» и «раздетые» машины, поясняет: — Страшно, если машина испортится здесь ночью: владелец ее исчезнет навсегда, а из машины будет вывинчено, снято и продано все, что можно продать.

Половина жителей — безработные (каждый третий юноша не имеет работы, каждая третья семья живет на пособие).

«Мерзость и запустение»,— записал я. Но эти слова бессильны выразить увиденное. В тот же день Сергей Бурак завез мне в отель свежий номер газеты «Нью-Йорк уорлд ревью». В ней он отчеркнул два абзаца о только что увиденном мною в Бронксе. Писал Майк Дэвидоу, недавно возвратившийся из Москвы, где работал шесть лет корреспондентом прогрессивных американских газет. Статья называлась «Путешествие из одной эпохи в другую». Вернувшись, он тоже посетил Бронкс и был потрясен не менее моего. Вот что написал он о Бронксе: «Обитатели этого гетто, в основном негры и пуэрториканцы, напоминали беженцев в городе, опустошенном войной. Мы только что приехали из страны, претерпевшей во второй мировой войне неслыханные в истории бедствия: свыше 20 миллионов потерянных жизней, 25 миллионов оставшихся без крова, 1700 разрушенных городов и 70 тысяч стертых с лица земли деревень. Нигде в этой огромной стране вы не увидите ничего похожего на то, что творится в Бронксе».

Лично я нечто похожее видел только здесь, в Нью-Йорке, несколько лет назад — на Бауэри-стрит, самой страшной части знаменитого Ист-Сайда, где в 1964 году бывал дважды. Холодным октябрьским днем меня привез сюда корреспондент «Правды» Борис Стрельников. Трижды на самой малой скорости мы проехали по Бауэри, а потом решили пройти несколько блоков пешком. «Вон смотри, Сатин!» — говорил мне Борис Стрельников, показывая на высокого, седого, в рыжем пальто и брезентовых штанах человека, пристававшего к прохожему. «А вон и Настя!» — сказал я, кивнув на одиноко стоявшую с отсутствующим взглядом молодую женщину. Перед нами в потрясающей реальности разверзлось страшное дно, превосходящее то, что изобразил Горький в пьесе «На дне». Потрясенный всем увиденным, я записал тогда: «Это что-то кошмарное. Старые, обшарпанные, обвешенные железными лестницами дома. На тротуарах стоят, сидят, даже лежат люди, грязные, небритые, в потертых пальто, куртках, телогрейках. Тот бредет с опущенной головой. Этот уставился в витрину магазина напротив ресторана «Четыре-Пять-Шесть». Женщина с ярко накрашенными губами стоит истуканом, будто обмерла.

Над ней навис верзила с красными глазами и таким грязным лицом, как будто отродясь не умывался. Старик, заросший седой щетиной, смотрит на нас мутными, невидящими глазами... Нет, всего увиденного на Бауэри-стрит не передать никакими словами, но раз увидев — никогда не забудешь этого. Здесь гнездятся не сумевшие найти работу, «потерявшие себя» в поисках ее 70 тысяч человек, навсегда сломленных судьбой. Они уже ничего не ждут от жизни, валяются на ее дне, как жухлые листья поздней дождливой осенью на тротуарах».

Через три дня я снова приехал на Бауэри, но уже в сопровождении американцев. В дневнике сохранилась запись: «По официальным данным, здесь находится 12—14 тысяч человек. «Яма человеческих отходов Нью-Йорка, — сказал полицейский комиссар. — Кто сюда попал — кончен. Город ничего не может сделать с этими людьми». За ночлег здесь положена плата 25 центов. Если денег нет — спят в подъездах. Видел нескольких стариков, поматывающих головами. Это особенно потрясает».

Вспоминаю слышанный больше десяти лет назад рассказ Майкла Харрингтона (автора изданной в 1963 году в Балтиморе книги «Другая Америка»). Потом — совсем недавно прочитанную работу социолога Стюарта Р. Линна, вызывающе озаглавленную «Мифология и экономика: бедность в сегодняшней Америке». Напомнив о книге Харрингтона, он писал, что за истекшие годы бедность в «первой стране, достигшей изобилия», не уменьшилась (Харрингтон утверждал, что в США насчитывается бедных и нищих от 40 до 50 миллионов): «Вопреки общественному вниманию, какое привлекла к проблеме бедности книга социалиста Майкла Харрингтона «Другая Америка», вопреки многочисленным социальным исследованиям, где указывается на ответственность общества в целом за существование бедности, особенно за нищету престарелых и детское недоедание, обеспеченные американцы по-прежнему цепляются за вымышленный образ бедняка, который якобы ленится подыскать себе стоящую работенку, ежедневно предлагаемую в газетных объявлениях».

Поужинав, вернулся в номер. У нас в Москве сейчас раннее утро. Включаю телевизор. Нахожу передачу, посвященную приближающемуся двухсотлетию независимости США. Подготовка к нему, как я уже говорил, ведется с необычайным размахом. Радио- и телекомментаторы, обращаясь к этой теме, сразу повышают голос, интонация — самая оптимистическая.

Слушая телекомментатора, одновременно перелистываю купленный мною в Шереметьеве журнал «Проблемы мира и социализма». В нем статья Генерального секретаря компартии США Гэса Холла «Барометр предвещает ненастье». Я надеялся прочесть ее в самолете, но что-то помешало. Не удалось прочесть ее и в Вашингтоне. Теперь же я рад, что читаю эту умную статью обогащенный собственными впечатлениями.

Телекомментатор делает все, чтобы поднять жизненный тонус у соотечественников, он жизнерадостен, как Ирвин Уайл, он уверен в будущем США и в том, что социализма здесь никогда не будет, не менее Джона Олдингтона. Но я вспоминаю о неподдельном интересе к СССР, сопоставляю услышанное о США с тем, что читал, видел, слышал, и чувствую, как наполняются большим реальным смыслом вот эти строки испытанного революционера:

«Вопрос «почему все пошло так плохо?» американцы задают себе все чаще и чаще. Даже Джордж Миня, восьмидесятилетний апостол классового сотрудничества и один из самых закоренелых защитников монополистического капитализма, сейчас вопрошает: «А не могло ли все сложиться иначе?» — и горестно жалуется: «Неужели коммунисты правы в своей оценке нашей системы?»

«Почему все пошло так плохо?» — вопрос отнюдь не схоластический. В умах людей он возникает рядом с такими вопросами, как «что ждет нас впереди?» и «будут ли недостатки прошлого развития продолжаться в будущем?». Большинство буржуазных авторов, комментирующих двухсотлетие США, очень неохотно делают прогнозы. А те, кто позволяет себе предсказывать будущее, либо принимают желаемое за действительное, либо прибегают к астрологическим гаданиям.

Ничто на нынешнем этапе развития капитализма не оставляет почвы для сколь угодно оптимистических предположений».

«Авторы панегириков, приуроченных к двухсотлетию США, пытаются предать забвению тот факт, что последние сто лет были периодом как взлета, так и падения империализма США. План «американского века» лежит в развалинах. Блокады, имевшие целью изолировать мир социализма, большей частью прорваны. Планы подавления сил национального освобождения провалились. Американский империализм все еще зализывает раны недавних поражений во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже; он потерпел неудачи в Мозамбике, Гвинее-Бисау и Анголе.

Вторая половина второго столетия истории США в значительной степени совпала с углублением общего кризиса мирового капитализма. Это стало главным, решающим фактором, который определяет развитие американского капитализма.

Происшедшие в ущерб империализму сдвиги в соотношении сил в мире стали ключевыми элементами общего кризиса. В прошлом бывало так, что начало новых его этапов возвещали бурные, подобные взрывам, события. Однако могут быть и такие качественно новые этапы, наступление которых не сопровождается подобными взрывами. О работе термитов иногда никто не догадывается до тех пор, пока не рухнут подточенные ими опоры здания. Факторы, определяющие характер нынешнего развития, носят как взрывной, так и эволюционный характер, а совокупное действие этих факторов ведет к наступлению нового этапа».

Америка размышляет...

Вашингтон — Блумингтон — Эванстон — Чикаго — Нью-Йорк — Москва.  
Апрель 1976 года.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИЛЬЯ БРАЖНИН



## ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА

I

**П**ервая моя встреча со стихами Анны Ахматовой случилась в 1915 году. Я жил тогда в Архангельске. Мне было семнадцать лет. Я окончил реальное училище. Ученье давалось мне без особого труда и занимало у меня мало времени. Зато очень много времени отдавал я чтению.

Что я читал? То, что читала вся русская молодежь в десятых годах XX века: в фундаментальном читательском багаже были, не считая специфической юношеской литературы, конечно, Лев Толстой, Чехов, Горький и другие классики. Но были в ходу еще особые книги, особо характерные для молодежи тех лет: «Поединок» и «Суламифь» Куприна, «Пан» и «Виктория» Гамсуна, «Портрет Дориана Грея» Уайльда; в театре смотрели «Нору» Ибсена и «Фрёкен Юлию» Стриндберга.

Из поэтов больше всего знали Блока, меньше Гумилева, Вячеслава Иванова, Брюсова. Модно-ходовыми были до чрезвычайности плодovitый, приторно-напевный Бальмонт и безвкусно-претенциозный Северянин с его дешево-стеклярусными поэмами, ронделями, газеллами, эксцессерками, кэнзелями, грёзерками и прочей парикмахерской мишурой. Были еще крикливые ранние футуристы-заумники вроде Бурлюка и Крученых. Пользовались популярностью мещански-сладенькие песенки Вертинского об антильских принцах, китайских колокольчиках, креольчиках и «одиноких деточках, кокаином распятых на грязных бульварах Москвы».

В этом песенно-стихотворном месиве, заливавшем мутным потоком эстраду, журнальные страницы, книги, случалось, тонули, приглушались, а иной раз и вовсе заглушались добрые высокие голоса подлинных поэтов.

Но в конце концов настоящее пробивалось, утверждалось и твердо звучало в высочайшем поэтическом хорё. Прорвалась к своему читателю и утвердилась в его сердце и Анна Ахматова.

Как произошла первая моя встреча со стихами Ахматовой? Я обнаружил тоненькую книжечку её стихов на столе у моих приятельниц из соседней квартиры, младшая из которых кончала гимназию, а старшая уже работала в местной аптеке. Обе они, младшая в особенности, были горячими стихолюбками, почитали, что стихи необходимы как хлеб, и много стихов, особенно Блока, знали наизусть. У этих сестер-стихолюбков я и увидел первый сборник Ахматовой «Вечер». «Странно... Почему именно «Вечер»?» — подумалось мне.

Я повертел книжечку в руках... Откинув верхнюю белую обложку, глянул в строки открывавшего сборник стихотворения:

Молюсь оконному лучу —  
Он бледен, тонок, прям.  
Сегодня я с утра молчу,  
А сердце — пополам.  
На рукомойнике моем  
Позеленела медь.  
Но так играет луч на нем,  
Что весело глядеть.



Такой невинный и простой  
 В вечерней тишине,  
 Но в этой хранине пустой  
 Он словно праздник золотой  
 И утешенье мне.

«Праздник золотой» — это мне понравилось. И заглянувший в дом поэта оконный луч, «такой невинный и простой в вечерней тишине». Так вот почему «Вечер»... Вечерняя тишина. Душевное веселье наедине с «невинным и простым» оконным лучом.

— Какая легкая, веселая душа у этой Анны Ахматовой,— сказал я, опуская на колени белую книжечку, которая сразу мне полюбилась.

Старшая из сестер рассмеялась:

— Вот так открытие... Ты почитай ее как следует, прежде чем о легкости болтать.

Она стала серьезной и принялась в волнении ходить по комнате. Я смущенно следил за ее нервным вышагиванием. Наконец она остановилась напротив меня и с сердцем сказала:

— Трудная.. Тяжкая.. Мученическая. Вот такая у нее душа.— Она что-то еще хотела добавить, и уже в мой адрес, но только рукой махнула, зыкнула в мою сторону: — Эх ты! — и, круто повернувшись, вышла из комнаты.

Я в полном смятии взглянул на сидевшую в уголке ее младшую сестрицу, ища у нее сочувствия. Но добрая и обычно ласковая приятельница моя бросила с укоризной:

— Так тебе и надо.

Вечер был испорчен, и ничто ласковое меня сегодня, очевидно, не ожидало. Это я почувствовал очень явственно и, в смущении выложив на стол тоненькую книжечку, отодвинул от себя. Однако, уходя домой, я мрачно попросил книжечку на один день и, получив разрешение, сунул ее во внутренний карман куртки. Дома я сидел с ней полночи, то и дело хватаясь за карандаш, чтобы записать ударившие в сердце строки.

## II

В двадцать первом году я уехал учиться в Петроград, где и поступил на литературное отделение Петроградского университета.

Здесь впервые я увидел и услышал Анну Ахматову. Произошло это весной 1922 года. В том году Петроград жил интенсивной литературной жизнью. Город пестрел афишами, извещавшими о выступлениях Владимира Маяковского и других поэтов. Одна из таких афиш приглашала в зал Городской думы на вечер Анны Ахматовой, Владимира Пяста, Михаила Кузмина и еще целой группы поэтов, имен которых сейчас не припомню. Впрочем, привлекла меня в холодный зал Городской думы главным образом Анна Ахматова.

Очевидно, так было не только со мной, но и с очень многими другими, ибо полупустой вначале зал ко второму отделению, в котором должна была выступать Ахматова, наполнился до отказа. Ее уже знали и не только читали, но и почитали. Книжки ее стихов, вышедшие к тому времени — «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «Аппо Домини», «У самого моря», быстро исчезали с прилавков книжных магазинов и многие их строки тотчас же с книжных страниц перекочевывали в сердца и на уста молодых ее читателей.

Самой Ахматовой шел тогда тридцать четвертый год, и она была в расцвете сил и таланта. Я знал многие ахматовские стихи наизусть и мне хотелось увидеть ее живую, во плоти, услышать ее голос.

Почти столетия спустя я прочел в книге Ефима Добина «Поэзия Анны Ахматовой», отличной, к слову сказать, книге: «Судьба наградила Анну Ахматову счастливым даром. Ее внешний облик — «патрицианский профиль», скульптурно очерченный рот, поступь, взор, осанка — отчетливо и красноречиво выражал личность. Ее богатство, ее духовность. Недаром создавали портреты Ахматовой многие художники— Н. Альтман, К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, Модильяни, Г. Верейский, Н. Тырса, А. Тыш-

лер, О. Делла Вос-Кардовская, скульптор Н. Данько. И каждый из этих портретов по своему красноречив и значителен. Запечатлели ее облик и современники-поэты:

В начале века профиль странный  
(Истончен он и горделив)  
Возник у лиры.

(С. Городецкий, «Анне Ахматовой»)

Внешний портрет сочетался с психологическим: «Но, рассеянно внимая всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно...» (Александр Блок, «Анне Ахматовой»).

И Осип Мандельштам подглядел тот же душевный оттенок: «Вполоборота, о печаль, на равнодушных поглядела...».

К приведенным характеристикам следует прибавить разве еще только одну из стихотворного цикла Марины Цветаевой «Ахматовой»:

От ангела и от орла  
В ней было что-то.

Похожа ли была живая Анна Ахматова на все эти портреты, и живописные и словесные, та Анна Ахматова, от которой я не мог оторвать глаз, когда она появилась наконец передо мной на эстраде думского зала?

И да и нет. Почему так? Да хотя бы потому, что в разное время человек выглядит по-разному. Годы меняют и поэтов, как всех прочих людей; меняют и их стихи и их самих. Я могу сказать не какой была Ахматова, а какой я увидел ее впервые в двадцать втором году.

Я так жадно и так долго ждал ее появления, что, истомившись этим ожиданием, не заметил, как она вышла на эстраду. Бывает вот так. Зачем-то обернулся к сидевшим рядом, а когда снова поглядел на эстраду, Ахматова уже стояла там — высокая, тонкая, стройная, в длинном черном (или темно-синем) платье. Из всех живописных портретов, какие довелось мне видеть, она больше всего походила, пожалуй, на портрет работы Ю. Анненкова с той разницей, что живая Анна Ахматова была лучше портрета, духовней, проще, без тех подчеркнутых эффектностей и изломных угловатостей, какие есть во всех портретах, особенно в портрете Натана Альтмана, написавшего ее неправдоподобно костлявой и горбоносой. Ни того, ни другого в живой Анне Ахматовой не виделось. В ней виделась не худоба, а стройность, я бы сказал, изящная соразмерность высоты. Высокая шея, втянутые щеки, чуть удлинненное лицо, глаза с поволокой, выраженные, но не слишком, дуги темных бровей, четко вырезанные губы и закрывающая лоб густая черная челка, кстати, в те годы модная. Все это было в облике Анны Ахматовой соединено в то гармоничное целое, чего словами не передашь, но что запомнилось сразу и навсегда именно как гармония. Величавости, о которой говорят многие авторы, в молодой Ахматовой не было. Она появилась ближе к старости. Ахматова 20-х годов была проста, изящна, как бы пронизана одухотворенностью. Сдержанность, скупость жестов, движений, интонаций были ведущими чертами ее образа, ее внешнего облика, ее характера.

Примечательной и впечатляющей внешности Ахматовой очень соответствовал ее голос, глуховатый, глубокий, контральной окраски, со сдержанными интонациями, впрочем, не подчеркнуто, а естественно сдержанными. Вообще все в ней было очень естественно, без нарочитостей, без рисовки, просто, ненапряженно, гармонично. Читала она без словесных подчеркиваний, без декламационных нажимов, без каких-либо артистических приемов, без жестикюляций, читала однотонно, негромко и не в аудиторию, а как бы в себя. По рассказам слушавших чтение Блока он читал примерно так же. Но при этом происходило не обособление ее от аудитории, а соединение с ней в едином творческом акте. К тому же заражение аудитории настроенностью поэта происходило как бы нечаянно, само собой, на высокой и неуловимо, неведомо как возникающей эмоциональной волне. Ее глуховатый одногонный голос звучал так, как должен был, вероятно, звучать три тысячи лет назад пророческий голос эрифрской сивиллы, пред-рекшей, по преданию, Троянскую войну задолго до ее начала. Поэт всегда пророк, поэтесса всегда сивилла. Голос Ахматовой не мог не волновать, не пробуждать сильней-

ших эмоций сопереживания с чтецом, с поэтом, с его стихами. Таких чтецов своих стихов и таких читающих стихи голосов я больше никогда не слышал.

Добрый и верный друг Ахматовой поэт Осип Мандельштам утверждал, что стихи Ахматовой «сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, услышав этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат». Мне довелось, посчастливилось слышать голос Ахматовой — и я в самом деле чувствую себя богаче тех, что не слышал его.

Однако вернемся в неудобный, холодный зал Городской думы Петрограда 1922 года. Не только чтение Ахматовой своих стихов было своеобразным, впечатляюще особым, но и самый выбор читаемых стихов. Ахматова не читала стихов, которые были особенно популярны. Не читала стихов, в которых встречались эффектные, выигрышные для чтеца строфы и строки вроде «Я на правую руку надела перчатку с левой руки», или «О, как ты красив, проклятый», или же знаменитая концовка одного из стихотворений: «Задыхаясь, я крикнула: «Шутка все, что было. Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру».

Подобных строк в тот вечер я не слышал из уст Ахматовой. Было такое ощущение, что она никакой специальной программы к этому выступлению не готовила и стихов для него не отбирала, — читала то, что лежало в памяти. В этот вечер она по большей части читала стихи из только что вышедшей в свет книги «Подорожник» и лишь немногие из предыдущего сборника «Белая стая».

Стихи шли не резко взрывные, а задумчивые. Эмоции были упрятаны как бы внутрь строк. Стихи ее мне были известны и раньше. Но в тот вечер они прозвучали для меня по-новому — сильнее и ярче.

Я оставил вначале холодный, а к концу душный зал Думы и вышел на Невский уже около полуночи. На город шла колдовская белая ночь с ее зримо мерцающим на углах и карнизах зданий воздухом, с таинственно-прекрасной не то вечерней, не то утренней зарей... Все это привиделось вдруг как нарочно поставленная декорация к волшебному действию, которому я только что был свидетелем и, как мне кажется, участником его там, за стенами думской четырехгранной башни, увенчанной часами, которые как нарочно медленно и незвонко пробили двенадцать.

Я схожу с тротуара, иду посредине улицы. Отчетливо цокая подковами по неповторимым, сейчас уже не существующим торцам Невского, пробежала нешибкая извозчичья лошадь. Я иду прямо на Адмиралтейскую иглу: подо мной гулкие торцы, надо мной легкое, прозрачное небо, вокруг меня волшебство белой ночи, во мне волшебство голоса Ахматовой, читающей «Но когда над Невою длится тот особенно чистый час...».

### III

С Анной Ахматовой, жившей каждое лето по соседству со мной в одной из литфондовских дач в Комарове, я виделся довольно часто. К сожалению, я не сразу догадался делать записи, относящиеся к встречам с ней. Но начиная с шестидесятого года я уже кое-что записывал, и некоторые из разговоров почти со стенографической точностью. Вот одна из таких записей.

Разговор происходил вечером 21 сентября 1960 года в Комарове на даче у Ахматовой (эту двухкомнатную неказистую дачу Анна Андреевна называла Будкой). Она была предупреждена о моем приходе и потому меня ждала. В этом я убедился, едва переступив порог ахматовского жилья. Анна Андреевна сидит за письменным столом. Он невелик, узок и сделан из темного дуба. На нем вазочка с несколькими розовыми астрами. Свету в комнате немного — ровно столько, сколько благоприятствует негромкому разговору, освещаемому опытом прожитого и затеняемому душевной сдержанностью, хотя одновременно и душевно открытому. Передавая этот разговор, я обозначу собеседников одной и той же начальной буквой алфавита: Анну Андреевну Ахматову тремя «А», автора — одним. Начальных фраз не запомнил.

А. А. А. Чудное лето какое.

А. Бабье лето... А в самом деле, имеет это выражение какой-нибудь смысл? Бывает у так называемых баб так называемое бабье лето?

А..А. А. По-видимому.

Анна Андреевна улыбается. Она сидит передо мной спокойная и сдержанно открытая. На ней свободная розовая блуза, на плечах черная шаль со светлой каймой.

А. Расскажите о себе. О стихах, о прозе, обо всем. Меня все интересует, что с вами происходит.

А. А. А. О стихах. Я уж устала рассказывать. Договор заключила. Книжка должна выйти. Это серия «Советская поэзия».

А. Которая с золотом?

А. А. А. Да-да. Как коробки конфетные. Там еще автобиография обязательно нужна. Написала. Первый раз в жизни. Никогда не писала про себя.хлопот с книжкой ужасно много. Статью вступительную надо к сборнику. Я говорю — пусть Сурков пишет. Он редактировал последний сборник. А он где-то в Австралии. Ну, подождут. Ездят нынче недолго.

Зашла речь об онегинской четырнадцатистрочной строфе. Я спросил:

— Скажите, до Пушкина эта строфа в практике поэтов не существовала?

Анна Андреевна сказала:

— Принято считать, что нет.

Дальше разговор продолжался так.

А. Строфа. Как ее находят? Как вообще приходит слово? Как это происходит у вас?

А. А. А. Это ведь по-разному. Как когда. Я на этот вопрос дала подробный ответ в стихах.

А. Это в «Подумаешь, тоже работа...»?

А. А. А. Нет. Называется «Последнее стихотворение».

Анна Андреевна берет со стола тетрадку в коричнево-золотистом, как мне показалось, переплете и читает несколько протяжно и чуть распевно:

Одно, словно кем-то встревоженный гром,  
С дыханием жизни врывается в дом,  
Смеется, у горла трепещет,  
И кружится, и рукоплещет.

Другое, в полночной родясь тишине,  
Не знаю откуда крадется ко мне,  
Из зеркала смотрит пустого  
И что-то бормочет сурово.

А. А я, знаете, ныне тоже вдруг стихи начал писать. Честное слово. Много-много восьмистиший вдруг выпалил. Вот послушайте.

Я читаю несколько восьмистиший из только что написанного большого цикла «Стоцветник».

А. А. А. А смотрите, эти стихи у вас почти все о природе. Это Комарово вам дало. То, что вы здесь живете. Не напрасно, видите, вы здесь.

А. Да. Наверно. А счастливая у нас все-таки профессия. Где ни живешь, что ни делаешь — все нам впрок, все годится. Все потом как-то входит в нашу работу, хотя внешне иной раз это в ней и незаметно.

Я вспоминаю свою писательскую практику во время войны, когда был военным корреспондентом «Правды» и армейской газеты. Мы говорим некоторое время о работе писателя тех военных лет. Заговорили, естественно, об Илье Эренбурге, о прекрасных его военных очерках, о его сегодняшней работе.

А. А. А. Вы читали мемуары Эренбурга в «Новом мире»?

А. Читаю. Только что привез из города номер восьмой «Нового мира».

А. А. А. Если говорить о мемуарах вообще, то, по-моему, как-то неверно их пишут. Сплошным потоком. Последовательно. А память вовсе не идет так последовательно. Это неестественно. Время — как прожектор. Оно выхватывает из тьмы памяти то один кусок, то другой. И так и надо писать. Так достоверней, правды больше. А то ведь как выходит — надо по заданию себе писать связно и последовательно, а материал выпал, не помнится все в связи. И начинает человек сочинять недостающее, выдумывать, и правда уходит...

От Эренбурга, через его мемуары, в которых он, между прочим, описывает комнату Ахматовой с висящим на стене портретом хозяйки работы Модильяни, перешли незаметно и на самого Модильяни.

А. А. А. Он был неудачником, этот Модильяни. Никто его не знал и не признавал. Беден был, невзрачен. В Париже встретились в десятом году, когда я впервые туда попала. Он попросил позировать. Так родился портрет.

Разговор снова возвращается к мемуарам.

А. А. А. Какой-то непроявленный жанр — мемуары. Как писать — не знаю.

А. Андрей Белый говорил где-то, что книгу мемуаров он написал в два месяца, а над «Петербургом» два года работал.

А. А. А. Вы читали мемуары Белого? Их ведь три тома.

А. Не читал. Мне трудно Белого читать. У него все трудно-холодно.

А. А. А. Да. Читать его трудно. Но сам он читал превосходно. Просто прекрасно читал. Алексей Толстой читал хорошо. Слышали когда-нибудь?

А. Да, и не раз. Ну, он актерски читал. А скажите, как Блок читал?

А. А. А. Блок читал странно. Он как будто вот так от всех. (Жест руками, отгораживающий от окружающих.) И там, где он читал, он был один. Читал прекрасно. Очень, очень хорошо.

Заговорили о писателях — сперва о сегодняшних, потом о писателях прошлого. Заговорили о Льве Толстом, о смерти его.

А. Хорошо умер Толстой. Правильно. Ушел от всего мишурного и в стороне от него умер.

А. А. А. Да. У него все хорошо. Если Достоевский дожил бы до десятых годов, тоже, наверно, ушел бы. Он ведь готов к этому был. Он ведь тоже, как и Толстой, ересиарх и отрицатель. У него и христианство не христианское. Они оба к правде пробились. А у Гоголя все то же как будто, но карикатура на искания, и на правду, и на ересиарха. Ну возьмите «Дневник писателя» Достоевского и «Переписку с друзьями» Гоголя. Пародия.

А. Гоголь мрачен. Но вот мы говорили — все хорошо у Толстого. Но ведь был и «Фальшивый купон» у него.

А. А. А. Да. Конечно. Но это все путь к правде — слишком прямой на этот раз. Поиски разные у разных людей.

После этого разговор скользнул в сторону, на сад, который темнел уже за окном и в котором, как сказала Анна Андреевна, «ужасные гортензии». Заговорили о природе.

А. Потеряли многие наши поэты чувство природы. Украинские поэты как-то сумели его сохранить. Они еще немного крестьяне по ощущениям. Поэт должен быть немного крестьянином. И поют украинцы хорошо. Голоса у них певучие. В пении украинцы — это русские итальянцы.

Разговор снова уходит в сторону. Заговорили о нервной организации человека.

А. А. А. Я нервами своими могу управлять как угодно. Врачи, которые меня оперировали, сказали, что я сама себя вылечила. Мне очень тяжело было после операции. Должно быть, наркоза слишком много получила. Я лежу. Ничего не могу сделать. Пошевелиться не в силах. Хирург подходит, смотрит. «Ну как? Ну улыбнитесь». Я улыбнулась. Пожалуйста.

А. Павлов Иван Петрович удивительно помогал себе вылечиться. В Союзе писателей об этом как-то рассказывал профессор Федоров, который был с ним постоянно. Павлову было уже, кажется, восемьдесят два года, когда ему серьезную операцию сделали. Он помогал себе встать на ноги, вылечиться тем, что призывал в союзники все, что он любил и что прежде ему помогало жить. Он любил левкой и велел принести в палату, где лежал, побольше левкоев. Он любил воду, и велел поставить у кровати таз с водой. У него не было сил подняться и сесть в кровати, тогда он опустил руку в воду лежа в постели и перебирал в воде пальцами.

А. А. А. Я даже этого не могла сделать. Я пошевелить пальцами была не в состоянии, так как была привязана.

А. Как же так вы на операционный стол попали?

А. А. А. Да вот, помните, я уезжала в прошлый раз. Вы еще со мной прощались. Я уже тогда скверно себя чувствовала. В городе хуже стало. Температура поднялась.

Болит. Два дня так. Вызвали «скорую помощь». Диагноз: аппендицит, предострая форма. Потом второй раз приехали — уже острая. Приступ, ну, значит, надо в таких случаях немедля операцию делать. Юрий Павлович Герман за мной приехал. Отвез в больницу. И сразу на операционный стол. Я лежу на столе и смотрю в окно на зарю. Я такой поразительной зари не видела никогда в жизни. Никогда. Ни раньше, ни позже. Это было в июне. Уже белые ночи стояли.

А. Белые ночи в Ленинграде хороши очень. Но севернее, в Архангельске, Мурманске, они еще лучше. В какую вы больницу попали?

А. А. А. О, в самую обыкновенную. И это лучше всего.

А. Уж и лучше... Но как же все-таки оно было?

А. А. А. Было совершенно удивительно. Я такого трогательного отношения, такой трогательной внимательности вовек не видела, не испытывала на себе. Нас было девять женщин в палате. Они все следили за каждым моим движением. Подходили. Спрашивали, не надо ли мне чего-нибудь. Переворачивали. Звали сестер. Причем все это не оттого, что я была им известна. Они не читали никогда меня. Ни одной строки. Они ничего обо мне не знали. Спрашивали мою фамилию — Ахметова или Ахматова? Это было человеческое. Я так тронута была. Я запомнила это навсегда.

Анна Андреевна немного волнуется, рассказывая о том, как трогательно ее соседки по палате в больнице ухаживали за ней. В голосе очень добрые нотки. Я с удовольствием смотрю на нее, выслеживая эти добрые нотки. Потом вдруг подумал, что длинный рассказ и вообще наша долгая беседа утомили ее — все-таки семьдесят, это не шутка. Я поднимаюсь, чтобы распрощаться.

А. Ну ладно. Пора и честь знать. Вы устали. Я уж пойду.

А. А. А. Ну вот. Я вас разжалобила. И вы зажалели меня.

Анна Андреевна смеется. Очень хорошо смеется, по-доброму, с душевной легкой веселостью. Но она в самом деле устала. Полчаса назад, когда я в середине нашего разговора сказал: «Ну что ж, гоните меня», — Анна Андреевна с живостью и открытой приветливостью остановила меня: «Погодите. Посидите еще». Теперь она стала подниматься. Я отвернулся к окну. Ей было бы до очевидности неловко, если бы я наблюдал, как тяжело и трудно ей подняться с кресла...

#### IV

Хочу рассказать хотя бы коротко еще о двух встречах с Ахматовой — в августе и сентябре 1962 года. Та же Будка в Комарове. Вечер. Анна Андреевна за тем же письменным столом. Только шаль на плечах ее не черная, а белая, шелковая (Анна Андреевна питала слабость к шаям и всякого рода живописным драпировкам).

Два года, прошедших со дня описанной встречи, не были бесследны. Анна Андреевна выглядит усталой. Ей, видимо, уже трудно принимать гостей, трудно все, даже, как мне показалось, трудно сидеть. Кажется, только одно нетрудно — мыслить. Ум ее бодр, речь ясна и не затруднена.

Я принес с собой часть рукописи только что законченной книги «Сумка волшебника», которая тогда называлась «Плоды и корни». После нескольких приветственных фраз и обмена текущими новостями я говорю, что хотел бы прочесть одну главу из новой своей книги, ту, которая трактует законы писательского дела, его подоплеку, его сложности и неурядицы. Анна Андреевна выражает живейшую готовность слушать.

— Да, пожалуйста. Почитайте.

Я читаю главу «Чтобы быть писателем», известную читателям «Сумки волшебника». Большую часть главы занимает анализ пушкинского «Пророка». Выбирая именно эту главу для чтения, я рассчитывал на то, что материал ее может заинтересовать Анну Андреевну, которая много занималась в последние годы Пушкиным и писала о нем. К вящему моему удовольствию, оказалось, что я не ошибся. Прослушав прочитанное мной, Анна Андреевна сказала:

— Очень интересно. Хорошо. Да. Хорошо. И очень ко времени. О высоком значении поэзии сейчас надо говорить. Нынче ведь золотой век поэзии открывается. Мне вот пишут из разных мест — как поэзию читают! Когда сборники новых стихов приходят в книжный магазин, их мгновенно расхватывают. И авторы этих сборников

ведь совсем молодые поэты, еще, по существу, никому не известные. Книжечки стихов с новыми неведомыми именами раскупаются быстрее, чем книжки многих очень известных поэтов... Да. Начинается золотой век поэзии, как и в дни Пушкина. Я говорю об этом мальчикам, которые приходят ко мне со стихами. Они не понимают еще этого. Они никакого золотого века не замечают. Ничего, потом заметят, почувствуют и поймут.

Некоторое время мы еще продолжаем говорить о поэзии и поэтической молодежи, которой всегда много вокруг Анны Андреевны. Потом она возвращается к разговору о прочитанном мной, о писательском деле, о Пушкине.

— У вас в конце есть, что таланту вредны фимиамные воскурения. А хула? Постоянное дерганье? Это как, по-вашему? Ведь что выносил Пушкин? После двадцатых годов о нем никто доброго слова не сказал. Я горы журналов тех дней перевернула. Нигде ни слова одобрения. Только брань. Только хула. В результате Пушкин перестал печатать новые свои стихи. Ни «Медный всадник», ни лучшие лирические стихи Пушкин не печатает. Печатал вещи вроде «Песни западных славян» или переводы из древних. И статьи. В статьях, впрочем, он тоже стал говорить не в полный голос. Только в письмах еще некоторое время сохраняются пушкинские мысли такими, какими их хотел выразить Пушкин. Но потом и в письмах он стал осторожнее. Помните, в ранние годы — эпиграммы на Воронцова и других. «Полу-милорд, полу-купец» и так далее. А о Бенкендорфе? Ни слова. А если сравнить роль Воронцова и Бенкендорфа в жизни Пушкина... Ведь Бенкендорф был злейший и подлейший враг Пушкина, который буквально не давал ему вздохнуть свободно. И против этого своего злейшего врага нет у Пушкина ни строчки, ни слова, ни эпиграммы, ни намека на выпад какой-нибудь. Полное молчание. Укрылся и замолчал... Какое страшное молчание.

Анна Андреевна замолкает растревоженная, взволнованная. Некоторое время после того, чтобы дать ей отдохнуть, я перевожу разговор на вещи обычные, на все, что вокруг нас. Потом я прошу Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она не заставляет себя долго просить.

— Хорошо. Почитаю вам. Вы не знаете этого. «Поэма без героя». Я двадцать два года работаю над ней. Два отрывка напечатали в последней моей книге.— Анна Андреевна стала читать по большой рукописи. Сперва «Вступление»:

Из года сорокового,  
 Как с башни, на все гляжу.  
 Как будто прощаюсь снова  
 С тем, с чем давно простилась,  
 Как будто перекрестилась,  
 И под темные своды  
 схожу.

За вступлением последовала первая часть — довольно большая, около двухсот строк. Вот как записано в моем дневнике содержание этой прослушанной первой части: «Идут размышления, предчувствия, воспоминания, лирические наплывы. Врываются ряженые. Карнавальная сумятица в ночь на новый, сорок первый год. Пляски теней — масок. Все это видится во сне и напоминает сцену из пушкинского «Гробовщика». Разговор с кем-то непришедшим, зазеркальным. Гость из будущего, и многое другое — смутное, бурное, алогичное с возвратом в Петербург тринадцатого года и перебивом современностью».

Эта запись сделана 17 августа шестьдесят второго года, часа полтора спустя после прослушания поэмы. Но во время чтения и тотчас после него я ничего четко-логического представить себе не смог. Я был смятен, огушен, выбит из привычной логической колеи. Ничего путного после чтения я Анне Андреевне сказать не смог. Только спросил смущенно:

— Как это вас настигло?

Анна Андреевна ответила с лукавинкой:

— Бес попутал в укладке рыться.

Почти пятнадцать лет спустя, когда у меня появился полный экземпляр «Поэмы без героя», я смог определить, что ответ Анны Андреевны цитатен, что это строка, открывающая тринадцатую строфу второй части поэмы.

Я ушел потрясенный. О «Поэме без героя» ни тогда, ни в годы, примыкающие к тому памяtnому чтению, я подробно с Ахматовой не говорил. Только сейчас, почти пятнадцать лет спустя, имея под рукой полный текст поэмы, я могу составить себе четкое представление об этом удивительнейшем и мощном произведении.

А теперь вернемся в комаровскую Будку Ахматовой, куда я снова явился уже через три недели. На этот раз я принес другую главу «Сумки волшебника», чтобы проверить ее на таком высококвалифицированном слушателе, как Ахматова. Глава называлась «Убил ли Сальери Моцарта». Но прежде чем читать ее Анне Андреевне, я по сложившемуся меж нами обыкновению стал расспрашивать хозяйку о новостях. Анна Андреевна показала мне большую, почти квадратную зеленую книгу, на обложке которой по-итальянски значилось: «Анна Ахматова».

— Переводчик просит прислать полный текст «Поэмы без героя», которую он знает только в опубликованных у нас отрывках,— говорит Анна Андреевна, показывая зеленую книгу.— Спрашивает, между прочим, что такое фонтанный дом. Что ему ответить? Можно написать, что это, скажем, дом, в котором я жила.

— На реке Фонтанке,— подсказываю я.

— Да,— соглашается Анна Андреевна,— так понятней. Что дворец Шереметьева— это, верно, ни к чему.

Я снова принимаюсь за расспросы о новостях. Анна Андреевна рассказывает:

— Польский переводчик был недавно. А на днях Роберта Фроста видела. Он приехал в Ленинград и просил, чтобы обязательно познакомили со мной. Академик Алексеев привез Фроста к себе на дачу в Комарово, а потом меня туда же привезли.

— Рассказывайте, каков Фрост?

— Старый очень. И выглядит совершенно в своих летах. Болезненный. Он потом полетел на юг в Гагры и заболел. Фрост спрашивал, какие у нас сосны. «У меня на ферме,— говорит,— двенадцать сосен и все карандашные».

Анна Андреевна смеется. Потом я читаю принесенную с собой главу «Убил ли Сальери Моцарта». Анна Андреевна говорит, прослушав:

— Интересно. О Тынянове особенно. Я с ним, между прочим, согласна, что Сальери ни при чем и Моцарта, понятно, не убивал. Это очень свободный вымысел Пушкина, который так же неприемлем для немцев, как для нас неприемлема была бы драма, в которой Пушкин изображался бы убийцей другого писателя. Оснований, собственно говоря, никаких у Сальери для убийства Моцарта не могло быть. Зависть? Но какая же зависть могла быть у Сальери? Он важная фигура, персона грата. В одном из писем Шуберта есть описание какого-то юбилея Сальери. Собралось много бывших и настоящих учеников Сальери. Некоторые такие же седовласые, как и сам юбиляр. Ну, были адреса, подарки, поздравления. Ученики его играли, пели. Шуберт тоже играл и пел. У него был альтино. Сальери был уважаем и известен. Его опера «Тарара» шла одновременно с моцартовским «Дон Жуаном» и пользовалась большим успехом. Либретто для оперы Сальери писал Бомарше. Чему же мог завидовать Сальери? Что касается версии об убийстве Моцарта, то откуда она пошла? Моцарт умирал мучительно и медленно. Год. Он постоянно жаловался на тошноты, рвоты, очень страдал. По всем признакам, у него был рак. Страдая от ужасных болей и совершенно не зная их причины, Моцарт, случалось, говорил: «Так терзают меня боли, как будто кто-то отравил меня». Поползли слухи, что Моцарт отравлен. Эти слухи усилились после смерти Моцарта, потому что могила его как-то странным образом была затеряна и можно было строить всякие догадки.

Это и в самом деле странно. Ведь Моцарт был придворным капельмейстером, и людей такого ранга нельзя было бросить в безвестную могилу. Но свидетелей его похорон не оказалось, и никто не знал, где могила его. Так и до сих пор неизвестно. Жена Моцарта, ужасная ведьма, Констанция эта самая, не пошла на похороны мужа по уговору Сальери. Погода будто бы уж очень плохая была. А когда потом ее спрашивали, как же она не поставила памятника на могиле мужа, отговаривалась тем, что она думала — памятники ставит администрация кладбища. Это, конечно, глупая отговорка. Кстати, эта Констанция вскоре вышла замуж за богатого чиновника. Она поехала на родину Моцарта, в маленький провинциальный городок, и когда новый муж ее умер,



выбросила из могилы отца Моцарта кости покойного и похоронила на этом месте своего чиновника. Страшная ведьма.

Все эти странные обстоятельства, сопровождавшие смерть Моцарта, и потеря могилы подогревали слухи о том, что Моцарт отравлен. Закреплению этой версии способствовало то, что Сальери будто бы на исповеди перед смертью признался духовнику, что он отравил Моцарта. Сальери был католиком, и духовник донес папе об узанном на исповеди. Это донесение и было позже обнаружено. Что об этом можно сказать? Сальери был очень стар и начал выживать из ума. Ему могло показаться, что слухи об отравлении — это факт, и он мог счесть богоугодным делом принять на себя вину и покаяться перед смертью.

Таково содержание беседы, случившейся у нас с Анной Андреевной в сентябре 1962 года. Вернувшись домой, я тут же записал ее. Сейчас мне хочется сделать к ней примечание.

Всякий разговор с Ахматовой всегда был и интересен и поучителен. Приведенный мной разговор для меня особенно интересен и особенно поучителен. И вот что в нем больше всего поразило меня.

В этот вечер я, как сказано, читал Анне Андреевне главу из своей «Сумки волшебника», посвященную Моцарту и Сальери. Заранее я ни словом не обмолвился о том, что буду читать ей, и персонажи этой моей главы, так сказать, ворвались в ахматовскую Будку неожиданно-негаданно. Все в этом разговоре о Моцарте, Сальери и их окружении, их эпохе было для нее экспромт, импровизация на только что заданный сюжет. Несмотря на это, все было так, как будто Анна Андреевна тщательно готовилась к разговору на эту тему. Она говорила о предмете с глубоким знанием материала и людей, о которых шла речь. Казалось, что ей ведомо было решительно все не только о духе эпохи и ее представителях, но и самое малейшие детали, относящиеся ко всем областям их деятельности.

Я был совершенно поражен ее неожиданным для меня рассказом о подробностях юбилея Сальери, о том, что Шуберт на этом юбилее играл и пел и что у него был приятный голос — альтино. Как же досконально нужно было знать дела и дни примерно полуторавековой давности, чтобы говорить с такой свободой о шубертовском альтино!

Что касается меня, то я этого шубертовского альтино вовек не забуду, как не забуду ни комаровскую Будку, ни ее милую моему сердцу хозяйку — Анну Андреевну Ахматову.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ



## «ПРАЗДНИЧНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ, БЕСНОВАТЫЙ...»

К 80-летию Николая Тихонова

**И**мя Николая Тихонова звучит в красной строке, начинающей историю советской литературы. Именно в красной строке как по смыслу термина, обозначающего начало нового текста, так и по глубинному политическому значению, которое мы придаем слову **красный**. Путь Тихонова в литературе — это весь путь советской литературы от ее начальных строк до теперешних глав.

Большие писатели нередко объединяют в своем творчестве талант поэта и прозаика. Тихонов принадлежит к их числу. Еще в молодости он соединил в себе оба дарования. Скупой на похвалы Маяковский назвал его в 1927 году талантливейшим из ленинградских лириков. Себя Маяковский считал москвичом, и такая оценка выдвигала автора «Орды», «Браги» и «Поисков героя» на виднейшее место в советской поэзии. Высоко ценил творчество Тихонова А. М. Горький, охарактеризовав его прозу как «подинное искусство изображения жизни словом». Так относились к поэзии и прозе Николая Тихонова два наших великих писателя еще в начале его творческого пути. И он полностью оправдал и даже превысил эти начальные оценки своей дальнейшей поистине гигантской работой.

Великолепный писательский талант Тихонова целиком отдан народу, партии, ленинской идее. Он не разменял его на мелочи, а приложил к крупнейшим делам и задачам, встававшим перед страной. Первые пятилетки увидели его на своих лесах. Гражданская и Великая Отечественная войны нашли в нем своего героя и певца. Советское движение борьбы за мир он возглавляет не только по должности, но духовно и поэтически. Соединение писательской профессии

с общественной деятельностью сейчас не редкость, но в Тихонове оно нашло наиболее полное выражение.

Стих и проза Тихонова давно стали предметом изучения и исследования, но живая связь с сердцем читателя возобновляется и продолжается с каждой новой строкой, выходящей из-под пера писателя. Широчайший интеллектуальный горизонт, корневое ощущение культуры, глубокая озабоченность судьбами человечества характерны для творчества Тихонова. Он много ездил по родной стране и за рубежом, эти поездки одарили поэта яркими и сильными впечатлениями, расцветившими его произведения. В них глубоко отпечаталась благородная идея дружбы народов, страстным поборником которой всю жизнь является Тихонов.

Соприкасаясь с творчеством Николая Тихонова, всегда поражаешься его масштабности. Известно положение, что большой писатель прежде всего большой человек. Оно целиком относится к Тихонову, придающему масштабность всему, за что он берется, будь это поэзия, проза, общественная деятельность. Разумеется, его счастье, что он родился в такой масштабной стране, как наша, но даже для такой страны люди, подобные ему, подарок и находка. И ему есть где развернуться, и стране есть возможность в полную меру использовать его способности.

Естественное, полное, гармоничное сочетание лучших литературных и гражданственных качеств видится нам в Тихонове. Сочетание настолько яркое и выразительное, что иначе как явлением его назвать нельзя. Николай Тихонов по праву считается старейшиной советской поэзии, виднейшим мастером советской прозы.

\* \* \*

«Талантливейший из ленинградских лириков» сложил свои первые стихотворные строки в городе над Невой. Он сам родился в Питере, и Питеру обязаны были рождением его стихи. Ни Петербургу, ни Петрограду, а именно Питеру, ибо так называли имперскую столицу рабочие и мастеровые. Царская резиденция была для них городом заводов и фабрик, верфей и мастерских. Просторечный Питер стал названием рабочей столицы, как Санкт-Петербург — столицы официальной.

Николай Тихонов вышел из среды питерских мастеровых. Год его рождения — 1896 — лишь по видимости казался спокойным. Россия не вела войн ни на западе, ни на востоке, но в ее столице шла «промышленная война» рабочих с заводчиками. Молодой Владимир Ульянов сплотил первые социал-демократические кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Начинался ленинский этап в развитии марксизма. Надвигалась пора революционных бурь и потрясений. В ее предгрозе прошло детство поэта.

Предгрозе вскоре взорвалось первой грозой. «Вокруг меня жил громадный город, — читаем мы в автобиографии Тихонова. — Красота его улиц, набережных и площадей, красота, воспетая русскими поэтами, не могла не действовать на мое воображение. Знал я и заводские окраины столицы и жизнь бедных и бесправных людей. Видел лужи крови вечером 9 января 1905 года на Дворцовой площади, костры, вокруг которых грелись военные патрули. Был в Технологическом институте во время «осады» его семеновцами, которыми командовал палач полковник Мин, усмиритель московского восстания».

Мир, окружавший мальчика, прекрасен и страшен — вознесенные ввысь здания и лужи крови под ними, — но рядом соседствовал другой мир, разноцветно мелькавший на книжных страницах. «Я не любил злых книг, где писатель издевался над людьми, не любил пустых книг, которые не позволяли радоваться или печалиться, — рассказывает Тихонов о тех давних временах. — Я любил книги, где были герои, умеющие все делать хорошо, герои, приходившие на помощь людям, борющиеся за правду, побеждавшие все злое. Под влиянием книг начал с детства сам сочинять романы, где мои герои много путешествовали, сражались за свободу угнетенных народов, были

красивые, храбрые, умные. Такие герои мне нравились, и даже если они умирали в борьбе, мне не было грустно, потому что они правильно вели себя и ничего не боялись — ни испытаний, ни смерти».

Очень интересно это позднее свидетельство поэта. Детство, отрочество, юность создают воображаемого героя, казалось бы, по книжным образцам. Тем не менее это герой их собственный: в пример берутся только такие черты, которые отвечают нравственному чувству юного читателя. Легко угадать, что, кроме русских и западных классиков, в поле зрения мальчика попали и «Овод», и романы Купера, Жюль Верна, Майн Рида, вся тогдашняя приключенческая литература. Постоянная соперница школьных учебников, она делала доброе дело, прививая мальчишкам бесстрашие, смелость, благородство. Рисуя характеры, как правило, с помощью черной и белой краски, она резко отделяла правду от неправды, добро от зла, устанавливая под конец повествования — всем сестрам по серьгам — неизменное торжество справедливости. Целые поколения русских мальчиков воспитывались на такой литературе — и чеховский Монтигемо Ястребиный Коготь, в просторечии «господин Чевевицын», вырастая, получил куда большие основания стать решительным человеком, чем рыхлый Володечка, его малодушный приятель. И кто знает, не смогли бы мы увидеть этого милого смельчака спустя сравнительно короткое время в кожаной комиссарской тужурке? Во всяком случае, шансы у него для такой возможности были, чего нельзя сказать о его трусоватом товарище.

В автобиографии Тихонов дальше пишет: «Любил географию и историю. Поэтому в моих книгах, которые сам иллюстрировал и переплетал, действие переносилось из страны в страну. Я освобождал малайцев из-под ига голландцев, китайцев — от чужеземцев, индусов — от англичан». И здесь модель будущего тихоновского мира! Как в начале цитируемого высказывания черты воображения героев проецируются на будущие черты характера самого поэта, так воображаемая модель мира становится истинным миром, в котором живет Тихонов.

Но книги книгами, воображение воображением, а действительность диктовала свои законы, которым должен был подчиняться сын питерского ремесленника. Он по необходимости поступает в Торговую школу и, окончив ее, по той же необходимости слу-

жит в Военно-морском хозяйственном управлении. Выбор пути определяется средой, из которой он вышел, и этот путь кажется его родственникам наиболее подходящим. Рано или поздно, а скорее рано, он, конечно, оставил бы его ради других дорог — слишком уж была одаренная и мятущаяся натура, — но этот стремительный шаг сделали за него обстоятельства: началась первая мировая война. И, естественно, полетела к дьяволу постылая канцелярщина, чтобы уже никогда не вставать на тихоновском горизонте.

Но и то сказать: на войну он уходит не канцеляристом, а поэтом. Сотни стихотворных строк, своих собственных, хранятся в памяти новобранца. Новобранец он не только для армии, но и для поэзии. Стихи часто наивны, иногда чересчур прямолинейны, а порой слишком запутанны — это еще неопытное перо. Однако уже в них неясно, как на детской переводной картинке, присутствуют те тихоновские качества, которые потом создадут славу его поэзии. Скоро, очень скоро жизнь протрет эти картинки, и на страницах биографии Тихонова очевидно для всех выступают свойства поэта-борца, проникнутого яростным стремлением перекрыть все сущее на новый, невиданный лад. И долго еще будут развешиваться по неожиданным плоскостям его ранние строки. Эти плоскости даст в распоряжение поэта время, ход которого трудно угадать даже накануне свершающихся событий. Но смотрите, какая завидная уверенность владеет юношей, когда он пишет в одну из своих первых тетрадей стихи об Индии:

Я к вам приду, колодцы между пагод,  
Слоны святынь печальных Гатских гор.  
Я к вам приду, хотя бы только на год —  
В страну, где спят и слава и позор.

И впрямь он придет в эту страну сперва прекрасными стихами о Сами, а потом, когда Индия сбросит гнет британского колониализма, уже сам лично и, конечно, опять со стихами, но уже о новом дне ее исторического бытия.

Войска, в которых служил Тихонов гусаром, прикрывали Ригу и Северную Прибалтику... Другой службой уже тогда была для него поэзия. Он пишет стихи все время, это для него постоянная и ненасытимая потребность. «Они хранят ощущение только что пережитого. В сущности, это разрозненные страницы лирического дневника. Они были нужны мне как разговор с самим собой вслух», — говорил Тихонов в своем пре-

дисловии к их первой публикации в 1935 году. Нам хочется несколько изменить сложившийся взгляд на эти стихи. Выход подряд «Орды» и «Браги» в 1922 году произвел огромное впечатление на поэтов и читателей как бы внезапным рождением большого таланта. Но на самом деле тихоновский талант родился задолго до этих двух книг. Многие стихи из «Жизни под звездами» (так назвал позже Тихонов свой походный цикл) по уровню молодого мастерства, казалось, вполне могли бы стать основой более ранней книги. В них уже чувствовалась хватка характера, твердая ладонь, на которой с броской небрежностью пересыпались впервые найденные самоцветы. Прежде всего следовало бы сказать это о таких стихах, как «Раненый», «Дозор на побережье», «Котелок меня по боку хлопал...», «Я забыт в этом мире покоем...», «Трубачами вымерших атак...». Строка здесь вышукла, осязаема, полновесна. Тихоновская афористичность начинает набирать силу: «Но умереть мне будет мало, как будет мало только жить», «И он в поту неудержимо падал на камни дна, не достигая дна», «Я бросил юность в век железный, в арены бойни мировой», «Только жили в глухих повтореньях гул и небо, болото и я», «Никогда не молюю перед боем, не прошу ни о чем, ни о ком» и т. д. и т. п. Уже сжимает читательские нервы в комок тихоновская напряженная лапидарность.

Но, конечно, этим стихам еще многого недостает. Причем не тому или иному стихотворению, взятому по отдельности, а всем вместе. Им не хватает биографии поколения — того, что зримо, а иногда незримо встает за страницами «Орды» и «Браги». Тихонов в «Жизни под звездами» еще не мог создать своей гражданской и поэтической программы, которая станет у него неотделимой от судеб революции и народа. Пока это просто удачные или неудачные строки молодого воина, варящегося в кипящем военном котле. Первый сборник мог быть выпущен на шесть лет раньше, но, наверно, к лучшему, что этого не произошло.

Принять или не принять революцию — такого вопроса для Тихонова не существовало, как не возникала подобная дилемма перед всей многомиллионной солдатской массой, воевавшей на фронтах большой войны. Это была ее революция, это была революция рабочих и крестьян, одетых в серые шинели, и Тихонов, усвоивший к тому времени солдатскую психологию, естественно,

оказался вместе с теми, кто в феврале 1917 года кричал: «Долой царя!» — а в октябре того же года: «Долой Керенского!» И, конечно, не только кричал, но и действовал. Действовал вместе с большевиками-ленинцами, возглавившими Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Прямое отражение революционных месяцев и лет мы видим в тихоновских стихах того времени, но оно еще не останавливает нашего внимания. «Большое видится на расстоянии», — говорил позже один из лучших поэтов России, и это большое слишком приближено к молодому солдату: контуры отражаемого расплывчаты и неопределенны, эмоции не нацелены и растекаются по поверхности. Слово подтверждая будущий есенинский афоризм, едва ли не лучшими стихами революционной темы становятся у Тихонова строки, посвященные Парижской коммуне. В них бьется новое и печальное чувство, их неподдельный пафос подернут голубой дымкой романтического лиризма. В неожиданной концовке угадывается рождающийся мастер — вернее, гроссмейстер! — баллады.

Тихонов в эти годы вынашивает революцию в самом себе: из солдата первой мировой войны он превращается в бойца войны гражданской, разделившей страну на два непримиримых лагеря. И Тихонов, конечно, в движущемся лагере тех, кто несет на кумачовых знаменах серп и молот, бьет Юденича под Петроградом, гонит белогвардейцев и интервентов вон из рабоче-крестьянской республики. Позже эпизоды тех лет войдут в поэму «Выра», но Тихонов вспомнит о них уже в зрелом отдалении от боевой молодости.

Разгромом белогвардейцев и интервентов кончается гражданская война, и вместе с ней завершается у молодого поэта начальное собрание духовных ценностей, которые он уже может предъявить людям. Смело может! Они безмерно обогатили его самого, и он поделятся накопленным, не рискуя обеднеть.

Еще не скинув красноармейской шинели, собирает он в Петрограде две первые свои книги «Орда» и «Брага», выходящие подряд в 1922 году. Их ждет читательский успех, признание писателей, рождение большого таланта становится явью. Что определило такую быструю и яркую удачу?

Заметим, что на мякине в те годы трудно было кого-нибудь провести. Редко когда собиралось столько поэтов «хороших и раз-

ных», находившихся в самой поре расцвета, как в начале 20-х годов. Гремел на всю страну Маяковский, шел к зениту славы Есенин, набирал известность Пастернак, печатался в «Правде» Д. Бедный, а в «Известиях» В. Хлебников, завершал творческий путь Брюсов и начинал свою цветную тропу Багрицкий, писали стихи Ахматова и Цветаева, Мандельштам и Сологуб, Клюев и Асеев, звенели первые комсомольские поэты, переключаясь с поэтами «Кузницы». Мы нарочно выбрасываем имена в таком прекрасном беспорядке, он как раз и создает впечатление творческой наполненности тех лет. История позже каждому отведет надлежащее место, поднимет одних, опустит других, но безотносительно к их дальнейшей значимости все это были люди талантливые, своеобразные, со своим почерком и своим взглядом на жизнь. И вмешаться в эту яркую среду, сразу отвоевав в ней прочное место, далеко не всякому было под силу. А Тихонову оказалось под силу!

Прежде всего «Орда» и «Брага» были мастерски составлены. Много лет спустя седой Тихонов в разговоре с одним молодым поэтом советовал ему отнестись к составлению первого сборника особенно внимательно. «Парадоксально, но хорошие стихи могут составить плохую книгу», — говорил Николай Семенович, — а плохие хорошую. Я, конечно, несколько преувеличиваю, но схватите принцип... Предположим, у вас все стихи написаны в разных манерах и ваш характер, плохой или хороший, все равно, дробится в этих манерах, не давая читателю взять его целиком. Так сказать, «то флейта слышится, то будто фортепьяно». Все! Книги не получились, поэт не состоялся... Представим другое: стихи, где нет «Валерика» и «Незнакомки», но которые в соединении рисуют новый поэтический характер, передают новый взгляд на жизнь. Книга получилась, поэт состоялся. Разумеется, здесь есть упрощение, на практике все сложнее, но принцип, на мой взгляд, верен». Этим принципом, может быть еще неосознанно, руководился молодой Тихонов, составляя свои первые книги. С одной многозначительной поправкой — стихи, включенные в них, были превосходными! Мало того что читатель узнавал совершенно нового и необычного поэта — это узнавание закрепилось в его памяти отличными строками, образами, сюжетами.

В мощной и угрюмой поэзии Баратынского были разысканы первозданно-праздничные строки, определившие книгу нового бы-

тия: «Когда возникнул мир цветущий из равновесия диких сил». Они легли эпиграфом к «Орде». И тут же орда событий, ставшая стихами, затопила эти строки. Какое уж там «равновесие», когда «сквозь малый камень прорастали горы, и в прутике, раздавленном ногою, шумели чернорукые леса!» Божественная динамика нового мира, где человек ощущает себя демиургом создаваемого, владычит над первой книгой Тихонова.

Стихи «Орды» и «Браги» похожи на скалы, покрытые цветами. Горные склоны весной представляют поразительное зрелище, над ними возносится красное, синее, лиловое полыханье. Такое же впечатление создается от тихоновских стихов. И как проступают из-под цветных ковров острые неприятные камни, так видятся за строками громыжающие события, вызвавшие их рождение.

По горным склонам, едва успевшим остыть после вулканического переворота, шагает, то подминая тяжелым башмаком легкие цветы, то наклоняясь, чтобы сорвать их раскрытые чашечки, «праздничный, веселый, бесноватый» герой этой книги. Мир его «прекрасен, горек и жесток», и такими же будут слова, которые будут рисовать его. Жизненным девизом встает предначертание: «Каждое желание простое осветить неповторимым днем». Оно проникает в строки, одухотворяет их высоким стремлением к прекрасному в замыслах, свершениях, поступках:

Мою душу кузнец закалил не вчера,  
Студил ее долго на льду.  
— Дай руку, — сказала мне ночью гора, —  
С тобой куда хочешь пойду!

Конечно, это первые дни творенья. И конечно, только за своим демиургом может «куда хочешь» пойти вслед гора, а рощи будут «верны его топору». Эти стихи — романтическое обобщение биографии человека двух войн и двух революций. Но за этим романтическим обобщением встает реальнейший из реальных «Перекоп», который и дает право на дерзкие и смелые слова людям, испытавшим такие «перекопы» на десятках фронтов гражданской войны.

«Перекоп», открывающий «Брагу», с самого первопечатания стал классикой советской поэзии; образец политической и поэтической наполненности, он стал и образцом новой баллады.

Но мертвые, прежде чем упасть,  
Делают шаг вперед —  
Не гранате, не пуле сегодня власть,  
И не нам отступить черед.

Нет, не злое молодечество «батальонов смерти», известных почти всем захватническим войнам, ведет этих непреклонных людей.

За нами ведь дети без глаз, без ног.  
Дети большой беды,  
За нами — города на обломках дорог,  
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.

Вся исстрадавшаяся страна за ними, весь огромный народ, отстаивающий свое право на жизнь без господ и бар. А раз так, то все сметающим шквалом встает:

Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» —  
Урагана сильней оно.

Прекрасным завершением выглядят заключительные строки «Перекопа»:

Нам снилось, если сто лет прожить —  
Того не увидят глаза,  
Но об этом нельзя ни песен сложить,  
Ни просто так рассказать!

И все же была сложена об этом сне песня, все же было рассказано о нем. Тот сон воплотился в великую явь движения народа к светлому коммунистическому будущему, а песню о нем сложил сам Тихонов.

Мы все время говорим об «Орде» и «Браге» как об одном поэтическом целом. Их действительно объединяет общая лирическая настроенность, событийная основа, приемы письма. Но есть и существенная разница: «Брага» определительнее «Орды» по всем этим главным линиям.

«Орда» в решающих своих стихах открыто декларативна. Декларации зримы и вещественны, но события, вставшие за ними, больше угадываются, чем просматриваются. В «Браге» события выходят на первый план, обобщения рождаются из их осмысления. Разрыв, ощущаемый в «Орде», преодолен соединением движения и фона, обоснования и вывода. Невероятная сила «Перекопа» именно в конкретизации события, легшего в его основу, и огромного обобщения, выросшего на этой сугубо реальной почве. В одном из впечатляющих стихотворений «Орды» («Над зеленою гимнастеркой...») война с белополяками угадывается лишь по единственной строчке. «Перекоп» самим названием бросает вас в событийную гущу. И обобщения приобретают в «Браге» еще больший размах, в «Перекопе» они опира-

ются не только на опыт одного человека и даже целого поколения, а на опыт всего народа. В «Браге» события прояснены и конкретизированы в сравнении с «Ордой», где они чаще составляют эмоциональный фон. Конечно, такой фон говорил тогдашнему читателю куда больше, чем нам, и строки «Посмотри на ненужные доски — это кони разбили станки» воспринимались им как обобщение, но уже рождалась потребность в его реальной расшифровке. И «Брага» такую расшифровку приносила, начиная с первого же своего стихотворения.

Приемы письма в «Браге» тоже определеннее. Громкую известность Тихонову снизили его знаменитые баллады. Их успех определили качества, столько же относившиеся к поэзии, сколько к жизни, родившей ее. Баллада — «скорость голая» возникла в советской поэзии не повторением прежних образцов, а совершенно новым явлением. Впитав в себя стремительные ритмы событий, обгонявших время, тихоновская баллада усвоила лаконизм сообщения о них, свойственный революции. «Фабрики — рабочим, землю — крестьянам, мир — народам» — что может быть короче этих формул, а вместимость их необъятна, Великий Октябрь шел с ними к победе. Тихоновская баллада отвечала представлениям читателя о времени, в котором он жил, и это стало одним из важнейших условий ее успеха.

Новое содержание было слито с безудержными ритмами тихоновской баллады. Кровавая, жестокая, беспощадная жизнь выдвигала железных людей, шедших через нее резкими шагами. Показательно, что в лучших балладах Тихонова «Перекоп», «Баллада о синем пакете», «Баллада о гвоздях» мы встаем перед лицом массового героизма, индивидуальность входит в него составной частью. «Перекоп», конечно, апофеоз такой массовой героики, но «Баллада о синем пакете» производит сильнейшее впечатление не одним только яростным сюжетом, а сцеплением самоотверженных поступков в одно героическое целое, одухотворенное красноречивой идеей. «Баллада о гвоздях» с ее знаменитой концовкой:

Гвозди б делать из этих людей:

Крепче б не было в мире гвоздей —

опять-таки манифестация героизма морского экипажа. А этот героизм вырастает, в свою очередь, в героикку всей эпохи.

Примечательна еще одна особенность первых книг Тихонова. Смело вторгается в поэзию революционная новь освобожденных и

освобождаемых народов. Освобожденных — где «форпостом трудолюбия красуется Армения», и освобождаемых — где индус «не навидит слово «гнет» и афганец меткой пулей сбивает разбойничьего английского пилота.

Кульминацией этой темы стала маленькая поэма «Сами» — впечатляющая история об индийском мальчике, рабствующем у жестокого сагиба-англичанина. Имя Ленина, услышанное мальчиком «в глубине амритсарских лавок», открывает ему мир без гнета и насилия. Сами рвет рабские путы, в нем рождается человек, и «никогда его больше не ударит злой сагиб своим жестким стеком».

Поэма была написана еще при жизни великого вождя революции и по праву вошла в начальную строку, открывающую нашу замечательную Лениниану. «Сами» — поэма балладного характера. Она замыкала сюжетные стихи, составившие стержень первых тихоновских книг. Поэма по значению и задачам, баллада по поэтическим признакам, «Сами» носила все качества новаторского произведения, открывая в советской поэзии антиколониальную линию, натовердо спаянную с ленинской идеей.

Еще раз стихи Тихонова обгоняли его реальную биографию. Пройдут годы, поэт приедет в Индию посланцем страны Ленина, и миллионы таких вот Сами, навеки сбросивших колониальный гнет, протянут к нему дружеские руки.

Ни одна тема в поэзии не исчерпывается до дна, ни одна ее линия не заканчивается точкой — все находит дальнейшее раскрытие и продолжение. Но это относится ко всей поэзии в целом. Что же касается отдельных поэтов, здесь дело обстоит по-другому. С «Ордой» и «Брагой» Тихонов исчерпал для себя возможность начать, надо было думать о развитии.

Начало оказалось взрывчатым и Развитие предощущалось не переходом, а скачком на новую ступень. Оба понятия мы пишем с заглавных букв, ибо речь идет о генеральных свершениях большой поэзии. Необходимость скачка, а не перехода определялась опять-таки характером времени, когда на всех материках переворот следовал за переворотом, а в Советской стране новые, революционные преобразования охватывали все стороны народной жизни. Данная через несколько коротких лет оценка Маяковским Тихонова как «талантливейшего из ленинградских лириков» весьма многозначитель-

на. В Ленинграде тогда было немало ярких поэтов, и Маяковский выделил из них Тихонова не за одну поэтическую одаренность. Несомненно, революционное содержание, да и не только содержание, а революционная потенция тихоновской поэзии играла в этой оценке серьезную роль.

Итак, не переход, а скачок, и он дался Тихонову, но не сразу и не легко. Оголенная четкость «Орды» и «Браги» сменяется намеренной усложненностью новых стихов. Иногда такая усложненность выглядит совсем уж чрезмерной, и читатель начинает смотреть на стихотворение как на шахматный этюд, рассчитанный на гроссмейстеров. Такое отгалкивание от прежде найденных образцов характеризует, конечно, перспективную силу поэта. Он бросает однажды найденное под ноги продолжателям и подражателям, а сам ищет новые пути. «Поиски героя», как называлась третья книга Тихонова, это и поиски самого себя на этих новых дорогах.

В чем причина той чрезмерной усложненности некоторых тихоновских стихов, о которой мы только что говорили? Видимо, в том, что поиски средств выражения опережают поиски самой действительности. Это несоответствие и приводит к разъединению субъективного с объективным, прочно слитым в других случаях.

Где только не ищет в ту пору Тихонов свои дороги, своего героя, самого себя! Поиски осложняются тем, что разыскиваемые дороги должны быть не только своими собственными, но и дорогами времени. Герой должен стать не только тихоновским героем, а героем эпохальным. Самого себя, оставаясь тем же и вырастая совсем в иного поэта, найти еще труднее.

Теперь, по прошествии лет, видно, что поиски удались. Удались они не в этой книге, иначе бы она носила другое название. Поиски определили рождение главного героя тихоновской поэзии, в полный рост поднявшегося в следующей книге — «Юрге». Это герой страны победоносного социализма. Но обратимся сперва к самим поискам.

Поиски идут на севере и на юге — так и называются разделы сборника. Карелия и Кабарда, финский праздник и Кавказские горы — здесь проходит поэт, сравнивая и сопоставляя, удивляясь и удивляя.

Поиски идут в «городском архипелаге», казалося, знакомом до последнего переулочка, а на самом деле открываемом заново.

Поиски идут в воспоминаниях о первой

войне, о революционной Латвии, о литературных началах.

Поиски идут за рубежами страны, где Тихонов еще не бывал, но видит и угадывает больше, чем люди, живущие там годами.

Не на случайный час,  
Но пущенный с уменьем,  
Кружился в головах у нас  
Волчок воображенья.  
Когда нам говорили: «Вот  
Смотрите: вьется птица»,—  
Нам было ясно: время врет,  
Лишь клюв и перья выдает  
За целую синицу.  
Мы сами строили синиц  
В запальчивости нашей,—  
До сих пор живут они,  
Ногами в драках машут.

Нет, они не только «ногами машут», но и пробуют поджигать море. И порой это у них здорово получается! Ведь такие стихи, как «В Карелии», «Тишина», «Гулливер играет в карты», «Избиение трутней»,— это впрямь море поэзии! А зажигает его точный и жгучий взгляд человека, в каждом факте выдающего явление.

Стихи Тихонова приобретают политическую остроту злободневности — он обращается к фактам, кричащим со страниц газет, поэтически трансформируя и обобщая сухую информацию. «Ночь президента», может быть, лучшее из стихотворений такого рода. Герой в конфликтной ситуации 20-х годов, наполненной яростными классовыми схватками, немислим без антигероя. Поиски на одном полюсе приводили к находкам на другом, и президент буржуазной Эстонии Аккель, с гневным сарказмом рисуемый в стихотворении, становится одним из самых выпуклых и ярких антигероев тихоновской поэзии. Она в эти годы все больше становится классовой, рассматривая явления «с точки зрения диктатуры пролетариата», по известным словам Ленина. В поисках самого себя, сопровождавших поиски героя, выработка классовых оценок сослужила Тихонову в дальнейшем хорошую службу, утвердив в нем раз и навсегда мировоззрение поэта страны строящегося коммунизма.

«Поиски героя» — интересный и сложный раздел творчества Тихонова. Это как бы здание в лесах с еще не возведенными, но спроектированными этажами. Причем стройка экспериментальная — пробуются новые материалы: один раствор не годится, возьмем другой, кирпичи заменим железобетоном, а может быть, испытаем нечто совсем иное и небывалое. Поэзия проверяется законами прозы, а проза поэтизируется,



композиция то сжимается в тесную колоду, а то вдруг рассыпается разрозненными картами.

Сам поэт весьма жестко потом оценил некоторые из этих ~~сызтов~~ как «словесные джунгли». Но в них он торил собственную, никем до него не пройденную тропу, и она вывела его на широкую и прямую дорогу.

Подчеркнем, что потеряться в подобных джунглях он ни в коем случае не мог — слишком точные ориентиры стояли у него на виду и стоило раздвинуть ветки, чтобы определить путь по знакомым созвездиям. Таким созвездием была поэма «Лицом к лицу», посвященная Ленину. Она создавалась в 1924 году и вместе с поэмой Маяковского «Владимир Ильич Ленин» открыла череду эпических произведений, входящих в советскую и всемирную Лениниану. «Как буря простой человек» ведет революцию к победе — таким вставал великий вожь трудящихся перед мысленным взором поэта.

«Поиски героя» естественно и закономерно переходят в «Юргу». Естественно и закономерно потому, что поэт здесь шел вровень с событиями. Страна нашла своих героев в людях первой пятилетки, и Тихонов увидел их вместе со страной. Увидел он их в туркменских барханах, у колодцев Ширама, куда выехал в 1930 году, возглавляя писательскую бригаду. Там был им создан цикл «Юрга», по праву вошедший в классику советской поэзии.

И — по коням... И странным аллюром,  
Той юргой, что мила скакунам,  
Вкось по дюнам, по глинам, по бурым  
Саксаулам, солончакам...

Чтобы пафосом вечной заботы,  
Через грязь, лихорадку, цингу,  
Раскачать этих юрт переплеты,  
Этих нищих, что мрут на бегу.

Позабыть о себе и за них побороться,  
Дней кочевья принять без числа —  
И в бессонную ночь на иссохшем

колодце  
Заметить вдруг, что молодость прошла.

Удивительно красивые стихи! Такие же, как «Цинандали» в следующем, кахетинском цикле. Но здесь сжимает горло «пафос вечной заботы», оборачивающийся «бессонной ночью на иссохшем колодце»... Мало того что перед вами героика — это прекрасная героика! Помню, как мы — Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Коган — наизусть читали эти стихи в продыленной комнате... С ними мы проходили не только очередную ступень отечественной поэзии, но и школу советской героики.

«Стихи о Кахетии» вплотную примыкают к «Юрге». Это уже поэзия победившего социализма. Тон стихов праздничный, приподнятый, бурлящий. Стремительная, ликующая жизнь мчится по стихам: «Будто гонит с нами рядом тень вселенной налегке». И вместе с хлопководами, виноделами, шоферами, охотниками, равный среди равных людей труда, идет «поседелый, как сказанье, и, как песня, молодой» автор великолепных строк. Трудно удержаться, чтобы хоть выборочно не процитировать один из тихоновских шедевров — «Цинандали». Самохарактеристика, приведенная нами, одна из самых точных и объемных. Таким поседелым и молодым остается Тихонов и до сих пор. Но вспомним стихи:

...И струился ток задорный,  
Все печали погребал:  
Красный, синий, желтый, черный  
По знакомым погребам.

Но сквозь буйные дороги,  
Сквозь ночную тишину  
Я на дне стаканов многих  
Видел женщину одну.

Я входил в лесов раздолье  
И в красоты нежных скал,  
Но раздумья крупной солью  
Я веселье посыпал.

Потому, что веселиться  
Мог и сорванный листок,  
Потому, что поселиться  
В этом крае я не мог.

Потому, что я прохожий,  
Легкой тени полоса,  
Шел, на скалы не похожий,  
Не похожий на леса.

Я прошел над Алазанью,  
Над волшебною водой,  
Поседелый, как сказанье,  
И, как песня, молодой.

В «Тени друга» советская поэзия 30-х годов заново открывала зарубежный мир. В 20-х годах нашим Колумбом стал Маяковский. Великое противостояние, объявленное им: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока» — продолжало действовать и теперь, но историческая обстановка резко изменилась. Мир встал накануне открытой борьбы с фашизмом, который уже взял власть в Германии, обрушился на беззащитную Абиссинию, поднял франкистский мятеж в Испании. Пытливый взгляд поэта-философа ищет причины будущих катастроф в недавней истории Европы. Он видит их в классовой природе общества. Фашизму, перешедшему в наступление, преграждают путь народные массы. Потом они

будут преданы своими правителями, но пока в Париже

Литейщики, пилоты, слесаря  
Сливали свой товарищеский говор,  
И песни их, точнее хрустала,  
Сменяла буря стали лозунговой.

Но вещая тревога уже свила гнездо в душе поэта, и стихи о форте Дуомон словно предвещают трагическое поражение Франции в 1940 году:

Нет, не хотел бы надпись я прочесть,  
Чтобы в строках, украшенных аляпо,  
Звучало бы: «Почтите мертвой честь —  
Здесь Франция стояла! Скиньте шляпу!»

Многими тысячами жертв заплатила пре-  
красная страна за предательство петенов и  
лавалей.

Тихонову ни на мгновение не изменяет  
исторический оптимизм, и «Статуя само-  
фракийской победы», «У маяка», «Возвраще-  
ние», наконец, весь этот напряженный  
поэтический цикл проникнуты утверждаю-  
щим победоносным чувством.

Угасает запад многопенный,  
Друга тень на сердце у меня,  
По путям сияющей вселенной  
Мы пройдем когда-нибудь, звеня.

Участник парижского Конгресса в защиту  
прогресса и мира, вдумчивый свидетель на-  
растающих событий, борец и поэт возвра-  
тился из-за рубежа с тенью друга на серд-  
це. Этот Друг в предстоящей великой войне  
стал героем Сопротивления вместе с совет-  
ским солдатом, сломившим хребет фашизму.

А большая война уже была на пороге... К  
ней Тихонов пришел через преддверие фин-  
ской кампании, отразившейся в его книге  
«Палатка под Выборгом». Но всю развер-  
нулся мужественный тихоновский талант в  
жестокую блокадную пору, в годы Великой  
Отечественной войны. В ноябре 1941 года  
Тихоновым была создана поэма «Киров с  
нами». Впечатление от ее публикации было  
огромным. Ее читали солдаты на всех фрон-  
тах от Баренцева до Черного моря. Ее твер-  
дили наизусть в глубоком тылу. Для всех  
она стала живым свидетельством неггибае-  
мой воли ленинградцев. Дочитав поэму до  
конца, каждый заново убеждался: «Врагу в  
Ленинграде не бывать!» И снова повторя-  
лись слова: «Пусть наши супы водяные,  
пусть хлеб на вес золота стал, мы будем  
стоять, как стальные, потом мы успеем  
устать». А в советскую классику вошли  
строки:

Домов затемненных громады  
В зловещем подобии сна,

В железных ночах Ленинграда  
Осадной поры тишина.  
Но тишь разрывается воем —  
Сирены зовут на посты,  
И бомбы свистят над Невой,  
Огнем обжигает мосты.  
Под грохот полночных снарядов,  
В полночный воздушный налет,  
В железных ночах Ленинграда  
По городу Киров идет.

В те годы мне выпало счастье познако-  
ниться с Тихоновым. Мой очерк рискует на  
ходу переменить жанр, но когда пишешь  
о живом, да еще близком тебе человеке, та-  
кая трансформация оправдана. Знакомству  
предстояли различные обстоятельства, и вы-  
пади хоть одно из них, ему бы не состоять-  
ся. Наша 2-я ударная армия прорывала бло-  
каду со стороны Волховского фронта. Я ра-  
ботал тогда корреспондентом-организатором  
армейской газеты «Отважный воин». Ленин-  
градцы все время держали у нас в армии  
своих писателей и газетчиков. Они должны  
были рассказывать Питеру о наших боях за  
город. В «Отважном воине» постоянно на-  
ходился Александр Прокофьев, часто захо-  
дил Павел Лукницкий. «На страже Родины»,  
газета Ленинградского фронта, все время  
посылала к нам своих лучших сотрудников.  
Среди них наиболее желанным для меня  
был Сократ Кара-Демур. Эту редкостную  
фамилию, напоминавшую восточный титул,  
носил молодой офицер, стройный, подтяну-  
тый, ясноглазый. Да, ясноглазый, хотя гла-  
за у него были темные, а это редко сопря-  
гается с ясностью. Но душа у Кары, как я  
звал своего нового знакомого, была такая  
прозрачная, что глаза перенимали это каче-  
ство. Был он несколькими годами старше  
меня, но это не мешало установившейся  
дружбе, хотя придало ей некоторый путе-  
водительский оттенок, очень помогший мне  
в дальнейшем. По национальности Кара был  
курдом. Он любил называть себя последним  
огнепоклонником и в порядке самохарактери-  
стики цитировал определение старого энци-  
клопедического словаря: «Курды злы, мсти-  
тельны и жестоки». Нечего говорить, что он  
был прямым опровержением этих качеств.  
Удивительно доброжелательный человек был  
Кара. Его доброжелательность распростра-  
нялась на мои стихи, которых я сочинял  
тогда без счета. Поэзию он знал превосходно,  
и я до сих пор подозреваю, что когда-то  
стихи ему тоже были сродни. Естественно,  
в наших разговорах мы касались всего кру-  
га тогдашних поэтических проблем. Война  
их выдвигала в не меньшем объеме, чем

мирное время. Со мной всегда был однотомник Николая Тихонова, изданный лет за пять до войны. Я помнил из него наизусть сорок стихотворений, не считая отдельных строк. Кара знал Николая Семеновича по Ленинграду и часто рассказывал о нем. В его словах передо мной вырастал тот рыцарь без страха и упрека, который лишь подтверждал сложившийся в воображении облик. Многие поэты мне были знакомы к тому времени, но Тихонов выделялся среди них заманчивостью своей военной биографии, солдатской прямотой, целенаправленностью. А эти качества в 1943 году ценились особо. Я уж ничего не говорю о стихах, тот факт, что столько тихоновских строк я знал на память, говорит сам за себя.

После прорыва блокады, в начале лета сорок третьего года, армию перевели под Ленинград. Редакция разместилась у Колтушей, где я, кстати говоря, познакомился с вдовой И. П. Павлова. До Питера здесь было рукой подать, и мы, молодые офицеры, пока армия стояла на отдыхе, пользовались каждой возможностью, чтобы побывать в городе над Невой. Во время поездок чаще других меня привечал у себя Кара, живший тогда на Садовой. Я не раз у него останавливался, жил, ночевал. Большое участие во мне приняла Маша Шувалова, работавшая тогда в «Ленинградской правде». Ей стал я обязан печатанием своих первых стихов в питерской печати. Она же и помогла вместе с Карой моему знакомству с Тихоновым.

Оно было не то что труднодоступным, а трудноустраниваемым. Я приезжал в Ленинград на считанные дни, иногда часы, а Тихонов, разумеется, жил по своему военному расписанию: то он в городе, то на фронте, то на флоте. Но наконец давно задуманная идея воплотилась в жизнь: телефонный звонок — и мы трясемся в храбром ленинградском трамвае мимо домов, облюбованных немецкими снарядами, на Зверинскую улицу. И вот дом, известный по тихоновским стихам, где «балконы, как метафоры, висят над головой». Этажи я тогда не замечал и до сих пор никак не вспомню, на каком была заветная квартира.

О Тихонове у меня сложилось представление по портрету, открывавшему однотомник. Там был изображен человек лет сорока, сильный, полнокровный, цветущий. Теперь я не отрываясь смотрел на живого Тихонова. Блокада словно резцом прошлась по его лицу, и резец оказался беспощадным.

Ниже скул пришлось самые сильные удары, и щеки ввалились под косым углом. Четко очертился крутой подбородок. Худоба Николая Семеновича в блокадном Ленинграде никого удивить не могла, и все же мне показалось, что она перешла допустимые пределы. Тихонов был в армейской гимнастерке с подполковничьими погонами, перепоясанной офицерским ремнем с португеей. По кавалерийской привычке он слегка сутулился, и грудь его из-за неимоверной худобы показалась мне вогнутой, а не выпуклой. Ранняя седина не старила его, но вносила в его облик контрастную неповторимость. Как я сейчас прикидываю, Тихонов выглядел много моложе тогдашних своих сорока шести лет. Блокада тому, кто пережил ее, на короткое время сбрасывала годы. И Тихонов выглядел молодо.

После взаимного представления и коротких расспросов, кто, откуда, давно ли пишу, Николай Семенович попросил прочесть стихи. Прошло тридцать с лишним лет, а я до сих пор помню невероятное напряжение, пережитое мной. Кресло против кресла — и прямо передо мной полыхает голубой пламень требовательных тихоновских глаз. Я читал самозабвенно, целиком уйдя в стихи, и, наверное, показался с лучшей стороны. Во всяком случае, подпись Тихонова на однотомнике оказалась оглушающе хороша. Она меня поддерживала всю войну, да и спустя долгие годы остается одной из самых заметных оценок моей поэзии.

С тех пор я стал постоянным гостем тихоновской семьи во время своих наездов в Ленинград. Слова вечной благодарности направляю я Марии Константиновне, жене и подруге поэта, привечавшей молодого офицера в те далекие дни. Недавний уход ее из жизни был тяжел и горек для всех знавших ее. Добром вспоминается Шура, моя ровесница, ставшая потом домоправительницей, а тогда помогавшая Марии Константиновне по хозяйству. Самым теплым местом в квартире была, естественно, кухня, и там велись заплочные беседы под неумолчный стук метронома. В них часто вмешивался хозяин дома. Из его рассказов можно было бы составить книгу не менее интересную, чем «Вечный транзит». А это книга удивительная! Человек, узнавший о горьковской оценке тихоновской прозы, именно с этих рассказов должен начать с ней знакомство. Сам я прозу Тихонова, как ни странно, прочел раньше стихов. Это объясняется тем, что ему принадлежит по-

весть «Вамбери» — о знаменитом венгерском путешественнике по Средней Азии. Я ее прочитал в детстве, а к «Балладе о синем пакете» пришел только в юности. «Вечный транзит» поражает цветной россыпью сюжетов, неожиданностью фабульных поворотов, великолепной выдумкой. «Клятва в тумане», «Река и шляпа», «Анофелес» — отличная новеллистика, и, раз принявшись за чтение, вы не оторветесь от книги. Здесь в основе лежит мастерство Тихонова-рассказчика. Рассказчик он природный, на ходу пронизывающий сюжетом сырой материал. Известна классика грузинского застолья. Тамада каждый раз готовит новый сюжет-шампур, на который нанизывает сочные куски своей великолепной выдумки. Тихонов в устных рассказах, которых мне пришлось выслушать немало, твердо держится реальных фактов, но они всегда у него выстраиваются в новеллистической последовательности.

В те времена все новые стихи я приносил на суд Тихонова и по праву могу его считать своим учителем. Вниманием Николая Семеновича пользовались, естественно, и другие молодые поэты, в первую очередь мой фронтовой товарищ Георгий Суворов. Спустя двадцать лет после его трагической гибели под Нарвой Тихонов сердечно вспомнил о нем в очерке, включенном в книгу «Двойная радуга». Георгий был влюблен в Тихонова беззаветно, даже умирая, на койке в медсанбате, твердил его имя. Вообще Тихонов среди молодых поэтов-фронтовиков пользовался безграничным авторитетом. Михаил Дудин, наверно, до сих пор помнит, как мы восхищались тихоновскими стихами, читая их наизусть в полупустынном блокадном Ленинграде.

Война шла своим путем, а мы были тогда людьми войны. Мою армию перебросили на Ораниенбаумский плацдарм. В январе 1944 года она вместе со всем Ленинградским фронтом окончательно освободила от блокады город на Неве. А там мы пошли по балтийскому побережью вплоть до Нарвы. С Тихоновыми я встретился лишь летом того же года, когда мне дали побывку в Москву. А Николай Семенович уже переехал туда из Ленинграда. На улице Серафимовича возобновились наши встречи, продолжались они и по окончании войны, когда я демобилизовался из армии. Тихонов отредак-

тировал мою первую поэтическую книгу «Костер», которую я выпустил в 1948 году.

Начиная со знакомства в блокадном Ленинграде и по теперешние дни все, что совершалось Тихоновым, происходило на моих глазах. За всем, что он делал, я следил уже заинтересованным взглядом близкого человека. Не имело значения, что одни события развертывались прямо рядом со мной, а другие протекали в отдалении. Я хорошо, например, помню возвращение Тихонова из Югославии и чтение им в товарищеском кругу первых стихов из ядранского цикла. Много позже, сам побывав на Адриатике, я вспомнил эти строки:

Все беды, что я переспорил,  
Все битвы, где шел невредим,  
Ядранское старое море  
Омыло весельем своим.

Кипящее, как новоселье,  
Одетое пеной седой,  
Так вот оно — наше веселье  
Славянского спора с бедой.

Им пенятся снова кувшины,  
С ним снова возы тарахтят,  
И песни с размахом орлиным  
Под новые звезды летят.

Кипящее это веселье —  
Зеленый и каменный гром  
Со дна боевого ущелья,  
Всей жизни ночной бурелом.

Многие события проходили, конечно, вне моего участия, но все равно я воспринимал их со всей глубиной душевной близости. Я радовался успеху его «Грузинской весны» и «Двух потоков» — книг о братстве народов, окрыленных идеей мира. Кстати говоря, этой великой идее Тихонов посвятил всю свою послевоенную деятельность. Поистине символично, что именно его, солдата четырех войн, избрали председателем советского Комитета защиты мира. Кому как не ему знакомы бедствия войны и кому как не ему бороться за мир во всем мире!

Шли и шли годы. Все больше тихоновских книг выстраивалось в ряды на моих книжных полках. Все больше почетных отличий получал их автор, вряд ли стоит их перечислять, они известны всем, да и самым высшим отличием поэта будет его талант. А он не меркнет!

В мою жизнь, в биографию поколения, в живую историю великой Советской страны ярчайшим явлением навсегда вошел «поседель, как сказанье, и, как песня, молодой» Николай Семенович Тихонов.



# ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО В ОБОЗРЕНИИ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Косолапов.** Морские пейзажи и вокруг. — **Леонид Кудреватых.** Оглядываясь на минувшее. — **П. Строков.** С боевых, принципиальных позиций. — **Сергей Михалков.** Движущая жизнь классики.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Замощин.** Актуальное исследование. — **Г. Панилев.** Уроки Курской битвы.

### Литература и искусство

## МОРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ И ВОКРУГ

**Виктор Конецкий.** Морские сны. Л. «Советский писатель». 1975. 344 стр.

**Виктор Конецкий.** Путевые портреты с морским пейзажем. Повесть. «Звезда», 1976, № 3.

**П**режде чем приняться за эти заметки, я обратился с одной и той же просьбой к нескольким своим знакомым — людям разных профессий, но не писателям и не критикам, а самым, так сказать, обыкновенным, рядовым читателям. Просьба заключалась в том, чтобы каждый прочитал три заранее отпечатанных на машинке небольших отрывка и попытался назвать их авторов. Отрывки были подобраны мной из книг современных наших литераторов, пишущих о море, о морских путешествиях. Авторы первого и второго отрывков правильно не назвали никто, хотя, как выяснилось потом, книги, из которых взяты эти отрывки, были — и не так давно — прочитаны почти всеми. Двое не смогли назвать и автора последнего отрывка. Зато семеро остальных уверенно сказали: Конецкий. Действительно, это был отрывок из книги Виктора Конецкого «Морские сны»:

«Один из великих ученых сказал, что если взять увеличительное стекло и лечь возле лужи в своем дворе, то можно принести больше пользы человечеству, нежели совершив кругосветное путешествие. Он сказал это в связи с тем, что редкостные животные самых труднодоступных мест планеты изучены лучше обыкновенных мышей.

Однако известно — и широко известно, — что лицом к лицу лица не увидать. И сколько бы человечество еще топталось в потемках, не зная, что происходит от обезьяны, если бы Дарвин отлежался возле лужи на своем дворе? Пожалуй, для Дарвина был смысл заплыть на Галапагосские острова.

Все это прямо относится и к пишущим людям. Действительно, в ближайшем отделении милиции или в родном дворе даже для самого плодovitого писателя хватит на сотни томов материала, человеческих судеб, философии. И все-таки среди пишущих людей страсть к перемене мест наблюдалась всегда. Географическое удаление от родного общезжития помогает увидеть примелькавшееся в новом ракурсе, помогает побороть бессмысленную веселость и даже перейти от беспричинной тоски к гениальному психозу, если ты, например, Гоголь.

Ностальгия — таинственное и сильное душевное страдание. Особенно полезна она пишущему здоровью...»

Мои знакомые, легко «опознавшие» автора, сразу уловили в предложенном отрывке «лица необщее выраженье», уловили некоторые из характерных особенностей творческого почерка этого писателя — склонность к парадоксам, юмор, самоиронию...

«Морские сны» — третья книга путевых

записок Виктора Конечкого. Она продолжает книги «Соленый лед» и «Среди мифов и рифов», хорошо встреченные читателями и положительно оцененные нашей критикой. Жанр «Морских снов», как и жанр двух предыдущих книг, трудно поддается определению. Сам автор называет эти книги путевой прозой. Написанные свободно, без скрупулезно-формальной оглядки на жанровые каноны, они совмещают в себе и непосредственные путевые впечатления, и их социально-философское и психологическое осмысление, воспоминания и художественную публицистику, юмористический рассказ из арсенала «морских баек», и серьезные раздумья о смысле жизни, о добре и зле, о совести и чести, экскурсии в историю и мечты о будущем, мысли о литературе, о специфике писательского труда и размышления о путях научно-технического прогресса, о роли науки на нынешнем этапе развития общества... Трудный «жанр»! Виктор Конечкий от книги к книге все более уверенно овладевает им, расширяя круг своих наблюдений и ассоциаций, оттачивая свою манеру письма. От книги к книге у него все меньше издержек и больше приобретений. Правда, и в «Морских снах» поток ассоциаций временами еще как бы захлестывает автора и начинает вести его за собой. И тогда движение мысли, которую Конечкому важно донести до своего собеседника-читателя, искусственно усложняется. Прежде чем выйти на широкий простор, ей приходится пробираться, как кораблю среди рифов, преодолевая чрезмерно длинную цепь ассоциаций.

Книги В. Конечкого рождаются из морских путешествий. Отправляется он в эти путешествия не в качестве туриста, а настоящим «тружеником моря» — одним из помощников или дублером капитана, несущим все тяготы моряцкой работы и всю полноту ответственности за порученное дело. Первая часть «Морских снов» представляет собой записки помощника капитана теплохода «Невель», совершающего длительный рейс по Индийскому и Атлантическому океанам с ученой экспедицией на борту, ведущей наблюдения за космическими объектами. Но книга выходит далеко за пределы своей конкретной «географии». Ее содержание намного шире. Автор стремится осмыслить в свете сегодняшнего дня не только основные вехи собственной биографии, но и биографии своего поколения. Еще мальчишкой в блокадном Ленинграде заболел он романти-

кой моря. Повзрослев, понял, что в жизни — в том числе и в жизни тех, кто связал свою судьбу с морской работой, — все неизмеримо сложнее, многое происходит совсем не так, как об этом мечталось в детстве; что жизнь полна противоречий, что в ней одновременно существуют прекрасное и уродливое, высокое и низкое, чуткость и черствость, храбрость и трусость, что есть люди, каждый свой поступок подчиняющие высоким нравственным принципам, и люди, легко идущие на сделки с собственной совестью.

Жизненный опыт, накопленный за долгие годы морских плаваний и за двадцать лет активной работы в литературе, многому научил писателя. Гражданская, нравственная позиция автора достаточно ясна и определена. О чем бы ни писал он, это не записки стороннего наблюдателя, равнодушно внимающего добру и злу. Мы всегда чувствуем, что его радует и что печалит, от чего ему бывает горячо или холодно, понимаем, во что он ценит то, о чем рассказывает, видим, что у него за душой. Полная искренность, открытая самокритичность, какая-то особо доверительная интонация, пристальное внимание к духовным и нравственным проблемам современности — вот что прежде всего привлекает в путевой прозе Виктора Конечкого.

...Чем дольше длится рейс, чем меньше остается дней до того момента, когда будут отданы швартовы у родного причала, тем острее ностальгия, тем настоятельнее у автора записок потребность выдуть себе собеседника («Дядя Нептун! Заходи, покурим!») и вести с ним, этим воображаемым собеседником, бесконечный диалог, тем все чаще, особенно после вахты, снится разная чертовщина... Автор, так сказать, по свежим следам, сразу же после пробуждения дотошно фиксирует свои странные сны («Дарю психологам, изучающим моряков»). Обратите внимание: сны-то вовсе не морские! «Занятно, — замечает В. Конечкий, — что в море, в длительном рейсе почти никогда не снятся морские сны. Зато чем дольше живешь на суше, тем чаще снятся морские». Если вспомнить войну, то ведь чем дольше она продолжалась, тем чаще фронтовики видели сны из мирной жизни. А теперь, даже по прошествии тридцати с лишним лет, ветеранам Великой Отечественной все еще, бывает, снится война...

Автор включил в «Морские сны» несколько новелл, ранее уже печатавшихся в кни-

гах «Камни под водой», «Соленый лед», «Среди мифов и рифов». Эти новеллы (за исключением двух), объединенные общим названием «Рассказы в пути», составляют вторую часть «Морских снов». Мы вновь встречаемся со знакомыми нам персонажами, которым автор открыто симпатизирует, — с молодым ученым подводником-океанографом Володей Бурнашевым, с успешным хлебнуть лиха, несмотря на свои молодые годы, Васей Беспаловым, с никогда не унывающей морячкой Марией Ефимовной Норкиной, с Мишей Кобылкиным, прозванным «невезучим Альфонсом», с Петром Ивановичем Ниточкиным, у которого на любой случай имеется в запасе смешная морская байка.

Третья часть «Морских снов» названа автором «Путешествие за доброй надеждой». Еще одно путешествие. Но на сей раз не морское. С присущим ему юмором, с меткой психологической наблюдательностью рассказывает Конецкий о своей поездке в Новосибирск, куда он был приглашен для выступления в Доме ученых Академгородка. «Путешествие в науку» потребовало основательной подготовки. И когда автор погрузился в научно-популярную периодику и научную литературу, когда прикоснулся к проблемам, решаемым сегодня учеными, и попытался представить себе ближние и дальние перспективы, открываемые наукой перед человечеством, то почувствовал себя в состоянии, близком к шоковому. Некоторые главы этой части книги так и называются: «Начало нового пути, или Шок от этологии», «Держась за воздух, или Шок от энтропии», «Новое о совести, или Шок от этометрии», «Новое об эмоциях, или Шок от психофармакологии». Юмор юмором, но сквозь его защитную завесу просвечивает вполне серьезный и глубокий интерес писателя к проблемам науки. Высказываемые автором мысли, пусть подчас и спорные, его сопоставления научного и художественного творчества, истории науки и истории искусства — все это, думается, отвечает запросам современного нашего читателя.

Юмор Конецкого нередко окрашен лирической грустью. «Человек не придумал ничего выше юмора, — утверждает писатель. — Только юмор сможет помочь нам, когда совесть начнут закладывать в ЭВМ». Проза эта предполагает и в читателе развитое чувство комического.

..Как и в прежних книгах, Виктор Конецкий в «Морских снах» не устает иронизиро-

вать над морской «романтикой». Но это вовсе не означает, что автор и персонажи его книг тяготятся нелегкой моряцкой работой, тяготятся морем, не любят его. Еще как любят! Еще как тоскуют о нем, оказавшись на суше! И осмеиваемая автором морская романтика на самом-то деле бесконечно дорога ему. Только не книжная, не придуманная, не ложная, а подлинная — суровая и прекрасная романтика моря, с которым он накрепко связал свою жизнь, свою писательскую судьбу. В душе Виктор Конецкий был и остается романтиком и поэтом. С помощью иронии он как бы оберегает эти свойства своей души от сторонней насмешки. «Так уж устроил меня бог, — писал он еще в «Соленом льде», — что хочется соединить реализм с романтизмом...» Для того чтобы быть настоящим моряком, читаем мы в «Морских снах», надо навсегда остаться мальчишкой. Только так можно «всю жизнь преодолевать тоску и серость морской работы». Лев Аннинский в своих заметках о «Соленом льде», по-моему, очень верно подметил, что прелесть прозы Конецкого — в тончайшей вибрации, в искусном балансировании между «скучной» морской работой и «красивой» морской экзотикой.

О море, морских путешествиях, о морской ностальгии и в отечественной и в мировой литературе написано немало. Одних описаний морских пейзажей — величественных и тревожных восходов и закатов, штилей и бурь — великое множество. «Трудное, если не безнадежное дело — морской пейзаж нынче», — замечает Конецкий. Ирония помогает ему миновать опасную зону литературных штампов. Он ищет и находит с в о и краски, подчас эпатируя любителей морской романтики неожиданностью сравнений, ассоциациями, которые «так же внезапны, как поворот стаи кальмаров». Цвет волны напоминает ему мокрую пепельницу или грязную портянку, течения крутятся и вертятся, как весенние кошки, а океан может притворяться скромной лужей на тихом бульваре — «под нежной гладью никакой колдун не смог бы угадать пять километров зыбкой глубины и стылость тьмы морга на дне». В то же время многие зарисовки Конецкого-мариниста исполнены подлинной поэзии. Заходящее солнце «вдавливается в океан, прогибает огромной пылающей тяжестью горизонт»; море трогает волной приморский город, «как женщина трогает мужчину легкими пальцами, чтобы не дать ему уснуть, чтобы не остаться одной»;

«портовые буксиры пробираются в гавань по рабочим делам со смущенным видом, как электромонтер к погасшей лампе сквозь танцевальный зал».

Автор объявляет «Морские сны» заключительной книгой своей путевой прозы: «Года к суровой прозе клонят. Пора расставаться с путевой. Ей слишком недостает суровости». Естественно, что после такого заявления с особым интересом открываешь третью книжку «Звезды» нынешнего года, где опубликована новая вещь Конецкого — «Путевые портреты с морским пейзажем». Жанр ее в отличие от путевых записок обозначен четко: повесть. Написаны «Путевые портреты» в форме дневника дублера капитана грузового судна «Фоминск», совершающего рейс в южных широтах.

С капитаном «Фоминска» Юрием Ивановичем Ямкиным автора дневника связывают особые узы, особая, как говорится в повести, «типично книжно-романная» ситуация. В годы войны Ямкин командовал подводной лодкой. Выполняя его приказ, погиб товарищ юности автора дневника. Ямкин, «как и положено в красивом романе», женился на вдове погибшего и воспитал его сына. Вслед затем автором дневника изложен ряд запутанных ситуаций.

Но горьким воспоминаниям о прошлом в дневнике отведено немного места. Главное его содержание составляют сегодняшние события, развертывающиеся на борту «Фоминска». На глазах у всего экипажа капитан закрутил роман с судовой буфетчицей Викторией — весьма вульгарной тридцатилетней особой, убежденной в своей неотразимости. Автора дневника возмущает и оскорбляет этот роман. «Всю свою историю человечество решало и решает любовные вопросы, приводило и приводит их в порядок на земной тверди. Не место такими делами на корабле заниматься. Скользя на корабле палуба». В душе осуждая Ямкина, дублер капитана внешне стал проявлять к Виктории повышенное, неискреннее, удручающее его самого внимание, «все это, — пишет он, — надо прикрывать улыбкой сочувствующего, хранящего прекрасную тайну товарища». Образ Виктории написан Конецким в сатирическом ключе. Автор не жалеет красок, чтобы показать подлинную суть этой «корабельной маркитантки», изображений выгоды имитирующей любовь к стареющему капитану.

В повести есть и еще один персонаж, по отношению к которому автор также не

скрывает своей антипатии. Это Петр Васильевич Шалапин — человек, случайно оказавшийся на борту «Фоминска». Из-за болезни он отстал от своего туристского теплохода и был взят на «Фоминск» до первого европейского порта. «Удивительная его внешность, — записывает дублер капитана в дневник. — Он аккумулирует все те черты, которыми благородные писатели награждают несимпатичных героев. Но между живым Шалапиным и его литературными двойниками есть огромная разница. Ему нравиться походить, например, на змею. И, надо признаться, это по-своему элегантно кобра. И взгляд его студенистых глаз вызывает робость, ибо красноватые веки с белесыми ресницами вообще не мигают. Вечно влажно-холодные руки, вероятно, устраивают его, ибо Петр Васильевич знает выгоду отчужденности, отчужденность — сознательная линия его поведения, она позволяет ему блокировать любые проявления юмора у окружающих».

Очувтившись на борту «Фоминска», Шалапин сразу же проявляет повышенный интерес к поведению капитана:

«— Неужели в морфлоте разрешается так вести себя? Неужели поведение капитана в таких вопросах у нас не регламентируется? Имеют ли право общественные организации вмешаться и указать капитану рамки и границы? Юрий Иванович даже афиширует связь».

— На судне ничего никогда не скроешь. Потому, вероятно, капитан и не скрывает.

— Ни на каком производстве такие вещи нельзя скрыть, но люди хотя бы делают вид, стараются хотя бы внешне регламентировать свое поведение.

— Послушайте, Шалапин, какое вам дело! И зачем вы лезете в чужой монастырь? — говорю я.

— Я — социолог. Ваш пароход — микро-модель общества. Мне интересно наблюдать. Между прочим, ситуация повторяется здесь ту, в которой находился начальник отдела кадров у нас в НИИ. Он тоже вступил в связь с секретаршей.

— Вы наблюдали за их отношениями?

— Не только наблюдал. Изучал. Это моя обязанность.

— Совесть-то у вас — социологов — есть?

Нет ее, совести, у таких, как Шалапин. У себя в институте Петр Васильевич, заверив сотрудников, что социологическое обследование проводится в целях улучшения психологического климата, использовал от-



кровенность анкетированных для сбора компрометирующих данных. По его наущению директор НИИ в приказном порядке заставлял сотрудников заполнять такие анкеты, которые превращались во взаимодоносы. Потому-то и опасны шалапины для общества. Потому-то и разделяем мы подлинно гражданскую непримиримость автора к самому типу такого «социолога».

Один из существеннейших признаков той «суровой прозы», к которой года клонят Виктора Конечного,— живописание характеров в их развитии. Являются ли «Путевые портреты» именно такой прозой? Вряд ли. Это именно портреты. Портреты на фоне морского пейзажа (очень точно назвал Конечный свою повесть!). Портреты, написанные в пути, во время одного рейса. Портреты, надо воздать должное живописцу, яркие, запоминающиеся, но запечатлевшие героев — и капитана Ямкина, и его второго помощника Сережу, и матросов Кудрявцева и Варгина, и буфетчицу Викторину, и социолога Шалапина — лишь в отдельные моменты их жизни, связанные с рейсом «Фоминска». В каких конкретных обстоятельствах происходило формирование характеров этих

людей, каковы истоки их сегодняшних поступков, сегодняшнего образа мыслей — об этом нам мало что известно. Перед нами продолжение путевой прозы, расстаться с которой автору не так-то просто. Понимает это, очевидно, и сам Конечный. «Я не романист, я не овладел и уже никогда не успею овладеть колдовством романиста»,— признается он в «Путевых портретах». А может, Виктору Конечному и не нужно печалиться по этому поводу? Может, и не нужно спешить расставаться с путевой прозой?

В нашей литературе с ее разнообразием форм и стилей есть место и различного рода дневникам путешествий — книгам, представляющим собой органичный сплав непосредственных путевых впечатлений с размышлениями писателя, с его воспоминаниями. Среди произведений этого жанра путевая проза Виктора Конечного — явление незаурядное.

Общезвестно, что высшая цель литературы — делать человека лучше. Книги Виктора Конечного, в том числе и «Путевые портреты с морским пейзажем», служат именно этой цели.

**В. КОСОЛАПОВ.**



## ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА МИНУВШЕЕ

**Евг. Долматовский. Было. Записки поэта. М. «Советский писатель». 1975. 608 стр.**

**И**звестный советский поэт, теперь уже один из плеяды старейших, Евгений Долматовский написал прозаическую книгу с характерным для него поэтическим эмоциональным зарядом. Ее жанр автор определил как «записки поэта». Но то, что включено в книгу, шире и значительнее «записок».

Называется книга лаконично — «Было». Я пишу эту рецензию на второе, расширенное и дополненное издание. Читал и первое, вышедшее в 1973 году тиражом в 75 тысяч. Читал еще в рукописи и, не скрою, предполагал, что книга будет переиздаваться, и не однажды. И не ошибся. Издательство «Советский писатель» через два года переиздало книгу объемом вдвое больше прежнего, тиражом в 150 тысяч, который разошелся буквально за несколько дней.

Читательский интерес к книге «Было» неудивителен. Она вобрала в себя и мемуары, ныне очень распространенный жанр, позво-

ляющий автору соединять давно минувшее с сегодняшним, отчетливо выразить свои взгляды на то или иное явление, открыто заявить свою гражданскую позицию, и путевые очерки, рисующие особенности общественной жизни, бытовой уклад, природу тех стран, где побывал автор. А побывал он на четырех континентах земли. В книгу включены литературные портреты учителей поэта и его друзей; одни написаны эскизно, другие содержат углубленную оценку творческого облика «товарищей по оружию». И конечно же, в каждой из глав множество автобиографических деталей, подробностей, касающихся возникновения и жизни разных стихов и ныне популярных песен Е. Долматовского.

Прозу поэтов (к ней в той или иной мере обращаются многие стихотворцы), будь то роман, повесть, рассказ, критическая статья, воспоминания или размышления, чаще всего отличает точная образность, лаконизм:

поэты ценят и берегут слово. Эти достоинства находим и в рецензируемой книге.

В своем ненасытном стремлении видеть и познавать мир Долматовский обычно сосредоточивается на тех его участках, где сейчас особенно горячо. Я не раз встречался с поэтом в годы Отечественной войны. Наши с ним фронтовые пути-дороги пересекались под Сталинградом, на Курской дуге и под Берлином. Могу засвидетельствовать, что Долматовский всегда стремился быть там, где гремели орудия и раздавалась дробь автоматных очередей. Он не засиживался на командных пунктах, а шел в солдатские траншеи и затем диктовал по полемому телефону стихотворные строки или нес их на узел связи, чтобы завтра они появились на страницах фронтовой газеты. Пусть не все строки были совершенны, многие из тех стихов поэт не включал в свои сборники. Но в них было дыхание боя, стальная крепость солдатского характера, ненависть к врагу. Впечатления поэта, почерпнутые в день сражения, тогда или потом отливались в стихи и песни, и некоторые из них становились поистине народными. А что может быть дороже для поэта, чем признание народа?

В рецензируемом издании появился новый раздел «Рассказы о песнях». Читатель вводится здесь в лабораторию поэта, узнает подробности его совместной работы с композитором. Наверное, большинство из тех, кто прочтет эти строки, хорошо знает песни «Любимый город может спать спокойно», «Ой, Днепро, Днепро», «Родина слышит, Родина знает», «Под городом Горьким, где ясные зорьки», «Друзья, люблю я Ленинские горы», «За фабричной заставой», «Парни, парни» и многие другие, принадлежащие перу Евгения Долматовского. А теперь мы узнали, как они писались, какие творческие радости и страдания пришлось пережить поэту при их сочинении. Кроме того, мы познакомились со многими талантливыми композиторами-песенниками, с которыми свела и сдружила поэта одна их общая цель: музыкой и словом обогатить душу советского человека, вдохновить его, приобрести к красоте.

В почте, получаемой поэтом, слова признательности, советы читателей, как могла бы звучать та или иная строка, или, к примеру, рассказы о том, как народ «приспособил» «Сормовскую лирическую» к своему краю — Красноярску, Омску, Свердлов-

ску, Краснодару, Кавказу, Ростову, Ташкенту, Воронежу...

До песен и стихов, ставших народными, Евгений Долматовский прошел поэтические университеты у старших товарищей. Он был дружен со многими широко известными советскими поэтами. Книга «Было» и открывается разделом «Товарищи писатели». Вот встречи пионера, затем комсомольца Долматовского с Маяковским и Мейерхольдом. Они оставили в сознании поэта глубокий след. Для него стало убеждением: «Маяковский принадлежит к эпохе нашей, а не только к двадцатым и тридцатым годам». О Луговском: «Луговской научил нас ненавидеть ремесленный, холодный перевод». Нельзя не согласиться с Долматовским, когда в его вдохновенный рассказ о Михаиле Светлове врывается горечь: «Вокруг Светлова разрастается литература реплик. В ряде случаев из-под груди обрывочных фраз уже и стихов не видно!» И прав он в призыве: «Хочу, чтобы читатель — человек нового поколения, который уже не мог, не успел увидеть и услышать живого Светлова, читал прежде всего его стихи». Эскизные портреты Джека Алтауэна и Иосифа Уткина, Дмитрия Гулия и Семена Гудзенко соседствуют с лирическим повествованием о незабвенном друге с юных лет и до последнего дня жизни — Ярославе Смелякове. Исследуя творчество и значение Смелякова, Долматовский пишет: «...авторитетом в шестидесятые годы были Твардовский и Смеляков. Их присутствие в поэзии имело эталонное значение».

Всех, о ком пишет Долматовский, не перечислишь в рецензии — их десятки и десятки. И не одни его современники, но и Пушкин, и Некрасов, и Блок. Суждения автора о поэзии настолько интересны, что некоторые я позволю себе процитировать:

«В отличие от громкой и громогласной поэзии существует ныне поэзия, прямо так и называемая тихой. Некоторые критики и ценители подводят под это ими названное течение философскую базу. Тихая поэзия выдается за завоевание социализма. Мол, не пора ли углубиться в душу индивидуума, а то больно много кричали «ура». Так ли было? Пафосная поэзия в лучших образцах всегда глубинна! Да и настало ли время для сплошных элегий? Каждый поэт волен писать, как ему пишется. Право выбора — за читателем. Но ответственность критика от этого не уменьшается. Критики считающие тихую поэзию знаменем времени и основ-

ным течением, мне кажется, сдают позиции, завоеванные Маяковским для советской поэзии». Отвечая на вопрос одного читателя о сущности красоты, Долматовский пишет: «Наше время вырабатывает свое представление о красоте. Это заметно и в пейзаже. Перечитайте «За далью — даль» Твардовского с ее пейзажами Урала и Сибири, обратитесь к стихам Ярослава Смелякова и Бориса Ручьева... — И через несколько строк заключает: — Я учусь провидеть в строящихся корпусах город, который будет. Мне хочется, чтобы и вы смотрели на строительную площадку советской поэзии глазами современника, ищущего новое в новом».

Африка, Азия, Америка, Европа — четыре континента, десятки стран, в них в разное время побывал поэт Евгений Долматовский. Он принадлежит к той группе писателей, на долю которых выпало счастье и ответственность представлять советскую литературу за рубежом. На Филиппинах, например, он был одним из первых представителей советской культуры, посетивших эту землю.

В «Приглашении к путешествию», открывающем заключительный раздел книги, автор просит рассматривать «рассказ о далеких и близких странах не как репортаж, а как воспоминания, основанные на впечатлениях определенного времени». В центре этих воспоминаний — деятели культуры, прежде всего писатели, борцы за прогресс и счастье своих народов. И надо сказать, что наше знакомство со многими из них до книги Долматовского носило весьма поверхностный характер.

Лирический герой книги — ее автор. Да это и естественно: все здесь пропущено через собственное восприятие. помимо того, автор — очевидец событий, о которых ведет

речь. Меня поражает лаконизм и емкость рассказа поэта (раздел «Начало — Середина — Конец») о трагических обстоятельствах, в которых оказался он и его товарищи в 1941 году, попав в окружение. Как же велики были испытания, выпавшие на долю поэта, когда тот пробивался к своим! Его уже считали погибшим. Константин Симонов даже опубликовал стихи, посвященные памяти Долматовского. А он, преодолев непреодолимое, сумел выйти из вражеского кольца и до конца войны был в строю. А в самом конце войны, в Берлине, в числе немногих поэт присутствовал при переговорах генерала Чуйкова, армия которого осаждала центр города. К Чуйкову пришел немецкий генерал Кребс, чтобы выяснить условия капитуляции фашистской Германии. Почти стенографически сделанная тогда Долматовским запись этих переговоров, приведенная в книге, является ныне литературным и историческим документом.

Впрочем, все, чем богата книга «Было», в короткой рецензии не изложишь. И, быть может, на этом стоило бы поставить точку. Но не могу не бросить автору один упрек: в книгу, насыщенную мыслью, вкрались и чисто информационные заметки, мало что нового дающие читателю, как, например, «Паломничество в Михайловское», по непонятным мне соображениям включены фельетоны-письма Паши Брехунцова, созданные в соавторстве с Евгением Петровым в дни боев с финскими белогвардейцами и далеко не блестящие литературными достоинствами. Но, как в таких случаях пишут, это частности, которые не снижают интереса к тому, что было с Евгением Долматовским и что вошло в его книгу «Было».

Леонид КУДРЕВАТЫХ.



## С БОЕВЫХ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ

Александр Дымшиц. Ницета советологии и ревизионизма. М. «Художественная литература». 1975. 350 стр.

Нельзя не заметить, как год от года нарастает наступательный дух нашей литературной науки и критики. Все чаще выходят книги, которые отличаются широтой охвата и глубиной анализа современного художественного процесса, активной защитой и творческой разработкой принципов социалистического реализма, неопровержимой аргументацией в полемике с буржуаз-

ными философско-эстетическими теориями и концепциями. В ряду этих книг достойное место занял и сборник статей А. Дымшица «Ницета советологии и ревизионизма».

А. Дымшиц принадлежал к тому типу литературоведа, который основательную историко-литературную и филологическую подготовку ученого сочетает с качествами боевого критика и публициста, последователь-

ного и непреклонного в отстаивании марксистских принципов.

О широте творческих интересов А. Дымшица можно судить хотя бы по его более ранней книге «В великом походе», где им высказаны глубокие суждения о В. Маяковском, С. Есенине, А. Толстом, В. Вишневском, М. Шолохове, А. Исаакяне, А. Твардовском, С. Маршаке, Н. Асееве, В. Кочетове, О. Берггольц, И. Эренбурге и многих других современных писателях. Более сорока лет находившийся в гуще литературной жизни, А. Дымшиц оставил книгу творческих портретов и зарисовок «Звенья памяти», меткую по характеристикам, проникнутую лиризмом, сердечной теплотой и уважением к людям писательского труда. В последние годы жизни он много занимался изучением литературно-эстетического наследия основоположников марксизма и выпустил в свет актуальнейшую в условиях современной идейной борьбы работу «К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература». В книгу «Ницета советологии и ревизионизма» вошли боевые выступления А. Дымшица, публиковавшиеся в нашей и зарубежной периодике в конце 60-х—начале 70-х годов.

Во вступительном слове ясно и точно определен прицел сборника, его пафос. «Автор этой книги,— писал А. Дымшиц,— выступает за принципы, священные для деятелей советского искусства, против их злостного, тенденциозного извращения и искажения рядом известных на Западе «советологов» и ревизионистов».

Подлинно плодотворная и действенная теоретическая и литературно-критическая борьба против наших идейных противников не может ограничиваться только защитой принципов и положений марксистско-ленинской эстетики. В ходе самой борьбы необходимо развивать и творчески углублять эти принципы, показывая их внутреннее богатство, своеобразие проявления в современных условиях. А. Дымшиц хорошо это понимал. Его острая, доказательная, научно аргументированная полемика, подчас окрашенная иронией и сарказмом, сочетается с взвешиваемой разработкой тех проблем, вокруг которых разворачивается идейная схватка. Если, к примеру, такие «столпы» буржуазной науки и публицистики, как Ганс Майер, Петер Деметц, Фриц Радац, подходят к гигантским фигурам основоположников научного коммунизма со своими ничтожными мещанско-бюргерскими мерка-

ми, уверяя, что Маркс и Энгельс не создали своей системы литературно-художественных и эстетических взглядов, упорно приписывая им, а вслед за ними и всей марксистской науке и критике примитивные вульгарно-социологические схемы, то А. Дымшиц, будучи во всеоружии знания, не только разоблачает эту ложь, но и показывает, что именно Маркс и Энгельс заложили фундамент подлинно научной эстетики, теоретически обосновали реализм, сформулировали его ведущие принципы, высказали непреходящие мысли о целых эпохах в развитии мирового искусства, дали блестящие образцы конкретного идейно-эстетического анализа. Опровергая фальсификаторов истории марксистской эстетической мысли, пытающихся «столкнуть» Маркса с Энгельсом, а их, в свою очередь, с Лениным, советский ученый доказывает, что, создавая материалистическую теорию отражения и мастерски применяя ее к анализу творчества Л. Н. Толстого, Владимир Ильич продолжал и развивал традиции великих предшественников, в трудах которых, кстати сказать, уже содержались отдельные мысли, предвещавшие ленинское учение о партийности литературы и искусства.

В борьбе против теории и практики социалистического искусства советологи, подвизающиеся в области эстетики, литературоведения и критики, опираются на самые реакционные буржуазные теории и концепции. Они перепевают идейки меньшевика Суханова, разоблаченные еще Лениным, о том, что революция в России была «преждевременна», что социализм ей был «навязан сверху» — в этом суть «исторической» и «культурологической» концепции небезызвестной книги профессора Принстонского университета (США) Джеймса Биллингтона «Икона и топор» с подзаголовком «Интерпретированная история русской культуры». «Интерпретированная... Точнее было бы сказать: фальсифицированная», — иронизирует А. Дымшиц. С инакомыслящим, но достойным уважения ученым он ведет самый острый идеологический спор в лучших традициях научно-академической полемики; что же касается пошлых и явно тенденциозных сочинений иных зарубежных борзописцев, то от них он может, как от назойливых мух, отмахнуться двумя-тремя пренебрежительно-саркастическими фразами.

Авторы откровенно провокационных, лживых, хотя порой внешне солидных, претендующих на объективность и ученость

«трудов» и «исследований» не только с плюшкинской жадностью перебирают идейный хлам, унаследованный ими от прошлого, но и с радостной готовностью подхватывают и берут на вооружение все «новейшие» философские и политические концепции, направленные против идеологии марксизма-ленинизма, составляющей основу основ нашей художественной культуры. Именно с такой вот поспешностью подхватили они «теорию» деидеологизации современной культуры. Раскрытию реакционной сущности этой «теории» посвящены многие страницы книги А. Дымшица.

Ничего не упрощая, но в форме ясной и общедоступной А. Дымшиц знакомит читателя с нынешними политическими, историческими, социологическими и другими концепциями буржуазных ученых, вошедшими в «методологический» арсенал советологов, взявших на себя явно непосильный для них труд — похоронить многонациональную социалистическую литературу.

В книге нарисована своего рода портретная галерея буржуазных «специалистов» по советской литературе. В этой галерее особое место занимает известный советолог, адъюнкт-профессор факультета славянских языков и литературы Торонтского университета Борис Томпсон, автор объемистого фоланта «Преждевременная революция. Русская литература и общество. 1917—1946», как видим, даже окрещенного в духе все той же навязчивой идеи о «преждевременности» русской революции. Рассмотрев этот наукообразный труд, в котором «собраны в пучок многочисленных лживые легенды „советологов“», А. Дымшиц приходит к неопровержимому выводу: «„Советология“ на примере книги Бориса Томпсона свидетельствует лишним раз о том, что она является типичной антинаукой, решительно неспособной к развитию, питающейся расхожими идеями, вырабатываемыми в штабах антикоммунистической пропаганды». А вот и «творческий портрет», вернее, стереотип самого советолога во всей его заурядности: «Как часто бывает у сочинителей, действующих не во имя служения, а ради службы, советологи — люди без качеств, бледные личности, лишённые писательских характеров, творческих индивидуальностей... пишется ими все настолько однотонно словно авторы в одну нуду дуют. Чувствуется единое задание — трактовать все темы в антисоветском духе, невзирая на сопротивление материала».

Критик-марксист Александр Дымшиц нарисовал и ряд выразительных, точных «портретов» ревизионистов от искусства, до поры до времени маскировавшихся под марксистов, но в конце концов раскрывших свое настоящее буржуазно-мещанское нутро, откровенно обнаруживших трусливое капитулянтство перед империалистической реакцией.

С трибуны XXV съезда партии Л. И. Брежнев вновь напомнил, что не может быть и речи «о компромиссах в принципиальных делах, о примирении со взглядами и действиями, противоречащими коммунистической идеологии. Это исключено. Тем более что и правый и левацкий ревизионизм отнюдь не бездействуют и борьба за марксистско-ленинские основы коммунистического движения, против попыток их исказить или подорвать остается общей для всех задач».

Жизнь многократно подтвердила, что ревизионизм в области эстетики, литературы и искусства неразрывно связан с ревизионизмом политическим. Одно из свидетельств этому — позорная «эволюция» Роже Гароди и Эрнста Фишера, активно подвизавшихся не только в сфере политической, но и литературно-эстетической. К чести А. Дымшица, он одним из первых среди советских ученых разглядел истинное содержание книги Р. Гароди «Реализм без берегов», маскируемое борьбой за широту и многообразие реализма. Книга вышла в Париже в 1963 году, а уже в 1964-м в статье «Реализм. Его богатства и рубежи» А. Дымшиц писал, что эта книга капитулянтская и ревизионистская, что ее главная цель — «размыть берега реализма и открыть его «границы» для вторжения модернистских влияний». В серии статей, непосредственно посвященных Р. Гароди и Э. Фишеру, или в статьях, где о них говорится попутно в связи с решением той или иной проблемы, А. Дымшиц в острой литературно-публицистической манере наглядно показал последовательное «безудержное падение» этих ренегатов, скатившихся на позиции оголтелого антикоммунизма.

Следует отметить поразительную солидарность советологов с ревизионистами, которые искони маскируются под марксистов. Ревизионисты поставляют идейки, за которые советологи бьют им челом, и, в свою очередь, самые злобные и клеветнические измышления советологов с готовностью подхватываются ревизионистами. Кстати ска-

заты, взаимоотношения между ними подчас складываются так, что советологи получают возможность выступать в роли строгих и требовательных наставников. Ведь что такое ревизионист? Чаще всего перебежчик, переметная сума, человек ненадежный. Чего же с ним церемониться! Поэтому профессор-советолог может и отчитать какого-нибудь незадачливого ревизиониста как самого заурядного недоучившегося бурша. Любопытный пример: Петер Деметц, сам, по верной оценке А. Дымшица, «пигмей» в науке, покровительственно похлопывая по плечу Роже Гароди за «творческую инициативу» в ревизии марксизма, тем не менее не преминул отметить, что, «к сожалению, само название его книги («Реализм без берегов», — П. С.), как и все ее содержание, является абсолютным вздором». Разумеется, перед нами критика «творческого марксиста» справа. Очевидно, Гароди еще «не дорос» до того, чтобы встать вровень с ним, Петером Деметцем.

Остро и убедительно полемизирует А. Дымшиц с небезызвестной Эллен фон Сахно, выпустившей в Западном Берлине пухлую книгу «Восстание личности (Совре-

менная советская литература)», в которой она поучала ревизионистов, в каких формах и как следует вести борьбу против социализма и его литературы. Что же касается советских людей вообще и литераторов в частности, то Сахно значительно позже сама вынуждена была с прискорбием констатировать, что они какие-то «неподдающиеся» личности: несмотря на ее руководящие указания, не «восстают» да и только, упрямо придерживаются своей «доктрины».

Однако недоразумения в среде советологов и ревизионистов не выходят за рамки семейного спора. И те и другие — вполне добропорядочные бюргеры и примерные слуги капитала. Правда, духовный багаж их невелик, но ведь и сами хозяева в этом смысле не слишком богаты. На нынешних идеологах буржуазии, в том числе на советологах и ревизионистах, лежит печать обреченности той системы, которой они порождены. Именно к таким выводам подводит читателя автор боевой, наступательной книги «Нищета советологии и ревизионизма».

П. СТРОКОВ.



## ДВИЖУЩАЯСЯ ЖИЗНЬ КЛАССИКИ

И. Л. Вишневская. Гоголь и его комедии. М. «Наука». 1976. 256 стр.

Появление каждой новой книги о Гоголе — событие. Но если появляется книга хорошая, дальняя, вносящая нечто новое в наши устоявшиеся представления — это событие вдвойне. Именно такова книга «Гоголь и его комедии» критика И. Вишневской.

Казалось бы, что нового можно сказать о «Ревизоре» и «Женитьбе»? Что нового можно рассказать о взглядах Гоголя на театр, что можно открыть людям, с детства читающим и любящим Гоголя, в его произведениях, в его творчестве? И все же книга эта, несомненно, свежая, она расширит наши познания в области русской классики, позволит, как хотел того сам Гоголь, «новыми, свежими очами» взглянуть на его творения.

Мне, человеку, многие годы отдавшему сатире, басне, комедии, памфлету, фельетону, особенно интересны, дороги те критические и литературоведческие работы, где говорится о великих сатириках прошлого, о самих принципах сатирического письма, о

его своеобразных и сложных законах. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что литературоведение в последнее время все ближе подходит к сердцу человека, увлекая, образовывает нас, учит, не давая скучать. Ведь в конце концов критик, литературовед — непременно художник, иначе книги его лягут мертвым грузом на полки, перестанут быть вдохновенной агитацией, романтической пропагандой культуры.

Быть может, никогда еще имя нашего великого соотечественника не обретало такой крылатой мировой славы, как сегодня. Никогда еще не звучало столь победно-интернационально, как в нынешние времена. Гоголя читают, переводят на все языки, ставят в театре и кинематографе всех стран так увлеченно, так страстно, что, несомненно, можно утверждать: сегодняшний интерес к Гоголю если не перехлестывает, то равен интересу, вызываемому тревожным гением Достоевского, гуманистической силой Чехова. О Гоголе сейчас много и увлеченно пи-

шут, говорят, дискутируют, «Мертвые души» и «Ревизор» «собирают» представительные международные симпозиумы. Совсем недавно в Венеции по инициативе известного «фонда Чини» проводился именно такой симпозиум — «Гоголь и некоторые проблемы европейской культуры». Обострившийся интерес к Гоголю заставляет и радоваться и в то же время быть творчески «бдительными». Мировая слава — это и счастье художника, но и новые испытания в современной идеологической борьбе. О Гоголе не просто пишут за рубежом, о нем подчас пытаются писать так, как когда-то делали это Мережковский и Розанов, подставлявшие вместо слова «реализм» слово «мистицизм», вместо понятия общественных пороков некие абстрактные, инфернальные категории.

Мы радуемся, когда Гоголя воспринимают на Западе как художника страстной обличительной силы, как могучего гуманиста, как создателя сложных психологических характеров, как провозвестника светлой, свободной России. Мы огорчаемся, более того — негодуем, когда Гоголя стараются представить этаким учеником дьявола, литературным Калиостро, мрачным титаном, не ведающим, что он творит, не знающим гражданских страстей, «отошедшим от бога», искушаемым сатаной.

Нас радует триумфальное шествие Гоголя по театрам мира, мы гордимся, что русская классика продолжает потрясать сердца своим гражданским величием и чувством достоинства, неизбывной верой в светлые стороны живых человеческих душ. Но мы не можем согласиться, когда Гоголя иной раз пытаются выдать за родоначальника абстракционизма, сюрреализма, модернизма, декаданса, за предшественника Кафки и Ионеско. И поэтому каждая новая хорошая книга о Гоголе — это еще и новый наш аргумент в идеологической борьбе, утверждение социалистических представлений о реализме, который велик гражданскими целями, художественной глубиной, тончайшим психологическим анализом, надежной защитой прав свободлюбивого человека.

Книга И. Вишневской тем и привлекает в первую очередь, что участвует в идейной борьбе не прямолинейно: она старается открыть в художнике самые глубокие, масштабные, гражданские пласты его дарования. Не случайно книга называется «Гоголь и его комедии». Речь в ней идет о самом Гоголе как о личности, феномене, о своеобразном

мире, великой загадке, нуждающейся в более современных и совершенных ключах для раскрытия.

Меня как сатирика чрезвычайно порадовала мысль И. Вишневской — одна из главных в работе, — что сатира не локальное жанровое явление, что сатирик не есть писатель, который просто не сумел создать «Положительные характеры», что сатира лишь обличает зло, не утверждая добра. Автор книги справедливо считает, что правдивая сатира прежде всего борется за нового человека, за новые общественные добродетели; сатирик, говорит И. Вишневская, если он видит верные пропорции жизни, это уже строитель добра, это уже писатель, много сказавший и о людях, и о действительности, и о себе.

И. Вишневская обращает внимание на то обстоятельство, что Гоголь, рассматривавший театр как кафедру, никогда прямо не провозглашал добро в своих произведениях, не выводил зримого воплощенного идеала. Гоголь творил добро, бичуя пороки, воспевал добродетель, казня общественные недостатки, — он вычерчивал контуры идеальной общественной морали. Великий сатирик — великий певец добра; ему и не надо создавать в своем творчестве Милонов, Стародумов и Правдиных, их функции берет на себя авторская ирония, авторский гнев, писательский смех. Эта мысль И. Вишневской, активно, темпераментно проводимая через всю книгу, очень близка мне, близка потому, что и советским сатирикам не раз приходилось и практически и теоретически доказывать, что сатира сама по себе и есть утверждение идеала.

Автор книги предстает перед нами одновременно и ученым, и литератором, и исследователем, и журналистом, и человеком, знающим прелесть трудной архивной работы, и активным нашим товарищем по каждодневной горячей работе в литературе. И поэтому читать книгу Вишневской о Гоголе увлекательно и интересно, мы многое познаем, как бы даже не замечая утомительной работы познания. Например, немало интереснейших литературоведческих сведений содержит глава, в которой рассказывается о том, что предшествовало Гоголю-комедиографу в отечественной сатире. Крылов и Грибоедов, Сумароков и Княжнин, Фонвизин и Капнист уже ввели в обиход литературы и темы, и «гражданские мишени», и названия пороков, и сатирические характеры, которыми впоследствии распола-

гал Гоголь. Исследуя период ранней, «догоголевской» русской комедии, автор книги убеждает нас в том, что уже тогда были названы и заклеены многие социальные язвы тогдашней России.

«Незримая нить взаимопонимания тянется от одного гениального русского художника к другому,— пишет И. Вишневская.— Они успевали заметить и понять друг друга... Века соприкасались звеньями единой цепи искусства, традиция рождала новую традицию». Казалось бы, что же мог дать Гоголь отечественной комедиографии, если в ней уже были такие титаны, как Грибоедов и Фонвизин, во многом предвосхитившие и темы и характеры гоголевских творений? «Однако эволюционный ход событий в догоголевской сатире,— замечает И. Вишневская,— был взорван революционным гоголевским новаторством. Великие реформы принес он в театр. Приняв из рук своих предшественников совершенную сатирическую комедию, Гоголь поднял русскую сатиру на небывалую высоту, создав своего новаторского «Ревизора»...»

Новаторство автор книги видит в том, что Гоголь отказался от зримого воплощения идеала в своих комедиях, что из его пьес ушли Правдины и Стародумы, а единственным честным лицом его комедий стал граждански правдивый, беспощадный, гневный и ликующий Смех. И это был не просто очередной шаг художника в освоении мастерства. Появились принципиально иные формы литературы, открывалось абсолютно новое качество реализма, рождался новый жанр комедии — сатирической исповеди, лирической сатиры, одухотворенного гротеска, романтического гнева, светлой иронии. Отказываясь от положительного героя, Гоголь не сковывал гражданского пафоса комедии, но, напротив, раздвигал ее сатирические рамки, поднимал разговор о недостатках до масштабов глобальных, до конфликтов неразрешимых, до отчаяния, до сатирического катарсиса.

В этой части работы И. Вишневской читатель найдет интереснейшие размышления о гоголевском Смехе как об особом действующем лице комедии. Речь идет не просто о смехе в зрительном зале, но о той комедийной силе произведений, когда внутри самой пьесы, внутри самого сатирического спектакля должна существовать такая плотная энергия горького комизма, иронии, авторского отношения к событиям, что все это может заменить реальных Стародумов и

Чацких. Чацкие и Стародумы еще предлагали те или иные выходы из социальных конфликтов комедийного сюжета. Гоголь не предлагает никаких конкретных выходов, никаких частных решений, его герой — Смех, который, бичуя, очищает души. И в этом автор видит особенность гоголевского Смеха, оживляющего душу. Не случайно Гоголь постоянно ставит рядом со словом «смех» такие вроде бы неподходящие ему определения, как светлый, восторженный, романтический, солнечный.

Центральное место в книге И. Вишневской занимает глава о «Ревизоре». Об этой пьесе я много думал, в фарватере этого великого произведения писал сатирическую свою комедию «Раки». Раздумывая над гоголевским «Ревизором», пытаюсь соотнести то, что открыл гениальный художник в теории сатиры, с советской драматургией, я эмпирически подошел к некоторым выводам, некоторым обобщениям, подтверждение которых я нашел у И. Вишневской. «Ревизор», как доказывает книга И. Вишневской, не просто беспощадная сатирическая комедия, есть здесь отличие от великих сатир Сухова-Кобылина, от гневного пафоса Салтыкова-Щедрина. Гоголевский «смех сквозь слезы» — это вера в преображение человеческих душ. Мертвые души сатира должна была обратить в души живые. Впервые Гоголь произносит слова «душевный город» именно в связи с «Ревизором». Обычно «душевный город», упоминаемый Гоголем как особый нравственный плацдарм, где также нужно навести порядки, как и в реальном городе Городничего, рассматривается критикой в сфере мистических, идеалистических заблуждений Гоголя. Автор книги очень убедительно доказывает, что «душевный город» — это не мистика, а расширение границ реализма, первые попытки русской классики подойти к углубленному, психологическому анализу на сатирическом поприще. Мне эти мысли И. Вишневской представляются не только верными, но и очень нужными для сегодняшних писателей-комедиографов, которые стремятся расширить масштабы своих исканий, включить в сатиру лирический подтекст, адресоваться не только к реальным недостаткам бытия, но и к язвам «душевного города»...

Мое внимание привлекли и те страницы, где по-новому, свежо (во всяком случае, я не читал ничего подобного) ставится вопрос о воспитании средствами сатирического театра. И. Вишневская замечает, что «фронт



сатирических работ» ведет у Грибоедова, например, не только Чацкий, но и Фамусов, но и Молчалин, но и Скалозуб — словом, все осмеиваемые сатирические персонажи. И в «Ревизоре», где нет голоса Чацкого, его миссию, как это ни покажется странным, исполняют и Городничий, и Земляника, и Ляпкин-Тяпкин, и другие чиновники, ставшие мишенью знаменитого гоголевского Смеха. И Грибоедов, и Фонвизин, и Гоголь передают часть обличительных, сатирических реплик обличаемым персонажам. Их саморазоблачения, сливаясь с обличениями Чацкого, Стародума, создают особый, неповторимый фон русской сатирической комедии. Это смелое распределение «сатирических работ» между отрицательными персонажами русских комедий позволило великим комедиографам сказать миру гораздо больше, нежели они могли бы сделать это в рамках одних только «положительных» монологов «добродетельных героев». Смеется над николаевской Россией не только Гоголь, но и Городничий. Гоголь смеется сознательно, Городничий — сам того не ведая. Создавая этим сложный подтекст сатиры, автор добивался единого колоссального впечатления, того, что обличения «Ревизора» стали бессмертными, не укладывающимися в границы веков и поколений.

Соображения И. Вишневской, касающиеся форм сатирического письма, гоголевского новаторства, не просто любопытны, интересны — они полезны современным комедиографам, ибо позволяют свободнее, смелее относиться к традиции, понимать, что новаторские искания не менее важны, чем следование традиции.

Чрезвычайно примечательны те разделы книги, где И. Вишневская говорит о формировании гоголевской самобытности. Гоголь начинал в русле пушкинской школы, в русле пушкинской традиции. Казалось бы, путь

намечен. Но, пишет И. Вишневская, Гоголь только тогда стал Гоголем, когда вышел из пушкинской традиции, создал свое, гоголевское направление в литературе, Гоголь только тогда стал Гоголем, когда сбросил «пушкинский плащ» и надел свою «гоголевскую шинель». Эта мысль И. Вишневской представляется мне плодотворной для нынешней практики сатириков и драматургов. Сохраняя все уважение к могучей сатирической традиции классической и советской комедии, мы в то же время должны быть гораздо свободнее в обращении с новым материалом жизни. Пытаясь втискивать новый жизненный материал в старые формы сатирического письма, мы подчас несем урон в художественной, идейной, воспитательной силе наших произведений; изображая новые характеры, новый быт в границах, открытых Островским и Чеховым, Гоголем и Щедриным, мы иногда топчемся на месте, не ищем новых форм сатиры. А ведь понятно, что только те сатирические произведения входят в историю литературы, в историю театра, которые новаторски отражают новую действительность. Быть может, ни «Клоп», ни «Баня», ни «Мистерия-Буфф» Маяковского не стали бы сатирами бессмертными, если бы писатель не нашел новых сатирических форм для рассказа о новой действительности, о том, что мешало победившему народу двигаться вперед. Даже когда мы как практики уже достигаем чего-то в своей работе, нам необходим теоретический анализ наших усилий, хочется найти подтверждение своей правоты в литературоведческих работах.

Я думаю, книга И. Вишневской принадлежит именно к такому виду литературоведческих работ, помогающих писателям, полезных им, осмысляющих классику не как неподвижный склад великих богатств и красоты, но как вечно движущуюся жизнь.

Сергей МИХАЛКОВ.



### Политика и наука

## АКТУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

«Массовая культура» — иллюзии и действительность. Составитель и автор предисловия Э. Ю. Соловьев. М. «Искусство». 1975. 256 стр.

Сфера создания и усвоения культуры в современном буржуазном обществе является ареной жесточайшей борьбы. Высокой и демократической культуре противостоит «духовный ширпотреб», «эрзац-

культура», фабрикуемая в массовых масштабах. К ее формированию и распространению причастны многие могущественные издательства, газеты и журналы с миллионными тиражами, киностудии, радио- и теле-

визионные компании, студии грампластинок. Располагая самой современной техникой производства и рекламы, они буквально заваливают прилавки магазинов низкосортной бульварной литературой, «сокращенными» до неузнаваемости изданиями классиков, книжками «о деловом успехе». Зрителям в большом обилии предлагаются фильмы ужасов, вестерны, развлекательные шоу.

Западные теоретики, особенно радикального толка, порою справедливо и метко обнажают коммерческие цели, которые преследуют отрасли «большого бизнеса», занятые выпуском «духовной пиццы» для миллионов. Продукция их, выдержанная в духе то откровенной, то замаскированной апологетики, лишённая художественного вкуса, зачастую пошлая и бесталанная, нередко была объектом резкой критики уже в буржуазных концепциях «массовой культуры». Вывод критиков о том, что цели и содержание фабрикуемого для масс коммерческого «искусства» антигуманны, вполне верен. Однако, как сумели показать авторы рецензируемого сборника, буржуазные критики «массовой культуры» так и не продвинулись дальше некоторых справедливых констатаций и гневных, обличительных эмоций.

Возникает вопрос, который не разрешен в их концепциях: где лежат причины того, что сфера культуры — а она будто бы должна развиваться лишь в соответствии с высочайшими идеалами, по меркам красоты, жизненной правды и таланта, — стала, и в весьма широких масштабах, прибежищем корысти и пошлости? Если иные западные теоретики «массовой культуры» и ставят этот вопрос, то ответ по большей части бывает выдержан в духе элитарных концепций, которые видят главную беду именно в массовости культуры. Заранее предполагается, что культура перестает быть подлинной именно в той мере, в какой она становится массовой. Однако при анализе и оценке тех или иных форм культуры нельзя ограничиться лишь указанием на факт массовости их производства и распространения. Надо сам этот факт объяснить, исходя из конкретных социальных условий и типа социально-исторической практики.

Во вступительной статье Э. Соловьев устанавливает связь между типичными вкусами, запросами, иллюзиями и стереотипами, насаждаемыми «массовой культурой», и социальной, прежде всего экономической, предпринимательской, практикой капита-

лизма. Удачно приводится и раскрывается мысль К. Маркса о том, что для самого существования рыночно-капиталистического хозяйства необходимо наличие у рядовых его участников упрощенных и стандартизированных представлений об экономических отношениях и о самих себе. Они должны мыслить себя, отмечает Э. Соловьев, «в качестве принципиально равных друг другу независимых частных предпринимателей, общественное положение и благосостояние которых целиком зависит от их деловой энергии и усердия...». Автор показывает, как эти достаточно распространенные иллюзии подхватываются, обрабатываются и закрепляются «массовой культурой», которая внушает человеку из народа, что он лишь «временно» оторгнут от «большого бизнеса», но, проявив должную настойчивость и инициативу, может вновь вернуться в него. «Деловой успех» становится главным мерилем в шкале ценностей «массовой культуры». «Практика «массовой культуры», — указывает Э. Соловьев, — это практика потакания психологическим тенденциям и склонностям, к преодолению и обнаружению пагубности которых стремится подлинная культура». Таким образом, «массовая культура» в условиях современного государственно-монополистического капитализма представляет собой, по определению Э. Соловьева, «социально организованную деятельность по обслуживанию фантазий, «фабрику грез» в прямом и точном значении данного выражения», она служит средством для затуманивания классовых противоречий, выступает «в качестве своеобразного глушителя классово-социального, исторического опыта, выявляющего глубинные, существенные связи и зависимости».

Эти идеи получили развитие и подтверждение в сборнике. В статьях Н. Новикова «Концепция „массового общества“ в „эпоху организаций“ и левый радикализм», Ю. Борода «Психоанализ и «массовое искусство», В. Терина и П. Шихирева «Массовая коммуникация как объект социологического анализа» и П. Гуревича «Массовая буржуазная пропаганда и злосклонения американской социологической теории» предметом критического анализа становятся различные противостоящие марксизму концепции «массового общества» и «массовой культуры». Являясь в конечном счете особой формой (пусть извращенной) осознания реальных проблем и потребностей буржуаз-

ной практики, они, в свою очередь, оказывают немалое влияние на производство и усвоение духовной продукции, создаваемой в расчете на массовую аудиторию.

В статье Е. Рашковского предметом исследования становятся работы К. Маркса, а особенно произведения В. И. Ленина периода первой русской революции, в которых дается классовый и социально-психологический анализ групп и слоев, выступавших на стороне реакции. Ленинский анализ полностью сохраняет свою актуальность для выявления социальных предпосылок и идеологических форм современного правого экстремизма в странах капитализма, который нередко находит свою дорогу к тем или иным слоям населения именно через «массовую культуру».

Удачным тематическим продолжением статьи о работах В. И. Ленина является интересная статья А. Лебедева, посвященная «Тюремным тетрадам» Грамши. В период господства фашизма в Италии А. Грамши глубоко исследовал связь между фашистским политическим режимом, реакционным сознанием обывательской массы и «искусством для массового потребления». Мысли А. Грамши не утратили своей актуальности и сегодня. Весьма злободневен его анализ так называемых романов-приложений. «Литература массовых тиражей», широко распространенная в странах капитала, по выражению А. Грамши, по большей части представляет собой «сон с открытыми глазами», «наркотик, который смягчил бы ощущение боли», «стилистическое ханжество». Очень часто она проникнута фальшивой риторикой, претензией на «героизм», «титаническую позу».

Небольшая по объему книга не может, конечно, отразить всей сложности и внутренней динамики той сферы, которая именуется «массовой культурой». Понятно, что многие явления и процессы просто не могли не остаться вне поля рассмотрения. И все же вызывает чувство сожаления характерная, в сущности, для всей книги некоторая абстрактность подхода к феномену «массовой культуры», что ведет к размытости, неопределенности его очертаний. Кстати, оправданное желание избежать легковесной иллюстративности привело к обратной крайности — к тому, что в книге мало современных примеров, которые помогли бы читателю уяснить, какие же образцы порождает «массовая культура» сегодня. В

самом деле, о каких формах и типах продукции упоминают авторы?

Э. Соловьев анализирует — к слову, весьма интересно и тонко — традиционный жанр «биографий делового успеха» и рассказов о «благородном насилии». Конечно, и сегодня в странах Западной Европы и особенно в США еще сохранилась модная в 20—30-х годах «художественная продукция» с тем немудреным сюжетом, о котором упоминает В. Терин: «...мелкий служащий становится преуспевающим дельцом, а миллионер женится на девушке из бедной семьи». И все-таки даже в этом откровенно апологетическом и коммерческом жанре произошли изменения — отчасти в соответствии с динамикой моды. Но главная причина состоит в том, что коммуникаторам и дельцам приходится считаться с мнениями, переживаниями и настроениями массовой аудитории, втянутой в противоречивый процесс стремительных изменений, которые протекают на фоне углубления общего кризиса капитализма.

Сегодня объектом «духовной спекуляции» в продуктах «массовой культуры» становятся не только предпринимательская инициатива и деловой успех, но и усталость, культ отдыха, развлечения и хобби. Постоянными символами «массовой культуры» оказываются образы «крупного дельца-невротика», «затырканного бюрократа», вконец потерявшего вкус к «простым и маленьким радостям жизни» или еще тоскующего о них. На смену идиллическим картинам «домашнего уюта» пришли изображения острых конфликтов в «респектабельной» семье (дети бунтуют против родителей, те и другие страдают, растет увлечение наркотиками, жены страдают от одиночества и скуки, спиваются в комфортабельных коттеджах богатых пригородов и т. д.). Апологетизм в «массовой культуре» сегодня все чаще проявляется не в желании устроить рекламу людям большого бизнеса, а в стремлении вызвать к ним «сострадание». На смену «счастливому потребителю» приходит растерянный, несчастный обыватель, никак не поспевающий за требованиями потребительской рекламы, изнуряющий и загоняющий себя в «крысиных бегах в закрытой комнате» (так называется в США гонка-конкуренция в сфере личного потребления, принудительно навязываемая людям рекламой, к тому же происходящая сегодня в условиях обостряющегося экономического кризиса и растущей инфляции). Рядом с «благородным

насилием» и «романтической любовью» широко и, пожалуй, более интенсивно популяризируется «невротическое насилие» и «невротический секс» как клапаны для «выпуска накопившегося пара».

Но возникает вопрос: можно ли сводить к таким образцам всю продукцию, создаваемую сегодня для массовой аудитории и находящую у нее отклик? Мы подходим к пункту, который представляется нам наиболее существенным.

«Массовая культура» — понятие, которое в западной литературе остается расплывчатым и тенденциозным. Оно воплощает пренебрежение к массовой аудитории как у «техницистов» — апологетов средств массовых коммуникаций, так и у их критиков. Понятие «массовая культура» привело к одномерному видению аудитории, к перечеркиванию всех существенных разграничений не только внутри аудитории, но также в рядах самих «коммуникаторов», тех, кто сегодня причастен к массовым формам производства и распространению культуры. Поэтому понятие «массовая культура» с его уже непреодолимой отрицательной ценностной нагрузкой малопригодно для анализа сложных процессов дифференциации, происходящих сегодня в странах капитализма в сфере культуры и общественного сознания. Более того — оно затрудняет этот анализ.

Начнем с процесса создания культуры.

Вполне понятно, что этот процесс ныне уже нельзя отождествлять лишь с деятельностью относительно небольшого слоя творческих работников культуры, выступающих в качестве «свободных художников». В странах Западной Европы и в США трудится огромная армия людей, являющихся участниками производства духовных ценностей. Основную массу (здесь уже вполне применимо это понятие, и без всяких кавычек) составляют наемные работники гигантских теле-, радио-, кинокомпаний, издательских объединений, представляющих собой типичные крупнокапиталистические предприятия.

Правящая верхушка, руководящие институты государственно-монополистической организации стремятся подчинить своим целям деятельность массы «коммуникаторов». Однако по мере обострения кризиса капитализма внутри этой массы усиливается социальное и идейно-политическое расслоение. Сфера производимой в массовых масштабах культуры становится ареной жесто-

чайшей социально-классовой и идейно-политической борьбы, где сталкиваются различные, порою противоположные, представления о ее целях и функциях. Все более массовые слои «коммуникаторов» включаются в активную борьбу за развитие демократической культуры. Недаром в майские дни 1968 года во Франции одним из наиболее активных отрядов трудящихся, выступавших против капитализма, были работники радио, телевидения, издательства, киностудий. И сейчас их часто можно видеть в рядах антимонополистических демонстраций. Изображать дело так, будто бы эти люди вообще не оказывают никакого влияния на содержание, художественный уровень продукции, создаваемой в расчете на массовую аудиторию, значит не видеть очень важного измерения процесса духовного производства в капиталистических странах. Можно ли сегодня не принимать в расчет книги одаренных, гуманистически и критически настроенных авторов, подчас издаваемые в огромных тиражах теми же редакторами и издательствами, что и расхожая коммерческая литература? Как быть с талантливыми режиссерами и актерами телевидения, приобретающими массовое признание? Куда отнести работы талантливых художников, оформляющих издания, выходящие многомиллионными тиражами, популярные телеспектакли и т. д.?

Создание и усвоение культуры в современном мире вообще становится все более массовым процессом. Речь идет об огромных масштабах производства, о миллионах людей, вовлеченных в него. Процесс этот во все большей мере зависит от сознания и поведения массовой аудитории. Возрастающая требовательность, социальная, идейно-политическая активность широких масс трудящихся во всем мире неизбежно оказывают на него глубокое влияние. И конкурирующие друг с другом гигантские капиталистические компании, чьи прибыли зависят от численности аудитории и ее изменяющихся ценностей, идеалов, вкусов, не могут не принимать во внимание сдвиги в сознании больших масс людей. Ширится фронт массовых антимонополистических и демократических движений, углубляется борьба всех трудящихся, в том числе и угнетенных национально-этнических и расовых групп, за свои права. Все это обуславливает более требовательное, активное, творческое отношение широких масс трудящихся к культуре.

Усиливается импульс, стимулирующий новаторство, творческие поиски, большую остроту и глубину, реализм и социальную значимость художественного видения. Анализ процесса производства духовных ценностей был бы упрощенным, если бы высокая и одновременно демократическая культура, подлинно новаторское, социально значимое искусство просто были бы противопоставлены «массовой культуре». Ибо в жизни высокое и демократическое искусство нередко рождается в тех же условиях, а подчас и в рамках тех же учреждений, пропагандируется через те же средства, что и коммерческое эрзац-искусство. Верно, что последнее фабрикуется в массовых масштабах, что у него есть заинтересованные и очень влиятельные заказчики и есть привычная, целенаправленно и систематически воспитываемая аудитория. И все-таки аудитория в целом — явление столь же многомерное, что и массовое искусство, массовая культура (если брать эти слова без кавычек).

Приобщение — не только пассивно-потребительское, но и активно-творческое — массы людей к подлинной культуре в условиях капитализма идет путями противоречивыми и сложными. Конкретно-исторический, диф-

ференцированный анализ этих путей — одна из важнейших задач исследователей-марксистов.

Авторы сборника прекрасно показали, что некоторые типичные образцы «массовой культуры» как «Духовного ширпотреба» являются средством «увода от действительности, блокирования интеллекта, замены всего проблемного занимательным». Было бы важно и актуально не ограничиваться лишь этой стороной дела и показать, как динамика социальной жизни в современную эпоху влияет на культуру. Соотношение сил постепенно меняется в пользу масс, борющихся за демократию, прогресс, социализм. Поэтому для стоящих на прогрессивных позициях талантливых творцов культуры открываются новые возможности установить более тесную связь с этими массами.

Таковы пожелания для дальнейшей работы над осмыслением вопроса о «массовой культуре». Но в целом книга, о которой идет речь, представляет собой работу интересную, ценную и своевременную. Сделан еще один шаг в разрешении проблемы, имеющей большое теоретическое, идеологическое и практическое значение.

Ю. ЗАМОШКИН.



## УРОКИ КУРСКОЙ БИТВЫ

Битва на Курской дуге. Под редакцией Маршала Советского Союза  
К. С. Москаленко. М. «Наука». 1975. 192 стр.

**П**ятьдесят дней длилась битва, вошедшая в историю военного искусства как образец заблаговременного решения сложнейшей задачи, как пример гибкости советской военной науки, стратегического и оперативного мышления, не считающегося с установленными канонами, а прибегающего к новым идеям, дотоле неведомым теоретикам и практикам военных действий.

Сражение на Курской дуге уже более трех десятилетий привлекает внимание исследователей, ему посвящены многие работы и в отечественной и в зарубежной литературе — монографии, воспоминания, очерки, исследования исторического и военного плана. И тем не менее еще остаются вопросы, ждущие глубокой разработки, освещения тех слагаемых, которые способствовали достижению победы советскими войсками в Курском сражении.

Вышедший в издательстве «Наука» коллективный труд военачальников, военных историков, партийных и советских работников восполняет некоторые пробелы в изучении истории подготовки и хода самого сражения на Курской дуге, хотя, разумеется, не может претендовать на всесторонний анализ этой грандиозной битвы.

Статья генерал-полковника Г. Срединя рисует картину тщательной подготовки к сражению, развернутой Коммунистической партией задолго до начала битвы. Деятельность партии, ее огромная организаторская работа были направлены на повышение боеспособности войск, создание стратегических резервов, мобилизацию партийных кадров, перестройку их работы в соответствии с обстановкой — словом, на наиболее полную реализацию ленинского требования: «В решающий момент в решающем пункте иметь

подавляющий перевес сил...»<sup>1</sup>. Рост промышленной и энергетической мощи государства, значительное увеличение производства военной продукции, в частности выпуска боевых самолетов, танков, артиллерии, способствовали укреплению военного потенциала Красной Армии. «...наша страна, используя преимущества социалистической системы хозяйства, сумела дать фронту вооружения и боевой техники значительно больше, чем третий рейх», — пишет автор.

Статья генерала армии Е. Мальцева посвящена анализу деятельности Военных советов как руководящих военно-политических и административных органов партии и Советского правительства в войсках, как органов коллективного руководства их боевой деятельностью. Автор показывает, как, основываясь на опыте первых двух лет войны, особенно на опыте Московской и Сталинградской битв, Военные советы углубили содержание своей работы, он приводит примеры, свидетельствующие о возросшей роли Военных советов при выработке решений в вопросах общестратегического масштаба и в локальных задачах организации разведки, которая внесла свою — и немалую — лепту в исход единоборства советских и немецко-фашистских войск. Е. Мальцев показывает, что только коллективными усилиями Военных советов можно глубоко проанализировать обстановку на фронте, охватить огромный комплекс мероприятий, принять наиболее целесообразные решения.

Несомненный интерес представляют статьи Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза К. Москаленко, генерала армии И. Шаврова, военных историков Н. Шеховцова, Г. Колтунова, которые не только оценивают итоги боев на Курской дуге, но и определяют особенности этой битвы, показывают значение небывалой в истории войн преднамеренной стратегической обороны и последовавшего за ней глубоко продуманного и четко осуществленного перехода к контрнаступлению.

Одним из факторов, обеспечивших успех советских войск, генерал армии И. Шавров называет завоевание Советскими Военно-Воздушными Силами стратегического господства в воздухе ко времени перехода наших войск в контрнаступление. Анализ этого обстоятельства, способы его достижения читатель найдет в статьях Героя Советско-

го Союза, маршала авиации С. Руденко, Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза И. Баграмяна, историков Н. Шеховцова, Г. Колтунова, Р. Мазуркевича, Т. Ерофеева.

Вопросы применения авиации в Курском сражении, использование авиации дальнего действия не только для нанесения бомбовых ударов, но и для маневра силами и средствами представляет интерес и с точки зрения сегодняшних задач, стоящих перед Советскими Вооруженными Силами. Известно, как широко использовалась авиация (в частности, авиационный полк, которым командовала Герой Советского Союза В. Гризодубова) для связи с партизанами, доставки им боеприпасов, потребность в которых резко возросла в дни «рельсовой войны», развернутой во время контрнаступления Красной Армии. К сожалению, об этом в книге сказано очень мало, хотя это один из тех водросов, которые ждут более глубокого исследования.

Не случайно значительное место в книге уделено освещению опыта танковых сражений на Курской дуге, в которых участвовали танковые армии новой организации. Анализ действий советских танковых армий, подготовке и осуществлению невиданных ранее танковых ударов посвящены обстоятельные статьи Героев Советского Союза, маршала бронетанковых войск О. Лосика и Главного маршала бронетанковых войск П. Ротмистрова.

Ряд статей рассказывает о единстве фронта и тыла, армии и народа, которое выразилось в самоотверженной борьбе с врагом воинов на полях сражений и жителей прифронтовых районов, всесторонне помогавших войскам, и партизан, наносивших в дни Курской битвы ощутимые удары по тылам врага.

Содержательную, разностороннюю работу подготовили Академия наук СССР и Институт военной истории Министерства обороны СССР.

Но возникает вопрос: кому предназначена эта книга? Судя по обзорности большинства статей и тиражу (200 тысяч), ее издали для массового читателя. Но читатель не военный вряд ли воспримет достаточно полно теоретические обобщения, характеризующие Курскую битву как этап в развитии военного искусства, и вместе с тем он почти не найдет в книге рассказов о героизме, самоотверженности советских людей, которыми так богаты эти страницы

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 6.

нашей истории (выгодно отличается в этом плане статья историка В. Плотникова). Что же касается специалистов, то они столкнутся со многими известными истинами, но не найдут в книге некоторых немаловажных материалов, о которых следовало бы вспомнить. Так, неоправданным кажется умолчание о той подготовке к летнему наступлению в районе Курской дуги, которую развернул Украинский штаб партизанского движения, о том, как члены ЦК КП(б)У возглавили эту работу, как начальник УШПД генерал-лейтенант Т. Строкач непосредственно в боевых порядках Во-

ронезского фронта координировал действия украинских партизан в соответствии с задачами фронтового командования.

Отмеченные недостатки, однако, не умаляют бесспорных достоинств работы. Сделан еще один шаг в освещении истории Курской битвы, и анализ ее уроков принесет несомненную пользу и военным и не военным читателям, интересующимся развитием нашей военно-исторической науки.

**Г. ПАКИЛЕВ,**

*генерал-полковник авиации.*



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**С. ВАСИЛЬЕВ.** Зарубки на память. М. «Современник». 1975. 575 стр.

Известна истина: судьба поэта — это судьба его стихов. И когда поэт уходит из жизни, стихи остаются, продолжают жить. Но поэт — это не только стихи, особенно поэт, долгие годы находившийся на переднем крае советской литературы, это еще и встречи с товарищами по профессии и многочисленными читателями, это путешествия по стране и за ее рубежами (причем не туристические поездки, а поездки поэта — полпреда стиха), это споры, и диспуты, и многое-многое другое, что составляет основу жизни литератора. Вот почему нам очень важны не только стихи поэта, а и все то, что может дополнить его облик, сложившийся у нас при чтении стихов. Именно поэтому привлекает внимание книга Сергея Васильева «Зарубки на память». Здесь воспоминания и критические заметки о литературе, путевые очерки и раздумья о поэзии, записи бесед и выступлений, а все вместе — своеобразная исповедь поэта, раскрывающая его мироощущение и миропонимание.

В книге десять разделов, и первый — «Время встало на караул...» — пожалуй, лучший, или, точнее, наиболее впечатляющий. Страницы книги исполнены огромного уважения и благодарности к тем, кто помогал поэту на первых порах, шел с ним рядом, когда он уже активно работал в литературе. Автор сумел найти свой ракурс, рассказывая об учителях и друзьях по ремеслу.

Казалось бы, ничего нового нет в том, что Горький и Фадеев умели заметить способного человека, поддержать его. Об этом много написано. Об этом пишет и С. Васильев, но пишет по-своему: «Не мне судить, плохой или хороший получился из меня художник слова, но как документ горьковского гуманизма, как живое свидетельство горьковской любви к людям я существую радостно и благодарно». А вслед за этим мы узнаем о той чуткости, какую проявил к начинающему поэту А. Фадеев. И дело не в том, что помощь оказана именно С. Васильеву, — дело в са-

мом отношении, бережном и чутком, к молодым литераторам. Горький и Фадеев не только помогли С. Васильеву стать поэтом, но как бы преподали ему наглядный урок отношения к литературной смене, и он хорошо усвоил его.

Но, конечно, не только общение с Горьким и Фадеевым формировало личность и творчество С. Васильева — были встречи с Д. Бедным и Н. Островским, М. Залкой и А. Макаренко, Н. Асеевым и Ф. Панферовым, дружба с И. Уткиным и П. Шубиным, Н. Рыленковым и Б. Ручьевым. Со страниц книги встают образы Н. Тихонова и П. Антокольского, Г. Маркова и Н. Грибачева, С. Наровчатова и А. Коптяевой и многих других, с кем довелось встречаться, работать или дружить С. Васильеву. Автору удается подметить характерные черты своих современников, не примеченные, наверное, никем прежде, подчеркнуть то качество писателя, которое особенно характерно для него. С. Васильев утверждает: стихи часто поднимаются до «подлинной лирической исповеди, которая не только раскрывает многогранную биографию автора, но и выражает общественные устремления целого поколения». Это сказано о Б. Ручьеве, но в той или иной степени относится почти ко всем, о ком идет речь в книге.

Уделяя много внимания литературе, С. Васильев тем не менее не ограничивается ею. Темы, которые подняты в книге, выходят далеко за литературные рамки: здесь очерковые заметки об Америке, публицистические статьи о жизни нашей страны, о классовой борьбе в странах капитала и о многом другом. Это делает книгу «Зарубки на память» многоплановой, помогает нам узнать С. Васильева не только как поэта, но и как очеркиста, публициста, критика.

К сожалению, среди высказываний автора есть и спорные, и вряд ли можно согласиться с его оценками творчества таких известных советских поэтов, как Ю. Мориц и Б. Слуцкий, оценками, данными, пожалуй, в запальчивости.

В целом же книга определенно получилась интересной и нужной.

**О. Юривна.**





**Е. ДОБИН. Искусство детали. Наблюдения и анализ. Л. «Советский писатель». 1975. 192 стр.**

Литературоведение, как известно, наука. В то же время оно часть самой литературы и, следовательно, искусство. Так же как любому искусству, ему дано впечатлять, заражать, вызывать эстетическое наслаждение. Книга литературоведа может быть увлекательной, как детективный роман, и волнующей, как роман психологический...

В подзаголовке небольшой по объему книжки Е. Доби́на стоит: «Наблюдения, анализ». Наблюдают обычно за чем-то изменчивым, но в данном случае слово «наблюдения» вполне уместно; рассматривая в своей книге широко известные произведения Гоголя и Чехова, автор проявляет незаурядную зоркость. Художественное произведение — сложный организм; его можно исследовать на различных уровнях, и если допустимо назвать деталь живой клеткой организма, то Е. Добин ведет исследование на уровне клетки. Он как бы вооружает читателя сильной увеличительной оптикой и заставляет его пристальнее взглянуть в богатейшую россыпь деталей и подробностей, составляющих ткань произведения. То, что воспринималось читателем как бы на среднем плане, придвигается к нему и становится на время крупным планом. Следуя за автором, читатель постигает сложное строение классического произведения, потаенный смысл и взаимодействие составляющих его деталей. Детали воздействуют на нас даже тогда, когда мы не до конца осознаем их значение и место в общем строе произведения, но, высеченные автором книги, они воспринимаются свежо, книга помогает заглянуть в некоторые тайны филигранного мастерства двух великих русских писателей.

О чем бы ни шла речь у Е. Доби́на — о том, как гоголевский Иван Никифорович спрашивает Ивана Ивановича выпить чаю, или о чеховской Варварушке, прячущей свои выигранные билеты в том же сундуке, где хранится ее приготовленный к смертному часу саван,— мы убеждаемся, какую огромную нагрузку, психологическую, сатирическую, социально-бытовую, несет на себе крошечная деталь. Интересно судит Е. Добин о комическом эффекте, достигаемом Гоголем путем нагромождения якобы бессмысленных подробностей; тонко анализирует сложный и противоречивый характер Маши Должиковой («Моя жизнь» Чехова). В нескольких еле заметных при поверхностном чтении деталях внешности и поведения этой героини «закодировано» все — и неожиданное сближение с героем повести и неизбежный разрыв.

Современная критика обычно внимательнее к сюжету, чем к деталям. А между тем мастерство писателя всего нагляднее именно в деталях. Деталь ничуть не меньше говорит об идейной позиции писателя, форма и содержание слиты в ней нередко еще прочнее, чем в сюжетной конструкции.

Е. Добин не только наблюдает и анализирует. Он еще и любуется деталью, поворачивая ее, как драгоценный камень, то одной, то другой гранью. Сообщить читателю основные биографические сведения о писателе, прозвезсти грамотный социологический разбор его произведений сравнительно просто. Труднее заразить читателя своим радостным восхищением, объяснить, почему прекрасное прекрасно. Е. Добин это умеет. Его книга вызывает желание снять с полки томик Гоголя или Чехова и заново перечитать знакомые страницы.

О, если бы все наши учебники по литературе всегда вызывали такое желание!

Александр Крон.



**СОВРЕМЕННОЕ БУРЖУАЗНОЕ ИСКУССТВО. Критика и размышления. М. «Советский композитор». 1975. 389 стр.**

В сложной картине духовного кризиса, переживаемого интеллигенцией Запада, искусство так называемого авангарда и полемика вокруг него занимают далеко не последнее место. Проходя непрерывную проверку временем, авангард стремится во что бы то ни стало оправдать присвоенное себе звание, выполнять функцию барометра общественных перемен.

Метаморфозы авангарда быстротекущи и весьма поучительны для каждого, кто хотел бы понять современное буржуазное искусство. Это обязывает наших исследователей, с одной стороны, внимательно следить за всеми новыми явлениями в художественной жизни Запада, а с другой — стремиться к тому, чтобы разбор и критика этих явлений были глубокими и аргументированными. Рецензируемый сборник, мне кажется, отвечает таким условиям. В этом убеждаешься, знакомясь уже с первым его разделом — «Статьи». Интересно и обстоятельно анализирует театровед З. Воинова такое явление, как хэппенинг. Совсем не просто соотнести событие, или происшествие (так переводят термин «хэппенинг»), с уже известными видами зрелищного искусства.

Автор внимательно рассматривает социальную функцию хэппенинга, который находит своих зрителей на улице, во дворе, в случайном помещении. Вторгаясь в повседневность, он пытается трансформировать ее в искусство и тем самым как бы примиряет аудиторию с нею. Требуя от зрителей активного соучастия, он рождает мираж общности людей, которой так не хватает миру отчуждения. Претензии хэппенинга стать смычкой с действительностью через вовлечение аудитории в «сотворчество» обернулись бесплодной иллюзией, с полным основанием заключает З. Воинова. Это сознают уже сами творцы и толкователи хэппенинга (А. Кэпроу, М. Керби, Р. Шихнер). Как резонно замече-

но в редакторском вступлении, эстетические результаты, достигнутые авангардистами, в целом оказываются неравноценными интенсивности и многообразию их поисков, а попытки авангарда обрести собственную аудиторию малорезультативны. Справедливость такого вывода подтверждают и статьи «Эволюция музыкального авангарда и его отношения к публике» (авторы В. Матвеев и С. Матвеева) и «Музыкальный авангард» в раздумье о своих путях» (автор Д. Житомирский), где приведено немало высказываний (в том числе горьких признаний) таких столпов авангардизма, как К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно, Л. Берно, Г. Штуккеншмидт, У. Дибелиус. Статьи убеждают в том, что новейшая «технология» вместо ожидаемого обновления приводит искусство к разрушению, стоит ему только замкнуться в рамках элитарной догмы. Не менее губительна для искусства другая крайность — его попытка отбросить свою специфику и выйти на улицы, стать всего лишь массовой акцией под нигилистическим лозунгом. Ибо в конечном счете и тут и там рвется связь искусства с глубинным «нутром» общественного процесса, оно одинаково выхолащивается и пафосом «вневременности» и директивой момента.

В статье А. Зверева «Неоавангард в современной литературе Запада» анализ сегодняшнего состояния литературного авангарда предварен краткой биографией авангарда, систематизирующей важнейшие вехи его истории. А. Зверев удачно нашел меру сочетания научности и публицистичности, так или иначе отличающую и другие работы.

Статья Ю. Давыдова «Марксистский историзм и проблема кризиса искусства» открывает сборник и как бы вручает общеметодологический ключ к дальнейшему чтению. Опираясь на известный фрагмент («Неодинаковое отношение развития материального производства к развитию, например, искусства») из Марковских «Экономических рукописей 1857—1859 годов», Ю. Давыдов развивает очень интересную и, на мой взгляд, плодотворную концепцию кризиса современного буржуазного искусства, ставя этот кризис в связь со сменой типов художественной фантазии. Автор выделяет социологический («объективный»), мировоззренческий («субъективный») и теоретический («рефлектирующий») аспекты кризиса буржуазного искусства, давая наглядный пример дифференцированного исторического подхода к предмету.

Богатую пищу для размышлений дает читателю второй раздел сборника, «Публикации», — фрагменты из книг, статей, интервью крупнейших современных теоретиков и практиков западного искусства (И. Стравинский, Л. Бернстайн, П. Булез, Х. В. Хенце, Т. В. Адорно, Л. Фосс и другие). В целом сборник содержит глубокий анализ состояния современного буржуаз-

ного искусства, во многом расширяя и уточняя наши представления о важных процессах, протекающих в среде творческой интеллигенции капиталистических стран.

**В. В. Ошис,**  
кандидат философских наук.



**А. Н. КУТАКОВ.** Вид с 35 этажа. Записки советского дипломата. М. «Молодая гвардия». 1975. 207 стр.

В нашей литературе, в том числе научной, сравнительно немного трудов, посвященных деятельности Организации Объединенных Наций. И совсем нет книг, написанных советскими сотрудниками этой организации. Чем же интересны вышедшие недавно записки советского дипломата? Их автор, доктор исторических наук, профессор Л. Кутаков, видный ученый-международник, в течение длительного времени работал сначала в представительстве СССР при ООН, а затем был заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности. В книге на основе многочисленных документов и материалов, а также личного опыта автора дается картина зарождения ООН и основных аспектов ее работы. Л. Кутаков раскрывает позиции различных стран по главным проблемам деятельности ООН, причем особенно четко и ясно изложены позиции нашей страны, отмечено то большое значение, которое Советский Союз придает этой организации.

Много места в книге уделяется событиям, связанным с израильской агрессией против арабских стран в 1967 году, их обсуждению в ООН. Автор, принимавший в этом обсуждении активное участие с советской стороны, хорошо передал тревожную обстановку тех дней, поведение представителей стран — участниц конфликта, а также США и Англии. Как справедливо отмечено в книге, именно твердая и решительная позиция Советского Союза привела к окончанию «шестидневной войны», практически спасла Египет и Сирию от захвата израильскими аггрессорами.

Организация Объединенных Наций, особенно Совет Безопасности, приняла активное участие в разрешении индоганского конфликта. И опять автору удалось показать полное драматизма развитие событий в этой части земного шара, военный конфликт между Индией и Пакистаном и урегулирование его.

По-иному обстояло дело с другой важнейшей международной проблемой 60-х — начала 70-х годов: войной во Вьетнаме и позицией ООН. Формально этот вопрос не стоял в повестке дня ООН, но автор с симпатией отмечает решительные выступления

генерального секретаря ООН того времени У Тана против империалистической агрессии во Вьетнаме.

По-моему, А. Кутаков нашел верный путь к освещению и другой важной проблемы, постоянно находящейся в центре внимания ООН,—борьбы против колониализма. На примере работы двух выездных сессий Совета Безопасности (в Аддис-Абебе в январе — феврале 1972 года и в Панаме в марте 1973 года, кстати, больше в истории ООН выездных сессий Совета Безопасности не проводилось) показана упорная и трудная борьба, которую представители прогрессивных сил ведут в ООН против остатков колониализма, за независимость и суверенитет народов.

Конечно, трудно требовать от автора записок тщательного анализа всех проблем, стоящих в центре внимания ООН. Но было бы весьма полезным, если бы он более подробно осветил вопрос о разоружении. Сдерживание гонки вооружений, разоружение давно выдвигаются СССР и социалистическими странами в ряд наиболее неотложных проблем, которыми должна заниматься Организация. На XXV съезде КПСС была особо отмечена деятельность Генеральной Ассамблеи ООН в этой области и указана задача претворить в жизнь важные резолюции, принятые в последние годы по инициативе СССР и направленные к сдерживанию гонки вооружений и запрещению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

Организация Объединенных Наций в ее современном виде — это сложный, весьма разветвленный механизм. Вполне понятно, что автор, проработав значительную часть времени в Секретариате и занимаясь там прежде всего делами Совета Безопасности, особое внимание уделяет именно этим двум главным органам ООН. На мой взгляд, ему удалось реалистично и в то же время ярко показать их работу, открыть перед читателями и некоторые «производственные» секреты дипломатической деятельности (методы неофициальных обсуждений, рабочих завтраков и т. д.). Не уйдет от читательского внимания и тот факт, что советским сотрудникам Секретариата ООН приходится действовать в сложных условиях, ибо большинство постов в Секретариате (всего в нем занято несколько тысяч человек) принадлежит представителям западных держав.

Книга написана в хорошем стиле, доступно и увлекательно (что не всегда удается при изложении сложнейших политических событий), изобилует интересными и меткими зарисовками многих зарубежных политических деятелей, дипломатов, с которыми автору приходилось встречаться. Например, с большой симпатией описывается видный болгарский дипломат Милко Тарабанов, метко очерчен весьма известный в кругах ООН дипломат из Саудовской Аравии Баруди.

Книга А. Кутакова заканчивается выражением искреннего убеждения автора в том, что ООН занимает видное место в де-

ле борьбы за мир и международную безопасность. А эта борьба составляет одно из главных направлений внешнеполитической деятельности нашей партии и правительства, отраженных в Программе мира и развитых далее в решениях XXV съезда КПСС.

Ю. Андреев.

★

**СЕРГЕЙ БОГАТКО. Второй путь к океану. («Бригантина») М. «Молодая гвардия». 1975. 175 стр.**

С. Богатко, много путешествовавший по Сибири и Дальнему Востоку в качестве специального корреспондента «Правды», написал увлекательную книгу, рассказав в ней о сегодняшних днях строителей БАМа, вспомнив и о том, как все это начиналось.

Начало великой стройки в Сибири в 1974 году застало автора в пути. Оттого так правдивы и колоритны образы действующих лиц его книги, которую он назвал непритязательно, но точно. Мы видим, мы ощущаем сегодняшний день БАМа, хотя рассказывается о годе минувшем...

Уверенность в себе, осознание важности свершаемого — этим проникнуты изыскатели, проектировщики и строители БАМа. «Я — хозяин стройки» — так с полным правом говорит каждый. Автор прекрасно передал чувство высокой ответственности молодежи, ее организованность, стремление преодолеть все трудности. Удалось это потому, что С. Богатко хорошо знает то, о чем пишет. И не только людей, но и природу. Вот о наледи: «Наледь — одно из диких чудес Севера. Зимой лютые морозы накаляют камни и реки перемерзают до дна, а вода продолжает сочиться из горных трещин. Лед вздувается, лопается, из пробоев фонтаном выщипет переохлажденная вода и, разлившись, застывает. Снова удар — и новый слой воды покрывает лед. Пар клубится в морозном воздухе. И так всю долгую зиму».

Георгий Зудин, Эзля Сторожок, Роберт Головин, Саша Мартыненко, Владимир Скорняков, Василий Егоров, Иван Щербаков, Владимир Морозов — всех не перечислить. И все они, каждый на своем участке, гордятся тем, что строят БАМ. Их дела уже сейчас вошли в историю подвигов советских людей. Они могут все, они выдержат, они дерзко говорят могучей реке Зее: «Будешь теперь, Зейя, помогать ребятам строить БАМ!» Они хорошо понимают, и твердо усвоили это, что сооружение железнодорожной магистрали — лишь первый этап комплексного освоения богатейшей территории. За первым этапом последуют, возможно, другие. Будут новые комсомольские стройки. От БАМа ветки-артерии потянутся на север, к Якутску, к Тихому океану, а вполне возможно, и к Берингову проливу.

Хорошая получилась книга. Очерки ее выхватывают то далекое прошлое (береговая карта Кропоткина), то только что минувшее, то заглядывают в будущее. Вряд ли, пожалуй, стоило автору отмечать среди героев БАМа 30-х и 50-х годов (БАМ и тогда проектировался и строился) лишь одного А. Побожего. Непонятно, почему он не захотел поговорить с П. Татаринцевым, А. Смирновым, А. Осиповым, В. Писаревым, с десятками других ветеранов БАМа. Это единственный недостаток умной и нужной книги С. Богатко. Во всем остальном книга удачна. Хорошо подобраны иллюстрации. Они живо доносят до читателя дыхание великой стройки — второго пути к океану.

**А. Алексеев,**

*доктор исторических наук,  
кандидат географических наук.*



**Ц. П. КОРОЛЕНКО, Г. В. ФРОЛОВА.**  
**Чудо воображения (Воображение в норме и патологии).** Новосибирск. «Наука». 1975. 210 стр.

С немалой долей предубеждения я взялся читать книгу, посвященную психологии воображения. Настораживало зазывное название в сочетании с чисто медицинским заголовком о норме и патологии явления. Повлияло, вероятно, и то, что, работая над книгой «Твои возможности, человек!», в которой я попытался рассказать о путях развития способностей, мне уже пришлось довольно подробно знакомиться и с этой и с близкими ей проблемами. Что можно сказать в популярной книге о таком феномене, как воображение, думал я, если даже в специальных монографиях больше вопросов, чем ответов? Должен признаться, напрасны были мои сомнения — книга интересная.

Авторы сумели показать всю силу могучего порыва воображения. Оно служит нам своеобразным «психическим радаром», который помогает преодолеть узость «здорового смысла», мешающую нам, по словам авторов, «охватить своей мыслью всю необычность явления, всю революционную сущность его». Вместе с тем воображение чутко воспроизводит внутренний мир личности — интимнейшие движения души, высшие идеалы ума.

Воображение — первопричина открытий.

Воображение — крылья вдохновения, творчества, чувства.

Вдохновение не знает невозможного. Оно позволяет нам сохранять чувство нового. Оно восстает против логики привычного. Оно дает нам возможность читать искусство, видеть музыку, слышать краски. У воображения один девиз — удивительное всегда рядом, всегда с нами. Стоит только отрешиться от традиционного, стоит только «развернуть» реальное самым нежиданным образом, стоит только отбросить привычные аналогии — и произойдет чудо, чудо воображения.

Так что же оно такое — это чудо? Колыбель открытий? Источник заблуждений? Первая скрипка в оркестре, именуемом творчество, или золушка в славном семействе мысли, логики, опыта? Можно ли его направлять, тренировать, видоизменять? Кто его союзник? Какие у него «профессии»? Какие условия нужны ему, воображению, чтобы оно было нашим другом? И разве может оно быть нашим врагом? Не на все порою неожиданно поставленные вопросы читатель найдет полные ответы. Но даже эскизная их обрисовка открывает целую бездну неожиданного для читателя. Он узнает о значении фактора воображения в поведении и деятельности человека. Становится ясным такой сложный вопрос, как связь воображения с различными психологическими и социальными явлениями. Раскрывается роль воспитания воображения в формировании творческой личности.

Хорошо сделали авторы, что не ограничились показом какой-либо одной научной концепции затрагиваемой проблемы. Так, они обстоятельно и с должной мерой критичности дают разные точки зрения специалистов при раскрытии термина «воображение» и несколько различных объяснений явления. Думаю, не затруднит читателя и довольно подробная классификация видов воображения.

Материал в книге хорошо соотносится с духом времени. Очень интересны мысли об информационном взрыве и развитии воображения. О необходимости для изучения феномена оценивать с кибернетических позиций поступающую к человеку новую информацию и процессы ее отбора. В этой связи стоит отметить достоинства главы «Да здравствуют «почемучки», раскрывающей особенности детского воображения, роль школы в формировании у ребенка правильных оценок в соотношении реального и воображаемого. Большой интерес вызовут попытки авторов разгадать слагаемые творчества, ответить на вопрос: почему никогда не удовлетворяется творческий импульс подлинно творческой личности? Это процесс выражения окружающего мира и самого себя, а он бесконечен. Правда, хотелось бы узнать больше конкретного в раскрытии физиологических и анатомических основ воображения, больше известий с самого переднего края науки о последних экспериментах и опытах.

Ныне все больше возрастает интерес к роли воображения в творчестве, к возможностям искусственного стимулирования активного воображения. Но, к сожалению, авторы лишь упомянули о перспективах стимуляции. А здесь мы невольно сталкиваемся с наисовременнейшими проблемами, такими, как попытки кибернетиков разгадать секреты мышления, смодели-

ровать творческие процессы. В книге об этом почти ничего не сказано. А жаль. Сколько новых оттенков в феномене воображения увидел бы читатель, заговори авторы, например, о воображении и «искусственном интеллекте».

От внимательного читателя не скроется попытка авторов приблизить свою работу

к так называемым читабельным научно-популярным книгам. Стремление похвальное. Такие интересные книги должны спускаться с высокого пьедестала мнимой солидности и говорить с читателем на равных.

**Виктор Пекелис.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? 223 стр. Цена 28 к.

**В. И. Ленин.** Письмо к американским рабочим. 24 стр. Цена 3 к.

**XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза.** Стенографический отчет. 599 стр. Цена 1 р. 3 к.

**А. В. Георгиев.** Золотой фонд Алтая. 112 стр. Цена 24 к.

**С. И. Кузьмин.** Вечное ленинское наследие. Поиск и находки. 191 стр. Цена 63 к.

**М. Лященко и А. Мусатов.** Поиск. («Повести о делах и людях партии») 327 стр. Цена 43 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Дудин.** Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. Поэмы 1935—1960. 407 стр. Цена 1 р. 80 к.

**М. Нагинбеда.** Криницы у дороги. Стихотворения, баллады, поэмы. Перевод с украинского. Предисловие М. Луконина. 352 стр. Цена 1 р. 39 к.

**Б. Сучнов.** Лики времени. Статьи о писателях и литературном процессе. В 2-х тт. Т. 1. 416 стр. Цена 1 р. 23 к. Т. 2. 367 стр. Цена 1 р. 12 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ю. Балтушис.** Пуд соли. Книга 1. Солнечное детство. Автобиографическая повесть. Перевод с литовского. 303 стр. Цена 63 к.

**А. Битов.** Семь путешествий. Повести. 592 стр. Цена 1 р. 12 к.

**И. Гуро.** Песочные часы. Роман. 407 стр. Цена 82 к.

**Л. Забашта.** Земля Антеев. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 103 стр. Цена 28 к.

**В. Канторович.** История инженера Ганьшина. Очерки. 543 стр. Цена 97 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Э. Асадов.** Созвездие Гончих Псов. Стихотворения и поэмы. 223 стр. Цена 94 к.

**Я. Коломинский.** Беседы о тайнах психики. 208 стр. Цена 52 к.

**Б. Расков и Г. Седов.** Усман Юсупов. («Жизнь замечательных людей») 256 стр. Цена 70 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**В. Боков.** Поклон России. Стихи. («Библиотека поэзии «Россия») 271 стр. Цена 1 р. 40 к. (с пластинкой).

**А. Конданов.** Последний козырь. Роман. («Новинки «Современника») 255 стр. Цена 59 к.

**А. Леонов.** И остались жить... Рассказы и повести. («Новинки «Современника») 367 стр. Цена 84 к.

## «ИСКУССТВО»

**В. Кригер.** Актерская громада. Русская театральная провинция 1890—1902. Воспоминания. 222 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Е. Кузьмина.** О том, что помню. Предисловие Л. Трауберга. («Мемуары кинематографистов») 247 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Л. Рыбак.** Марк Вернес. («Мастера советского театра и кино») 151 стр. Цена 59 к.

## «НАУКА»

**Архив А. М. Горького.** Т. 14. Неизданная переписка. Редактор В. А. Бялик и др. 531 стр. Цена 2 р. 72 к.

**Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни.** Ответственный редактор Р. Карпинская. 350 стр. Цена 1 р. 78 к.

**В. Волгин.** Очерки истории социалистических идей (Первая половина XIX в.) 419 стр. Цена 2 р. 12 к.

**Ю. Манн.** Поэтика русского романтизма. 375 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Очерки литературы и критики Сибири XVII—XX вв.** Материалы к «Истории русской литературы Сибири». Ответственный редактор Ю. Постнов. 285 стр. Цена 1 р. 36 к.

**Ю. Постнов.** Сибирь в поэзии декабристов. 112 стр. Цена 20 к.

**Социальная структура развитого социалистического общества в СССР.** Ответственные редакторы М. Руткевич и Ф. Филиппов. 224 стр. Цена 1 р. 15 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**С. Вургун.** Избранное. Переводы. Баку. «Азернешр». 278 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Золотое озеро.** Стихи поэтов Алтая. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 143 стр. Цена 51 к.

**Т. Чиладзе.** Вассейн. Повести. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 246 стр. Цена 35 к.



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1976 ГОД



**Сергей Наровчатов.** К VI съезду писателей СССР. VI—3.

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

**Василий Аксенов.** Круглые сутки нон-стоп. Впечатления, размышления, приключения. VIII—51.

**Валерия Алфеева.** Дом и сад. Рассказ. III—157.

**Лилия Беляева.** Семь лет не в счет. Повесть. Предисловие Александра Рекемчука. IV—35; V—130.

**Юрий Бондарев.** Страницы из записной книжки. I—131.

**Борис Василевский.** Учительница. Рассказ. Предисловие Юрия Трифонова. IV—146.

**Илья Вергасов.** Останется с тобою навсегда... Роман. XI—8; XII—13.

**Феодосий Видрашку.** Петру Гроза. Главы из книги. X—165; XI—149.

**Вл. Волков.** Байгурская школа. Рассказ. Предисловие Д. Данина. II—138.

**М. Ганина.** Услышь свой час. Повесть. III—11.

**Иосиф Герасимов.** Пуск. Повесть. VI—118.

**Даниил Гранин.** Обратный билет. Повесть. VIII—3.

**В. Ежов, А. Михалков-Кончаловский.** Сибириада. Кинороман. I—5.

**Дина Калиновская.** Парамон и Аполлинария. Рассказ. Предисловие Валентина Катаева. IV—173.

**Лазарь Карелин.** Рассказы: Родительское собрание; Подснежник. V—92.

**Владимир Комиссаров.** Старые долги. Роман. XI—71; XII—130.

**Вл. Лидин.** Рассказы: Половодье; Разговор берег; Гнездовье; Жалейка. VII—8.

**Юрий Нагибин.** Чужая. Рассказ. VI—13.

**Евгений Попов.** Рассказы: Жду любви не вероломной; Барабанщик и его жена-барабанщица. Предисловие Василия Шукшина. IV—164.

**Георгий Семенов.** Вольная натаска. Роман. IX—3; X—80.

**Лев Славин.** Арденнские страсти. Роман. IX—126; X—11.

**С. Славич.** Лукьяныч. Рассказ. IX—96.

**Юло Туулик.** Можжевельник выстоит и в сушь. Роман. Перевел с эстонского А. Тамм. V—7.

**Торитон Уайлдер.** Мартовские иды. Роман. Перевела с английского Е. Гольшева. VII—119; VIII—145.

**Анатолий Ферецук.** Стойкий туман. Роман. II—15; III—70.

**Марк Харитонов.** День в феврале. Повесть. Предисловие Д. Самойлова. IV—108.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

**Наталья Астафьева.** Поможет слов живая связь...; Кавказ; Люблю я жизнь больше стихов...; Недаром так поют в оврагах птички... Стихи. V—90.

**Вениамин Богатырев.** Перед рассветом. Из стихов о Карсакпае. IX—93.

**Павел Бочу.** Образ; Пронзи меня...; Память; Голос; Ореховые деревья; Слово; Сказка. Стихи. Перевел с молдавского В. Солоухин. IX—122.

**Петрусь Бровка.** Новые стихи: Известно всем...; Наш век — провидец красноезвездный...; Всегда живая; Ах, сердце...; О ревности; Бери мое сердце, товарищ...; Синие книги; Простая вещь...; Добрый день; Что, солнышко, горишь так ало... Перевел с белорусского Валентин Корчагин. V—3.

**Константин Ваншенкин.** Из книги «Дорожный знак»: Возраст; Слово очунулся резко; Опять стоит и смотрит старый...; В детстве; Номер; Крушение; С ярмарки; Свободой пахнет весна; Воспоминание о взморье; День выбило, как выбивает фазу. Стихи. XII—9.

**Лариса Васильева.** Из лирической тетради: Как поют одичало метели...; Тоскую о том, что ушло...; Я с тобой говорила сквозь горы и годы...; Обрушился, как ливень, миг...; Зима заскрипела рассыпчатым снегом... Стихи. VI—115.

**Петр Вегин.** Зимняя почта: Город — асфальтовый луг...; Снег над Венецией; Заполярные кладбища; Свечи полуночные затея...; Я тебя увел из-под венца...; Бюро забытых вещей. Стихи. VII—3.

**Андрей Вознесенский.** Из новой книги стихов: Старый Новый год; Красота; В глуши; Реквием; Самородки; Обсерватория; Астрофизик; Хозяйка; На улице, где ты живешь; Стихи для детей; Над омутом; Монолог Резанова. X—3.

**Глеб Горбовский.** Высота; От звезды обманый свет...; Хорошие мысли; Закрываю веки глаз... Стихи. VI—200.

**Семен Данилов.** Новые стихи: Осенней порою, в безлунную тьму; Стремись вперед в пути бессонном!; В миг, когда листва распушилась; Самые чистые руки на свете; Девушка прошла; Хоть порой разбредаемся

мы кто куда...; Сновидение; Когда приезжаю в алас коренной...; В краю, где морозы и стужи... Перевел с якутского Александр Големба. XII—125.

**Лорина Дымова.** Двина; Погасший черный лист...; На полночной улице...; Ночные стоны фонаря...; Кораблик. Стихи. III—8.

**Ст. Золотцев.** Отчизна; Цех; Снег; Танк на дороге; Русь; Рубеж; Мой последний полет; Поле; Космонавт; Гольфстрим; Воздушный корабль; На голубых гранитах жесткий ягель...; Отслужил. Отплавал. Отлетал...; Ночное дежурство на аэродроме...; Портреты камазовцев; Камский паром; Земля людей; Стадион в Сантьяго. Стихи. II—3.

**Яков Козловский.** Баллада о преодолении земного притяжения; Ночной порой; К вершинам устремясь... Стихи. I—143.

**Ю. Кузнецов.** Посещение; За дорожной случайной беседой...; Дуб; Слезы вечерние, слезы глубокие...; Колесо; На берегу, покинутом волною...; Холм. Стихи. III—154.

**Ибрагим Кэбирли.** Исток моего света; Каждый день; Звали бы меня...; Я зависю от земли...; Не иссякнет. Стихи. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин. XI—3.

**Л. Лавинский.** Из книги стихов: 1. История; 2. Азы; 3. Баллада об исчезнувшей реке; 4. Извечная песня; 5. Прапамять; 6. Гроза над Доном; 7. Усталость. VIII—123.

**Юрий Левитанский.** Из лирической тетради: Я был приглашен в один дом...; Город; Гибель «Гитаника»; Мореп...; Человек, похожий на старую машину. Стихи. VII—114.

**Сергей Марков.** Стихи разных лет: Изобретатель пулемета; Британская разведка; Я милость приму от небес...; Древняя Русь. VIII—49.

**Юстинас Марцинкявичюс.** Две поэмы: Поэма огня; Ноюто sup. Перевел с литовского А. Межиров. VIII—127.

**Новелла Матвеева.** Деревья; К музе Комедии; О «сновидении». Стихи. IX—208.

**Гр. Поженяв.** Севастопольская хроника. Стихи. XI—64.

**Валентин Проталин.** Огонь; Что может быть мучительнее, хуже...; И странно мне...; И молодость по-своему права...; Ночь в Малаховке; Клен. Стихи. II—134.

**Сулейман Рустам.** Я не устал; Грядите все под сень мою; Годы. Стихи. Перевел с азербайджанского Александр Големба. V—87.

**Владимир Савельев.** Мечта; Работяга; Начальник цеха; На лыжной прогулке. Стихи. I—126.

**Давид Самойлов.** Снегопад. Поэма. III—3.

**Вадим Сикорский.** Современник; Земля; В тебя, неся начало разрушенья...; Мне не хотелось зрелым становиться...; Тебя интересует, как я встал...; Я вошел, поклонился солнцу...; Искусство — для души надежный панцирь...; Мне б легкое твое перо...; Море; Так нужно ль? Смерть была их молодью...; Дерзание; Все — частности, подробности мгновенья...; Есть ровные — (множество ликов!)...; Знание; Насквозь я прошел по тем местам...; Уже играют желваки на скулах...; Не земле, не душе, не жизнепроходец. Стихи. II—164.

**Виктор Смирнов.** Снег; Глупо чего-то бояться... Стихи. XII—211.

**Сергей Смирнов.** Из цикла «Мое и наше»: Советский человек; Личная программа; Жажда поиска. Стихи. I—3.

**Валентин Сорokin.** Ястреб; Ходят, бродят тучи небесами...; Ни громов, ни ливней буйных...; Там, где в небо врывается лес...; Не береза, так осина...; Нет, не лебеди, и не гуся...; Эта роща старинных дубов...; Утрата; На заре. Стихи. VII—36.

**Анатолий Софронов.** И снова чистый лист бумаги...; Адриатическое море...; Музыка Мексики; Сквозь косые дожди... Стихи. XI—145.

**Марина Тарасова.** Снега России; Март насквозь пропах соляной...; На Каме; Ты ждал меня на просмоленной даче...; Армения; Я позволю тебе с вокзала...; Там, где иссякли мостовые... Стихи. III—67.

**Молодые голоса.** Стихи. Предисловие Е. Винокурова. Евг. Блажеевский. Когда птенец, не знающий полета...; Над поселком метели тень...; Баллада о беглеце; Зачем прибегаешь из области лет... Сергей Бобков. Внутренний дворик; Ожидание; Бессонница.

**Евгений Бунимович.** Чили: 1. Тонкая ленточка странной страны...; 2. Чино; 3. Марио. **Любовь Воропаева.** Сынвья; Читаю стихи.

**Леонид Вьюнник.** Так лишь казалось... **Евгений Глушаков.** На Перекопе; Солнечный горн. **Ирина Грицкова.** Что любовь? Череда, вереница...; Река. **Алексей Дидуров.** Описание реки Самотеки; Элегия; В октябрьском лесу. **Вера Игельницкая.** Из лирического дневника. **Виктор Коркин.** Сжигают листья.

Тянет дымом...; Как беззаботно дух мой хочет... **Петр Кошель.** Дверь отворяется, входит отец...; Насильственно вживается художник... **Григорий Кружков.** Левша; Январь. Метро.

**Валерий Ксаянц.** Пролетка; Ты видел этот лист живой... **С. Морев.** Судьба земная. **Елена Муравина.** Лексика; Ты только не обидь меня... **Олеся Николаева.** Мы долго бродили по снегу и мраку... **Галина Принь.** Суть искусства; Осенний лес — не первым словом...

**Вадим Рабинович.** В хранилище старинных рукописей; Ода бороде. **Полина Рожнова.** Вологда; Аисты. **Игорь Селезнев.** Якиманка; Маросейки больше нет... **Михаил Синельников.** Андижанская осень; Беркут. **Е. Славорова.** Здравствуйте, люди!; Подмосковье.

**Наталья Стрижевская.** Россия. Осень, Сквозняки...; Так хочется стиха... **Роза Харитоновна.** Утро; Дом. **Михаил Чердынцев.** Яблоко; Послесловие; Ни в чем не виноват. Ничем не обессужу... **Михаил Шлаин.** Самолет; Земля. IV—3.

**Из грузинской поэзии.** **Григол Абашидзе.** Сказанное вдали от Грузии. Перевел Илья Дадашидзе. **Ираклий Абашидзе.** В твоей Балкарии. Перевел Михаил Синельников. **Хута Берулава.** Стих обращается к стихотворцу; Ожидание. Перевел Михаил Синельников. **Карло Каладзе.** Я, Гиви Киме ридзе, пронзаю взором тьму; С высоты веков. Перевел Владимир Равич. **Георгий Леонидзе.** Читая «Картлис Цховреба». Перевел Михаил Синельников. **Иосиф Нонешвили.** Ты стоял на родных горах; Почему такая встреча позаняя?... Перевел Владимир Равич. Га-



лактион Табидзе. Будь шагом тверд, будь постыпу суров... Перевел Александр Големба. **Джаисуг Чарквиани.** Илья; Карглос. Перевел Владимир Равич. **Отар Челидзе.** Молчаливый хозяин; Собственная монета. Перевел Владимир Равич. VI—38.

Из югославской поэзии. **Джоко Стоич.** Непокоренный город. **Танасие Младенович.** Из поэмы «Уста земли». **Славко Вукославевич.** Воины. **Десанка Максимович.** Горы. **Радован Зогович.** Инструкция инструктору; Не жалейте электроэнергию! **Изет Сарайлич.** Ваня, это все был я; Был автором первого стихотворения. **Густав Крклец.** Теперь я знаю. Перевели О. Оленина, Андрей Тарасов, М. Лалич, Маргарита Алигер, Е. Винокуров, Владимир Равич. X—229.

#### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**Константин Бадигин,** Герой Советского Союза. Тихий океан. V—161.

**Илья Бражнин.** Обаяние таланта. XII—235.

**Константин Симонов.** Япония — 46. VI—56; VII—42.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

**Л. Бабиченко.** Вильгельм Пик. К 100-летию со дня рождения. I—145.

**И. В. Бестужев-Лада.** Социальные проблемы советского образа жизни. VII—208.

**Юрий Жуков.** Почетная страница истории. VII—202.

**В. Матвеев.** Ленинский курсом. XII—3.

**А. Полторац.** Нюрнберг и современность. X—235.

**А. Родьгин,** секретарь парткома КамАЗа. Главный экзамен. II—170.

**Б. Светличный.** Горожанин и среда. III—218.

**Владимир Шубкин.** Начало пути (Размышления о проблемах выбора профессии). II—188.

#### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Мурад Аджиев.** Самый большой, большой Таймыр. III—207.

**В. Копелев.** Строим дом. VI—4.

**Екатерина Лопатина.** Через реку. IX—211.

**П. Ребрин.** В колыбельных местах. VII—180.

**А. Соловьев.** Записки рабочего. Предисловие В. Елисеевой. IV—185.

#### Набережные Челны

Рабочие-поэты великой стройки: **Руслан Галимов.** Осень опустела...; Он сидел, слегка подогнув ногу...; Сегодня думал я... **Евгений Кувайцев.** Даешь в четыре!; Ночью светло...; Мои вдохновенные строчки... **Инна Лимонова.** Мои Челны; Горизонт; Поэзии немеренные силы...; Я счастлива, как птица, оттого...; Не плачем; бережем ресницы — тушь...; За кистью тянется февраль... **Юрий Малков.** Баллада о стройке; Работа; Я верю снам...; Свет. **Владимир Потапов.** Чеканка. I—153.

**В. Джалагония, Б. Чехонин.** Групповой портрет. VIII—186.

**Екатерина Лопатина.** Тогда, в июле. I—183.

**А. Приставкин.** Еще один день с Алексеем Болдыревым. I—161.

#### В МИРЕ НАУКИ

**Ярослав Голованов.** Архитектор в мире, где яблоки не падают. XI—212.

#### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

**Валентин Зорин.** История одной карьеры. (Опыт небилейных рассуждений). VI—203.

**Владен Кузнецов.** Европа и разрядка. К первой годовщине Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. VIII—205.

**Александр Овчаренко.** Размышляющая Америка. XI—195; XII—213.

**Эдуард Розенталь.** Жан-Пьер и другие... IV—212.

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Алесь Адамович.** Возможности жанра. IX—235.

**Н. Анастасьев.** Массовая культура и индивидуальность таланта. VIII—242.

**Микола Важан.** Высокая миссия. XI—234.

**Виль Быков.** По следам Джека Лондона. К 100-летию со дня рождения. I—241.

**И. Вишневская.** Человек и его дело (О герое современной драмы). VI—247.

**Иван Голик.** Поле дружбы, поле борьбы. VII—222.

**Е. Горбунова.** Горизонты малой прозы. IX—239.

**И. Гринберг.** Труды и дни стиха. VIII—221.

**А. Дубровин.** «Требуется новая сила и смелость...» I—230.

**У. Гуральник.** Правда истории, правда искусства. «Блокада»: роман и его критики. III—247.

**Феликс Кузнецов.** Гуманистическая правда века. II—220.

**А. Лавлинский.** Единый язык искусства. V—239.

**В. Литвинов.** Самосознание искусства. Заметки с писательского съезда. X—254.

**Ал. Михайлов.** Ритмы семидесятых. III—233.

**Рафаэль Мустафин.** Немеркнувший свет подвига. К 70-летию со дня рождения Мусы Джалиля. II—251.

**Сергей Наровчатов.** «Праздничный, веселый, бесноватый...» XII—245.

**Василий Новиков.** Образ коммуниста — образ нового человека. II—242.

**Леонид Новиченко.** Социальное, нравственное, художественное. VI—235.

**Андрей Нуйкин.** Музы и интеллект. XI—241.

**Александр Панков.** Всегда в пути. IV—225.

**В. Порудоминский.** Не уклоняясь от добра и правды. К 150-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева. VII—236.

**Ю. Смелков.** Обновление конфликта. Заметки о современной драматургии. IV—234.

**Семен Фрейлих.** Экран и современность. V—250.

#### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Марина Цветаева.** Повесть о Сонечке. Публикация и предисловие Анны Саакянц. III—170.

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**Бертольт Брехт.** Рабочий дневник (1938—1955). Составление, перевод с немецкого и

примечания Е. Кацевой. Предисловие Е. Книпович. V—208.

**В. Осокин.** Поиски либерии продолжаютс. XI—227.

#### Советские писатели о Щедрине

К 150-летию со дня рождения. Публикация и предисловие С. А. Макашина. Глеб Алексеев, Виктор Ардов, Иван Батрак, Демьян Бедный, Феохист Березовский, Михаил Булгаков, Михаил Голодный, Сергей Городецкий, Лев Гумилевский, Иван Евдокимов, Корнелий Зеланский, Ефим Зозуля, Анна Караваева, Лев Кассиль, Михаил Козырев, Борис Лапин, Владимир Лидин, Лев Никулин, Николай Огнев, Пантелеймон Романов, Юрий Слезкин, Павел Сухотин, Николай Телешов, Алексей Толстой, Константин Тренев. I—199.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

#### Литература и искусство

**Н. Абакин.** Книга актера (Михаил Ульянов. Моя профессия). XI—268.

**Л. Аннинский.** У бывших романтиков (Инга Петкевич. Большие песочные часы. Роман). IV—254.

**В. Боборыкин.** Истина ради жизни (Сергей Залыгин. Комиссия. Роман). III—262.

**Виктор Бсков.** «Во славу ее и в защиту» (Поэзия ЧССР. Переводы с чешского и словацкого). XI—261.

**А. Бочаров.** Не рвется цепь времен (С. Я. Фрадкина. Русская советская литература периода Великой Отечественной войны. Метод и герой. А. Коган. Перечитывая войну. Литературно-критические очерки. Литература великого подвига. Великая Отечественная война в литературе. Выпуск 2). VII—252.

**Ирина Винокурова.** «Люблю я этот мир земной...» (Константин Ваншенкин. Избранные стихотворения в двух томах). IV—257.

**Б. Галапов.** Прощание с Византией (Ирвин Шоу. Вечер в Византии. Роман. Перевод с английского К. Чугунова). III—268.

**Вл. Гусев.** Дух и архитектура «Собор» (Юстинас Марцинкявичюс. Собор. Драматическая поэма. Перевод с литовского Д. Самойлова). IX—262.

**Андрей Дементьев.** Продолжение разговора (Семен Данилов. Зимнее солнце. Книга стихов. Авторизованный перевод с якутского Винченца Шаргунова). VI—257.

**Вик. Ерофеев.** Когда герои меняются местами (В. Мазеев. Грозовая аномалия. Повесть). IV—260.

**А. Зверев.** Где улица корчится безязыкая... (Джеймс Болдуин. Если Бийстрит могла бы заговорить. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной). I—266.

**А. Каменский.** Душа портрета (Манана Андроникова. Об искусстве портрета). V—266.

**В. Камянов.** Достоверность условного (Владимир Бээкман. Ночные летчики. Роман. Авторизованный перевод с эстонского А. Тамма). VI—260.

**Владимир Канторович.** Летопись современности (Шаги-74. Выпуск первый. Ежегодник Союза писателей СССР). I—259.

**Валентин Катаев.** С добрым чувством (Юрий Яковлев. Багульник. Рассказы). VI—259.

**Елена Клепякова.** «Всей глубиной времени...» (Агаси Айвазян. Отец семейства. Повести и рассказы. Перевод с армянского). VIII—259.

**Ольга Кожухова.** Дух сурового времени (О Родине, о мужестве, о славе. Стихи и песни фронтовиков дней Великой Отечественной войны). VIII—264.

**В. Косолапов.** Морские пейзажи и вокруг (В. Конецкий. Путевые портреты с морским пейзажем). XII—256.

**Леонид Кудреватых.** Оглядываясь на минувшее (Евг. Долматовский. Было. Записки поэта). XII—260.

**В. И. Кулешов.** Книга живых идей и споров (Г. П. Макогоненко. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833)). VII—258.

**Л. Левин.** «Весь мир воображеньем опоясан» (П. Антокольский. Собрание сочинений в четырех томах. П. Антокольский. Ночной смотр. Стихи. П. Антокольский. Путевой журнал писателя). VII—247.

**Сергей Михалков.** Движущая жизнь классики (Инна Вишневецкая. Гоголь и его комедии). XII—265.

**В. В. Новиков.** Не сглаживая противоречий (Чингиз Гусейнов. Магомед, Мамед, Мамиш. «Дружба народов». Чингиз Гусейнов. Магомед, Мамед, Мамиш. В книге «Не назвался»). Повести. IX—252.

**В. Оскоцкий.** Мировосприятие художника (Олесь Гончар. Собрание сочинений в пяти томах). II—262.

**Г. Петрова.** «Оставляет человек имя доброе свое...» (Овсей Дриз. Четвертая струна. Стихи. Овсей Дриз. Семицветная страна. Стихи и сказки. Перевод с еврейского). VIII—266.

**В. Пронин.** Выбирая биографию (Макс Фриш. homo Фабер. Назову себя Гантенбайн. Перевод с немецкого). V—268.

**Вл. Разумневич.** Коммунисты — совесть эпохи (Мария Прилежеева. Собрание сочинений в 3-х томах). II—257.

**Вл. Разумневич.** Во имя дня грядущего (Георгий Марков. Завещание. Повесть). VIII—256.

**Б. Росточкин.** Станиславский и мировой театр (Н. Н. Сибиряков. Мировое значение Станиславского). I—264.

**Вс. Сахаров.** Возвращение замечательной книги (В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Серия «Литературные памятники». Издание подготовили Б. Ф. Егоров, Е. А. Маймин, М. И. Медовой). IV—263.

**Евгений Сидоров.** Пути гуманизма (Владимир Огнев. Пять тетрадей. Этюды о литературе стран социализма). VI—265.

**Анатолий Смелянский.** Люди из страны детства (Анатолий Алексин. Действующие лица и исполнители; Третий в пятом ряду. Повести). X—268.

**Марк Соболев.** Сестра по оружию (Юлия Друнина. Окопная звезда). V—264.

**П. Строков.** С боевых, принципиальных по-

зий (Александр Дымшиц. Нищета советологии и ревизионизма). XII—262.

**Г. Соловьев.** Пафос поэтического творчества (Н. К. Гей. Художественность литературы. Поэтика. Сталь). XI—263.

**Ирина Соловьева.** Знак равенства (Анатоль Эфрос. Репетиция — любовь моя). IX—259.

**Е. Сурков.** Советология, ее цели и методы (А. Беляев. Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии). X—272.

**Г. Трефилова.** Правила игры (Вячеслав Усов. Белый гребень. Повесть). XI—256.

**Николай Федь.** Идеалы правды и человечности (А. Скорино. Маризтта Шагинян — художник). II—267.

**Л. Финк.** Путешествие за край факта (Владимир Жукков. Бронзовый ангел. Повесть). I—255.

**Яков Хелемский.** Северный фасад отечества (Александр Марьямов. За двенадцатью морями). IX—255.

**В. Цыбин.** Зерна таланта (Владимир Широков. Пятое время года. Рассказы, повести. Владимир Крупин. Зерна. Рассказы и повести). IV—252.

**М. Шаталин.** Пуль времени (Вс. Сурганов. Человек на земле. Историко-литературный очерк). III—267.

**М. Эпштейн.** Всечеловечность русской классики. (Н. Я. Берковский. О мировом значении русской литературы). IV—265.

**В. Этов.** Достоевский как издатель и редактор. (В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865). III—272.

#### *Политика и наука*

**Ю. Амиантов.** «Согласовать свою жизнь со своими убеждениями» (И. Ф. Арманд. Статьи, речи, письма). XI—275.

**Александр Борщаговский.** Мысль, обращенная в будущее (Эрнст Генри. Новые заметки по истории современности). X—277.

**Л. Виноградов.** Что и как читал Ленин (Ю. П. Шаратов. Ленин как читатель). XI—270.

**И. Ворожейкин.** Летопись атакующего класса (Советский рабочий класс. Краткий исторический очерк (1917—1973). II—272.

**И. Дрейцер.** Величие и боль таланта (Оскар Нимейер. Архитектура и общество). VII—267.

**А. Дружинин.** Мрачный мир (Юрий Жукков. Отравители. Полемиические заметки о буржуазной идеологии и пропаганде). I—280.

**В. Емельянов.** Герой Социалистического Труда. Уметь видеть (Н. Н. Смеляков. С чего начинается Родина. Воспоминания и раздумья). V—280.

**В. Ефимов.** Партия — руководитель экономики (А. И. Рогов. Руководство КПСС экономикой зрелого социализма). I—270.

**Ю. Замошкин.** Актуальное исследование («Массовая культура» — иллюзии и действительность. Составитель и автор предисловия Э. Ю. Соловьев). XII—268.

**Ю. Игрицкий.** Тайное становится явным (ЦРУ глазами американцев. Сборник материалов зарубежной прессы). IX—278.

**Ю. Каграманов.** Насилие: проблема старая или новая? (В. В. Денисов. Социология насилия. Вальтер Холличер. Человек и агрессия. З. Фрейд и К. Лоренц в свете марксизма). IV—276.

**Владимир Карпов.** Герой Советского Союза. Герои секретного фронта (Люди молчаливого подвига. Очерки о разведчиках). V—272.

**В. Кирсанов.** Приглашение к размышлению (Борис Кузнецов. Путешествие через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками). XI—278.

**А. Колпаков.** Память человечества (В. А. Дунаевский. Советская историография новой истории стран Запада. 1917—1941 гг.). II—274.

**И. Кошелева.** «В единстве духовной жизни...» (Заметки о педагогической литературе). IX—264.

**Б. Марушкин.** Из истории русско-американских отношений (Н. Н. Болховитинов. Русско-американские отношения 1815—1832 гг.). III—279.

**Н. Миненко.** Нетрадиционный подход к исследованию народных традиций (М. М. Громыко. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII — первая половина XIX в.). V—276.

**В. Молчанов.** Африка: средства массовой информации и идеологическая борьба (Л. А. Обухов. Африка: борьба за умы. Средства массовой информации, идеологическая экспансия империализма в странах Тропической Африки). III—277.

**Н. Мор.** Летопись великой жизни (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1. 1870—1905; т. 2. 1905—1912; т. 3. 1912—1917; т. 4. Март—октябрь 1917; т. 5. Октябрь 1917—июль 1918; т. 6. Июль 1918—март 1919). IV—271.

**В. Мотяшов.** С тревогой и надеждой (Юл. Медведев. В первом приближении). VII—262.

**Е. Немировский.** Читающая держава (Книга в СССР). II—276.

**Евг. Осетров.** Сохранить ценности человечества (Памятники Отечества. Книга вторая). X—281.

**Г. Пакилев.** Уроки Курской битвы (Битва на Курской дуге. Под редакцией Маршала Советского Союза К. С. Москаленко). XII—272.

**В. Пашуто.** «Се бо суть реки, напаяюще вселеную...» (В. И. Буганов. Отечественная историография русского летописания). VIII—272.

**Н. Петраков.** На пороге пятилетки эффективности и качества (А. П. Вавилов.

Эффективность социалистического производства и качество продукции. VI—268.

**Г. Резниченко.** Конструктор Самолет. Время (Михаил Арлазоров. Конструкторы). VI—272. — Об Америке и американцах (В. Песков, Б. Стрельников. Земля за океаном. С. Кондрашов. Свидание с Калифорнией). IX—273.

**Л. Смирнов,** Председатель Верховного Суда СССР. Борьба с антисоветским подпольем (Д. Л. Голиков. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917—1925 гг.) I—272.

**С. Троицкий.** Становление героя (Натан Эйдельман. Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле). VI—276.

**В. Турбин.** Доброе начало (Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1974). II—279.

**А. Яковенко.** Расти быстрее колоса (Золотые зерна. Сборник очерков). VIII—269.

**В. Якушев.** Системный анализ проблем управления (В. Михеев. Социально-психологические аспекты управления. Стилль и метод работы руководителя). III—275.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

В. Камянов.—Чингиз Гусейнов. Угловой дом. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. Станислав Золотцев.—Игорь Волгин. Шесть утра. Стихи. Н. Беккерман.—Альберт Усольцев. Светлые поляны. Повесть. А. Кузнецов.—Велько Петрович. Избранное. Перевод с сербскохорватского. А. Чистов.—А. В. Кошулин. Так живем и работаем. Заметки директора завода о социалистическом соревновании. В. Волков.—О. Дарусенков, Б. Горбачев, В. Ткаченко. Куба — остров созидания. Э. Кузьмина.—Георгий Эмин. Век. Земля. Любовь. Стихи. Перевод с армянского. I—283.

Ю. Ляхов.—Ю. М. Калинина. Отец. Рассказ дочери. Литературная запись Ю. Капусто. Ксения Бродер.—Леонид Кудреватых. Признание в любви. Сергей Львов.—От мая до мая. Стихи поэтов социалистических стран Европы в переводе Юрия Левитанского, с предисловием Константина Симонова. Л. Козлов.—Великая Отечественная... Краткая иллюстрированная история войны для юношества. Вл. Кузнецов.—Анатомия агрессии. Новые документы о военных целях фашистского германского империализма во второй мировой войне. II—283.

Дмитрий Ковалев.—Александр Целищев. Присягаю огню. Стихотворения и поэма. Б. Сарнов.—М. Львовский. Точка, точка, запятая... В. Шитова.—Э. Кузнецов. Пирсомани. Серия «Жизнь в искусстве». Юрий Домбровский.—Эдуард Бурмакин. Балкон без перил. Повесть. В. Дунаевский.—Е. Шаповалов. Знамя парижских коммунаров. И. Юдин.—А. А. Леонов, В. И. Лебедев. Психологические проблемы межпланетного полета. Я. Поварков.—В. Давидович Р. Аболи

на. Кто ты, человечество? Теоретический портрет. III—283.

В. Гейдеко.—Л. Леонов. К. Федин. М. Шолохов. Слово к молодым. А. Васильевский.—Сергей Мнацакянц. Станционная ветка. Стихи. С. Троицкий.—Е. С. Кулябко, Е. Б. Бешенковский. Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. Игорь Волгин.—Геннадий Бубнов. Связующая нить. М. Анцыферов.—Л. Таганов. На поэтических меридианах. А. Курячий.—Н. Вельмина. Ледяной сфинкс. Л. Васильевский.—Мы — интернационалисты. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании. А. Яковенко.—П. А. Игнатовский. Общественное производство советской деревни. IV—280.

В. Косолапов.—Борис Галанов. Самые долгие годы. Повести. Лев Озеров.—Александр Письменный. Ничего особенного не случилось. Повесть и рассказы. Д. Кислик.—Н. Зубов. Первый председатель Малого Совнаркома. И. Забелин.—А. Б. Давидсон, В. А. Макрушин. Облак далекой страны. V—284.

Ксения Бродер.—Александра Горобова. Высокие равнины. Рассказы. Т. Комиссарова.—Владимир Корнаков. Шатун. Повесть. В. Сапогов.—Н. К. Некрасов. По их следам, по их дорогам. А. Нуйкин.—А. И. Мазаев. Концепция «производительного искусства» 20-х годов. В. Якушев.—Социальная психология. Краткий очерк. Лев Разгон.—Юрий Дмитриев. Человек и животные. М. Рабинович.—Н. И. Гаген-Торн. Лев Яковлевич Штернберг. А. Колосов, Е. Альтшулер.—В. В. Фролькис. Старение и биологические возможности организма. VI—281.

В. Мамонтов.—Владимир Санги. Женидьба Кевонгов. Роман. Юрий Богданов.—Лев Озеров. Далекая слышимость. Книга стихов. А. Хорт.—Леонид Ленч. Избранное. С. Николаева.—Н. Байрамукова. Кайсын Кулиев. Очерк творчества. Л. Финк.—А. Зись. Искусство и эстетика. В. Пронин.—Д. Затонский. Зеркала искусства. Статьи о современной зарубежной литературе. Е. Красникова.—Н. Великая. Формирование художественного сознания в советской прозе 20-х годов. Т. Мотылева.—Я. Фрид. Анатолий Франс и его время. В. Сутырин.—А. Агарышев. Гамаль Абдель Насер. Сергей Марков.—А. И. Алексеев. Судьба Русской Америки. Ю. Курсков.—Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования. VII—278.

Ю. Ляхов.—З. Фазин. Железный перстень. Повесть. Н. Макарова.—Николай Самохин. Где-то в городе, на окраине. Повесть. Ю. Кожеников.—Агнеса Рошка. Огниво и кремень. Стихи. Авторизованный перевод с молдавского Татьяны Стрешневой. Андрей Никитин.—Е. С. Котляр. Миф и сказка Африки. Е. Львова.—М. И. Земская. Александр Волков. Мастер «Гранатовой чайхань». А. Майкапар.—С. Морозов. Бах. Серия «Жизнь замечательных людей». В. Скиба.—И. С. Андреева.

Проблема мира в западноевропейской философии. Ник. Смирнов.—Альманах библиофила. Выпуск второй. В. Гербачевский.—Леонид Репин. Трое на необитаемом острове. Н. Яковлев.—Б. И. Марушкин. Советология: расчеты и просчеты. Н. Португальский, В. Назаренко.—И. И. Якубовский. Земля в огне. VIII—275.

Л. Аннинский.—Елена Ржевская. Февраль — кривые дороги. Повести. Г. Петрова.—Вардгес Петросян. Армянские эскизы. Дмитрий Ковалев.—Алексей Решетов. Рябиновый сад. Стихи. Ксения Бродер.—Воспоминания о Константине Паустовском. А. Панков.—Арка. Эльшевич. Лиризм. Экспрессия. Гротеск. Г. Койранская.—Мастера Большого театра. Е. Немировский.—Н. А. Рубакин. Избранное. Б. Розен.—Жак-Ив Кусто и Филипп Диоле. Затонувшие сокровища. И. Пешкин.—Евгений Моряков. Я в рабоче пошел... IX—280.

Виктор Широков.—Гилемдар Рамазанов. В стране Салавата. Стихи и поэмы. Алексей Прийма.—Кирилл Усанин. Свадьбы не будет. Повести и рассказы. В. Шитова.—Н. А. Дмитриева. Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества. Дм. Молдавский.—И. Гринберг. Три грани лирики. Современная баллада, ода и элегия. В. Карпушин, Я. Поварков.—Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской философии (История и современность).

А. Кривомазов.—Э. К. Соколовская. 200 научных биографий. Библиографический справочник. X—283.

Игорь Шклярский. — Станислав Куняев. В сентябре и в апреле. Стихи. Эдуард Корпачев.—Геннадий Пациенко. Высокий день. Повесть и рассказы. М. Вашкевич.—Дм. Молдавский. Александр Прокофьев. Дм. Молдавский. От Невы во все стороны света. Н. Томашевский.—Николай Атаров, Магдалина Дальцева. Опоян мечом. Повесть о Джузеппе Гарибальди. Николай Сафонов.—Жорж Сименон. И все-таки орешник зеленеет. Григорий Бровман.—Самый необходимый человек на земле. Очерки писателей о профтехучилищах страны. М. Коротков.—Егор Яковлев. Встречи за горизонтом. XI—282.

О. Юрина.—С. Васильев. Зарубки на память. Александр Крон.—Е. Добин. Искусство детали. В. В. Ошис.—Современное буржуазное искусство. Критика и размышления. Ю. Андреев.—Л. Кутаков. Вид с 35 этажа. А. Алексеев.—Сергей Богатко. Второй путь к океану. Виктор Пекелис.—Ц. П. Короленко, Г. В. Фролова. Чудо воображения. XII—275.

**Книжные новинки:** I—288; II—287; III—288; IV—287; V—288; VI—288; VII—287; VIII—284; IX—288; X—288; XI—288; XII—281.

**Журнал «Новый мир» в последних номерах 1976-го и в 1977 году.** VIII—287.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 16/IX 1976 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>.  
А 09224.

Объем 18 п. л.  
28,7 уч.-изд. л.  
Тираж 168.000 экз.

Подписано к печати 11/XI 1976 г.  
9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
Заказ 2967.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47. Брест-Литовский проспект. 94. Зак. 05725



Цена 70 коп.

70636